ISSN 0130—6545

11.1978

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ТОДОР ПАНАЙОТОВ. Болгария.

Из цикла «1917 г.»

Иностранная литература

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

11 НОЯБРЬ 1978

Содержание

АННА ЗЕГЕРС — И снова встреча *(Повесть. Перевод с немецкого Нины Федоровой)* 3

ГОВИНД ВИНАЯК КАРАНДИКАР — Стихи *(Перевод Евг. Винокурова.)* Тайна прикосновения *(Эссе. Перевод Н. Сиделева. Послесловие Н. Сиделева)* 42

РЕНЕ-ВИКТОР ПИЙ — Обличитель *(Роман. Перевод с французского Т. Ерофеевой и Е. Шишмаревой)* 49

КЕННЕТ РЕКСРОТ — Из книги «Новые стихотворения» *(Перевод с английского Алексея Парина. Вступление А. Зверева)* 144

Р. К. НАРАЙАН — Мои дни *(Окончание. Перевод с английского Н. Демуровой. Послесловие М. Салганик)* 152

Критика

ПАНТЕЛЕЙ ЗАРЕВ — Идеал, современность, мировой литературный контекст *(Перевод с болгарского О. Басовой)* 198

И. ЛЕВИДОВА — Читая романы Айрис Мердок... 208

Трибуна переводчика

МАНУЭЛ ДЕ СЕАБРА — Traduttore, traditore? *(Перевод с португальского Г. Вержховской)* 217

Письма из-за рубежа

КУЛЬДИП КРИШАН КХУЛЛАР — К новым горизонтам. (Несколько слов о литературе урду нашего времени. *Перевод с английского)* 220

Культура и современность

Заметки на полях

Н. Литвинец — Заклинание злых духов или реальная общественная функция? 224

Публицистика

Седьмое десятилетие Великого Октября

Из высказываний зарубежных писателей. ВИЛЕМ ЗАВАДА, АНДРЕЙ ПЛАВКА, МАРИО БЕНЕДЕТТИ 228
ПЕТЕР ШЮТТ — Возвратившись домой... (Дневник писателя. *Перевод с немецкого М. Федорова)* 232
ЭЛТОН ФЭКС — Мои встречи с республиками советской Средней Азии *(Перевод с английского Ф. Лурье)* 241

Антирубрика

Мир против нейтронной смерти 247
ФРИДЕШ КАРИНТИ — Письмо уважаемому господину Главному дипломату *(Перевод с венгерского Александра Науменко)* 248
МИХАЛ РАДГОВСКИЙ — Покой прежде всего *(Рассказ. Перевод с польского Лидии Лерер)* 249
Американская пародия. С. Л. ЭДСОН. ТЕОДОР РЁТКЕ. ДОНАЛЬД ФИНКЕЛ *(Перевод с английского Андрея Сергеева)* 250
ИОАННА КЕЛЛЕР — Рассказы *(Перевод с польского Ксении Старосельской)* 253

Наши гости

Т. Ротенберг — Барри Стейвис (США) 256
Ю. Архипов — Петер Хандке (Австрия) 258

Среди книг

Издано в СССР

Плодотворное сотрудничество. Кирил Кадийский — Поэтическая летопись. Иван Фельдеак — Наше рукопожатие ✦ Н. Павлова — О возможностях реализма ✦ Л. Громковская — «Рождаемся на земле...» 261

Издано за рубежом

Андре Ремакль — Деревья Жака Превера ✦ Радий Фиш — Удушье перед грозой ✦ С. Змеёв — Страстная неделя и страстные годы 267

Из месяца в месяц

272

Авторы этого номера

285

На обложке: картина болгарского художника Г. КОВАЧЕВА «Октябрь».

На стр. 48, 143, 197, 207, 216, 227, 271 — графические работы зарубежных художников.

© «Иностранная литература», 1978 г.

АННА ЗЕГЕРС

И снова встреча

ПОВЕСТЬ

Перевод с немецкого НИНЫ ФЕДОРОВОЙ

I

Эта история началась за соседним столиком в одном из кафе города Мехико. В ту пору я и не догадывалась о ее начале и тем не менее точно помню дату. После долгой болезни я впервые снова зашла в это кафе, где любила читать и писать. Находилось оно на углу улицы Ганте, неподалеку от большого рынка, которого, как мне сказали, теперь уже нет и в помине.

Пока я лежала в больнице, Гитлера разгромили на Волге,— эта новость пробилась сквозь душную пелену моего замутненного сознания,— Красная Армия с боями продвигалась на запад, Курская дуга осталась позади, советские войска стояли в Белоруссии.

Все мы изо дня в день следили за военными сводками. Об этом говорили и испанские эмигранты за соседним столиком. Ведь кафе было из тех, где они собирались чаще всего. Официанты привыкли к ним, хотя заказывали они мало и чаевых давали немного,— денег-то не было. Они приходили просто повидаться друг с другом, почитать газеты и поспорить. Мне, во всяком случае, по сравнению с неторопливой, напевной речью мексиканцев их разговор нередко казался отчаянной перепалкой, накалявшейся с каждой минутой, даже если речь шла всего-навсего о последних известиях или о семейных делах.

Я сделала заказ и раскрыла тетрадь. Хоть я и устала, но с давних пор обычная скороговорка испанских эмигрантов не мешала мне. Не вникая в их разговор, я думала о своем.

Прислушалась я только, когда они на минуту затихли, а потом кто-то на редкость запальчиво и решительно сказал:

— Его лицо было совсем рядом. Я точно узнал его. Он здесь.

— Не верю,— отозвался другой.— Я бы тоже знал. Мы были как братья.

— Он еще объявится. Я видел его собственными глазами.

— Альфонсо погиб! — воскликнул третий.

— Или сидит за решеткой.

— А мы узна́ем обо всем через год, а то и позже.

— Или никогда.

— Он или во Франции или еще где-нибудь, в лагере.

— Или удрал.

© Aufbau-Verlag. Berlin und Weimar, 1977.

— Как бы то ни было, сейчас он здесь,— решительно повторил первый.

— Селия бы знала. Она делает все возможное, чтобы отыскать его след. Ни о чем другом и не помышляет.

— Век не забуду, какое у нее было лицо, когда корабль отплывал из Европы. Она все смотрела на берег, точно Альфонсо мог бегом по морю догнать ее.

— Как же они любили друг друга! Она его, а он ее,— сказал еще кто-то; по тону чувствовалось, что говорит он сущую правду.

— Он теперь с ней. Он здесь. Я его видел.

— Да ну тебя.

— Отчего вы говорите «любили», отчего говорите «да ну тебя»? Он сейчас у нее. Я видел его вечером на авениде 20 Ноября.

И говорящий — тощий молодой человек с длинными руками, которые двигались в такт его словам,— торопливо рассказал, из-за чего он в тот вечер случайно очутился на авениде 20 Ноября. Я перестала прислушиваться. Как видно, товарищи ему не поверили. Снова донесся голос того человека, который говорил о любви Селии и Альфонсо:

— Когда берег скрылся из виду и Селия до конца осознала, что это невозвратимо, она укрылась в каюте, которую делила с женой Антонио Мендеса. Вышла она оттуда спокойная, вполне овладев собой. Поправила прическу, платье, созвала детей; на протяжении всего плавания она по мере сил помогала матерям, снимая с них часть забот.

— На Селию всегда можно положиться.

Я бы вовсе не стала дальше прислушиваться к их разговору, но в кафе вошел новый посетитель и подсел к ним. Все началось сызнова.

— Он утверждает, что видел Альфонсо. Ты-то, Мигель, должен бы знать.

Тот, к кому обратились, сказал:

— Невероятно.

Тощий молодой испанец еще раз объяснил, где он его видел. Вновь пришедший, которого звали Мигель, повторил:

— Невероятно,— и добавил: — Он, возможно, сидит в тюрьме, избит до полусмерти, а то и до смерти. Или пока еще на свободе под чужим именем. В последних донесениях ничего не сообщалось.

Я поставила стул боком, чтобы посмотреть на человека, которому принадлежал этот голос. Я уже несколько раз его видела — на фотографиях в газетах и на собраниях. Внешность его совершенно не соответствовала тому, что я о нем знала. С виду он не казался ни особенно храбрым, ни способным на решительные действия, ни обладателем острого ума, ни человеком, который много читает и пишет. Его даже трудно было принять за испанца. Потому-то он, наверно, больше других годился для той жизни, которую вел прежде и, вероятно, продолжает вести.

Не помню, о чем испанцы рассуждали дальше. Через некоторое время они ушли. Я лишь приметила, что Мигель на минутку задержал тощего парня, посмотрел ему пристально в глаза и веско сказал:

— Ты ошибся. Ты не видел Альфонсо. Ясно?

Тот помедлил, потом под взглядом Мигеля проговорил:

— Да. Должно быть, я ошибся.

На долгие годы слова, сказанные за соседним столиком, забылись. Они лежали на дне моей памяти, как будто бы бесполезно,

бессмысленно, среди несчетного множества других слов, услышанных в других разговорах, точно галька, которую детишки ради забавы пускают плашмя по воде и она долго не тонет. В конце концов камешек, разумеется, падает на дно. С теми испанцами я не была знакома, в то кафе больше не заходила. Наверное, была слишком слаба после болезни.

II

Летом сорок четвертого года человек, называвший себя Энрике Гомес, поднялся в Лиссабоне на борт небольшого грузового судна. Оно направлялось в Мексику, в Веракрус, с заходом на разные острова для приема и выгрузки товара. Плавание для военного времени довольно опасное, хотя Португалия, как и Испания, сохраняла нейтралитет. Пассажиров, помимо судового экипажа, было совсем немного.

Португальский берег бледнел, бледнел и наконец исчез,— человек, называвший себя Энрике Гомес, воспринял это почти как чудо. Он с превеликим удовольствием остался бы один, но, как обычно бывает после отплытия, все пошли обедать. За одним столом сидели капитан, первый помощник и судовой механик. За другим — несколько пассажиров, которые по разным причинам предприняли это путешествие. К их числу принадлежала и жена первого помощника, одновременно выполнявшая обязанности хозяйки. Это была женщина лет сорока, красиво причесанная и хорошо одетая. Жена капитана — уже в годах, молчаливая, похожая на обыкновенную домохозяйку — пришла чуть позже. Обедала она за офицерским столом.

Ехавший до Веракруса мексиканец неопределенного возраста открывал рот только в случае крайней необходимости. Энрике Гомес — он почти одинаково хорошо говорил и по-португальски и по-испански — в ответ на расспросы попутчиков сообщил, что тоже едет до Веракруса. Потом ему еще предстоит поездка по стране, так как он должен закупить особый сорт пеньки для своей фирмы, которая славится изготовлением судового такелажа, а особенно канатами и тросами.

Все со страхом толковали о минах и подводных лодках. Молодой негоциант, сопровождавший партию проволочного троса, считал поражение Гитлера делом решенным. Первый помощник заметил, и жена поддакнула ему, что все зависит от американцев. У них пока есть время одуматься и объединиться с Германией.

Гомес порадовался, что соседом по каюте оказался молчаливый мексиканец, который лишь изредка ронял одну-две учтивых фразы. Внезапно Гомесу пришло в голову, что Селия живет на родине этого человека, быть может, они — его жена Селия и молчаливый мексиканец — даже где-то сталкивались. Но в следующую минуту он сам себя выругал: не могло быть такого случая. Почему в такой большой стране она должна была столкнуться именно с этим человеком?

Заслон у него в мозгу, сдерживающий мысли о Селии, на время как бы исчез. Теперь он был уверен, что они обязательно встретятся вновь.

В последний раз он видел ее лицо, обращенное к нему, когда они отходили через Пиренеи. Беженцев непрестанно бомбили пикирующие бомбардировщики. Вместе с Антонио и Анной Мендес Селия сопровождала в безопасное место, во Францию, детский дом. А он и еще несколько товарищей получили задание прикрывать отход, пока последние беженцы не минуют границу.

Временами, покуда поток беженцев еще не иссяк, его

спрашивали: «Когда пойдешь ты? И куда?» — а он отвечал: «Я остаюсь».

Вскоре франкисты начали охотиться за ним, пришлось скрываться, а облава все ширилась. Он навестил надежных людей в Арагоне и Каталонии. С новыми документами, изменившийся внешне, а может, и внутренне — насколько внутренний мир допускает изменения,— он на некоторое время перебрался в Барселону. Кое-как сводил концы с концами, работая на фабриках и на судах; он вырос у моря. Трудно было сохранить связь с руководством, почти уничтоженным и возрождавшимся вновь.

Руководство неустанно предостерегало, что за гражданской войной, раздиравшей их родину, последует мировая бойня, которая раздерет на куски Европу. Что значит «предостерегать»? И что значит «испытать на себе»? Осенью разразилась война. Цепь постов за спиной у Селии обернулась неумолимой преградой, а там и неодолимой пропастью. Не прошло и года, как время, прозванное «drôle de guerre» [1], миновало и вермахт оккупировал Северную Францию.

Три раза он видел почерк Селии. Дважды в письмах, дошедших до кого-то. Наверное, она написала десятки таких писем в надежде, что хоть одно попадется ему на глаза. В третий раз он увидел ее почерк на обрывке письма: «Мне нельзя к тебе, а тебе ко мне». В душе у него все оборвалось. Он чувствовал, что теряет почву под ногами. Но в той жизни, которую ему пришлось вести теперь, такого нельзя было допустить.

Когда он получил сообщение, что Селия в лагере, она в действительности уже вышла на свободу с помощью сестры Анны Мендес, которая была замужем за французом. Когда он узнал, что она в Париже и зарабатывает на пропитание шитьем, немцы уже заняли Францию. Она, вероятно, уже была в Мексике, когда до него только дошли слухи, что Мендесы уговаривают ее выехать последним пароходом. Гораздо позже — Гитлер между тем уже напал на Советский Союз — его известили, что она в безопасности, вдали от Европы. Сердце его готово было разорваться от радости и от боли. От радости, что она вне опасности, и от боли, что она вдали от него.

III

Партийное руководство в Мексике периодически вызывало из Испании подпольщиков, чтобы на основе их отчетов проанализировать положение.

Настоящее имя Энрике Гомеса было Альфонсо Варела. Когда в разговоре упоминали Альфонсо из Теруэля, все знали, о ком идет речь. Там он сыграл не последнюю роль в победе над франкистами, и всем это было известно. Неожиданно он получил задание выехать в Мексику для встречи с руководством и кружным путем, с новыми документами, добрался до Португалии. Чтобы до конца вжиться в образ человека, которым он стал по паспорту, он немного поработал в Кадисе на предприятии, изготовляющем судовой такелаж. Меры предосторожности и обусловленные этим задержки отняли много времени. Когда он наконец отплыл в одной каюте с пожилым мексиканцем, наступило лето сорок четвертого года.

Поднявшись на палубу, чтобы, как он говорил, глотнуть воздуху, он вдруг проникся уверенностью, что скоро увидит Селию. Расправил плечи. Понял, что теперь можно отдаться ощущению счастья и думать о Селии, не нарушая течения своей вечно напряженной жизни.

[1] Странная война *(франц.)*. *(Здесь и далее прим. перев.)*

Конечно, нужно было продумать отчет для руководства партии в Мексике, отчет этот был труден и суров. Он не мог себе позволить никаких записей. Запрет не был снят, он теперь и здесь не Альфонсо Варела, он — Энрике Гомес и обязан остаться таковым и на время плавания, и после прибытия. Вот почему требовался чрезвычайно точный отчет, на основании которого руководство смогло бы впоследствии сделать свои выводы; не расплывчатый, не приблизительно продуманный, не просто написанный и отбарабаненный,— этот отчет должен быть точно высечен резцом, точно вытесан из камня. Несмотря на эту задачу, он мог порой, вот как сейчас, с глубокой радостью вспоминать о Селии. Он не задумывался над тем, так ли она еще красива, как при расставании в Пиренеях, когда она в последний раз последняя в группе беженцев в отчаянии, но полностью владея собой, обернулась к нему, или менее красива, со следами болезни или тяжелой работы,— нет, над этим он не задумывался.

Он быстрыми шагами мерил палубу. Судно давно уже находилось в открытом море. Вечер поглотил последние береговые огни. Вскоре исчезла и вечерняя дымка. Ни огонька среди полного одиночества — ни берегового, ни корабельного. Только чуть подсвечен португальский флаг. Альфонсо поискал на небе созвездия, хорошо знакомые еще с юности. Интересно, в Мексике виден Южный Крест?

Он спустился в каюту и спросил об этом у соседа. Тот лежал неподвижно, но с открытыми глазами, потом медленно поднялся и сказал:

— Да. В Федеральном округе [1]. На севере не видно.

Он снова растянулся на койке, но ничего больше не говорил. Уроженцы этой страны, очевидно, не любили приставать к незнакомцам с расспросами и о своей жизни тоже рассказывали скупо. В душе Альфонсо радовался этому.

Зато в кают-компании его снова засыпали вопросами:

— Куда? Зачем? По каким делам?

Он встретил их во всеоружии. Все-таки удачно, что успел хоть недолго пожить той жизнью, о которой теперь пришлось подробно рассказывать. Он удовлетворил любопытство по всем статьям.

После обеда Альфонсо опять вышел на палубу. Он думал, с чего начать отчет. Потом улучил минутку, безопасную минутку, без свидетелей, чтобы подумать только о Селии. И отправился в каюту спать.

Сосед еще не заснул и на сей раз заговорил первым:

— Мне не мешает, что вы курите. Я просто лежу, без сна.

— Вы из Мехико?

— Да. Мы с братом управляем крупным универсальным магазином. Моя жена по материнской линии испанка. А наша единственная дочь — она недавно умерла — была замужем за португальцем, профессором химии. Из-за нее я и проделал путешествие в столь беспокойное время. Опоздал, успел только на похороны и на поминки.

Альфонсо произнес обычные слова соболезнования. Его удивило, что в своем печальном рассказе этот человек не преминул упомянуть, что в семье есть испанская кровь. Сам он внешне весьма походил на индейца.

В этом плавании Альфонсо вновь обрел крепкий сон. Но на следующую ночь его разбудили, тряхнув за плечо: кто-то прокрался в каюту. Первое, что пришло в голову,— бежать, как привык за минувшие годы. Однако в следующий миг он сообразил, что бежать тут некуда, да и причин бежать, наверное, тоже нет. Молодой португа-

---

[1] Столичный округ, где расположен город Мехико.

лец, судовой механик, с которым он играл в шахматы, потащил его к трапу:

— Я должен немедленно сообщить вам, что передают по радио. Такое творится! Второй фронт! Союзники высадились в Нормандии!

Альфонсо вскочил. Они с механиком прошли в радиорубку. Отыскали на карте места высадки десанта на нормандском побережье.

Офицеры и пассажиры встревожились, потому что союзники, очевидно, рассчитывают совместно с русскими уничтожить гитлеровскую Германию. Кто-то сказал, что все еще изменится, это, скорее всего, просто маневр. Молодой механик, с которым Альфонсо выверял по карте радиосводку, заметил:

— Этот маневр стоит много крови.

Обеих женщин бросило в дрожь от страха, когда речь зашла о немецких подводных лодках, которые наверняка рыщут теперь в Атлантике.

В каюте мексиканец заметил, что для него лично жизнь и так не представляет никакой ценности, а Мексика — на стороне союзников. Варела промолчал. Известие взбудоражило его. Когда Франция будет свободна вплоть до испанской границы, беспорядки мгновенно перекинутся на ту сторону. Только бы на родине нашлось достаточно людей, которые отыщут нужные слова, нужные лозунги.

Интересно, догадывались ли о чем-либо друзья в Мексике, приказавшие ему незамедлительно явиться? Едва ли. Все так долго и упорно ждали второго фронта, что никто уже не рассчитывал на его открытие в ближайшем будущем. С тех пор как он получил приказ выехать, прошли недели. Варела был рад, что в каюте темно, и притворился спящим. Эти женщины в кают-компании дрожат за свою жалкую жизнь. Жалкую? Почему жалкую? А сам я? Разве мне хочется погибнуть на последнем этапе, так и не встретившись с Селией?

Бессмысленно утонуть, вместо того чтобы сражаться в родных горах, когда испанское Сопротивление соединится с французским. Как бы то ни было, рано или поздно они с Селией навсегда поселятся в Испании, когда — это лишь вопрос времени.

За эти долгие годы он так много отдал жизни, и вот теперь он близок к тому, чтобы получить от жизни кое-что для себя. Но думая о Селии здесь, в каюте, или на палубе, мучительно, затравленно шагая взад и вперед, он неизменно начинал размышлять и о том, что может произойти на родине.

IV

В последние годы Селия оставалась внешне спокойной. Даже не была чересчур молчалива. Толковала с Анной Мендес и со знакомыми о разных разностях: о платьях, о детях, о погоде, о войне. Только тот, кто ее хорошо знал, догадывался, что с ней происходит.

Однажды она зашла к друзьям, к Мендесам. Во Франции Анна Мендес и Селия Варела вместе подрабатывали шитьем. Сразу по приезде в Мехико они, имея уже некоторый опыт, открыли модное ателье.

У Анны родился ребенок, которого она ждала еще на пути сюда, а старший сынишка скоро пойдет в школу. Навещая Мендесов, Селия с глубокой грустью смотрела на детей. Антонио Мендес понимал, о чем она думает: увидит ли мужа? будет ли у них ребенок? Он провожал ее к автобусу как раз на той неделе, когда руководство приняло решение вызвать, если возможно, Альфонсо Варелу. Тот не только знал, как обстоят дела в провинциях, прилегающих к Пире-

неям,— Каталонии, Арагоне, Басконии, он знал все важные опорные пункты в Испании,— они страшно поредели.

Ночная площадь была почти безлюдна. Стены слабо белели в лунном свете. Селия несколько раз покосилась на Мендеса. Они хорошо понимали друг друга. Росли по соседству.

— Тебя что-то беспокоит. Что? — неожиданно спросила она.

— Ничего, Селия, ничего,— ответил Антонио.

Вдруг у Селии в порыве отчаяния вырвалось:

— Что-то случилось с Альфонсо? — она попыталась взять себя в руки, робко сказала: — Я не вынесу, ты что-то от меня скрываешь.

— Ничего я не скрываю,— возразил Антонио Мендес.— С Альфонсо не произошло ничего дурного.

Она задумалась. Ее лицо в лунном свете на фоне белой, увитой бугенвиллями стены на мгновение вновь стало лицом девушки, которое когда-то в разгар игры повергло его, мальчишку, в изумление. Потому что он внезапно осознал, что в этой девочке есть нечто особенное, что именно, он тогда не понял, и они беззаботно вернулись к игре. Теперь ему вспомнилось то минутное замешательство. Он давно понял, что поразило его в детстве: красота, ее красота, пожалуй, даже нечто большее, чем красота чисто внешняя,— душа у нее была красивая. Вот что поразило его тогда и теперь вспомнилось снова.

Немного подумав, Селия сказала:

— Раз ты так твердо уверен, что у него все в порядке, значит, ты получил от него весточку.

— Нет. Пожалуйста, возьми себя в руки,— и, опасаясь, что может проговориться, он добавил: — Не спрашивай ни о чем. Не упоминай его имени. Уже один намек, одно упоминание его имени подвергает его опасности.

— Я не стану о нем расспрашивать,— сказала Селия,— но ты мой друг, единственный искренний друг в этой стране, ты скажешь мне, если услышишь что-нибудь об Альфонсо?

— Обещаю. А теперь успокойся. Повторяю: возьми себя в руки.

Она вскочила в автобус, автобус тронулся, и она еще раз оглянулась. Отсвет ее улыбки растаял в ночи, улыбки, сотканной из счастья и страха, надежды и тщетного ожидания.

Антонио еще раз спросил себя: не разболтал ли чего-нибудь насчет предстоящего закрытого заседания? Нет. Она допытывалась, смущенная тоном его голоса.

Дома жена спросила:

— Ты что, влюбился в Селию? Скажи откровенно.

— Нет.

— Считаешь ее красивее других женщин?

Он погладил жену по голове, подошел к детским кроваткам, потом вернулся к ней.

— Да, по-моему, она красивее других женщин. Только влюбленность тут ни при чем, совсем ни при чем. Ты меня понимаешь?

Анна больше ничего не сказала. Посерьезнела, задумалась. Занялась чем-то на кухне. Потом вернулась в комнату и присела за стол с шитьем. Антонио Мендес внимательно читал газеты на испанском и английском языках, временами что-то подчеркивая.

Он разметил на карте линию фронта.

— Красная Армия день ото дня продвигается вперед по Белоруссии, но нацисты — посмотри сюда — еще сидят в районе Днепра. Города Витебск и Орша пока еще у них в руках.

Жена склонилась над картой, не выпуская из рук шитья — не для ателье, просто чинила детскую одежонку. Она знала, как Антонио любил, когда она следит за ходом его мысли.

— После того как родишь ребенка да двоих детей растишь в чужой стране, после всего, что мы пережили и что нам, быть может, еще предстоит, женщине трудно выглядеть очень уж красивой, — сказала она, правда, мягко и кротко.

— Для меня ты всегда хороша. И лучше всех, и самая любимая, — сказал Антонио.

Анна промолчала. Антонио опять уткнулся в карту, рассуждая вслух:

— Видимо, пошел последний год войны.

Члены руководства ловили каждое слово Мигеля, точно событие, всем им известное, только сейчас, когда о нем заговорил он, обрело черты реальности и стало чревато последствиями. Еще до сходки они взвешивали, чем может обернуться для Испании и для них самих открытие второго фронта. Мигель спокойно и сдержанно разъяснял самое важное. В заключение он сказал:

— Самое позднее послезавтра, а может, уже завтра Альфонсо Варела прибывает в Веракрус.

Все испанские эмигранты, независимо от принадлежности к той или иной группировке, жили на чемоданах. Чемоданы в их квартирах были частью обстановки. Люди рассчитывали не на то, что останутся, а на то, что вернутся. Теперь уже скоро, думали они. Раз западные державы вступили в союз с Советами и сообща громят ось Берлин — Рим — Токио, дни Франко сочтены. Сочтены и дни, которые им придется еще провести в эмиграции.

— Приедет Альфонсо, это хорошо, — сказал Хосе. — Но кого мы пошлем в Испанию?

В своем докладе Мигель исходил из твердой убежденности, что вскоре Сопротивление в Южной Франции соединится с испанским.

— Ты уверен, что Франко чует свой конец? — протянул Хосе.

— Что ты хочешь этим сказать? Он коварен и жесток. Но не глуп.

Было решено как можно скорее послать в Испанию подходящего человека, чтобы сколотить там группу опытных товарищей, способную связать воедино нити, ведущие из всех провинций. А закончится это восстанием в Северной Испании.

— Допустим, так и произойдет, как мы надеемся. Кого мы пошлем? — опять спросил Хосе обычным своим сухим тоном, который казался вызывающим именно по контрасту с тем, как говорили другие.

Ехать был готов каждый. Но кто тот единственный, который сумеет сделать все как надо? Начались новые, резкие дебаты, прерываемые раздумьями. Наконец Мигель сказал:

— Лучший — Альфонсо Варела. Надо бы его выслушать, все взвесить и сразу же отправить с нашими инструкциями обратно.

Молчание подтвердило: Мигель прав. Варела приезжает из страны, которую прекрасно знает, и единственно верным решением было бы вернуться туда именно ему. Альфонсо не стоит попадаться здесь кому-либо на глаза, доложит руководству, согласует все — и назад в Испанию.

Паспорт ему, вероятно, выдали на определенное имя, связанное с определенной профессией. В этом случае ему придется жить здесь так, как требуют паспортные данные. Надежный человек в Веракрусе сразу же по приезде должен направить его в условленное место.

Договорившись обо всем, они расстались, более молчаливые, чем обычно. Антонио Мендес задержал Мигеля и выложил ему то, что его беспокоило. Мигель заметил:

— Нельзя, однако, допустить, чтобы Селия узнала о его приезде.

— Нельзя от нее это скрывать, — возразил Антонио Мендес.

— Твой долг — не говорить ей об этом.

— Даже если я ничего не скажу, она догадается по моему лицу.

— Вздор. Она постоянно пытается что-то прочесть по твоему лицу. Ты будешь молчать.

— Выслушай меня, Мигель...

— Она никогда не узнает, что он был здесь.

— За Селию я ручаюсь головой. Если она будет знать, что малейшее ее слово может поставить мужа под удар, она не проронит ни звука — ни во сне, ни под пыткой.

— Ах, Антонио, какой мне и всем нам прок от того, что ты ручаешься головой?

— Она просто-напросто гибнет у меня на глазах. Она живет лишь надеждой когда-нибудь встретиться с мужем.

— Она скоро его увидит, мы все вернемся домой.

— Мигель, ты можешь поручиться за это?

Они посмотрели в глаза друг другу. Помолчали.

Потом Антонио начал снова:

— Возьмем хоть самого Альфонсо. Повидать жену, побыть с ней хоть недолго, хоть три дня, хоть один день — это бы его здорово поддержало. Помогло бы выдержать поездку.

— Альфонсо ни в какой поддержке не нуждается.

— Нет нуждается, непременно нуждается. Он тоже человек. Его ожидают невероятные трудности. И пережил он уже немало. Ему нужен хоть лучик радости, всего только лучик.

Антонио заметил, что Мигель задумался. Он очень надеялся, что его друг не уедет, не повидавшись с Селией, пусть даже встреча их будет очень короткой.

V

Альфонсо привык подавлять любое чувство в зародыше, не давая ему завладеть собой. Иначе по приезде, когда проверяли документы, он бы испытал глубокое разочарование. Встречала его не Селия. К нему подошла пожилая женщина с морщинистым, поблекшим лицом. Мексиканка, но одета по-европейски, — здесь это, верно, называлось по-американски.

Она произнесла несколько приветственных слов и, шагая с ним рядом, объяснила, что в Мехико он должен зайти к владельцу мелочной лавки — «тлапалерии» — на улице Букарели и сразу спросить у хозяина, дона Пабло, о предварительно заказанном наборе решет. Дон Пабло сообщит ему все, что требуется. Альфонсо повторил указания.

Поезд карабкался в гору; сидя в купе, Альфонсо думал: «Очевидно, продолжается прежняя жизнь, со всеми предосторожностями». Вместе с ним в купе ехала чета американцев с дочерью. Лица у женщин отутюженные, как их платье.

Мать и дочь непрерывно удивлялись чему-то, чего не было у них на родине. Мужчину ничто не удивляло. Пассажир-мексиканец своей молчаливостью до того походил на соседа по пароходу, что Альфонсо чуть с ним не поздоровался.

Возгласы прильнувших к стеклу американцев заставили Альфонсо тоже посмотреть в окно. Между небом и землей возникли две одинокие снежные вершины. Он не вспомнил о Пиренеях, потому что

вершины были совсем иные, разъединенные и далекие. Их вид поразил его, наполнил покоем, быть может, потому, что он безотчетно ощутил, что они стоят вот так, в одиночестве, с незапамятных времен и будут стоять вечно.

На полустанке он купил газету. Он давно сказал себе, что Атлантический вал нацистов не более чем трепотня, — так и оказалось. Союзники высадились на территории Франции. Они уже заняли Руан. «Пробил час освобождения Парижа,— думал Альфонсо,— и нашего тоже».

Он был настолько измучен, что задремал. В полусне, без всякой связи, вспомнилось молодое, дерзкое, какое-то злое лицо матроса, вместе с которым он однажды вязал канаты на фрахтере «Санта Исабель». Он ясно представил его себе. Интересно, канаты были из того самого волокна, за которым его посылали? Наверняка нет. Иначе фирма не славилась бы исключительным качеством своей продукции. А матрос быстро говорил, поглядывая исподлобья:

«Слышь, ты со мной не болтай!»

«Я и не собираюсь с тобой болтать. С чего ты взял?» — рассмеялся Альфонсо.

«Знаю я, что ты за птица. Насквозь тебя вижу. Что бы тут с нами на судне ни вытворяли, плевать! Мне неприятности ни к чему. Скулить не стану. Просто хочу вернуться целехоньким».

Альфонсо опять засмеялся:

«Кто же тебе мешает? Во всяком случае не я».

«Да я насквозь тебя вижу. Ты из тех, кому вынь да положь справедливость. А я хочу покоя. Нет покоя справедливого и несправедливого. Покой есть покой. Слышишь? Отвяжись от меня».

«С чего ты взял? У меня нет ни малейшего желания с тобой связываться».

«Нет, есть. Я вижу».

«Что ты видишь?»

Парень не ответил. Оба молча вязали канаты. «Интересно, — спросил себя Альфонсо, — что он думает теперь, когда все начинается?»

Принесли свежую газету. Альфонсо моментально проснулся. Призвав на помощь свои скудные познания в английском, он переводил американцам. Французское Сопротивление повсеместно оказывало поддержку союзникам. И снова сжалось сердце: «Почему именно теперь я здесь?» Он решил не думать больше ни о чем, кроме отчета, который ему предстояло сделать, чтобы руководство правильно оценило новую ситуацию. Каждое слово имело решающее значение, так как предстояло действовать.

В Мехико он разыскал нужный район и улицу. Но и здесь он никак не мог отделаться от ощущения, что на него по-прежнему взирают две горные вершины.

Торговля дона Пабло, судя по всему, шла бойко. Альфонсо встал в очередь. Только на первый взгляд могло показаться, что здесь царит толкотня. Если очередь считала, что кто-то действительно торопится, его пропускали вперед. Нагловатый парень потребовал штопор для отца, сам он-де бьет бутылкой об стену, пока пробка не вылетит.

— Знаю, знаю, — сказал дон Пабло, — только почему твой отец расходует столько штопоров?

Потом женщина с двумя детьми — одного, маленького, она несла в ребосо [1], а второго, постарше, держала за руку — несмело попро-

[1] Ребосо — длинная шаль мексиканской индеанки.

сила новую сковородку, долго и так и эдак ее вертела, мялась, считая каждый сентаво, пока наконец дон Пабло не сказал с легким нетерпением, но добродушно:

— Остальное заплатишь после получки!

Затем он мигом, с шуточками, продал хорошенькой, модно одетой женщине садовые ножницы.

Альфонсо спросил, получен ли для него набор решет.

— Да, с последней партией. Взгляните, сеньор Гомес, — сказал дон Пабло. — Хорошо, если бы вы забрали все сразу. Вот счет. Вы платите, а мальчик тем временем отнесет решета в машину. Угол улицы Рио-де-ла-Плата?

— Да, благодарю вас.

— К вашим услугам.

За спиной Альфонсо уже выстроились новые покупатели. Путь к машине — несколько минут в глубь города. Прямо на мостовой девушки с длинными косами торговали помидорами, лимонами, зеленью. На огне жарилось мясо, вокруг теснились темнокожие и смуглые люди — обеденный перерыв.

Альфонсо и сам был голоден. Обычно он окончательно чувствовал себя на месте только там, где поел, однако сейчас у него не было ни минуты времени. Все это походило на обрывки снов, как бывает незадолго до пробуждения, — человеку необходимо встать, но он еще не в состоянии этого сделать.

Мальчик сложил решета в машину. Двадцать минут езды—и Альфонсо пересел в другой автомобиль. Наконец-то знакомое лицо: Хосе с его холодной, сухой усмешкой. Он вооружился ею после того, как не раз и не два хладнокровно и дерзко держался во время облав и на допросах, на волосок от смерти.

Хосе обнял Альфонсо:

— Ехать нам еще час. Потом встретишься с Мигелем и еще кое с кем. Как видишь, — добавил он, — я еще жив. Смылся из лагеря, не дожидаясь, пока меня сцапают нацисты. И с последним пароходом сюда.

— Селия тоже приехала с последним пароходом, — сказал Альфонсо.

— Да, — отрезал Хосе, и тон его показался Альфонсо вызывающе сухим.

В сердце шевельнулся страх. И все же ему претило расспрашивать Хосе о ней. Сам Хосе упорно молчал. Он ничего не знал о тайном и кратком свидании, на которое в конце концов дал разрешение Мигель.

Приезд Альфонсо взволновал всех не только потому, что он прибыл именно сейчас. Каждый курьер из Испании воскрешал в памяти одного крохотное поле, оливковую рощу или внутренний дворик — патио, в памяти другого — гулкое эхо шагов на городской мостовой, заводские ворота, дверь мастерской. И как никогда живо, словно обретая крылья, вокруг гостя издалека витали сотни лиц, погибших и живых.

Товарищи обнимали Альфонсо, наседали с расспросами. Мигель почти грубо оборвал приветствия:

— Каждая минута на счету. Начинай, Альфонсо!

Немного подумав, очень четко, от напряжения испытывая почти физическую боль, Альфонсо изложил все, что требовалось. Затем последовали вопросы, резкие, как удары бича, робкие, долго таившиеся в глубине души. Мигель отметил себе пункты, оставшиеся для него неясными в отчете Альфонсо.

Наконец, после многочасового совещания, Альфонсо согласился на предложение Мигеля. В сущности, кто лучше его подходит, чтобы сразу же вернуться в Испанию? И ум, и сердце подсказали ему это еще во время споров. Но какими словами выразить желание увидеть Селию, которое разгоралось в нем все сильнее.

— Стало быть, — как бы вскользь заметил Мигель, будто отвечая на вопрос Альфонсо, — тебе придется сделать закупки для твоей фирмы проформы ради на случай, если за тобой следят. Отъезд не позднее чем через десять дней. А лучше бы через десять минут. Но мы не настаиваем, мы даем вам с Селией три дня. Для вас уже подыскали пристанище на окраине Таско. Там она тебя ждет. Туда за тобой и приедут. Ясно, дружище?

— Ясно.

VI

Услышав шум подъезжающего автомобиля, Селия вскочила и бросилась навстречу Альфонсо. Они сразу же пошли в прохладный, освещенный солнцем сад. Обоим казалось, будто они никогда не разлучались. Разве во время гражданской войны им не приходилось вот так же ждать каждой встречи и в первую же минуту забывать тревоги ожидания?

Альфонсо решил первые два дня вообще не думать о неминуемой разлуке. Поговорить об этом с Селией он собирался лишь в последний день, за час до того, как за ним приедут. Это решение не стоило ему особых усилий. Так было всегда, во время каждой недолгой передышки. Все, что осталось позади и что его ожидало, пока забыто.

Они забрались в глубь сада. Длинные полосы утренних теней не затемняли его, наоборот — цветы жакаранды как бы лучились нежно-голубым светом, поблескивали тонкие серые стволы, эвкалипт и перечное дерево забирали ровно столько солнца, чтобы оставалось и прохладно и светло. Когда Альфонсо приезжал с фронта на краткое свидание, взгляд его всегда был ясен, ясны и прозрачны были его светлые глаза, до самой глубины, и куда падал его взгляд, там тоже становилось светло и ясно.

В гражданскую войну Селия работала машинисткой в штабе, за линией фронта, а когда фронт шагнул на север, канцелярия вместе со штабом тоже перебралась на север. Случайны и очень неопределенны были всегда их встречи.

Она откинула голову и одним легким движением попыталась смахнуть у него со лба все, что омрачало Альфонсо, однако сейчас никакие особые заботы его не тяготили.

Хозяйка позвала к столу.

— Я на минутку присяду с вами, если позволите.

Конечно, что же тут такого? Времени у них полным-полно. От стола было видно, как в саду поблескивают капельки воды. Женщина сообщила, что в саду сейчас включены дождеватели, но вообще-то им всегда приходится пользоваться водой по расписанию. Ее муж — он был врач — в свое время выходил сына того начальника, который у них в городе распределяет воду, у него ключи от водопровода, и он открывает его по часам. Большинству женщин приходится ходить за водой к большой колонке, а ей он из признательности разрешил провести свой водопровод, да еще всего в четыре-пять домов, да большой отель напротив имеет душевые и ванные — страшно подумать, какие на это ушли сумасшедшие деньги.

Селия и Альфонсо молчали, потому что история о человеке, распределяющем воду, навела их на мысль о временном пределе, кото-

рый им в их положении нельзя было преступить. Хозяйка продолжала:

— Я читала, помещики, которые в Испании сызнова сидят по своим усадьбам, в засуху так направляют воду, что она течет только на их собственные земли, а чужим, мелким участкам достается в лучшем случае жалкая струйка.

— Вероятно, так оно и есть,— коротко сказал Альфонсо.

Все его существо пронзила мысль — более сильная, чем желание не думать ни о чем, кроме счастья: «Это сейчас там так, но осталось уже недолго». Эта мысль словно пряталась за словами. Он посмотрел на Селию. Ее лицо было безмятежно. Она, видимо, даже толком не прислушивалась. А хозяйка подумала, что у нее в жизни не было таких беспечных гостей.

После ужина они пошли не в сад, а сперва через дорогу, потом миновали холмы. Плантации маиса, нищая деревушка, ограды из кактусов. Он с удовольствием порасспросил бы Селию, ведь она должна знать страну.

— Ты что-нибудь слышал о моей матери? — неожиданно спросила Селия.

— Откуда? — ответил он.

— А о семье Гаитан?

— Откуда?

Тогда она крепко прижалась к нему, точно обоим грозила опасность изменить своему счастью и потерять друг друга во мраке. Темнота наступила внезапно. Вместе с вечерней звездой меж холмов блеснул огонек. Деревня по бедности оставалась почти без света, небо же как-то вдруг ярко вызвездило.

Они вернулись к себе, в гостеприимный домик с садом. Чудо, что они нашли друг друга между жизнью и смертью в расколотом, безумном мире.

Следующий день был хорош как никогда.

— Сезон дождей скоро кончится,— сказала Селия.— Все в цвету. Солнце пока не палит, оно мягкое и несет прохладу.

На третий день они ходили взад и вперед по садовой дорожке. Его рука поддерживала ее локоть.

— Селия! — вдруг начал он.

Голос его изменился. Она быстро обернулась и ладошкой закрыла ему рот:

— Я знаю, что ты сейчас скажешь. Молчи. Я знала об этом еще до того, как ты сюда приехал. Мне не хотелось укорачивать наше и без того короткое свидание. Ты снова должен уехать.

И он не стал удивляться:

— Когда мы расставались, я обещал тебе, что мы встретимся вновь, я сдержал обещание и сейчас опять повторяю его. Только мне больше не нужно будет приезжать. Ты сама ко мне приедешь.

Она проводила его до калитки, к машине. Хозяйке расставание показалось таким беспечным, что она лишь спросила:

— Он сюда за вами приедет?

— Пока не знаю. Может, я к нему поеду, может, он приедет за мной.

VII

В последующие недели Селия держала себя в руках, не задавала ненужных вопросов, на которые Антонио Мендес не захотел бы и не мог бы ответить. К ней словно опять вернулась былая веселость и разговорчивость, и прежде всего это было заметно в ателье мод, которое

она держала вместе с Анной Мендес. Клиентура у них была хорошая. Оставаясь одна, Селия внимательно читала газеты. В них подробно сообщалось об освобождении Франции от нацистов, о продвижении Советской Армии на запад. Двадцатого июля 1944 года газеты вышли с огромными шапками: «Провал покушения на Гитлера!» Положение нацистов было угрожающее, но сдаваться они пока не собирались.

Мексика признавала законным эмигрантское правительство испанских республиканцев, а не диктатуру Франко. Однако о том, что происходило в Европе после открытия второго фронта, Селия узнавала не только из газет и не только из бесед с товарищами, которые по-прежнему волновались и надеялись, но и от других посторонних лиц, с которыми ее сводил случай и профессия портнихи.

Одна из клиенток часто делала в ателье крупные заказы. Вкусы ее совпадали со вкусами Анны Мендес и Селии Варела. Семья клиентки была родом из Канады. Родители ее мужа были люди состоятельные; муж учился в колледжах, говорил на нескольких языках. Сначала он был совладельцем издательства, затем вступил на дипломатическую стезю и был теперь посланником своей страны в Мексике.

Селия почти не задавала вопросов, хотя была примерно одного возраста с клиенткой и порой не отказывала себе в удовольствии поболтать с ней и выпить чашечку кофе. Мадам Дюверже, так звали канадку, пригласила Селию к себе в загородный дом в Куэрнаваке, чтобы обсудить с нею весь свой гардероб — от костюмов до вечерних платьев. Ее муж Робер должен был в составе новой миссии выехать во Францию, как только там кончится неразбериха. В конце концов скоро по всей Европе придет конец этой ужасной войне и фашизму. Ее муж, сказала мадам Дюверже, будет очень рад, если Селия поживет у них денек-другой, тогда он сможет немного поупражняться в испанском — это пригодится потом на службе.

Мадам Дюверже не раз благодарила счастливый случай, приведший ее в ателье мод двух испанок. Она знала, что после победы Франко Селия пробралась через Пиренеи во Францию, а оттуда — в Мексику. Она восхищалась ровным веселым нравом Селии — и это после всего пережитого! — ее внешностью, ее вкусом.

Антонио Мендес почувствовал едва ли не облегчение, узнав, что Селия уезжает на несколько дней. Правда, она ни о чем не спрашивала, но ему казалось, что он читает в ее лице немое, все более напряженное ожидание. Он и сам был в напряжении, почти в отчаянии. Давным-давно истек срок, когда Альфонсо должен был сообщить им о своем благополучном возвращении. Сообщение не пришло, и ни в одном сообщении с родины об Альфонсо не упоминалось. Чуть ли не каждую весточку, так или иначе попадавшую к ним в руки, можно было истолковать двояко: с одной стороны, она содержала информацию, которая все больше и больше обнадеживала, почти — но в том-то и дело, что почти,— перерастала в уверенность, а с другой стороны, в следующем сообщении, а порой и в том же самом содержалось нечто неопределенное, шаткое.

Мигель не думал, что Альфонсо мог быть причастен к вспыхнувшим на севере восстаниям и к стачке в Астурии; в это время Альфонсо еще находился в пути. Он узнал, что друг и связной Альфонсо арестован. Вскоре после этого были схвачены двое очень ценных, столь же толковых, сколь и осторожных товарищей. Кажется, думал Мигель, именно теперь Франко начал действовать особенно решительно и жестоко, но полной уверенности ни в чем не было, и с товарищами своими сомнениями не поделишься. Франко ведь не просто хищный зверь, который отбивается из последних сил. Он хищник опасный, всегда готовый к прыжку. К тому же он уверен в себе.

У него есть твердая опора, поддержка. Американцы? Что же, они вместе с Советами воюют против Гитлера. Только вот наш человек намекает на некие тайные переговоры между франкистами и американцами. Порой подпольщику в порту, на заводе или в отеле известно больше, чем посланнику в его посольстве.

Антонио Мендес был ошеломлен, когда однажды вечером его жена Анна, сидя с ним вдвоем, тихо и задумчиво сказала, что она уверена: Селия ждет ребенка. На его возбужденный вопрос Анна ответила:

— У нее это на лице написано, когда она смотрит на наших детей, да и по всему ее виду заметно.— Она помолчала и добавила: — Раньше она мне твердо заявляла, что хочет и будет иметь ребенка только от Альфонсо.

Антонио испугался. Он никому, в том числе и жене, и словом не обмолвился о кратком визите друга. Ему не верилось, что Селия могла проговориться.

Анна мысленно соединила множество нитей и долго их распутывала. Несколько недель тому назад, а может, и месяцев ее муж некоторое время особенно часто и упорно отмалчивался; он тогда ездил к Мигелю, куда-то за город. С этих встреч он возвращался большей частью взволнованный, и ему ужасно хотелось чем-то поделиться с нею. А разве Селия в то время не уезжала на несколько дней под каким-то предлогом, вот как сейчас в Куэрнаваку по приглашению семейства Дюверже? После она непонятно почему показалась Анне изменившейся. И теперь у Анны зародилась уверенность: курьер, которого тогда ожидали, был Альфонсо. Своему мужу Анна только сказала:

— Нет. Селия не сказала мне ни слова.

Оба умолкли.

Невозмутимая, спокойная, веселая — такой видели Селию обитатели загородного коттеджа в Куэрнаваке. Мадам Дюверже знала, что изящная и неизменно любезная портниха далеко не всегда занималась шитьем, хотя у нее и был к этому талант. Ей было ясно, что Селия республиканка и живет здесь в эмиграции. Сама Селия крайне редко роняла одно-два слова о своем прошлом и о бегстве, вроде:

— Вот это пальто, которое я иногда здесь надеваю — отчасти как память, отчасти потому, что оно все-таки полезно, когда вдруг ни с того ни с сего холодает,— я его носила, еще когда мы перебрались во Францию.

Мадам Дюверже думала: «Храбрая женщина, никогда не унывает», но ни о чем не спрашивала. Ей хотелось свести Селию с новой заказчицей. На вилле гостила супружеская пара — муж когда-то работал у Дюверже в издательстве. Кроме них, среди гостей был молоденький канадец по имени Генри Филд, он вместе с мужем мадам Дюверже собирался в Европу.

Генри Филд, хорошо говоривший по-французски, тоже хотел попрактиковаться в испанском. Теперь почти не вызывало сомнений, что Дюверже станет посланником во Франции, а Генри Филд — атташе. По работе, говорили они, им желательно знать и испанский.

Генри Филд выглядел мальчишкой. Издатель производил впечатление ученого. Женщины листали модные журналы. Генри Филд часто прерывал их беседу, посматривал на Селию, не скрывая, что она ему нравится.

За столом он сидел между нею и женой издателя. Он считал, что тут открывается отличнейшая возможность потренироваться в испанском. И Селия объясняла различия между языком мексиканцев и тем испанским, на котором говорили у нее на родине.

Выпито за столом было довольно много. После мужчины выпили еще. Генри Филд отведал и то, и другое, но в конце концов вернулся к своему виски. Селия, смеясь, удерживала его. Тогда он решительно перебрался со своей бутылкой в образовавшуюся тем временем мужскую компанию. Селия листала то моды, то иллюстрированный журнал.

— Бои быков. Прадо, Эскуриал! Надеюсь, мы скоро туда попадем,— то и дело доносился до нее по-мальчишески звонкий голос Генри Филда.

И через некоторое время снова:

— Чертовски хитрая лисица этот Франко. Послал разок Гитлеру свою Голубую дивизию, а сам тихо-мирно остался вне игры. Держал нейтралитет в этой проклятой войне.

Селия все смотрела и смотрела в журнал, будто ее там что-то необычайно занимало. Хозяин дома, будущий посланник Дюверже, сказал:

— Северную границу он приказал перекрыть наглухо. Там больше ни людей, ни оружие не переправить. Он беспощадно подавляет малейшие попытки восстания в Басконии и Каталонии.

— Теперь там, небось, арестовывают и убивают еще больше людей, чем в конце гражданской войны,— спокойно заметил издатель.

Мальчишески звонкий голос Генри Филда без труда перекрыл остальные:

— Причем совершенно безнаказанно. Ведь эта хитрая лиса, этот пройдоха, как я уже говорил, сохранял в войне нейтралитет и не скомпрометировал себя, не примкнув ни к немцам, ни к итальянцам. Теперь американцы могут преспокойно вести с ним переговоры. Ах, Дюверже, когда нас пошлют в Мадрид?

Селия перелистала несколько страниц и теперь глядела на какую-то фотографию. Филд от возбуждения вдруг встал, потом снова сел. Селия скомкала что-то в руке.

— Стоп! Стоп! — смеясь воскликнула мадам Дюверже.— Наш рисунок!

Селия тщательно расправила листок. Она думала: «Какие же они все-таки мерзавцы! Какой подлец этот Генри Филд. Бездумен, глуп, черств. Ни веры, ни цели. Должность в Мадриде. Вот его цель — сохранить за собой пост атташе. Остальное ему безразлично».

VIII

Того, на что надеялись Мигель и его товарищи, в чем они были уверены, не случилось. Франко не ведал пощады, защищая отвоеванную власть.

От страстных надежд отказаться не так легко. К большим разочарованиям нельзя привыкнуть. Разочарование, ожидание, новое разочарование и снова надежда — вот что они читали в глазах товарищей. Но мало-помалу измученным сердцем, умом они наконец стали понимать, что о возвращении на родину по-прежнему нечего и думать.

Однако происходившее или не происходившее в Испании никак не объясняло, отчего не было вестей от Альфонсо Варелы. Ему давным-давно полагалось сообщить о себе, если только... да, если только он не сидел в переполненной тюрьме, ожидая приговора, схваченный, возможно, сразу же по приезде.

Теперь все видели, что Селия ждет ребенка. Несмотря на отчаянную надежду на возвращение домой и горечь из-за того, что вновь и вновь приходилось отказываться от этой мысли, начались обычные

домыслы, как в любой большой семье, пересуды о всяких важных и неважных обстоятельствах. Один говорил другому:

— Стало быть, она нашла-таки себе дружка.

— К счастью.

— Не знаю. На Селию, по-моему, это как-то не похоже.

— Испанец?

— К ним в ателье ходит столько иностранцев. Она запросто бывает во многих семьях. Небось, какая-нибудь интрижка.

— Нет, Селия умеет любить, на интрижки она неспособна.

— Поживем — увидим.

Селия переехала на квартиру Хосе Батисты — там освободилась комната. Со стороны Хосе казался человеком расчетливо-холодным, желчным, дерзким и жестоким — в уголках его губ словно запечатлелась насмешка после всех допросов и побегов,— но у себя дома он был весьма заботливый отец и муж. Он постоянно опекал жену и дочь Габриэлу. Когда пошли разговоры о Селии и предполагаемом отце, Хосе вспомнил, как ему поручили со всеми предосторожностями переправить Альфонсо Варелу за город к Мигелю. Он сказал себе: во время этого краткого визита муж и жена виделись. Может, товарищ, который говорил, что в сумерках встретил Альфонсо, случайно с ним столкнулся.

Дочь Хосе Габриэла, совсем юная девушка, очертя голову влюбилась в мексиканца. Его отец имел ферму довольно далеко на юге, сын частенько приезжал в город, чтобы сбыть табак. В школе вместе с Габриэлой училась одна из его родственниц. Между девушками пробежала черная кошка, когда сын табаковода перестал ухаживать за родственницей и вдруг весьма решительно собрался жениться на юной испанке. Отец его был страстный приверженец президента Карденаса, который национализировал иностранные нефтяные компании. Ферма их была невелика, но требовала неустанного труда и присмотра. По взглядам люди были вполне порядочные, этого Хосе Батиста отрицать не мог, но и ему и жене они казались глубоко чуждыми. А дочь возьми и влюбись в симпатичного гордого парня. Ее больше тянуло на южное ранчо, чем на родину, которую она покинула в раннем детстве.

Перед любовью отступала мысль о том, что она, Габриэла, будет жить вдали от отца с матерью, вдали от ближайших друзей. И Хосе, ее отец, глубоко переживал то, что собственная его жизнь со всеми опасностями — побегом, арестом, новым побегом, он не раз об этом рассказывал,— его жизнь вовсе не оказала на Габриэлу того влияния, как хотелось бы ему. Она с легкостью рвала связи между собой и товарищами по несчастью, очевидно, не так уж сильно ощущала эти связи и эту общую судьбу.

После свадьбы, к которой Хосе с женой отнеслись очень болезненно, в комнату дочери переехала Селия. Лучшего жилья для себя и будущего ребенка она бы не нашла. Ей даже удалось кое-как утешить Хосе:

— На что ты жалуешься? Они ведь хорошие люди. Габриэла любит парня, а он ее. Когда нам пришлось уехать, она была ребенком.

— Надо же! Именно ты это говоришь! А разве то, что она знает обо мне, обо всех нас, не в счет?

— Да нет, это еще придет, только не сразу, постепенно. Там, на ранчо, она будет рассказывать обо всех нас.

У Селии и Анны Мендес неожиданно появилось множество работы. Прежде всего заказы канадки. Та, похоже, вряд ли и заметила, что после визита на виллу приязнь Селии к ней поостыла.

Открытие новой миссии в Париже задерживалось. Мадам Дюверже попросила у Селии совета относительно нарядов, которые ей понадобятся, чтобы приехать одетой как подобает в этот город, где, как всем известно, придают таким вещам огромное значение.

Селия слишком нуждалась в деньгах и нуждалась в работе, чтобы раздумьями не доводить себя до отчаяния. Ребенок должен быть весел и здоров. Она никогда не спрашивала об Альфонсо, твердо верила, что Антонио сразу передал бы ей весточку. Антонио мучился из-за этого мужественного молчания. Порой у него даже мелькала мысль, хотя и минутная: не лучше ли сказать, что есть известие, к чему держаться жестокой правды? Почему даже о его прибытии не сообщили? Сразу по приезде арестован? Или уехал на юг, раз схватили друга? Погиб? Или сидит в тюрьме?

И все же он запретил себе придумывать что-либо потому только, что взгляд Селии был для него мукой. И вот в последнюю военную зиму, незадолго до того, как Селии пришло время родить, из Франции поступило сообщение, что Альфонсо добрался благополучно, только никому не известно, где он теперь, и это, мол, к лучшему. Вскоре было получено письмо от сестры Анны, которая была замужем за французом и помогала обеим женщинам, когда они приехали во Францию. Время от времени через эту сестру переправляли почту.

Когда Альфонсо приехал, его успели предупредить, чтобы он не появлялся на такелажной фирме. Там уже наводили о нем справки, там его ждала полиция. Где-то на допросе вырвали его имя у кого-то, кто полагал, что он за пределами страны и в безопасности. Теперь Альфонсо был вынужден вести ту же жизнь, что и до отъезда: постоянно меняя имена и переезжая с места на место.

— Скоро мы его увидим, твоего отца, правда-правда,— утешала Селия еще не родившегося ребенка.

Она твердо верила, что родится девочка и назовет она ее Луисой.

Советская Армия с боями продвигалась на запад. В августе был освобожден Париж. Однако в декабре гитлеровскому генералу Рундштедту удалось на короткое время оттянуть развязку, ценой огромных жертв, оставляя множество убитых и изувеченных. Кровь, пролитая тогда в Арденнах, вновь влила в нацистов несколько капель надежды.

Муссолини был схвачен недалеко от швейцарской границы и расстрелян вместе с любовницей: тела их подвесили за ноги вниз головой. Гитлер покончил с собой в бункере, когда советские войска вступали в Берлин. Но Франко сидел в Эскуриале. Ежегодно он торжественно отмечал день, когда высадился в Испании со своими марокканцами.

Ребенок Селии появился на свет в марте сорок пятого. Свет этот был одновременно и сумеречный и пронзительный, словно пробивался сквозь мощную древесную крону.

IX

В последующие годы Селия по-прежнему придумывала фасоны и шила в ателье. Она всегда-то была довольно спокойная, а теперь и вовсе притихла.

Однажды вечером, оставив дочку на попечение сеньоры Батисты, она, как в былые дни, поехала навестить Мендесов.

Семейство Батисты было привязано к Луисе почти так же сильно, как раньше, а может и сейчас, к своей дочери Габриэле. Луисе было уже четыре года. Девочка была веселая, жизнерадостная, как некогда ее мать. Она давно уже играла с соседскими детьми, носи-

лась вихрем, точно листочек, не ведая тягот, которые несли взрослые.

Селия обрадовалась, застав Анну одну.

— Ты-то мне и нужна. Опять у нас с тобой в ателье и дома полно работы для мадам Дюверже, да еще и для ее приятельницы.

— Одной — вечернее платье, другой — послеобеденное,— сухо сказала Анна.— Мадам Дюверже написала подруге, что в Париже носят совсем не такие широкие юбки, как считают тут, рассуждая о французской моде. А потом умоляла меня достать еще два метра материала в том же магазине...

— Я хочу тебя спросить,— сказала Селия,— потому-то так срочно и заехала... что она стоит, по-твоему, я имею в виду как человек, эта Дюверже?

— Как человек? Я не совсем тебя понимаю.

— Дело вот в чем, Анна.

И Селия торопливо, волнуясь, рассказала: она получила первое письмо из Испании через лавочника дона Пабло, адрес которого дала своей парижской приятельнице Жаклин. Письмо из Испании переслали ей через эту Жаклин, письмо от тетки Хосефы, которую Селия помнит очень смутно. Ее мать живет теперь у этой тетки — состоятельной старшей сестры. Та пишет, что взяла мать Селии к себе в загородный дом. Несчастная женщина смертельно больна; самое горячее ее желание — еще раз повидать единственную дочь. Порой ей мерещится, что достаточно позвать Селию,— она ведь давно перестала понимать, что дочь живет очень далеко. Кстати, сама Хосефа тоже этого не понимает. В конце письма тетка прибавила: «Если хочешь еще раз повидаться с матерью, приезжай немедленно».

— Здесь нет франкистского консула,— сказала Селия.— Чтобы испанский консул в Париже пустил меня на родину, сомнительно. Даже французский консул тут в Мексике не дает испанским эмигрантам разрешения на въезд во Францию. Если Дюверже хоть сколько-нибудь порядочный человек, она могла бы мне помочь. Консулы нередко ладят между собой.

Анна изумленно посмотрела на подругу:

— Ты с ума сошла!

— Я? Почему? Что тут сумасшедшего? Увидеться с матерью и показать ей ребенка?

Тем временем вернулся Антонио Мендес.

— Селия не сошла с ума,— сказал он,— часть нашего руководства скоро переедет во Францию. Каждый изыскивает путь. Ваша Дюверже, вы сами всегда говорили, женщина добрая.

— Но ведь Селия не член руководства.

— Тем более, за ней не будет постоянной слежки.

В тот вечер о деле больше не говорили. Селия вернулась к ребенку.

Однажды мадам Дюверже снова объявилась в Мексике. Решила продать загородный дом. Она, как прежде, выпила с Селией кофе, выслушала ее просьбу и искренне ответила, что охотно поможет. Вместе с частью персонала миссии она выезжает в Париж, и Селию с дочкой без труда можно включить в списки.

Отъезд откладывался, так что известие о смерти матери застало Селию еще в Мексике. Селия печально и спокойно, но решительно заявила, что все равно поедет.

За два дня до отъезда Селии в семье Батисты произошло событие, вынудившее Селию вернуться в дом Антонио и Анны. Хосе Батиста очень обижался, что его дочь Габриэла ни разу не выбралась в Мехико вместе с мужем, когда тот приезжал в город по табачным

делам. Ей давно пора бы навестить родителей и показать им малыша. И вот наконец она сообщила о своем приезде. Габриэла ждала уже второго ребенка. Супруги Батиста поссорились. Жена сказала, что о комнате в гостинице не может быть и речи. Зять, мол, в жизни не поймет, что в собственном доме принимают не всех. Дочь даже написала: оставайтесь на своих постелях, папа и мама, мы можем переночевать на полу.

Селия же как обычно спокойно и весело посмеялась над ссорой супругов и уняла Хосе: Габриэла, мол, по-видимому, довольна замужеством.

Она освободила комнату. Несмотря на все предотъездные хлопоты, ей все же хотелось повидаться с Габриэлой.

— Да, Селия,— тихонько сказала Габриэла на прощание,— я жду второго ребенка. Неужто все прочее сон? Отец думает, я совсем забыла Испанию. Ах, Селия, порой мне кажется, что моя жизнь на этом ранчо — всего лишь сон, а вот пережитое в детстве в Испании было истинной реальностью.

На один из последних обедов с Мендесами Селия принесла дочку.

— Ношу ее в ребосо, как мексиканка,— сказала она.— Мне всегда ужасно хотелось, чтобы Луиса хоть разок поиграла с вашими ребятами.

Антонио Мендес серьезно и задумчиво посмотрел на нее. Жена его возилась с детьми.

— Когда ты и вправду приедешь на родину,— начал Антонио,— ни на секунду не забывай, что, может статься, за каждым твоим шагом следят. Если ты попытаешься встретиться с Альфонсо, свидание может оказаться роковым и для тебя, и для него.

— Мигель как-то рассказывал,— вмешалась Анна,— вскоре после того как Гитлер захватил в Германии власть, тамошняя тайная полиция—гестапо — в записной книжке одного важного человека, которого они арестовали,— по-моему, он был руководитель молодежной ячейки — обнаружила дату... просто нацарапано какое-то число... и вот шпики незаметно крались за арестованным по городу. А тот, издали заметив своего друга, бросился под машину. Сбежался народ, друг скрылся. Понимаешь, почему я об этом вспомнила?

— Да,— кивнула Селия.— Не беспокойтесь.

Провожая Селию на аэродром, где ждала Дюверже, Антонио Мендес сказал:

— Сознайся, Селия, ты, конечно, едешь для всех нас, с заданиями, которые получишь в Париже, и все-таки не только для всех нас. Надеешься встретиться с Альфонсо?

Селия удивленно взглянула на него.

— Как можно отказаться от надежды? Мы непременно встретимся вновь. Я знаю.

Селия с ребенком уехала, дочь Хосе Габриэла с семьей снова отправилась на ранчо. А Хосе вскоре стал обращаться с женой сурово, резко, чего никогда прежде себе не позволял. Новые жильцы в освободившейся комнате часто менялись, потому что не выдерживали его грубости. Габриэла писала редко и больше не приезжала.

X

Луисе было безразлично, куда ехать: автобусом в Мехико от Батисты к Мендесам или самолетом через Атлантику с мадам Дюверже и сотрудниками канадской миссии — лишь бы мама сидела рядом, обнимая ее за плечи. В Париже она удивлялась, не понимая, о чем

вокруг говорят, но Селия ей тут же многое объясняла. В Испании она встревожилась, но не потому, что речь звучала по-иному и ей приходилось напрягать внимание, а потому, что от волнения Селия крепко сжала ей плечи. Девочка то и дело искоса поглядывала на мать. Что случилось? Что еще случится? Почему мама так переменилась в лице?

Селия благополучно выдержала расспросы в испанских представительствах в Париже и на границе. Больше всего ей помогло письмо тетки Хосефы. Покойный муж тетки, негоциант Альберто Рамирес, был уважаемым гражданином, в прошлом владельцем известной фирмы в городе Б., занимавшейся оптовой торговлей текстилем.

Селия нигде не упоминала, что еще в Мексике получила от тетки Хосефы второе, суровое и полное упреков письмо с известием о смерти матери. Иначе причины ее возвращения на родину сочли бы сомнительными.

Теперь она ехала с дочерью почти тем же путем, каким покидала Испанию. Снова ожили мельчайшие подробности. Ей даже не приходилось напрягать память. Вот здесь наша группа еще раз разделилась. Остались мы с Анной Мендес, детский дом и еще несколько присоединившихся к нам беженцев. Альфонсо и двое его товарищей были то с нами, то с другим отрядом. Здесь нас отрезали от главного потока беженцев. Интересно, почему сейчас звонит колокол? Почему мы так долго стоим? Я узнаю два огромных пня от поваленных деревьев, их почему-то так и бросили здесь, на задворках вновь построенных бараков, только теперь они сплошь покрылись зеленью.

Мы едем сейчас сквозь подлинное, по-настоящему прожитое время, а все годы, что были потом,— в сущности прах. Кроме тех дней с Альфонсо, те были настоящие, те не были прахом.

— Меня зовут Конча,— сообщила приветливая пожилая женщина, встретившая их в Б. в городской квартире тетки Хосефы.— Сеньора Рамирес почти безвыездно живет за городом. Ах, это ваша дочурка? Ну и красоточка!

Она принесла кофе и печенье. Наверное, почувствовала, как они проголодались.

Селия обвела взглядом комнату. Картины на стенах, старинные и новые, весьма неплохие. Селия только опасалась, что девочка испугается распятия, стоявшего на низком постаменте. Лицо Христа, отмеченное печатью перенесенных и грядущих страданий, было до жути близко. Но Луиса, привыкшая к мексиканским распятиям и святым, лишь спросила:

— Почему кровь течет не красного цвета?

Только когда Селия была вынуждена оставить ее под присмотром Кончи, уверяя, что она скоро вернется, девочка расплакалась. До сих пор Луиса плакала всего три раза в жизни. Теперь она заявила, что намерена плакать, пока не вернется мама. Конча заметила, что у нее не хватит слез, а она возразила:

— Вот увидишь, хватит.

— Нет,— сказала Конча,— вот я возьму и вытру их этим платочком. Смотри, на нем вышиты ангелы и звездочки, и у тебя больше ни одной слезинки не прольется.

Луиса мгновенно погрузилась в тихое терпеливое ожидание.

Селия отправилась в деревню Сан-Педро. Тут у нас был привал. Говорили, что атака удалась. Мы были счастливы. А потом Франко снова отбил деревню.

Селия остановилась перед белым фронтоном загородной виллы. Рамирес приобрел ее после гражданской войны вместе с небольшим земельным участком, чтобы жить помещиком. Одновременно он занимался банковскими операциями.

Хосефа Рамирес, старшая сестра покойной матери, в молодости была недурна собой. Замуж за этого состоятельного человека она вышла еще до гражданской войны. Селия смутно припоминала их единственного сына, кузена Эмилио. Рамирес выгодно продал свою оптовую текстильную торговлю незадолго до победы Народного фронта на выборах. Он всегда заранее предвидел возможные перемены и полагался на стойкость собственных воззрений. Уже тогда ему инстинктивно не нравилось, что младшая сестра Хосефы вышла замуж за врача-республиканца. Правда, поначалу свояк с невесткой бывали у них в гостях на городской квартире. В ту пору иметь такого свояка было скорее полезно, чем вредно. Ребенком Селия изредка играла с кузеном Эмилио. Потом произошел мятеж генералов; высадка Франко с марокканцами. Невзирая на упорное сопротивление республиканцев, несмотря на Интернациональные бригады, Альберто Рамирес чуял: Франко победит. И он запретил своей жене Хосефе беспокоиться о семье врача-республиканца. Он остался в городе, когда туда вступил Франко.

Привратница с любопытством покосилась на Селию,— очевидно, ее ждали. Комната, куда ее провели, тоже была недурна. Высоко на стене распятие, на сей раз готическое, на других стенах всевозможные картины, пейзажи и портреты. Дядюшка — текстильный негоциант и помещик,— пожалуй, питал слабость к искусству.

Появилась тетка Хосефа, осанка ее должна была внушать посетителям почтение. Она до сих пор была представительна. Седая прядь в подкрашенных рыжевато-каштановых волосах. С холодной любезностью она поздоровалась с Селией, потом голос ее зазвучал прямотаки сурово:

— Почему ты не приехала раньше? И почему все-таки приехала сейчас? Разве ты не получила моего письма о смерти твоей матери? К счастью, она так и не уразумела, где ты. Почему после гражданской войны ты уехала? Да еще в такую даль? Чем ты занималась? Где твой муж? Кто он по профессии?

— Он совладелец крупного универмага,— Селия рассказала примерно то, что Альфонсо когда-то сообщил о своем корабельном попутчике, и добавила: — Ребенка я оставила на вашей городской квартире, тетя.

— Ребенка? — изумилась Хосефа.— Здесь? Индейского ребенка?

— Успокойтесь. Кровь у ребенка испанская.

Тут тетка расплакалась:

— Смерть твоей матери и для меня явилась тяжким испытанием. Моим страданиям, кажется, несть числа. Сын мой Эмилио погиб в самом конце гражданской войны. Возможно, он погиб самым последним. Мы ведь уже давно победили, в Пиренеях оставалось всего несколько разбойничьих гнезд. Потом погиб муж.

— Ваш муж? На войне?

— Да нет же, через год после окончания мировой войны. В Америке. Он поехал туда по делам. Самолет разбился.

Минуту сеньора Рамирес смотрела прямо перед собой. Потом вдруг сказала:

— Где ты будешь жить? Как ты будешь здесь жить? Небось, не туристкой приехала после смерти матери?

— Конечно, нет. Может быть, вы позволите мне переночевать раза два здесь или в вашей городской квартире? Потом я подыщу работу.

— Ты не вернешься к мужу?

— Нет. Он хотел непременно остаться, мне же непременно хотелось в Испанию. Мы расстались.

— Что же, там за океаном так принято?.. Если ты ищешь работу, я охотно помогу тебе советом.

— Пора делать укол! — послышался в дверях ободряюще-властный незнакомый голос.

— Это моя племянница Селия, а это — сеньорита Тереса,— сказала тетка Хосефа.

Тереса стояла прямая, как струна, темное платье плотно облегало красивую высокую фигуру. Лицо ее тоже было довольно красиво, и не то чтобы высокомерно, но неприступно, несколько напряжено, неестественно. Она поздоровалась с Селией, во взгляде ее сквозило недоверие. «Почему она настороже? — подумала Селия.— Я ведь ничего у нее не отнимаю».

— В этой комнате и на этой постели,— сказала тетка Хосефа,— скончалась твоя мать.— Тереса между тем надела поверх платья белый медицинский халат.— Если тебе придется тут ночевать, спать будешь в этой комнате,— добавила она, точно вынося приговор.

Тереса пощупала ей пульс, измерила давление, сделала укол — выполнила все, что могло укрепить и продлить эту жизнь.

Потом сеньора Рамирес сказала:

— Прошу вас, Тереса, покажите мне стол. Ты, Селия, в трауре и так или иначе не примешь участия в нашем праздничном ужине.— Она забыла, что годичный траур полагался и ей, сестре покойной.— Твое возвращение в Испанию не останется в тайне. Кстати, здесь еще помнят, кем был твой отец. Разговоры пошли, уже когда твоя тяжело больная мать нашла здесь пристанище. Однако люди поняли, что я должна была принять ее. Более того, это даже вызвало уважение. Я все время повторяла: не могу я упрекать родную сестру, да еще такую больную, за то, что натворил при республиканцах ее муж. Твоему отцу взбрело в голову посылать тебя в разные светские школы и все такое. Что ж, по крайней мере, теперь ты можешь сама о себе позаботиться. Часто дурное смешано с хорошим.

В узком длинном зале был накрыт стол на несколько персон, пестрая керамическая посуда в сельском стиле, но бокалы хрустальные и свечи — в серебряных канделябрах.

— Тереса, дитя мое, ты всегда все делаешь по моему вкусу! Выпьем кофейку с Селией, прежде чем ее автобус пойдет в город.

Тереса — она уже сняла свой белый халат — приготовила в холле кофе. Тетка Хосефа с живостью обратилась к ней:

— Тереса, Тереса, прошу тебя об одном: не избегай сеньора Эчеварриа. Он принял приглашение ради тебя. Сколько раз мы с тобой уже говорили об этом! В твоем возрасте тебе ни за что больше не найти такого поклонника, вернее, жениха, как сеньор Эчеварриа. У него серьезные намерения. Бери пример с моей племянницы. Она с ребенком оставила мужа. А ты собираешься вечно горевать по своей первой любви.

Тереса и Селия быстро обменялись взглядами. Каждая прочитала в глазах другой: болтает она о тебе бог знает что.

— Как только закончится курс инъекций, то есть в следующем месяце, меня ждут в больнице.

— Никак вас от этого не отговоришь!

— Я вам сразу сказала и не раз повторяла, что обещала сестре Веронике вернуться вовремя.

— Смотри, Селия, не опоздай на автобус, он привезет из города последнюю смену. Кстати, и с текстильной фабрики, снабжающей фирму, руководимую сеньором Бордатеги, который, возможно — повторяю, возможно,— даст тебе место секретарши.

XI

— Господи! Ну и ранние вы пташки! — воскликнула Конча, когда Селия спозаранку отправилась с ребенком в город. Селия наслаждалась ароматом жасмина, по которому стосковалась и который по утрам был особенно силен; Луиса подражала матери. Поначалу Селия чувствовала себя вольной, освободившейся от всех тягот, всех пересудов и косых взглядов. Они обошли тихий квартал. Порой Селия пускалась с девочкой наперегонки и вдруг застывала на углу, точно именно здесь могла столкнуться с кем-то, бегущим навстречу.

Все дома в этой части города были настороженно тихие и чистенькие — виллы, трех- и четырехэтажные доходные дома. Селия с дочкой присели в маленьком сквере, в этот день они оказались здесь чуть ли не первыми посетителями, если не считать стаи голубей. Было еще несколько певчих странников, которые, возможно, попали сюда просто по ошибке. Вдруг откуда-то появилась кудлатая старуха в пестрых лохмотьях, чтобы с утра пораньше погадать ей будущее по руке. Старуха, видно, круглые сутки караулила клиентов. Селия не стала возражать: начнешь отнекиваться — себе дороже. Она очнулась от своих мыслей и дала старухе пару монет, только когда та потянулась за ручонкой Луисы. Они были уже не одни. Всякий люд — парикмахеры, булочники, разносчики останавливались тут и там поболтать. Чистильщики обуви, в стороне от других, высматривали первые запорошенные уличной пылью башмаки.

За кустами Селия разглядела здание почты и вдруг всем своим существом почувствовала, что не одинока. Здесь можно было бы бросить открыточку Жаклин. Да, если бы можно! Жаклин, ее парижская подруга, должна была поддерживать связь между Селией и испанской группой во Франции. Антонио Мендес состоял теперь в парижском руководстве, с тех пор как было решено послать туда опытных товарищей.

После кровавой мировой бойни, вслед за краткой передышкой — ее едва хватило, чтобы вздохнуть,— холодная война. Она началась без объявления, прокралась в разные страны, сопутствуемая высылками, недоверием одного человека к другому, одной группы — к другой, антисоветской истерией. То, чего опасались в Мексике некоторые испанские эмигранты, происходило теперь у них в стране повсеместно и открыто, Франко пользовался полной свободой действий и не только уничтожал партизан, но и преследовал всех республиканцев; он вылавливал каждого, кто был хоть как-то с ними связан — прежде или теперь.

Луиса внимательно изучала линии на своей маленькой ладошке, это она успела перенять у гадалки. Потом погрызла медовую коврижку, которую Конча дала ей с собой. «Как меня здесь разыщут? — думала Селия.— На какую работу пошлют? Но в этой квартире мне долго оставаться нельзя».

Луиса широко раскрыла глаза, застав по возвращении в городской квартире тетку Хосефу. Та сидела очень прямая, в необычно скромном платье, но зато с яркими, крикливыми украшениями. Девочка и женщина без улыбки поглядели друг на друга. Сеньора Рамирес погладила ребенка по голове — так смахивают пыль со статуэтки или вазы.

— Вот, значит, какая у тебя дочка! Подумать только, если бы красные не убили Эмилио, у меня сейчас могли бы быть внуки. Мне надо обсудить с тобой, Селия, важные вопросы. Конча! Присмотри за девочкой! Надеюсь, ты получишь место, должность небольшая, но ответственная, в оптовой фирме, торгующей текстилем, которая преж-

де была связана с фирмой Рамиреса. Там берут на работу только абсолютно надежных людей. Моя рекомендация — достаточное ручательство. Шеф оптовой торговли сеньор Бордатеги был у меня в гостях, и я воспользовалась этим в твоих интересах,— Хосефа Рамирес строго глянула в лицо Селии.— Первоначальный заработок покажется тебе небольшим, и ты не сможешь позволить себе жить на широкую ногу. Поэтому я уже присмотрела тебе приличную, не слишком дорогую квартиру в доме-новостройке с большим общим патио; ведь моя городская квартира должна быть всегда свободна для гостей и для меня самой. На первых порах можешь оставлять ребенка под надзором Кончи. Но только на первых порах. Потом отправишь ее в школу, в монастырь Санта-Клара. Ты ведь сама хотела, чтобы девочка — как ее зовут? Луиса? — училась в испанской школе. Ты все поняла?

— Да, тетя Хосефа. Большое спасибо.

Она думала: «Мне очень на руку, что Хосефа устраивает меня в какую-то контору. Я смогу быть полезна испанским друзьям, смогу написать Жаклин, как только устроюсь на новой квартире». В мыслях ее пряталась смутная, но неистребимая надежда: стоит только найти друзей, и она что-нибудь узнает об Альфонсо.

Тетка Хосефа, верно, могла бы удивиться, что Селия тут же согласилась со всеми ее распоряжениями, но она привыкла, что все ее распоряжения исполняются беспрекословно.

Служащие в конторе отнеслись к появлению Селии настороженно. Скоро выяснилось, чья она родственница. Отчего сеньора Рамирес пристроила племянницу именно сюда? Мало-помалу разговоры умолкли, потому что Селия была приветлива, услужлива и, если не сразу понимала то или другое, открыто просила помощи. Она объясняла, что долгие годы не имела возможности работать по специальности. Потому-то ей так часто требуются советы коллег.

Первый день, оставшись одна с Кончей, девочка проплакала. Но теперь оставалась с ней без звука. То ли Конча казалась ей близким человеком среди множества чужих лиц, то ли она поняла, что так надо, и как-то сразу повзрослела.

Когда Селия перебралась в новостройку, Конча спозаранок приходила и забирала Луису к себе. Селия и Луиса Конче нравились. Но ее преданность сеньоре Рамирес была неколебима. Она, как ей велели, перевезла в новую квартиру Селии немного старой мебели.

На первых порах новый дом казался Селии вполне приемлемым,— она въехала сюда одна из первых. Большое патио, две пальмочки на газоне и выложенный яркой плиткой фонтан. Здесь играла Луиса, когда Конча забегала только поцеловать ее и торопливо говорила, что нынче ей положено обслуживать сеньору Рамирес.

Несколько недель спустя дом был набит битком. Газон вытоптали. Фонтан отключили. Приходя с работы, Селия слышала шум, смех, звуки гитар, яростную ругань, танцевальную музыку. Через все это прорывался несравненной красоты ангельский голос, так что на секунду все смолкало. Часто случались ссоры, бог весть из-за чего, все с интересом прислушивались и подначивали дерущихся возгласами вроде «Ну-ка! Дай ему!». Потом снова звучал ангельский голос; принадлежал он, как выяснила Селия, необузданному малому, который временами тоже не прочь был подраться, вернувшись после работы домой. Не только сам дом стал тесен, квартиры тоже были чересчур тесны для обитателей, и жизнь выплеснулась во двор. Селия и тут оставалась приветлива и услужлива.

Она облегченно вздохнула, увидев почерк Жаклин. Теперь там, в Париже, знают, где я живу. Я нигде и никогда не одинока. Из пре-

досторожности Жаклин съездила из Андая на однодневную экскурсию в Испанские Пиренеи.

Когда Селия шла с работы, ее окликнули:

— Вам почта.

Ведь открытки, которые приносил почтальон, проходили через руки почти всех жильцов, точно в этом большом доме-новостройке они все вместе сидели под замком. Жили здесь конторские работники, которым приходилось еще хуже, чем Селии, кустари, кое-как сводившие концы с концами, продавцы, мелкие почтовые и железнодорожные служащие, обуреваемые вечным страхом перед увольнением, те, кто уже потерял работу и некоторое время перебивался впроголодь, пока в конце концов не съезжал с квартиры.

Однако по вечерам все как один веселились и сердились, болтали и пели, кричали Селии:

— Красотка! Где же твой-то запропал? — ведь, чтобы избежать расспросов, она сказала соседям, что он моряк.

XII

Забежала Тереса — узнать, все ли у Селии в порядке с работой и с квартирой. «Интересно,— подумала Селия,— тетка ее прислала или она пришла по своей воле?» Уходя, Тереса сказала:

— Как вы только терпите эту суету, Селия, этот шум?

— К счастью, люди иногда спят,— улыбнулась Селия и добавила: — Только, к сожалению, не все в одно время.

— В больнице у меня тоже шума хватает,— сказала Тереса.— Но все-таки у меня есть часы, когда я от всего отдыхаю.

«Наверно, у Селии есть причины терпеть,— думала она.— А эта баба, Рамирес, вымещает на молодой женщине ненависть к ее покойным родителям».

Вскоре Тереса заехала за матерью и дочерью на своей машине.

— Ваша тетя,— рассказывала она по дороге,— отдыхает на Балеарах. Я с нею больше не увижусь. Обещала сестре Веронике самое позднее на следующей неделе снова быть в больнице. Тут, в городе, у меня оставались кое-какие дела. А за городом мы будем совсем одни.

«Что Тересе от меня нужно? — недоумевала Селия.— Почему ей так хочется побыть за городом со мной наедине?»

Сразу по приезде Тереса провела их в патио. Девочка слушала тишину и трогала мозаичную кладку фонтана, пытаясь поймать капли.

В доме Тереса сказала:

— Выбери себе комнату, в которой будешь ночевать, хотя сеньора Рамирес и объявила, что тебе полагается спать там, где умерла твоя мать.— Предупреждая вопросы, она добавила: — Твоя мать умерла спокойно. Она, правда, часто спрашивала о тебе, но думала, что ты просто ненадолго отлучилась. Она утратила ощущение времени.

Над письменным столом тетки висело несколько фотографий ее единственного сына Эмилио, погибшего незадолго до окончания гражданской войны, когда Франко истреблял последние группы Сопротивления в Астурии. На всех фотографиях Эмилио был разный: мальчик, выполняющий сложное гимнастическое упражнение, юноша, офицер в мундире со множеством орденов.

Селия показала на мальчика у гимнастического снаряда:

— Я знала его таким. Кажется, даже восхищалась им тогда. Вы познакомились с ним позже?

— Еще бы! — сухо ответила Тереса.

— Что же из него получилось?

— Что из него могло получиться? Прекрасный офицер для Франко.

Тереса помолчала. Тон, каким она это произнесла, заставил Селию посмотреть Тересе в лицо. Селия полагала, что как здешняя домоправительница Тереса питает к фаланге известную симпатию, хотя Тереса ни разу и словом не обмолвилась об этом. В лице Тересы не было притворства, всякая тень двусмысленности или равнодушия исчезла. Лицо посуровело. Но именно потому, что сейчас в нем не было притворства, оно показалось Селии прекрасным, даже юным. «Если бы в Тересе не было постоянно чего-то двусмысленного, принужденного,— подумалось ей,— она могла бы быть красавицей». Тереса пристально смотрела Селии прямо в глаза. Лицо Тересы было не только сурово, оно было несчастно.

— Тебе, Селия, я все могу сказать. Ты меня не выдашь, никогда,— вырвалось у нее.

Тереса накрыла ладонью руку Селии, и та почувствовала, до чего холодна эта рука. Сначала Тереса повела Селию из теткиной комнаты в патио, потом из патио в большой сад. Сразу за стеной — возделанная земля, до самых холмов тянулись поля, местами под утренним солнцем поблескивали ручейки. В стене сада было всего две калитки, известные обитателям, через которые можно попасть на полевые дороги. В саду стоял деревянный домик с верандой. До самых холмов, насколько хватало глаз — хлеба, хлеба.

— Твоего двоюродного брата я знала взрослым. Кстати, всего две недели. Для меня этого было предостаточно. Как я попала в этот дом? Застряла под конец гражданской войны в монастыре Санта-Клара, что виднеется с дороги в Б. Я тогда собиралась к опекуну, потому что не представляла, что делать. Матери я не помню, отец жил где-то в Африке, а меня поместил в школу Санта-Клара, назначив опекуном кого-то из родственников, который вспоминал обо мне лишь поневоле. Про себя я думала: расскажу ему, что, мол, война задержала меня на республиканской стороне. Он жил в помещении своей крошечной фирмы. Но когда я в конце концов добралась туда, дома не было. Исчез и всё. На его месте уже что-то строили. Ничего, что я столько рассказываю?

— Ну что ты,— сказала Селия.— Мне интересно все, что касается тебя.

Но вообще-то этот стремительный монолог несколько удивил ее. Ей показалось странным, что Тереса открылась именно ей.

— В каникулы я обычно ездила за город к своей лучшей подруге. Боже мой, как давно это было! А по сей день гложет меня...— она говорила тихо и быстро, голос почти свистел от волнения.— Погоди, когда это было? У нас были каникулы, когда случилось то, что позже назвали мятежом генералов. В 1936-м. Накануне гражданской войны, на каникулах, я влюбилась в одного врача. Он позже вступил в республиканскую армию. Мы жили как муж и жена, и я осталась при нем медсестрой. Он часто выезжал на фронт, я работала и ждала. Весть о его гибели оглушила меня. Я потеряла себя. Представь, возможно ли такое — двенадцать-тринадцать лет назад, а было мне, наверно, восемнадцать, не больше. И я в самом деле была тогда красивая, очень красивая, сейчас поверить трудно. Сейчас я просто уродина. Разве ты можешь поверить, когда я говорю, что была красивая?— в ее вопросе слышалась мольба: ну же, найди хоть слабенький след красоты.

— Временами ты действительно выглядишь красавицей,— искренне ответила Селия.

— Правда?— по-детски обрадовалась Тереса, и Селию удивило, как много это для нее значит.

— Фаланга бесновалась и зверствовала. А я, сама не своя, оторванная от всех, поехала в соседний город. Внезапно мною овладел приступ страха: вдруг в этом городе, где я буду совсем одна, кто-нибудь меня опознает, вдруг кому-нибудь известно, что я осталась на стороне республиканцев сознательно. Ведь я как медсестра добровольно ухаживала за республиканцами. Мой друг был красный врач, кто-то мог проведать об этом.

Так вот. Отправилась я на юг. То пешком, то на попутных грузовиках. И наконец, верно, по старой привычке, которая снова ожила в моем опустошенном, открытом всем ветрам сердце, до смерти измученная, я попросила приюта в монастыре Санта-Клара. Там почему-то решили, что я как медсестра пришла вместе с франкистами, и дали мне работу в одной из больниц.

Сестра Вероника, которая раньше была моей учительницей,— порой она до того странно смотрела на меня, что я начинала опасаться, уж не догадывается ли она кое о чем,— попросила, чтобы я на время пошла в сиделки к некоей сеньоре Хосефе Рамирес. Потом я должна была перейти в городскую больницу в Р. Я была бы счастлива, если бы сеньора Рамирес наняла меня просто сиделкой. Но она будто бы разузнала, что я каким-то образом состою в дальнем свойстве с ее мужем, и смотрела на меня как на родственницу. Поэтому не платила жалованья. Однако твоя тетка была неизменно приветлива; предлагала покупать все, что мне нужно. Мало-помалу она передала мне все домашнее хозяйство здесь и в городской квартире. Счета. Словом, все.

Однажды слышу: подъезжает автомобиль. И через секунду ликующий крик на весь дом. Приезжий, молодой франкистский офицер, сказал: «Мы с ними разделались раз и навсегда. Вот я и взял отпуск на несколько дней, чтобы повидаться с тобой, матушка».

Выглядел этот Эмилио, как и положено франкистскому офицеру. Я старалась не попадаться ему на глаза. Но дел было полно, и мне волей-неволей пришлось помогать то тут, то там. По случаю приезда сына давались званые обеды. За столом — чиновники, духовенство, друзья-офицеры. Вскоре я заметила, что его взгляд ищет меня, именно меня. Отыскав меня, глаза его вспыхивали. В конце концов он застал меня одну. Я пришла в ужас от его ухаживаний и убежала, но он истолковал это по-своему. Несколько дней спустя он снова преградил мне путь. Лицо его было перекошено яростью. «Тут один утверждал, что ты путалась с кем-то из красных. Я этому типу сказал, пусть только попробует еще трепать об этом, и я своими руками раскрою ему череп, пулю жалко тратить». Я промямлила что-то невразумительное и убежала. Тебе, Селия, я думаю, такой страх незнаком вовсе.

Селия прервала этот совершенно неожиданный, страстный рассказ:

— Нет, знаком. По-моему, каждому приходится хоть однажды преодолеть страх.

— Может, ты и права. У меня, во всяком случае, было такое ощущение, будто я погружаюсь в трясину. И не за что ухватиться. Тщетно я молилась. Я ведь немного верующая. Не совсем. Немного. «Господи! — думала я.— Существуй на самом деле! Помоги мне! Нет, ты не существуешь и не поможешь». Потом страхи утихали, а затем возвращались вновь, приступ продолжался всегда не больше минуты. Эмилио неожиданно отозвали на север: нужно-де уничтожить в горах мятежное гнездо. Отъезд его был поспешен. Но об угрозе он не забыл. Думаю, какое-то подозрение у него зародилось.

— Перестань наконец вспоминать об этом,— сказала Селия. Она думала: «Неужели я где-то допустила промах, иначе почему эта женщина прониклась доверием именно ко мне?»

Тереса продолжала уже иным тоном, словно спокойствие Селии передалось ей:

— Когда пришло извещение о гибели Эмилио, я уверовала в судьбу. Его мать кричала и плакала. А я, как ни странно, вдруг освободилась от всех страхов. Никогда больше не стану бояться. Никого. Ничего. Как противен страх! Как он унижает человека! Разъедает ум и сердце. Сейчас я уже не понимаю, каким образом смерть человека, пусть даже очень дурного, могла принести мне такое облегчение.

«Зачем она рассказала мне все это? — размышляла Селия.— Значит, все это до сих пор угнетало ее? И только теперь, выговорившись, она сбросила с души тяжесть?»

Прибежала девчушка:

— Вот вы где! Наконец-то! А я вас везде ищу.

— Принеси-ка нам соку. Только не разлей. Каждой по полному стакану.

Когда они снова остались одни, Тереса сказала:

— До чего же ребенок похож на твоего Альфонсо! Да, я знаю, в войну вы были вместе. Все его любили и уважали. В лазарете говорили, что скоро он приедет и к нам. Мне довелось видеть его несколько раз. Может, и тебя тоже. Но я не обращала внимания на женщину, которая была с ним. У него светлые глаза, верно? Я сразу заметила сходство, как только увидела твою дочку. Притом ведь это ребенок не Альфонсо, он же не уезжал из Испании. Хотя, говорят, ребенок нередко похож на мужчину, которого очень любишь, потому что в момент зачатия думаешь именно о нем.

Минуту помолчав, Тереса продолжала своим обычным тоном, невозмутимо, с едва уловимой насмешкой, точно сообщая о чем-то происшедшем с другим человеком:

— Сестра Вероника, которая послала меня сюда, как мы и договаривались, забрала меня обратно в больницу. Однако позже, когда к сеньоре Рамирес приехала твоя тяжело больная мать, она опять вспомнила обо мне. И сама толком не понимаю как, но ей удалось удержать меня, даже после смерти твоей матери, гораздо дольше, чем было договорено. Очень может быть,— тихо добавила она, словно обращаясь к самой себе,— в этом моя вина, потому что в глубине души я побаивалась, что сын мог поделиться с нею своими подозрениями.

— Оставь,— сказала Селия,— хватит об этом. Не ты ли сама признала, что страх жалкая штука? Разве ты позабыла, что говорил твой друг, твой настоящий первый друг?

— Каждый день это приходит мне на ум, словно эхо, затерявшееся и блуждающее в горах. Только от страха я была глуха и жалка.

Обитатели дома спрашивали Селию:

— Как провела выходной? Хорошо? Довольна?

И Селия отвечала:

— Очень! Хотя вместе мы пробыли совсем недолго. Я вам уже рассказывала, он плавает по морю. Как только хоть ненадолго сойдет на берег, присылает за мной машину. А если останется подольше, я перееду к нему.

XIII

В фирме были довольны Селией. Ее перевели в другой отдел. Работы больше, заработки получше. Ее посылали в разные текстильные

магазины, иногда в соседние городки, где весь ассортимент тканей получали через оптовую фирму.

Время от времени в контору, чтобы произвести расчет, заходил один служащий. Его в шутку прозвали Мануэлем-маленьким. В противоположность другому конторщику, высокорослому, заносчивому и самоуверенному, которого теперь звали Мануэль-большой, Мануэль-маленький был необычайно вежлив, всегда тщательно одет, точно это могло компенсировать его маленький рост.

Однажды Селии пришлось отыскивать какой-то старый счет, и на минуту она осталась с Мануэлем с глазу на глаз в пропыленной комнатенке, где хранились старые деловые бумаги. Мануэль передал ей привет от Марии Перес, которая училась вместе с нею в школе и проводила каникулы вместе с ее мужем Альфонсо и женой Мануэля. Это был пароль, согласованный с партийным руководством в Испании.

Мануэль частенько заходил по делам, и видеться с ним было нетрудно. На первый раз он поручил Селии встретиться на рынке с одной работницей ткацкой фабрики и организовать вместе с ней женскую ячейку. Одновременно Селию приняли в уже существующую группу. Впервые в этом городе к Первому мая должна была появиться листовка. Задания показались Селии чуть ли не пустяковыми, но тут же вспомнилось, что́ в Мексике говорил Мигель. Он зачитал сводку курьера из Испании и добавил, что весточку доставили сюда с риском для жизни и за каждой фразой стоит будничная, но очень трудная и опасная работа... Кроме того, сказал Мануэль, нужно как можно скорее напечатать листовку с требованием увеличить заработную плату в соответствии с непрерывным ростом цен на масло, рис, хлеб и другие продукты. Пусть полиция думает, что во всем этом участвует гораздо больше людей, чем эта горстка...

— Ерунда,— бросил один из бухгалтеров фирмы, когда листовка попалась ему на глаза,— лучше зарплата поменьше и покой, чем зарплата побольше и кровавые беспорядки.

Его тут же спросили:

— Значит, вы считаете, что у вас тут слишком низкая зарплата?

— Я говорил вовсе не о своей зарплате.

Вскоре его уволили.

Селия тревожилась, когда Мануэль долго не появлялся в конторе. А заходить, не привлекая внимания, он мог только по серьезному поводу. Но стоило Селии решить, что повод для прихода Мануэля есть, как начинал расти страх за маленького вежливого человека, неустанно думающего об общем деле.

В конце концов он приходил, улыбающийся, спокойный, улаживал в конторе какие-то дела. Вскоре подвернулась возможность съездить вдвоем в пригород. Селия должна была записать там кое-что под его диктовку.

По дороге Селия спросила о некоторых, быть может, общих друзьях времен республики. Кое-кого он не знал, один сидел в тюрьме, другой находился в эмиграции, третий жил спокойно, внешне лояльно относился к правительству, снискал уважение среди коллег; не доносил на старых товарищей, нет, только когда к нему обращались за подписью или за маленьким денежным взносом в пользу семьи арестованного, говорил: «Ты должен понять, почему я в этом больше не участвую. Вот в случае крайней необходимости — тогда да, можете на меня рассчитывать».

— Не один он так говорит,— заметил Мануэль,— так отговариваются многие. Словно «крайняя необходимость» не стала в наше время постоянной!

Тут Селия как бы невзначай, стараясь не выказать особого интереса, спросила, не знаком ли ему человек, который выглядит так-то и так-то и когда-то давно звался Альфонсо Варела. Мануэль задумался. Потом сказал:

— Кажется, я знаю, кто вас интересует, если это тот самый... С тех пор он наверняка уже не раз сменил имя. Да и внешность, разумеется. То, что поддается изменению. Верно, был в гражданскую войну такой Альфонсо Варела. Позже мне не доводилось встречать его.

Селии удалось скрыть волнение, потому что пора было выходить, и Мануэлю пришлось сначала искать нужный им дом, потом нужную фирму. Глава фирмы дал ему сведения, а он, в свою очередь, продиктовал их Селии. Глава фирмы искоса посматривал на Селию, потом пробежал глазами написанное и подписал.

Здешний шеф был большой поклонник красивых женщин, однако Селия ни разу не ответила на его благосклонные взгляды. Мануэлю пришлось задержаться, а Селии надо было вернуться с бумагой в город.

К письму, присланному Жаклин, был приложен листок, написанный незнакомым полудетским почерком. «Пишу Анне, чтобы письмо не попало к отцу. Среди старых знакомых ты осталась для меня самым близким человеком. Тебя это, верно, удивит, ведь мы едва знаем друг друга. Когда я думаю о тебе, становится тяжело на сердце, потому что я не с тобой, но будь я с тобой, сердце влекло бы меня назад, туда, где я сейчас. Так уж оно бывает. В этом я могу признаться тебе одной. Уж, конечно, не отцу. И моей новой семье тоже не могу. Все здесь меня любят, и муж тоже. У нас трое детей...»

Селия с трудом вспомнила лицо девушки, которая, к неудовольствию родителей, вышла замуж за мексиканца.

В феврале 1951 года фирма опять направила Селию в текстильные магазины соседних городков, в том числе в городок Н. Мануэль очень обрадовался, когда она упомянула об этом поручении:

— Это сэкономит мне массу времени. Сможешь там кое-что сделать вместо меня.

Она должна была в определенное время спросить журнал мод в газетном киоске на углу улиц Сан-Исидро и Кальдерон, где кроме газет торговали всяким хламом, выкройками и игральными картами. Минута в минуту туда подойдет один человек и поинтересуется, нет ли в продаже карманных календарей на текущий год. К февралю их обычно уже раскупают. Тогда Селия скажет: «Я бы тоже хотела такой календарь».

Мануэль протянул ей листок бумаги, который она должна была в момент покупки передать второму покупателю, не заговаривая с ним.

Селия отправилась в путь. Выполнив поручение фирмы, она побродила по незнакомому городу с тем удовольствием, какое испытываешь, когда долгое время был принужден безвылазно торчать в одном и том же месте. При этом она установила, где расположен этот киоск, и точно в назначенное время спросила там журнал мод.

Секундой позже кто-то подошел и произнес условную фразу. Селия прислушалась к звукам этого голоса. Она побледнела, но рассудок взвешивал слово за словом. Повернувшись вполоборота, она обронила свое замечание незаметно, вскользь, и при этом посмотрела мужчине прямо в глаза. Он сказал что-то еще, медленно погружаясь взглядом в ее взгляд, словно время можно было растянуть. Его глаза неприметно скользнули еще раз по всей ее фигуре.

— Как жаль. Большое спасибо,— произнес он и отошел.

Селия расплатилась. Никто не смотрел ей в лицо, оно было белое как мел. Ведущая вниз, к памятнику, улица кишела людьми, пестрела зонтиками кафе. Но Селия не видела ничего, не ощущала палящего солнца. Свой путь она проделала без всякого усилия, точно несомая ветром.

Альфонсо не заметил, как она еще раз прошла мимо столика в кафе, куда он вернулся. Он разговаривал со своим спутником. Этого человека, по имени Пабло, он знал довольно давно. Сперва тот казался ему вполне порядочным. Однако на этой неделе он обратил внимание, что Пабло непременно хотел ехать в тот же город, куда направлялся он, Альфонсо, и что от него невозможно отвязаться, и что он ждал в этом кафе, пока Альфонсо сделает покупку. Взгляд Пабло прилип к его спине, Альфонсо это чувствовал; в глубине души зародилось еще не недоверие, но сигнал: будь осторожен! Теперь Пабло пристально изучал лицо Альфонсо,— по крайней мере так тому казалось,— не отразилось ли в нем что-то необычное, какое-то потрясение? «Может, у меня просто разыгралось воображение,— думал Альфонсо,— а может, и нет...»

Неужели он нарочно свел меня с той, кого я люблю? Неужели он мог до этого докопаться? Да. Нет. Да. Нет.

Как бы там ни было, Альфонсо ничем себя не выдал. Произошло то, о чем он мечтал. Из года в год, изо дня в день. Как в старой, слышанной от кого-то легенде, любимая вернулась из преисподней. Но, в отличие от героя легенды, он не оглянулся. И она не скользнула назад во мрак. Он сумел не выдать ни ее, ни себя. Поэтому она потеряна не навеки, он вновь встретится с нею. Он был убежден в этом, отвечая на тягучие расспросы Пабло.

Когда на следующее утро Селия вошла в патио своего дома, игравшая в высохшем фонтане Луиса стремглав бросилась ей на шею. Девочка ждала ее. Она расцеловала мать, потом удивленно заглянула ей в лицо:

— Что с тобой, мама?

— Со мной? Ничего.

— Нет, что-то с тобой случилось.

— Вовсе нет. Я же сказала.

Селия ходила в контору и возвращалась домой,— так слепой по привычке каждый раз находит знакомую дорогу. Во дворе болтали:

— Так быстро! Я бы тебя, красотка, так скоро не отпустил!

— Все же мы повидались.

В сердце у нее эхом звенело: все же мы повидались.

Лицо ее светилось, и люди говорили друг другу:

— Как сильно они любят друг друга!

Когда Мануэль сказал: «Мне придется уехать»,— она отнеслась к этому известию трезво, да и времени не было пугаться.

— Меня заменит Эстебан,— продолжал Мануэль,— подручный жестянщика, ты его знаешь. Он еще любит насвистывать за работой. Я договорился с ним насчет пароля, которым вы должны обменяться. Здесь, в городе, наберется семь-восемь абсолютно надежных людей. Лучшим из них я считаю Эстебана. Десятки людей думают как мы, но боятся. И сотни, если не тысячи, начали задумываться. Счастливо! До свидания.

В назначенный час она отправилась в мастерскую жестянщика. Еще оформляя у мастера заказ, она услышала, как насвистывает Эстебан. Это был худощавый человек приятной наружности, с узкими проворными руками, в его лице читалось что-то отчаянное, даже

когда он весело свистел. При первой возможности Селия подошла к нему:

— Ваш кузен Карлос передает большой привет. Во время отпуска он жил у моего двоюродного брата, в горах.

— Спасибо. Как у него дела?

Селия улыбнулась и продолжала, ведь паролем они обменялись:

— Да не особенно хорошо. Между прочим, мой двоюродный брат его выставил.

Мастер что-то искал у нее за спиной.

— Господи, за что же это?

— Завел шашни с женой брата.

Эстебан рассмеялся.

Спустя несколько недель после того, как Эстебан занял место Мануэля, полиция обстреляла группу рабочих, возвращавшихся домой с цементной фабрики. Причиной якобы явилась запрещенная демонстрация.

Впервые после гражданской войны в слепящем блеске послеобеденного солнца Селия увидела на мостовой темные тени и кровь. Подобные инциденты произошли в Валенсии и других городах. Вскоре какой-то рабочий стрелял в полицейского, опознав его в составе патруля. Рабочего быстро спрятали в пустом курятнике одного из бараков. Когда его схватили, и он и его предполагаемый сообщник были приговорены к смертной казни; все обитатели барака, хотя и не знали об этом укрытии, получили по десяти или пятнадцати лет тюрьмы.

Сразу же после перестрелки в родном городе Эстебан вместе с членами своей группы написал и размножил листовку. На заводах, в мастерских и конторах шло по этому поводу столько возбужденных разговоров, что никто и подумать не мог, что взбудоражили город всего-навсего несколько человек.

Эстебан решил срочно выпустить новую листовку о событиях в Валенсии, о казни двух рабочих и об осуждении всего взрослого населения барака. Листовка должна быть максимально резкой, максимально продуманной; он хотел обсудить проект с Селией. Лучшего места, чем ее собственная комната, они не нашли. Чтобы на полчаса остаться с глазу на глаз, он научил ее, как нужно незаметно повредить проводку, и сам пришел чинить, захватив с собой инструмент и текст листовки.

Теплилось пламя паяльной лампы. Сквозь жалюзи на листок бумаги полосками падал солнечный свет. «Мануэль и впрямь подобрал себе достойную замену»,— подумала Селия.

Эстебан насвистывал, наконец крикнул:

— Готово! — и ушел.

На работе у Селии одна из служащих сразу побежала с листовкой к начальнику.

Некоторые говорили:

— Один стрелял, другой его прятал. Полиция действовала законно.

— Как это законно? Что ж, и поговорить ни о чем нельзя по дороге домой?

— Из-за этого никто не стреляет.

— Это произошло не здесь, в листовке же сказано.

— В какой листовке?

— Значит, была еще одна?

Утром в дверь постучали. В мозгу у Селии пронеслись всевозможные варианты ответов, но стук раздался вторично, и она успокоилась — полиция высадила бы дверь.

В дверном проеме появился халат медсестры.

— Мне хотелось повидаться с тобой. Надо было отвезти одного пациента к нему домой. Сейчас я просто понять не могу, почему я тогда еще раз пошла к твоей тетке Хосефе. По-моему, я снова стала прежней. Это ты мне помогла.

«Как же так? Что я такое ей сказала?»— с тревогой думала Селия.

Тереса продолжала, лицо ее было задумчиво и спокойно:

— Конечно, ты скупа на слова, но я вижу, ты настоящий человек. В сущности, я зашла только рассказать тебе, как у меня дела. Я работаю в городской больнице, у меня есть комната и бывает свободное время. А ты? Детская кроватка пуста. Я слышала от сестры Вероники, что Луиса, с тех пор как в школе начались занятия, ночует в Санта-Кларе.

— Видишь ли,— сказала Селия,— я этого боялась. Но все оказалось не так скверно, как я думала. На выходной она приезжает и рассказывает, что там слышит и видит, словно все это сказка про злых и добрых духов и о невероятно доброй женщине, которая своим волшебством помогает людям.

— Может, она и права, сестра Вероника необыкновенно добрая женщина. Девочка скоро будет учиться у нее, она и меня учила.

Тереса вдруг вспомнила, что может опоздать на поезд, если не поспешит на вокзал. Уже взявшись за дверную ручку, она заметила на спинке стула раскроенный материал.

— Ты и шить умеешь?

— Во Франции пришлось научиться, чтоб на хлеб заработать.

Тереса удивленно посмотрела на нее и попрощалась:

— Что ж, счастливо. До скорого.

После ее ухода Селия подумала: «Тереса пришла просто заверить меня, что окончательно освободилась от сомнений и страхов? Именно меня? Только потому, что я нежданно-негаданно появилась в том загородном доме?»

Тетка Хосефа была очень довольна тем, что положение племянницы в фирме укрепилось и что она, поднимаясь со ступеньки на ступеньку, наконец осела в конторе сеньора Бордатеги. «Очень удобно,— рассуждала она при этом,— иметь там своего человека, который разведает кое-что о фирме, тесно связанной с делами покойного мужа».

Она пригласила Селию на вечер в городскую квартиру и послала за ней машину.

— Мне нравится, как ты продвигаешься по службе. Тем более, что я с самого начала сказала сеньору Бордатеги: «Попробуйте! Не знаю, окажется ли эта молодая женщина вам полезной. Забудьте, прошу вас, что она со мной в родстве. В конце концов и родственной связи-то никакой нет. Я вам даже ее не рекомендую». Но раз ты теперь получаешь более высокое жалованье, значит, сеньор Бордатеги тобой доволен.

Хотя сеньора Рамирес никогда не делала подарков ни Селии, ни ее дочери, сейчас она сказала:

— Закажи себе два простых, но нарядных платья для работы, и еще одно выходное платье. Люди, думаю, успели прослышать, с кем ты в родстве. Пойди в магазин Моралес и Родо,— она сделала паузу, что-то обдумывая — Там тебе наверняка посоветуют то, что нужно, особенно если счет будет выписан на мое имя. Мне не хочется давать тебе деньги. К тому же у тебя самой хороший вкус, я убедилась по некоторым мелочам.

Она улыбалась не разжимая губ, словно упивалась нектаром собственного великодушия.

— Большое спасибо,— сказала Селия.— Как вы сами заметили, я и в старых своих и в дешевеньких новых платьях добилась в фирме более высокого положения, так что теперь я зарабатываю чуть побольше, могу купить себе, что захочу. Вы признали, что у меня неплохой вкус.

— Ишь ты, какая гордая,— сказала тетка Хосефа.— Можно подумать, ты в кровном родстве с семейством моего покойного мужа.

XIV

Бойкий, неуемный атташе, с которым Селия встречалась в Мексике у мадам Дюверже, увидел Мадрид не так скоро, как надеялся. Союзники были вынуждены в первый мирный год отозвать своих послов: в их столицах разгромили испанские посольства, когда в Басконии, Астурии, Каталонии по приказу Франко бросили в тюрьмы и расстреляли тысячи непокорных рабочих.

В эти годы кое-кто из испанской группы, перебравшейся во Францию, вынужден был скрываться. Одни колесили дальними, кружными путями, другие перебрались в соседние страны, чтобы вновь раздобыть себе краткосрочное разрешение на жительство.

Антонио Мендес жил в маленьком городке под Парижем сравнительно спокойно благодаря помощи свояка-француза. У него на квартире часто собирались испанские друзья.

Старший сын Педро любил забиться в уголок, когда гости разговаривали с отцом, и с нетерпением дожидался их решений. Он еще помнил кое-какие подробности перехода через горы в конце гражданской войны вместе с другими детьми и Селией.

Его братишка Луис, родившийся в Мексике, смешил взрослых хитроумными проделками, всегда был весел, точно с малолетства дышал иным, беззаботным воздухом.

Однажды на квартире Анны и Антонио Мендесов появился незнакомец. Он погладил мальчиков по голове, потом их обоих выпроводили из комнаты.

— Ты хорошо выглядишь, помолодел,— сказала Анна.

— Знаете почему? Я был в Испании. Нет, не с особым заданием, просто стосковался. Я и был-то там очень недолго.

Его взгляд упал на Педро, который опять пробрался в комнату и слушал из своего уголка.

Антонио Мендес ответил на безмолвный жест гостя:

— Пусть остается. Он никогда не болтает.

Гость рассказал о своей краткой побывке на родине. Неподалеку от границы, но все же на испанской стороне. Когда он распрощался, Анна заметила, что их друг поступил безрассудно, ведь его же знают, его фотография была в газетах и объявлениях о розыске.

Педро подошел к столу.

— Туда нетрудно пройти,— сказал он.— Никто и не увидит. Я сам два раза был на той стороне.

Родители изумились:

— Ты? Как это?

Мальчик рассказывал, и большие глаза его смотрели спокойно, до того темные, что, когда он стоял спиной к свету, зрачков совсем не было видно.

— Да, целых два раза. Когда на каникулах был с Жаклин в Андае. Я там знаю одного парнишку, мы с ним дружим. Отец у него рыбак. Он сказал мне, что на берегу, на дороге, много постов. Зато у него есть дядя, лесник в горах на испанской стороне. С того горного

участка за гребнем ведет тропка, которую надо запомнить. Там никто не караулит.

Педро до смерти захотелось побывать по ту сторону границы. Ему казалось, что та страна совсем не такая, как другие. Он верил, что только там стоит жить и умереть. Вместе с другом он долго карабкался вверх, продираясь сквозь заросли папоротника. Интересно, и в других местах растет столько высоченного папоротника? Когда они много лет назад уходили через горы, он не обратил на это внимания.

«Вот мы и за границей»,— объявил приятель.

«Теперь оставь меня одного. Сходи к дяде! А потом зайдешь за мной!»

Педро растянулся на траве. Вот она, та земля, о которой говорили дома. Из земли доносился стук. То стучало его сердце.

Родители изумленно глядели на него, и он сказал:

— Вот, и это совсем не трудно.

Возвращаясь под вечер домой, Селия столкнулась с Тересой. Селия приветливо поздоровалась, немного удивившись.

— Давай пройдем в парк?— предложила Тереса.

И не дожидаясь отговорок, взяла Селию под руку. Она была не в сестринском халате, на ней было изящное неброское платье, не скрывавшее ее красивой, высокой фигуры.

— Я должна сообщить тебе что-то очень важное...

«С чем же она пришла сегодня?»— недоумевала Селия. Последний раз Тереса заходила к Селии довольно давно. Но отказаться от разговора она не хотела и не могла. Тереса уже решительно тащила ее через улицу.

— Слушай меня внимательно. Приготовься, Селия, услышать очень важную вещь. Может, важнее этого для тебя ничего нет. Крепись изо всех сил. Смейся и улыбайся, что бы я ни говорила. Я знаю, ты умеешь быть сильной.

Они вошли в парк. Селия была до крайности удивлена, но, повинуясь Тересе, со смехом показала на шарманщика с обезьянкой. И даже бросила в тарелку монету. Слегка сжав локоть Селии, Тереса продолжала:

— Я скажу тебе самое важное. Я знаю, что́ для тебя значит Альфонсо. Он для тебя — все. Я это заметила, еще когда впервые упомянула его имя. Ты беспрестанно разыскиваешь его с тех самых пор, как приехала в Испанию.

У Селии перехватило дыхание.

— Оглянись еще раз на шарманку,— приказала Тереса и продолжала как бы невзначай: — Так вот, могу сообщить тебе: мы его нашли.

Это «мы» в устах Тересы в сочетании с новостью поразило Селию только потом, когда она мысленно вернулась к разговору. Новость потрясла ее, но она тут же подумала: «Может, я верю ее словам оттого, что мне очень хочется?» В мозгу у Селии зазвучал привычный сигнал: будь осторожна! Женщины прогуливались, словно увлеченные приятной беседой.

— Прошу тебя, Селия,— продолжала Тереса,— поверь мне! Я уже все устроила, ты увидишь его. Он находится в транспорте больных из бургосской тюрьмы. Причем совсем недалеко, в лазарете для заключенных, который тоже находится на попечении сестер Санта-Клары. Он пробудет там неделю после сложной операции.

«Крепись, крепись»,— уговаривала Селия свое сердце. В киоске она купила иллюстрированный журнал и вцепилась в него, но Тереса крепко схватила ее за локоть и потащила за собой.

— Наша группа разыскала его. Не одна ты тревожилась об Альфонсо. Он же один из самых ценных наших людей. И вдруг исчез. Товарищи искали его по всей стране. На заводах. Даже на кораблях. В тюрьмах. Зовут его не Альфонсо Варела и вообще не так, как до ареста. Он работал на верфи в С., и то ли при попытке организовать стачку, то ли при подготовке к ней всех подозрительных арестовали. Его взяли под именем Андрес Видела.

Тереса быстро шла и тащила Селию за собой.

— Выхлопочи себе отпуск. Скажи начальнику, что хочешь на время удалиться в монастырь. Сестра Вероника сведет тебя с сестрой Антонией, которая будет дежурить на следующей неделе, ведь монахини ухаживают и за больными заключенными, которым приходится задерживаться у них после операций. Наша группа достала список больных. Только мы и знаем об Альфонсо и о том, что теперь его зовут Андрес Видела. Донесение направлено только руководству. Другим ячейкам знать ничего не положено. Понимаешь?

— Да,— сказала Селия.

— Теперь ты должна найти в себе силы поверить мне. Поверь мне, ради бога. Твой отпуск передвинут на более ранний срок, потому что ты удаляешься в монастырь для духовных занятий с падре Иеронимусом. Я все продумала. В выходные дни за девочкой присмотрю я, а когда ты вернешься, я тебе ее приведу. Именно так нужно все это сделать. Ты поедешь в монастырь, там тебя ждет сестра Антония. Прямо так и скажешь привратнице. Сестра Антония предупреждена. Но она об этом говорить не будет, и с тобой тоже. Не спрашивай ее ни о чем. Ты поняла меня?

— Да,— сказала Селия.

На обратном пути Тереса болтала о пустяках, то и дело вставляя:

— Альфонсо под именем Андреса Виделы на всех допросах твердил, что вырос в сиротском приюте и что во время гражданской войны приют этот был распущен. Поэтому улик против него нет, кроме участия в подготовке запрещенной сходки. Сейчас он тяжело болен. Его пришлось оперировать. Но жизнь его вне опасности. Вот так. Будь мужественна. Ты все поняла?

— Все.

Селия принуждала себя подавлять волнение, даже оставшись одна. Состоится ли эта встреча? Возможно ли это? Прошедшая суровую школу постоянного недоверия, пожалуй, самую суровую на свете, она обязана была спросить себя: «Почему я доверяю Тересе? Я доверяю ей не потому только, что всем сердцем жажду того, что она сулит, но и потому, что убеждена: она меня не обманывает». Боль надежды смешивалась с чувством удивления Тересой. Значит, все пережитое ею не прошло втуне, пустило корни. Теперь Тереса ничего не боялась. Раньше на ее лице всегда лежала тень притворства. Теперь оно открытое и ясное. Тереса храбрая, добрая. Но эта сестра Вероника? И сестра Антония? Я ведь не знаю, что происходит в монастыре. Но почему бы и там не найтись женщине, которая скажет себе: «Я обязана любой ценой сделать доброе дело». Пусть из других побуждений, чем мы. Но тоже сделать доброе дело. Мне нужно положиться на Тересу, ей виднее.

— Мы можем перестелить постель еще и вон тому.

— Зачем?— резко хлестнул каркающий голос монахини, выпол-

нявшей нынче обязанности надзирательницы; несмотря на свой возраст, она проворно шныряла по залу, зыркая по сторонам.

— Все! Время истекло!

— Нет еще. Ну-ка, Селия, помогите. Вот и ладно.

Сестра Антония расправляла старую, заскорузлую от крови и грязи простыню — свежих не было,— потом перевернула одеяло. Руки Селии послушно выполняли все; она оцепенела, только руки жили.

Со всех сторон неслись то жалобные просьбы, а то и крики. Ворвались стражники, посыпались наказания и угрозы. Потом на минуту все стихло. Кто-то, не в силах стерпеть боль, стонал, кто-то чертыхался, угрозы ужесточились.

Узник, возле которого хлопотали сестра Антония и Селия, сперва почти не обратил внимания на женщин. Одна была монахиня, вторая, похоже, из мирян. Поначалу он не заметил ничего знакомого в тонкой, чужой фигуре — длинная юбка, лицо скрыто косынкой, такое же серое, как платье. На мгновенье он встрепенулся при звуках ее голоса, что-то в нем чудилось близкое и настойчивое. Руки той, что помоложе, прикасались к нему, задубевшему от грязи и боли. И вдруг, встретив ее взгляд, он понял. Узнай меня! Это я! И его глаза отозвались намеком на улыбку. В движении, которое скорее гладило, чем трогало его тело, сквозила любовь, которая так яростно толкала их жизни навстречу друг другу. Любовь — для него она была больше жизни. Это правда? Больше жизни? А что стоит его жизнь? На что она еще сгодится? Что́ же ценно в жизни человека, что ценит он сам? Он легонько шевельнул губами, и Селия поняла, о чем он хочет сказать. Она была в отчаянии и в то же время счастлива. Выдержит ли он перевозку? Он же так болен. Врачи искромсали его. А раньше, кто знает сколько раз его били, мучили после ареста, пытаясь дознаться, кто он. Он истощен, состарился, неузнаваем для всех. Только глаза остались прежние, неизменные, светлые и ясные.

Постель перестелена. Селия прошла за сестрой Антонией к следующей койке, коснувшись мимоходом его ноги, выглядывавшей из-под одеяла. Еще раз посмотреть уже нельзя.

А он, в полубеспамятстве после глубокого и длительного наркоза, нисколько не удивился ее появлению у своей постели. Это не чудо и не сон. Он утратил ощущение расстояния и времени. Она должна была появиться теперь у его койки, оттоняя мучительные боли, вернувшиеся с ослаблением наркоза. Он только мельком подумал, в полубеспамятстве как бы на секунду выхватив мысль: «Почему она не покажет мне нашего ребенка?» Ведь в свое время ему сообщили, что она живет вдвоем с ребенком. Правда, ребенку тут, конечно, не место. Такие мысли мелькали у него в голове. «Я выйду отсюда, жизнь продолжается»,— думал он, чувствуя прилив сил.

В монастыре Селия не обмолвилась с сестрой Антонией больше ни словом. Та избегала встречать Селию с глазу на глаз; ей было некогда задавать вопросы, да она и не хотела.

Когда Селия вечером после отпуска вернулась к себе домой, Тереса уже уложила девочку спать.

— Альфонсо лучше,— сказала Тереса,— мы узнавали. Он уже не в лазарете. Его перевели в другую тюрьму. Только неизвестно куда. Как только что-нибудь выясню поточнее, ты услышишь. В ближайшее время, пожалуйста, ко мне в больницу не заходи.

Девочка притворилась спящей. Когда Тереса ушла, она вскочила, бросилась матери на шею. Селия уговаривала ее поспать.

— Пусть свет еще немножко погорит,— попросила дочка.

Она пристально смотрела на мать. Та молча, неподвижно стояла

посреди комнаты. Девочка опять встала, подошла к Селии. Потом сказала, не вопросительно, а решительно:

— Ты вновь встречалась с ним.

Селия очнулась от задумчивости:

— С кем? Где? Как это, вновь встречалась?

— Почему ты ничего мне не говоришь?— девочка потерлась головой о плечо Селии и заглянула ей в лицо.— В тот раз, когда ты поздно вернулась из поездки, ты была такая же, как сегодня.

— Что ты имеешь в виду?— обескураженно спросила Селия.— О ком ты?

— О нем, ты знаешь. У тебя тогда был точно такой же взгляд, как сегодня. Словно тут не на что смотреть, словно ты где-то далеко. И губы у тебя вот так же, как сейчас, говорили одно, а думала ты совсем о другом.

Селия провела ладонью по мягким, теплым волосам дочери.

— Что ты выдумываешь. Ну, а теперь пора спать.

В постели, свернувшись клубочком, подтянув коленки к подбородку, Луиса размышляла о прошедшем. Как ни коротко было ее прошлое, мысли уходили вглубь, точно в бездонный колодец. Она была убеждена, что ее отец жив и что мать порой видится с ним. Ей казалось, он был всегда. Задолго до того свидания, с которого мать вернулась, как сегодня, молчаливая и бледная. Как взрослые пытаются мысленно заглянуть в далекое неясное будущее, так девочка пыталась представить себе минувшее; хотя в ее жизни это было всего-навсего несколько лет, прошлое было столь же глубоко, столь же сокровенно, как будущее.

Прошел почти год. От Альфонсо никаких вестей. Селия не могла больше сдерживаться.

— Послушай,— спросила она у Эстебана,— может, ты знаешь, что случилось с неким Альфонсо Варелой? Он в гражданскую войну сыграл известную роль во взятии Теруэля и потому его часто называли Альфонсо из Теруэля. Где он? В тюрьме? Ты что-нибудь знаешь?

Эстебан с живостью и удивлением ответил:

— Я и сам задавал себе этот вопрос. Ведь раньше я частенько слышал о нем. Некоторые думали, он выехал за границу, только не знали куда, другие говорили, он наверняка остался в Испании, и утверждали, что именно он организовал те короткие, внезапные демонстрации в Астурии, вместе с некоторыми друзьями, которые, как и он, работали до того ловко, что никого из них не арестовали. Ты ведь сама об этом слышала. Говорили, что какое-то время он жил под именем Симон Солер. Но в действительности это был тот Альфонсо, которого кое-кто знал по гражданской. Мой старый друг утверждает, что позднее полиция все-таки схватила его, но при перевозке из одной тюрьмы в другую он удрал. Он как будто бы снова провел операцию в Кадисе, ты знаешь, там вышла листовка, которую доставили перед самым отплытием даже на корабли. И на заводы. Не могу поручиться, что речь идет о человеке, который тебя интересует. Кое-что говорит в пользу этого. Узнать подробности будет не так-то легко. Может, он сам когда-нибудь нам расскажет. Если только еще жив.

■

ГОВИНД ВИНАЯК КАРАНДИКАР

■

С языка маратхи

Ганга — река пота

Отрывок из поэмы

Вечная Ганга — это пот.
Задыхаясь, бежит она в бесконечность
Из бесконечности.
Перепрыгивает через ущелья,
Колотится о скалы,
Все крушит на пути!

Вечная Ганга — это пот.
Она работает утром, днем, вечером, ночью,
Как зимой, так и летом.
Она — словно кобра,
Которая раздувает свой капюшон,
Кусает того, кто ее рассердит...

Вечная Ганга — это пот.
Течет она за плугом в полях,
Течет у станков в цехах,
Течет в шахтах.
Несется Ганга вперед сломя голову,
Смывая состоянья и репутации.

Вечная Ганга — это пот.
Она размывает горы,
Нагромождает наносы,
Все выравнивает, проходя по миру.

Из века в век Ганга
Меняет свое русло.
Она — как бы высшая воля,
Что крушит преступные троны.

Пот — это вечная Ганга,
Черная вода, алая земля.
Она поет песни революции
Устами всех народов,
Она ищет русло,
Чтобы выйти к свободе,
К новой вечности.

Рабочие

В закопченные цеха входит народ.
Люди эти выглядят страшно!
Заводы курят трубки,
Набив их людьми,
Словно крепким табаком.

У-у-у!
В ушах пронзительный вопль гудка.
Рабочий идет,
Пошатываясь слегка!
Кто еще может видеть,
Смотрите:
Трупы идут и беседуют,
Как живые!

Тело без крови,
Работа без радости.
Человек без человечности,
Существо без духа.
Впереди — нет надежды,
Позади — нет воспоминаний.

Что есть в мире ужасней?
Такого не выдумал бы и дьявол!
Чтобы создать рай,
Создают ад.

Кости рабочих идут на уголь,
Пот превращается в пар.
Из жил делают нити.
Цвет полученной ткани прекрасен:
Это цвет крови!

Колеса машин повторяют
Одну и ту же мантру,
Заклинание убийства:
Дзанг, дзанг, дзанг...

Кто еще может видеть —
Смотрите!
Трясется земля от злодейства!

Почему человек страдает в мире?
Ведь этот мир создан им самим!
Человек угнетает человека.
Для чего эти
Человеческие жертвоприношения?
Ответь мне, для чего?
Удел человека — испепеляться в огне?
Чтобы создать рай,
Создают ад.

Бомбей

Какие высокие дома!
Отчего же люди спят на тротуарах?
Какие высокие зернохранилища!
Отчего люди умирают от голода?
Как резво мчатся автомобили!
Отчего же люди ковыляют пешком?
Какие огромные фабрики!
Отчего же люди без одежды?

О, это не город!
Это язва на теле Индии!
Капиталисты?
Это клопы,
Что ползают по телу страны
И сосут ее кровь.

Если бы здесь было всеобщее счастье,
То это была бы не язва,
А жемчужина Индии.

Бег из пасти в пасть

Весь наш путь —
Из пасти в пасть...

Моя спина хрустнула
Под камнем для пирамиды.

Размалеванная, бледная маска мумии
Мне ухмыльнулась...
Ты сказал:
«Фараон завтра
Берет в жены свою сестру».

Я сказал:
«Не протухнут ли в миске
Остатки еды до послезавтра?»

Он сказал:
«Каменная лапа сфинкса
Лежит на моей и твоей голове!»
Трупы без голов за тобой.
Трупы без голов за мной.

Весь наш путь —
Из пасти в пасть.

На Великой китайской стене
Столько башен,
Сколько мертвецов на ней висело.
Даже камни хранят следы насилия!

Ты спросил:
«Полиняет ли когда-нибудь вышивка
На одежде Конфуция»?
Я сказал:
«Будда сам не в силах
Снять с человечества тяжесть!»
Он сказал:
«Молоко, которое на губах цивилизации,
Для кого оно?»
Что уже было когда-то,
То еще будет.
История трещит по швам.
Весь наш путь —
Из пасти в пасть.
Из темной воды Джамны
Смотрят «очки» черной кобры;
А над Джамной —
Белоснежный Тадж-Махал.

Ты сказал:
«Над могилой страсти
Расцвела каменная роза».
Я сказал:
«Тадж-Махал понемногу
Спускается к Джамне!»
Он сказал:
«Черный слон мрака
Покачивается торжественно!»
Кто устоит от ударов его ноги?
Он растаптывает труп человека.
Весь наш путь —
От пасти к пасти.

И ты и я странники
Из пасти в пасть.

Черные зубы, белые зубы,
Гнилые зубы, порченые зубы,
Одни крепкие, другие уже шатающиеся,
Некоторые еще пожелтевшие,
Одни в золотых коронках,
Другие в серебряных.
Кто сейчас не плачет?
Я знаю только одно:
Усевшись в золотую колесницу,
Правда отбыла из этого мира!
На груди каждого человека
След, оставшийся от ее колес.
Повсюду трупы без голов.
История трещит по швам.
Что может в ней случиться нового?
Весь наш путь —
От пасти к пасти.

Перевод ЕВГ. ВИНОКУРОВА

Тайна прикосновения

Вечер все еще ползет, он не может оторваться от земли. Своей мягкой, словно шелк, рукой он обхватил ее за шею. От его прикосновений даже песок покрылся гусиной кожей. Кокосовые деревья — распущенные хвосты павлинов; их листва-оперенье смешалась с красками заката. ...Ни тьма, ни свет — только их соприкосновение. Как мать потихоньку отнимает руку от тела спящего ребенка, так и вечер медленно убирает свою руку. Исчезают его пальцы; они уносят с собой память прикосновений.

Когда-то вся жизнь сосредоточивалась в прикосновении. В то время нос не ощущал запаха цветов, ухо не слышало игры легкого ветерка с жасмином, язык не ощущал вкуса терпких плодов тамаринда... Никто не задавал глупого вопроса: что прежде — дерево или семя? Не было любознательности, не было и знания. Еще не сверкнула молния, которая прожгла отверстие в черепе человека. Никто не умел говорить, и слышать никто не умел. Вернее, «кто-то» — это удивительное живое существо — тогда еще не родилось. Это было самое начало жизни, ее рассвет. Все чувства в то время были сосредоточены в осязании. Все знание шло через прикосновение. Желание было исполнено бесконечности. Когда же впервые появилось восприятие осязания, тогда и родилась душа. Так в мире произошла первая великая революция. Истоки ее до сих пор еще тайна.

Поэтому я и стал приверженцем осязания. Я думаю, каждый художник — приверженец осязания. Каждое произведение художника — торжество той таинственной революции. Пока я не прикоснусь к вещи, я не могу постигнуть ее до конца. Время от времени я глажу рукой гладкую поверхность тикового стола, иначе моя комната покажется мне чужой. По-моему, люди, которые едят вилками и ложками, всегда бывают полуголодными. Даже когда я пью чай, то получаю большее удовольствие, если держу чашку обеими руками, а чай пью маленькими глотками. Я не ощущаю аромата цветка, пока нежно не дотронусь до его лепестков... Более того, я даже не умею здороваться в собственном смысле слова; само приветствие еще ничего не выражает; если я что-то говорю, то кладу руку на плечо друга. Только тогда слова находят свой путь. Не то они куда-то убегают, бессмысленно скачут, крутятся вокруг себя, то взлетают в небо, то падают в преисподнюю. Они не касаются земли; они не соприкасаются с реальностью. Они просто фальшивые монеты. Но все изменится, если положить руку на плечо другого: с помощью этого прикосновения губы слов начинают вступать в контакт с чувством. Счастье мое и страдание могут говорить только на языке прикосновений. Это и есть праязык жизни.

В прикосновении безграничная сила. Когда две жизни начинают ощущать друг друга, то возведенные цивилизацией стены рушатся с грохотом. Рождается непосредственное восприятие изначальной цельности живого существа. Поток естественной благожелательности несет вас к своему корню. Даже коровы могут понять смысл прикосновения. На этом языке вы можете говорить со всеми живыми существами. Так, мой младший брат Бапу целые часы сидел и болтал со своим любимым теленком Лукой. Брат обожал коров. Бапу говорил, что идет заниматься, а сам бежал в коровник. Он без спросу отдавал Луке молоко из кадушки буйволицы, и в кадушке оставалось меньше молока. Когда мать догадалась, в чем дело, она очень рассердилась. На другой день и я пошел в коровник следом за Бапу. Я увидел, как брат быстро подошел к стойлу Луки и протянул свои пустые руки к морде теленка. Лука начал лизать их, а Бапу заплакал... Я и теперь

вижу эти ласкающие влажные руки брата... Теперь уже нет Луки и Бапу вне досягаемости... Но его руки до сих пор перед моими глазами. И сейчас они здесь, протянутые, передо мной...

Часто вижу я и другие руки — руки махара [1], сына Ганги. Он учился в нашем классе. В то время детей махаров сажали отдельно. У мальчика была странная привычка высовывать язык. Учитель говорил тогда: «Принесите ему полизать птичьего помета!» Мальчик тут же убирал язык, а весь класс начинал над ним смеяться. Но зато когда учитель уходил в лавку, мальчик выходил на середину класса и пугал нас. «Сейчас прикоснусь»,— говорил он. В то время мы очень боялись быть осквернеными прикосновением неприкасаемого. Должно быть, с тех пор в моей душе родилось странное какое-то влечение к неприкасаемым, хотя и смешанное со страхом. До сих пор, должно быть, сохранилось это влечение: стоит только сказать «махар», как я стараюсь посадить человека как можно ближе! Но я не могу вести себя с ним непринужденно!

...Неприкасаемость — это ведь проклятие для прикасаемых!

Самое важное в прикосновении — естественность. Другие чувства возникли в процессе познания, они — круги на поверхности познания. Придет время, когда не станет этих кругов. Поток знания снова станет единым и потечет спокойно. Тогда все чувства потонут в осязании. Осязание — это первое человеческое чувство, и, возможно, только оно в конечном счете и останется... Высшая степень преданности или любви невыразима без прикосновения, прикосновение — это предельное выражение чувства... Однажды в Ратнагири приехал Неру, тогда один шестилетний мальчик побежал посмотреть на него. Когда он вернулся, мой друг спросил его: «Что ты чувствовал, когда смотрел на Неру?» Мальчик минуту был в замешательстве, а потом ответил: «Мне хотелось дотронуться до него». До сих пор еще никто так хорошо не выразил величия Неру.

От прикосновения прямая дорога к экстазу. Во всяком случае, к тому экстазу, который известен художнику. Но этот путь не из легких... Когда видишь цветы, закрываешь глаза... Трогаешь пальцами лепестки, ощущаешь прожилки... Затем прикладываешь цветы к закрытым глазам... От этого прикосновения перестаешь ощущать собственное «я». Что станет, когда вы все это сделаете? Свадебное торжество куколок...

От прикосновения прямая дорога к экстазу... Потеряв дар речи, идти к детям; гладить их по волосам, по спине, до потери сознания целовать их мягкие ладошки, потом разговаривать со средним, большим, указательным, мизинчиком и безымянным пальчиками; потом медленно идти от плеча до локтя... щекотать по подбородку... Что станет, когда вы все это сделаете? Семь бабочек из семи ваших рождений слетятся на вашу голову.

Перевод Н. СИДЕЛЕВА

От составителя

В переводе на русский язык Махараштра значит Великая страна. Штат этот, расположенный в западной части Индии,— один из крупнейших штатов страны, население его составляет около 45 млн. человек, говорящих на языке маратхи. Этот язык сложился приблизительно в конце I — начале II тысячелетия н. э. Маратхская литература формировалась на протяжении X—XIV вв. Самобытная литература маратхов еще мало знакома советскому читателю.

Основоположниками современной маратхской литературы по праву считаются прозаик Хари Нарайан Апте (1864—1919) и поэт Кешавсут (1866—1905). Они освободили

[1] Каста неприкасаемых.

маратхскую литературу от мистики средневековья, создали произведения, проникнутые высоким гражданским пафосом. Их призыв к борьбе против невежества, института каст, колониальной зависимости был подхвачен новым поколением писателей. Среди многочисленных последователей Кешавсута видное место занимает Говинд Винаяк Карандикар (род. в 1918 г.), с творчеством которого наш читатель впервые знакомится на страницах этого журнала.

Первый сборник поэта «Ганга — река пота» был издан в 1949 г. (в 1970 г. за эту книгу поэту была вручена Международная премия имени Дж. Неру, присужденная журналом «Совьет лэнд»). Большая часть стихов, вошедших в сборник, была создана в период, когда в Европе бушевала вторая мировая война, а в Индии нарастало освободительное движение народа против всяких форм угнетения. Сборник получил название по одноименной поэме, написанной в 1944 г. Поскольку поэма обширна по объему и состоит из пяти глав, то в нашей публикации она представлена отрывком.

Согласно индийской мифологии мир развивается по определенным циклам (югам), последовательно сменяющим друг друга,— крита, двапара, трета и кали. Веком расцвета и всеобщего благоденствия является крита-юга, а кали-юга — это век жестокости, несправедливости. Именно веком кали представляет поэт время колониального господства англичан. Он страстно призывает народ подняться на борьбу против колонизатора, воплощенного в поэме в символическом образе аллигатора, и добыть жемчуг свободы, который тот проглотил.

В своих стихах поэт часто обращается к идеям, концепциям и мотивам древнеиндийской мифологии, философии. Он персонифицирует понятие свободы в образе неукротимой богини Кали, показывает революцию как неистовую пляску Шивы. Птица Гаруда, верный союзник Рамы — главного героя древнеиндийского эпоса «Рамаяна», выступает в образе вестника новой эпохи, несущего людям надежду.

В 1947 г. после продолжительной и упорной борьбы Индия наконец завоевала независимость. Однако социальное переустройство Индии — процесс длительный. В стихах Карандикара появляются мотивы отчаяния, разочарования: положение рабочего класса, нищета народа ужасают поэта. Это ощущение ужаса присутствует в стихотворении «Бег из пасти в пасть». Поэт писал в те годы: «У меня нет глаз, чтобы принять боль миллионов глаз, у меня нет рук, чтобы обнять несчастных, отверженных, у меня нет слов, чтобы выразить безграничную тревогу миллионов душ».

И все-таки Карандикар верит в лучшее будущее своего народа, в торжество науки, социального прогресса. Не случайно в его стихах упорно повторяется образ дороги, которая для поэта является символом движения.

В настоящее время Карандикар — один из крупнейших поэтов Индии, а также эссеист и переводчик на язык маратхи; он является лауреатом десяти литературных премий штата и трех общенациональных.

Н. СИДЕЛЕВ

ГРИСХАБЕР. ФРГ.
Манифестация

РЕНЕ-ВИКТОР ПИЙ

Обличитель

РОМАН

Перевод с французского
Т. ЕРОФЕЕВОЙ и Е. ШИШМАРЕВОЙ

В это ужасное мгновенье я понял, что жизнь мириадов людей весит не более перышка.

Густав Мейринк. «Голем».

I

Я решил рассказать историю крушения и гибели французского филиала транснациональной компании «Россериз и Митчелл», здание которого из стекла и стали еще недавно возвышалось в Париже на углу авеню Республики и улицы Оберкампф, недалеко от Восточного кладбища.

Во времена грозного потрясения и волны истерии сам я занимал ответственный пост в этом предприятии, будучи заместителем директора по «человеческим отношениям». И хотя по роду своей деятельности я оставался в течение двух лет в стороне от решения главных финансовых, коммерческих и технических вопросов, за несколько дней до появления первой трещины, по знаменательному совпадению обстоятельств, значение моего поста как будто даже возросло.

Сен-Раме, генеральный директор «Россериз и Митчелл-Франс», родом из Пулиньи, что в департаменте Эндр, бывший студент Школы общественных работ, удостоенный диплома парижского Института политических наук, Master of science and technology[1] Массачусетского института, стажер первой категории Фонда Болла, лауреат Школы администраторов при Гарварде, кавалер французского ордена «За заслуги», Сен-Раме, стало быть, уже рассматривал вопрос о моем назначении не заместителем, а директором по человеческим отношениям».

— Дорогой друг,— сказал он мне,— вы увидите, отношения между людьми будут приобретать все большее значение: нервы больших компаний слишком перенапряжены.

И в самом деле, я это увидел и сам едва не лишился рассудка. Сейчас, в тиши моей маленькой светлой комнаты, обласканный те-

[1] Магистр науки и техники *(англ.)*.

© Editions du Seuil, 1974.

ми, кто обо мне заботится и окружает вниманием, я чувствую себя лучше и кое-как преодолеваю свой длительный сон.

Я решил рассказать историю крушения и гибели «Россериз и Митчелл» по следующим соображениям: прежде всего я пришел к убеждению, что эксперты выдвинули ложную версию. Конечно, под авеню Республики существовало множество галерей, глубоких подземелий, огромных и сырых пещер. Мне самому был известен такой сырой подземный ход — он вел из подвалов здания в склепы кладбища. Но это ни для кого не было тайной. Во всяком случае, американские и французские специалисты, прежде чем начать строительство, тщательно обследовали грунт. Словом, гипотеза об оседании почвы совсем неубедительна. В те времена тысячи зданий возводились в Париже и других городах на земельных участках куда более «ненадежных», чем улица Оберкампф. Как можно поверить, чтобы самая мощная в мире компания, построившая множество домов и заводов почти на всей территории нашей планеты, допустила такой просчет во Франции, в Париже, на углу авеню Республики и улицы Оберкампф? Нет, не здесь надо искать истинную причину катастрофы. Умы были взвинчены еще до того, как треснул фундамент. И тот, кто, подобно мне, занимал ответственный пост в этой фирме, не может согласиться, что волну истерии и разрушение здания можно рассматривать как два самостоятельных явления. Лично я убежден, что первое повлекло за собой второе и что все это было задумано заранее. И поэтому мой долг — написать историю этих жестоко наказанных и погибших людей, чтобы миллионы других не поддались тлетворному влиянию коррупции и мещанства.

Итак, я только что изложил первое соображение, побудившее меня рассказать этот чудовищный эпизод из истории жизни и смерти огромных предприятий того времени. Но вскоре у меня возникло и второе соображение: близится пора судебных процессов. Американские и французские суды готовятся установить причины, оценить ущерб, определить размеры убытков. Опубликование моего труда поможет судам вскрыть истину. Это не значит, что я был свидетелем всего. Я не все видел и не все слышал. Мне приходится восстанавливать целые сцены этого дела и множество мелких эпизодов. Например, никто на самом деле не знает, что стало с обличителем после того, как сотрудники предприятия принудили его предстать перед судом, а затем пытались заставить отречься от своих показаний. Зато существование обличений, их содержание, установление личности их автора, его драматические выступления, низость и развращенность, которые разрушили компанию изнутри,— все это правда. Я был вовлечен в эти невероятные события, и они до сих пор терзают мой воспаленный мозг.

Хотя гигантская транснациональная и американская фирма «Россериз и Митчелл» была известна во всем мире, а какое-то время даже всерьез стремилась управлять всеми народами, сейчас небесполезно дать ее краткое описание, ибо она совершенно исчезла из памяти граждан и не оставила никакого следа в истории.

Эта фирма производила, упаковывала и продавала машины, предназначенные для того, чтобы поднимать целину, сеять, пахать, собирать урожай и т. д. Ее штаб находился в Де-Мойне, в Айове — великолепном штате Северной Америки.

Сначала компания продавала свои машины только в Соединенных Штатах, затем стала их экспортировать и, наконец, принялась строить заводы в других государствах.

Когда развернулись изложенные здесь события, фирма «Россериз и Митчелл» приступила к строительству заводов не в богатых странах, способных покупать машины, сделанные и упакованные на их земле, а, наоборот, в странах бедных, лишенных продуктов питания, так как жалованье, которое платили здесь рабочим, было ниже, чем в других странах.

У людей, которые в те времена теснились у кормила власти, были настолько изворотливые умы, обширные познания, испытанная техника, что они кичились своим превосходством, а также и своей философией, которая заключалась в следующем:

а) мы производим и упаковываем машины у себя и продаем их тоже у себя;

б) потом мы продаем наши машины за границу тем, у кого есть деньги, чтобы их покупать;

в) мы производим и упаковываем машины в странах, где живут те, у кого есть деньги, чтобы их покупать;

г) почему бы не производить и не упаковывать наши машины в бедных странах, чтобы они обходились нам дешевле?

д) если поразмыслить, то почему бы не производить винты для наших машин там, где они стоят дешевле, болты — там, где они стоят дешевле, собирать машины там, где это стоит дешевле, упаковывать там, где упаковка стоит дешевле?

е) и, наконец, зачем ограничивать себя производством машин? Почему при таких доходах не покупать на все заработанные деньги все, что продается? Почему не превратить нашу промышленность в гигантское акционерное общество?

Сухость этого процесса прикрывалась показным альтруизмом. Ведь строительство заводов и зданий на всем земном шаре давало работу и питание скудно обеспеченным народам, ускоряло их движение к прогрессу и благосостоянию. Вот почему люди, которые, производя, упаковывая и продавая, создавали счастье для всего человечества, наконец задались вопросом: а нужны ли вообще политические ассамблеи и правительства? Вот что ответили эти неопатриции, действительно проникшие в тайну человеческой души: «Мы производим, упаковываем и продаем, мы создаем богатства и отдаем значительную их часть политическим институтам, независимо от того, избраны они свободно или нет, а те их перераспределяют. Эти богатства мы не хотим распределять сами, ибо тогда мы стали бы сразу и судьями и подсудимыми. Таким образом, мир после стольких потрясений и тысячелетних раздоров нашел, наконец, правильный путь: производить, упаковывать, продавать и распределять полученную прибыль».

«Будем производить и упаковывать мирно! — кричали они.— И продавать свободно, а взамен получим мир и свободу!»

Подобное величие души не оставило безразличными народы и государства. И жители Соединенных Штатов Америки предстали перед ними как народ избранный. Адрес земли обетованной переменился. Иерусалим мало-помалу был заменен Вашингтоном. Что касается политики, то она приспособилась к новой религии и создала своих великих священнослужителей. Чего стоил бы такой руководитель, который не умел бы ни прочесть, ни понять скрижалей Нового Закона? Тогда в советах директоров появились люди нового типа, весьма компетентные, способные так же хорошо управлять административным органом, как и предприятием или крупной компанией. Слово УПРАВЛЕНИЕ разорвало многовековые путы, сбросило свои лохмотья и появилось в золотом плаще перед ошеломленными гражданами и гражданками. Прежде о каждом человеке хотели знать, кто

он: христианин или еретик, правый или левый, коммунист или англиканец. Во времена, о которых я говорю, спрашивали только — хороший он или плохой администратор.

Компания «Россериз и Митчелл» была одной из жемчужин этой цивилизации. Благодаря ее машинам, заменившим человеческий труд, были произведены грандиозные работы во всем мире, и там, где под ногами Моисея вздымалась только пыль, теперь рос хлеб. Миллионам школьников внушали, что если они будут хорошо учиться, потом их, может быть, наймет какая-нибудь фирма вроде «Россериз и Митчелл-Интернейшнл». Молодежи говорили: «В тот день, когда весь мир станет единым гигантским предприятием, никто не будет больше никогда голодать, никто не будет испытывать жажды, никто и никогда не будет болеть».

Вот как обрабатывались умы в индустриализованном мире, когда во французском филиале гигантской американской и транснациональной компании произошло некое событие.

Итак, это случилось в то время, когда богатые страны, ощетинившиеся заводскими трубами и набитые магазинами, открыли новую веру и создали проект, достойный тяжких усилий, затраченных человеком на протяжении тысячелетий: превратить мир в единое громадное предприятие.

II

Ах, как нас волнуют воспоминания! Человек, которого постигло несчастье, старается припомнить предшествовавшие ему минуты или дни, и у него появляется такое чувство, будто оно было ему предсказано заранее. Сел ли ворон на карниз, разбилась ли старая фарфоровая чаша, улетел ли листок календаря или произнесенная вчера фраза, пустая и безобидная, сегодня уже наполнилась печалью. Так и в то утро, когда появилась первая трещина, еще до прихода служащих на работу, по площади Вольтера из кафе в бистро, где обычно завтракал персонал фирмы, пронесся слух. До меня эта новость долетела, когда я выходил из метро, как обычно на станции «Фий-дю-Кальвер». Шавеньяк, заместитель заведующего сектором Испания — Южная Америка, подойдя ко мне, сказал:

— Сегодня ночью мне позвонил Порталь. Кажется, Арангрюд разбился вчера вечером на окружном бульваре, когда возвращался домой. Вы уже знаете?

— Нет,— ответил я.— А как об этом узнал Порталь?

— Жена Арангрюда позвонила ему ночью по телефону.

По мере того как мы приближались к зданию из стекла и стали, нас по пути догоняли ответственные работники, служащие, младший персонал, которые, завидев нас, быстро закончили завтрак, чтобы узнать, в чем дело.

Я заметил, что среди этой группы служащих и сотрудников фирмы «Россериз и Митчелл», принятых моими заботами на различные должности, у меня был самый высокий чин. И мысль, что я, как лицо, ответственное за отношения между людьми на нашей фирме, должен произнести несколько слов по поводу этого события, внезапно пришла мне в голову в ту минуту, когда мы подходили к главному входу. Тогда, обернувшись, я жестом попросил тишины и сказал:

— Дамы и господа, вчера нашу фирму посетила смерть.

И я устремился в холл. Эти слова были оценены: группа служащих предоставила мне одному воспользоваться лифтом, что в подобном учреждении было несомненно знаком уважения. Через несколь-

ко минут Анри Сен-Раме подтвердил мне по телефону известие о смерти Франсиса Арангрюда, 34 лет, помощника директора по «маркетингу»[1] в Бенилюксе, бывшего студента Высшей коммерческой школы в Жуи-эн-Жозас, бывшего блестящего начальника производства колбасных изделий в целлофановой упаковке компании «Корвекс», второй в Европе. Через тридцать минут после отъезда из своего отдела он умер на окружном бульваре от раны в правом виске, полученной во время столкновения с грузовиком, изготовленным компанией «Сотанель», четвертой во Франции, и обслуживающим фирму «Амель-Фрер», вторую среди французских компаний дорожного транспорта. Этот перечень, хоть он и может показаться скучным, тем не менее в точности передает все, что сообщил мне по телефону деятельный Сен-Раме, верный себе при любых обстоятельствах. Безвременная кончина Арангрюда не пройдет бесследно при расстановке кадров на нашем предприятии. Я даже предвидел жестокую борьбу не столько из-за освободившегося поста, который он занимал, сколько из-за должности, на которую Сен-Раме предполагал назначить его в скором времени,— то есть места директора по «маркетингу» во французском филиале.

К полудню я был приглашен в кабинет Сен-Раме. Там находился Рустэв, заместитель генерального директора, бывший технический директор, который уже давно лелеял надежду руководить фирмой, но в последнее время видел, что его вытесняет волна молодых менеджеров, пленивших Северную Америку. Сен-Раме задал мне вопрос, непосредственно относившийся к моим обязанностям:

— Каким образом следует похоронить Арангрюда?

— Видите ли,— ответил я,— об этом, мне кажется, надо спросить его жену.

— Должен ли я сам пойти к ней? — спросил меня генеральный директор.

— Я полагаю, вы должны возглавить траурную процессию нашего предприятия и первым поклониться праху покойного или, по крайней мере, гробу. Но мне думается, вам не следует спешить... Семья, несомненно, очень взволнована, и вы, господин директор, не должны подвергаться риску встретить нелюбезный прием или быть свидетелем истерики.

— Мне кажется, это весьма разумно. Как вы думаете, мосье Рустэв?

— Я тоже думаю, что это весьма разумно.

— А жена его любила? — спросил Сен-Раме.

— Не знаю, мосье.

— Наведите справки. Похороны сотрудников фирмы всегда полны ловушек для руководства. В церкви часто собирается много сотрудников, и никогда не знаешь, что надо говорить или делать... Должен ли я произнести речь?

— Я навещу мадам Арангрюд и выясню эти вопросы, мосье.

— Для меня важна не она сама, а наши кадровые сотрудники... Некоторые, и среди них лучшие, возможно, еще крепче привяжутся к нашему делу, если увидят, что в случае их внезапной смерти я в последний раз буду говорить об их заслугах перед персоналом... К примеру, Бриньон... я слышал, что фирма «Грант и Майклсон» собиралась выгнать его... Я уверен, что он высоко оценил бы, если бы я, Сен-Раме, отдал ему посмертную дань уважения.

— Я не рассматривал вопрос под таким углом зрения, мосье, но это верно, что хорошо продуманный панегирик Арангрюду мог бы

[1] Рынкам сбыта *(англ.)*.

произвести наилучшее впечатление на наших кадровых сотрудников и прочих служащих... Хотите, я на всякий случай подготовлю его для вас?

— Нет, нет! Наведите только справки об ученых степенях покойного, узнайте, откуда он родом, чем занимался по выходе из Высшей коммерческой школы; постарайтесь разузнать о его стажировке, хотя бы и краткосрочной, в Филадельфии, Гарварде, Лос-Анджелесе, а остальным я займусь сам. Но прежде всего выясните обстановку в семье и проследите, чтобы подписанное мной извещение о смерти было вывешено на всех этажах; пошлите его и в главные газеты.

— Будет ли представлен завод Мелиньи?

— О да, завод! Конечно! Составьте делегацию из лучших работников, Рустэв... Будет небесполезно, если инженеры и рабочие услышат из моих собственных уст над преждевременно разверзшейся могилой что́ представлял собой помощник директора по «маркетингу»...

Когда я вышел из кабинета Сен-Раме, меня атаковала группа руководящих сотрудников. Они думали, что я знаю что-нибудь по поводу замены Арангрюда. Я им сказал, что заместитель директора по «человеческим отношениям», которому поручено организовать похороны одного из руководящих сотрудников, не должен отвлекаться. Польстил ли я им? Поняли ли они, что в случае смерти каждого из них я проявил бы такое же усердие? Но они перестали мне докучать и, перешептываясь, рассыпались по коридорам группами по двое-трое. Я же, возвратившись в свой кабинет, позвонил на квартиру усопшего кадра и, к моему удивлению, сразу же к телефону подошла мадам Арангрюд.

— Мадам,— сказал я приличествующим случаю голосом,— я ошеломлен этим несчастьем, и все мы здесь глубоко потрясены. А вы, мадам, как вы переносите столь тяжкое испытание?

— Ох! Плохо, мосье, плохо! Но перед детьми я должна держать себя в руках... Я даже и подумать боюсь о завтрашнем дне... Боже мой...

— Мадам, я только что был у нашего генерального директора и...

— Ах, у мосье Сен-Раме. Что же он сказал?

— Так вот, он просит, чтобы я встретился с вами и обсудил вопрос о похоронах... Когда я могу повидать вас, не причиняя большого беспокойства?

— Мой муж покоится в часовне больницы Сен-Уэн. Я провела там ночь и утро, и мне бы хотелось немного отдохнуть. Не сможете ли вы прийти во второй половине дня?

— Ну конечно, мадам. Вам будет удобно в шестнадцать часов?

— Да, в шестнадцать часов, спасибо, мосье.

— Будьте мужественны, мадам, и до встречи.

Вполне удовлетворенный, я положил трубку. И правда, мне показалось, что жена умершего ответственного сотрудника, несмотря на свое горе, несомненно проявила уважение к нашей фирме. Я опасался, как бы она, не сумев совладать с собой, не стала кричать о своей ненависти и сваливать на фирму «Россериз и Митчелл» ответственность за катастрофу. Ведь Арангрюд погиб, когда возвращался домой утомленный, после тяжелого рабочего дня!

Было 11 часов 30 минут. И тут, намереваясь просмотреть некоторые дела, я окинул взглядом свой письменный стол и среди служебных записок и прочих бумаг, положенных моей секретаршей, заметил желтоватый пергаментный свиток, перевязанный зеленой с черным лентой. Подумав, что это одна из обычных многочисленных реклам, я небрежно развязал узелок и развернул пергамент. Мог ли я предугадать, что этот документ положит начало стольким потрясениям?

Хотя позднее, проведя расследование, я установил, что между смертью Арангрюда и появлением пресловутого свитка не было никакой связи, тем не менее я еще и сейчас удивляюсь столь странному совпадению. Я был одним из немногих, сразу же обративших внимание на этот пергамент, хотя такие же были разложены во всех служебных помещениях. Возможно, мысли у всех были заняты трагической гибелью руководящего кадра, так как до завтрака никто не упомянул о свитке. Вот что я увидел и что прочел, когда развернул свиток. Я увидел текст, напечатанный черным средневековым шрифтом, и сверху прочел следующее заглавие, выведенное зелеными прописными буквами:

ЧТО ЗНАЮТ ТЕ, КТО УПРАВЛЯЕТ ФИРМОЙ «РОССЕРИЗ И МИТЧЕЛЛ»?

Те, кто управляет фирмой «Россериз и Митчелл», знают, как функционирует экономика. А поскольку мы живем в мире, где господствует экономика, то им принадлежит особое право распоряжаться делами мира сего. Не правда ли, все вы читали или слышали о том, что сегодня управлять — значит господствовать в экономике? Представьте себе размеры нашего несчастья, если бы по коварному недоразумению государственные мужи, находящиеся «у власти», не знали экономики? Или если бы в руководство предприятия по роковой случайности пробрались люди, не сведущие в экономике? Мы увидели бы конец процветанию и неограниченному счастью, позволяющим гражданам и гражданкам Запада есть до отвала, носить пушистую, подбитую мехом одежду, наслаждаться многочисленными благами и удовлетворять любые свои потребности. К счастью, однако, те, кто управляет фирмой «Россериз и Митчелл», разбираются в экономике. Таким образом, Анри Сен-Раме, когда речь заходит о благах и богатстве, в отличие от обывателей знает разницу между этими благами и богатством. Те, кто не знает этого, думают, что благами являются исключительно предметы материальные: продукты питания, велосипеды и т. д., и в этом они жестоко ошибаются, поскольку к благам относятся также услуги, которыми граждане пользуются, когда, к примеру, едут из одного места в другое. В этом случае граждане едут поездом, а путешествие — это благо. Кто бы, например, усомнился, что урок, который школьный учитель дает своим ученикам, является благом? Разве мог бы усвоить принципы закона спроса и предложения тот, кто не знает, что существуют две категории богатства: блага материальные, с одной стороны, и блага нематериальные — с другой? На рынке деньги тех, у кого есть спрос, обмениваются на блага материальные и нематериальные, имеющиеся у тех, кто их предлагает. Сен-Раме великолепно усвоил этот странный и хитрый закон. Он хорошо осведомлен на этот счет. Что же он знает сверх того, что известно всякому обывателю? Он знает, что каждое предприятие производит и упаковывает товары, а затем их продает. Мужчины и женщины покупают эти товары, но они могут их купить лишь в том случае, если им дадут деньги. А как раз предприятие и дает им деньги. Вы видите, сколь хитер и замкнут этот круг. Если товары слишком дороги, никто не может их купить, если же они слишком дешевы, предприятие не заработает достаточно денег и не может продолжать свою работу, а следовательно, не сможет больше производить товары. Поэтому надо, чтобы установилась справедливая цена на основе спроса и предложения. Вот почему нам следует радоваться, что такие люди, как Анри Сен-Раме, неустанно следят за правильным применением тонкого и деликатного закона спроса и предложения. Однако Сен-Раме знает еще больше, а большинство людей, те, кто не изучил современную

экономику, рассуждают так, как будто живут в эпоху меновой торговли. Им неизвестно, что в настоящее время производство товаров — сложный процесс и что физической силы или умственного развития для этого дела вовсе не достаточно. Нужны машины, уголь, электричество, сталь, шерсть, автострады, железные дороги. Без всего этого предприятия не могут производить одежду, инструменты, продукты питания. Следовательно, они должны покупать машины, сталь, хлопок, а все это требует от руководителей дополнительной энергии и знаний. Теперь руководитель предприятия должен неустанно следить за двумя рынками одновременно — за тем, где он продает свои товары, и за тем, где покупает машины и сырье. И вот здесь мы подходим к двум резко отличающимся друг от друга явлениям в теории современной экономики: капиталу основному и капиталу оборотному. Когда трактор выходит с заводов «Россериз и Митчелл», необходимо делать различие между красками и металлом, которые пошли на его изготовление, и станками, которые его производят. Металл и краски, закупленные Сен-Раме, навсегда потеряны для предприятия, они затрачены на изготовление трактора и отныне принадлежат владельцу этого трактора. Зато станки остались на заводе, где они продолжают производить другие тракторы. Следовательно, можно утверждать, что металл и краски являются сырьем, которое прошло путь от рудников до литейных заводов и от них до «Россериз и Митчелл», а затем — до крестьянина из Ла-Боса. Поэтому будет вполне естественно назвать этот капитал оборотным. Что же касается станков, которые остаются на заводе, то они составляют основной капитал, не участвующий в обороте. Во избежание возможных насмешек необходимо подчеркнуть, что трактор, хотя он и работает на обширных, засеянных зерновыми, полях этого крестьянина, является для него, однако, не оборотным, а постоянным, основным капиталом, орудием длительного пользования, позволяющим производить продукты питания кратковременного пользования. Видите, сколь хитроумной может быть экономика нашего времени! Сен-Раме принадлежит к тем, кто это знает. Ну а вы? Вы это знаете? Может, вы думали, что экономическая наука действует по наитию? Если бы Сен-Раме был не способен видеть разницу между основным и оборотным капиталом, разве вы получали бы ваше жалованье? Но те, кто руководит, знают еще больше, им известны вещи и куда более сложные. Продолжите чтение, и вы убедитесь, что те, благодаря кому экономика процветает, заслуживают вашего уважения и симпатии, что от них зависит благосостояние народа и что они не узурпировали своих постов. Слышали ли вы когда-нибудь об инфраструктуре? Если да, то знаете ли вы на самом деле, что это такое? Сен-Раме один из тех, кто знает это лучше и глубже других. Что же он знает? Он отлично понял, что для того, чтобы производить, предприятию уже недостаточно работы одних людей и машин. Как можно было бы производить без дорог, без телефона, электричества, без больниц для лечения кадровых сотрудников, служащих, инженеров и рабочих? И если государство занимается этими вопросами, то совершенно очевидно, что существует производственная связь между предприятиями и государством. И уже нет сомнения в том, что существует не два рынка, за которыми Сен-Раме должен приглядывать, а три: рынок потребителя, рынок сырья и еще один — тот, который находится в ведении администрации. Это говорит о том, сколь обширными познаниями должны обладать те, кто руководит. Со временем я расскажу вам, что они знают о финансах. Ибо то, что я написал о машинах, сырье, законе спроса и предложения, ничто в сравнении с ужасающей сложностью следующего вопроса — об экономической и финансовой роли капитала. А пока помолимся богу, чтобы наше об-

щество выиграло экономическую войну во имя великого счастья всего человечества, и попросим его сохранить в добром здравии руководителей, которые неустанно следят за нашим ростом и расширением. Слегка приоткрыв то, что они знают и какое несут бремя, я стремился лишь вызвать к ним еще большее уважение.

Текст этот не был подписан. Прочитав его, я сидел в недоумении, нерешительно поглаживая подбородок. В недоумении — ибо я не вполне улавливал суть дела; нерешительно — ибо в качестве заместителя директора по «человеческим отношениям» мне надлежало истолковать его и соответственно либо действовать, либо воздержаться. Какой интерес должен я проявить к подобному посланию? Какие последствия оно может иметь внутри предприятия? И прежде всего, кто еще, кроме меня, получил его? Я понимал, что на этом будет основываться мое решение. Снова свернув пергамент, я перевязал его зеленой с черным лентой и позвал свою секретаршу.

— Мадемуазель,— сказал я небрежно,— что это за свиток?

— Очевидно, какая-то реклама, мосье, кажется, все его получили.

— А,— сказал я, немного обеспокоенный,— и вы тоже?

— Да, он лежал сегодня утром на моем столе. Я его даже не развернула... А в чем дело? Что-нибудь серьезное?

— Нет, нет,— живо возразил я,— это скорее шутка, должно быть, просто розыгрыш. Благодарю вас, мадемуазель.

Таким образом, еще до открытия кабинетов такие свитки лежали на всех столах. Мой короткий разговор с секретаршей подтвердил одну из трудностей создавшегося положения: проявить большой интерес к этому делу — все равно что придать ему значение, которого оно, бесспорно, не имело. И тут мне впервые пришлось поразмыслить обстоятельнее над содержанием текста. О чем, собственно, в нем говорится? Так, пустяки. Однако, читая его, я испытывал необъяснимое чувство. Мы уже привыкли к тому, что на нашем, как и на других крупных предприятиях время от времени распространяются сообщения профсоюзов, политические тексты и даже революционные брошюры. Но мне никогда еще не доводилось видеть текст подобного рода. Отсутствие явной цели подсознательно встревожило меня больше, чем то, что было в нем изложено. Подумав несколько минут, я решил пройтись по отделам. Когда я закрывал дверь, мне неожиданно пришла в голову мысль о любопытном совпадении между появлением странного текста и смертью Арангрюда. В коридорах фирмы «Россериз и Митчелл» царило оживление. Подойдя поочередно к двум-трем группам кадров управленческой верхушки, я убедился, что это волнение вызвано начавшейся борьбой между кланом Рустэва и кланом Сен-Раме за овладение постом, который должен был занять Арангрюд, если бы он не погиб. Я зашел в один из кабинетов бухгалтерии, и там, как я понял, сотрудники были больше всего взволнованы несчастным случаем: разговоры об опасности автомобильного движения были неистощимы. Повсюду я заметил свитки, но нигде не видел ни одного развернутого. Некоторые даже были брошены неразвязанными в корзинки для мусора. Персонал, вообще мало склонный просматривать бесчисленные рекламы, ежедневно наводнявшие фирму, как видно, проявил еще меньший интерес в этот день, когда внимание всех сотрудников было поглощено смертью помощника директора по «маркетингу» в Бенилюксе. Из этого я заключил, что пока лучше всего вообще не говорить о свитке. Однако я должен был сообщить о случившемся Сен-Раме и решил вернуться в кабинет, чтобы позвонить

ему. У себя я застал секретаршу и своего помощника, которые весело смеялись. Я понял, что так или иначе, но персонал не останется безразличным к этому посланию. Прежде чем позвонить Сен-Раме, я решил выполнить свою обязанность и прощупать почву.

— Что здесь происходит? — спросил я, подходя к ним.

Оба мои сотрудника постарались кое-как сдержать смех, и Ловаль ответил:

— Мосье, речь идет о бумаге, о свитке, который мы сегодня утром нашли на своих письменных столах.

— Ну и что же, Ловаль,— сказал я строго,— что в этом свитке необычного?

— Право, не знаю, мосье, ничего. Если поразмыслить, в нем как будто нет ничего особенного, но когда мы его читали, нас разбирал смех.

Я почувствовал, что если поговорю с ним непринужденно, то смогу кое-что выяснить полезное, и воскликнул:

— Я ни в чем вас не упрекаю! В нашей фирме «Россериз и Митчелл» каждый имеет право смеяться! К тому же разве есть хоть одна компания в нашей стране, где веселятся больше, чем у нас? Признаюсь, я и сам, читая свиток, не мог сдержать улыбки... До того забавно!

Приободрившись, Ловаль перебил меня:

— Я лично ничего в нем не нашел забавного, но меня рассмешила мысль, какую физиономию скорчит мосье Сен-Раме, когда будет читать этот текст.

«Черт возьми,— подумал я,— это уже становится серьезным».

— Мосье Сен-Раме? А какую же физиономию, вы думаете, он скорчит?

— Право, не знаю, мосье, можно подумать, что тот, кто это писал, насмехается над ним.

— Скорее наоборот,— сказал я,— ведь он пишет, что в наши дни не так просто руководить предприятием и для этого нужны большие знания.

— Да,— пробормотал Ловаль, став вдруг серьезным,— это правда...

— Ловаль,— сказал я под влиянием внезапно пришедшей мне мысли,— а сами-то вы знаете то, о чем написано в этой бумаге?

Прошла минута-другая прежде, чем последовал ответ.

— Мосье, это кажется совсем просто, и я, конечно, это знаю, хотя сам того не подозревал.

— Значит, Ловаль, вы все-таки знаете закон спроса и предложения?

— Да, мосье, да,— ответил он поспешно, как будто опасаясь, что я буду неприятно удивлен его невежеством,— я знаю этот закон, но так хорошо мне никогда его не объясняли.

— А в этом свитке, Ловаль, вам его хорошо объяснили?

— О да, мосье, очень хорошо, я как будто узнал его лучше прежнего, словно мне его растолковали.

— Но тогда, Ловаль, и вы, мадемуазель, почему же вы нашли его смешным?

— Видите ли, всем известно, что мосье Сен-Раме все это знает, и потому как-то смешно его с этим поздравлять.

— Спасибо, Ловаль, спасибо, мадемуазель, возвращайтесь к своим делам, и не будем больше говорить об этом. Вы видите, что в конечном счете это не заслуживает внимания.

С этими словами я отошел от них и вновь водворился в своем кабинете. Я вовсе не был убежден в правильности заключения, сделан-

ного мной в конце нашего разговора. Ловаль и моя секретарша просветили меня. С этой минуты я был уверен, что фирма «Россериз и Митчелл-Франс» вскормила на своей груди опасного врага, неизвестного злоумышленника. Я позвонил Сен-Раме и сразу же добился срочного свидания с ним.

III

Признаюсь, когда я второй раз за этот день входил в кабинет Сен-Раме, я был далек от мысли, что история со свитком получит столь неожиданное развитие. Я все же объяснил генеральному директору причину моего беспокойства.

Сен-Раме задумался, а затем спросил:

— Вы проверили, все получили свитки?

— Да, мосье.

— Вы думаете, их написал и распространил кто-нибудь из наших?

— Думаю, что да.

— Почему?

— Потому что вас называют по имени.

— Да, но... я, кажется, достаточно известен как руководитель предприятия...

— Это правда, мосье, нельзя со всею решительностью утверждать, что текст написан кем-то из нашего персонала. Но вот что странно: на этот раз вас не столько осуждают, сколько восхваляют.

— Да, я это заметил. Довольно любопытно.

— Подождем, мосье, когда мы получим продолжение,— возможно, все прояснится.

Сен-Раме вздрогнул:

— Продолжение, говорите вы?

— Да, об этом ведь сказано в тексте. Там даже написано, что тема продолжения: «Об экономической и финансовой роли капитала».

Сен-Раме снял очки, что бывало с ним довольно редко — лишь когда он глубоко задумывался. Через несколько минут он пробормотал:

— Вы правы, в сущности этот текст довольно любопытен... Что, черт возьми, он может означать?

Внезапно мне пришла в голову, как говорится, удачная мысль: повторить с его секретаршей опыт, который я проделал со своей. Попросить секретаршу Сен-Раме прочесть текст и высказать свое мнение. В это время сам Сен-Раме должен был спрятаться за дверью и слушать. Конечно, играть подобного рода комедию было не в духе Анри Сен-Раме, который, как известно, не обладал тонким чувством юмора. Поэтому я обратился к нему со своим предложением весьма осторожно, с многочисленными оговорками. К моему удивлению, он перебил меня и неожиданно сказал:

— Давайте не будем терять время на болтовню, проверим лучше, какое действие это может оказать на наших сотрудников. Что надо делать?

— Вы, мосье, спрячетесь за маленькой дверью, ведущей в ваш секретариат, и будете слушать, а я войду туда из холла. Когда вам надоест, вы меня позовете.

Я вышел от него и вошел в кабинет секретарши.

Мадам Дормен, молодая, довольно образованная женщина, говорила на многих языках: она была замужем за чиновником, работавшим в министерстве финансов, где он вычислял налоги на нефть и мазут; мать полуторагодовалого ребенка, которого она оставляла на

попечение одной голландке, специалистке по уходу за детьми. Короче, мадам Дормен была очень современной молодой женщиной, приятной и обходительной:

— Здравствуйте, мадам Дормен! Как поживаете?

— Все в порядке, патрон сегодня в хорошем настроении...— И, подойдя ко мне, добавила, понизив голос: — Он завтракает с мосье Табулем, помощником заведующего канцелярией министра...— А затем продолжала своим обычным голосом: — Смерть Арангрюда сильно его опечалила. Не так-то просто найти у нас подходящую кандидатуру на пост директора по «маркетингу». Как вы думаете?

— Думаю, в самом деле это будет трудно... Смотрите-ка,— воскликнул я с невинным видом, указывая на свиток, лежавший на углу стола,— и вы тоже получили его?

— Что именно? А, этот свиток! И не говорите, меня совсем завалили рекламами, как будто у мосье Сен-Раме есть время их читать!

Я взял свиток, развернул его и сделал вид, будто читаю.

— А ведь это любопытно,— сказал я немного погодя,— прочтите-ка. Здесь что-то другое, не обычная реклама.

Мадам Дормен сначала быстро пробежала глазами пергамент, затем стала читать его медленнее. Наконец она спросила меня:

— Что это такое?

— По правде говоря, не знаю, но нахожу это довольно забавным, а вы?

— Нет. Я не вижу здесь ничего забавного! Профсоюзы будут в бешенстве!

— Профсоюзы?

— Ну да, здесь говорится, что руководители знают все, а персонал не знает ничего!

— Об этом я не подумал,— чистосердечно признался я.— Мне кажется, что в этом тексте скорее смеются над мосье Сен-Раме, преувеличивая его познания.

— Не думаю... Он действительно все это знает.

— Да, но здесь все изложено довольно упрощенно... Конечно, он знает все это и еще многое другое.

— Именно это и написано в тексте, хотя здесь только начало... Зато всем будет ясно, что для управления предприятием надо действительно обладать большими знаниями.

— Тем не менее, мадам Дормен, все эти вопросы трактуются настолько примитивно...

— Ну нет! Я уверена, что люди узнают кучу вещей, о которых они не имели понятия или только предполагали, что знают.

Тут я заторопился к Сен-Раме и быстро закончил разговор. Генеральный директор был раздосадован, что согласился на этот опыт: результаты явно сбили его с толку.

— Ну что? — спросил он.— Ваша секретарша смеется, а моей текст так понравился, что она даже опасается реакции профсоюзов! Как это понять?

— По правде говоря, мосье, все это можно понять и так и этак.

— Вот самое малое, что можно сказать... Я думаю вот что: оставим все как есть, мы всегда успеем принять меры. Так или иначе, у нас нет никакой возможности помешать персоналу ознакомиться с этой... этой бумагой. Когда каждый ее прочтет, мы посмотрим, а пока постарайтесь незаметно разузнать, кто ее автор. Не может быть, чтобы у нас нашлось с полсотни человек, способных написать подобную штуку и вдобавок не полениться распространить ее, да еще ночью! Это скорее сделано из озорства, чем со злым умыслом. А по-

ка вы не ушли, скажите мне, кого бы вы считали у нас подходящим на пост директора по «маркетингу»?

— Может быть, Бриньона, мосье, он возглавляет секцию Французского рынка.

— Бриньона,— пробормотал Сен-Раме,— почему бы и нет? Подготовка у него хорошая, человек он напористый, но, пожалуй, немного молод и совсем недавно на своем посту... Ну хорошо, посмотрим. Вы распорядились по поводу объявлений о похоронах?

— Да, они будут вывешены к вечеру.

— Хорошо. Когда вы встречаетесь с вдовой?

— Сегодня в шестнадцать часов.

— Прекрасно... Вы мне обо всем расскажете завтра утром.

Я вышел. Едва я закрыл за собой дверь, как мне показалось, будто кто-то громко расхохотался. Пораженный, я бросился к мадам Дормен.

— Это вы смеялись?

Секретарша с удивлением уставилась на меня.

— Я? Нет, это мосье Сен-Раме. Разве он не имеет права посмеяться? А я-то думала, что вы у него.

— Я в самом деле был у него,— промямлил я,— но я подумал, что вы тоже смеялись, знаете, над этим текстом.

— Ах, над этой пресловутой бумагой! Ей-богу, она не даст вам сегодня спать!

Я глупо улыбнулся и закрыл дверь. Немного растерянный, я направился к своему кабинету, когда ко мне подошел сотрудник из материальной службы предприятия и сказал:

— А вас искали, мосье. Вам следует спуститься в подвал. Кажется, там образовалась трещина!

— Трещина?

— Да, мосье, большая трещина в одной из опорных стен фундамента.

— Спасибо, сейчас пойду посмотрю.

Я чувствовал, что мне необходимо несколько минут побыть одному, прежде чем спуститься в подвал. Я вошел в кабинет, подошел к окну и окинул взглядом широкую панораму. Здание из стекла и стали фирмы «Россериз и Митчелл-Франс» возвышалось над площадью Вольтера, площадью Наций, площадью Бастилии, площадью Республики. Какие волнующие названия! В шестидесяти километрах отсюда высился наш гигантский завод в Мелиньи, на котором работали 8 500 рабочих, техников, инженеров. Мы сами, находясь здесь, в самом сердце Франции, где творилась ее история, бросали на съедение нашим вычислительным машинам тысячи данных, а они извергали тысячи результатов и возможных решений, тяжким бременем ложившихся на экономику Мексики и Берега Слоновой Кости. Я думал о поэтах, погребенных у подножья нашей крепости, за оградой Восточного кладбища, всем известного Пер-Лашеза, где сотрудники фирмы «Россериз и Митчелл-Франс» привыкли прогуливаться в хорошую погоду словно в парке. Не единственные ли мы в мире служащие, которые любят бродить между 12-ю и 14-ю часами по кладбищу? Мне вдруг показалось, что все это предвещает беду. Теперь мне следовало осмотреть трещину. Я закрыл окно и вышел из кабинета. В лифте, который погружался в недра здания, меня преследовали видения могил великих людей.

IV

Я прекрасно отдавал себе отчет в том, что нагромождение стольких событий за одно утро могло вызвать чрезмерное возбуждение во

всем моем предприятии. Но не следует забывать, что фирма «Россериз и Митчелл-Франс» занимала целиком здание из стекла и стали в 11 этажей! В нем работало 1100 человек, и многие из них были связаны со всем миром. До сих пор мое описание событий отражало лишь отношение к ним со стороны руководства, так сказать «штаба». Однако в это утро, вопреки моим ожиданиям, фирма «Россериз и Митчелл-Франс» не проявляла каких-либо заметных признаков волнения. Мне оставалось лишь посмотреть своими глазами на трещину. Ночной сторож сообщил о ней соответствующей службе предприятия, которая в свою очередь хотела, чтобы я высказал свое мнение. И это было вполне естественно. Два человека, показавшие мне трещину, не подозревали, что заместитель директора по «человеческим отношениям» осматривает эту длинную черную щель с глубоким волнением, ибо для меня, в отличие от персонала, утро на этом еще не заканчивалось. Смерть Арангрюда, свиток и трещина создавали цепь событий, от которых мне стало не по себе. Преувеличиваю ли я сегодня тревогу, которая тогда овладела мной? Право, не думаю. Повторяю: я еще ничего не предвидел. Только последующие события удивили меня меньше, чем других, чем всех остальных, за исключением самого обличителя. Итак, я приступил к тщательному осмотру подвальных помещений; я никогда не обследовал их полностью. Здание уходило корнями в землю там, где прежде находилось обширное кладбище. Во время строительства обнаруживали старинные могилы, заваливали многочисленные глубокие галереи, откачивали воду из маленьких подземных озер. Власти парижского муниципалитета потребовали, чтобы были сохранены некоторые катакомбы и останки на кладбищах по обеим сторонам приобретенного американцами участка земли, что заставило архитекторов замуровать входы в охраняемые властями подземелья. Для этой цели были использованы специальные камни, привезенные из Пенсильвании. Компания «Россериз и Митчелл» использовала свои подвалы для архивов, поместила там главную ЭВМ, оборудовала колоссальную библиотеку, которая служила также местом для проведения новогодних праздников и других официальных церемоний фирмы. Например, в день, когда Сен-Раме получил по ходатайству министерства индустриального развития орден «За заслуги», церемония происходила в этом великолепно задуманном, хорошо оборудованном, современном, удобном для отдыха и уютном зале, освещенном тысячью огней, и персонал долго хранил в памяти яркое впечатление от этого вечера. Я не могу сдержать чувства умиления, вспоминая часы отдыха в этом зале, где я бывал так часто распорядителем.

Закончив осмотр, я приказал ответственным за материальную службу лицам предупредить об опасности главного архитектора Парижа и держать меня в курсе его заключений и намерений. Следует ли мне вновь просить Сен-Раме о срочном свидании? Мне показалось это бесполезным, даже опасным, ибо неизвестно, как он еще на это посмотрит. Как бы он не подумал в конце концов, что нервы мои стали сдавать, а следовательно, пришло время заменить меня. Я отбросил эти мрачные мысли и, направляясь в туалет, весьма кстати вновь обрел чувство юмора. Что, если завтра я прочту на стенках туалетов фирмы: «Да здравствует свиток!», обязан ли я буду доложить об этом Сен-Раме? И, приободрившись, я пошел завтракать.

Воспоминание о завтраке в день появления первого свитка крепко врезалось мне в память.

Вот они все, кто работал в те времена на фирме «Россериз и Митчелл», довольные, радостные, упитанные, с разыгравшимся аппетитом, поспешно рассыпаются по кварталу, каждый торопится к ресторану или бистро, соответствующему его жалованью и рангу. Сен-Раме предпочитал рассчитываться по чековой книжке в ресторане, чем обедать в столовой предприятия. Ему хотелось, чтобы служащие не стеснялись, чувствовали себя свободно и отдыхали в свое удовольствие. Да, вот они все передо мной, и хотя воспоминание об их завтраке не сделает мой рассказ много интересней, желание почтить их память берет верх и увлекает меня к ним. Ах, руководящие кадры главного штаба, дорогие мои коллеги былых времен! Здравствуйте и приятного вам аппетита! Вот ответственный работник Бриньон, одна из самых светлых надежд «маркетинга» нашей страны, глава секции Французского рынка, кандидат на пост, который Сен-Раме предназначал для бедняги Арангрюда. Но как он в самом деле молод! Он подходит и вежливо приветствует меня:

— Здравствуйте, мосье.

Это не значит, что он глубоко уважает или опасается меня,— просто он понимает, что втянут в непредвиденную борьбу, преждевременно начатую из-за смерти Арангрюда, и не хочет пренебрегать хоть незначительной поддержкой старшего, который встречается с генеральным директором по меньшей мере раз в день. Про Бриньона говорят, что он единственный европейский коммерческий работник компании, которого знают и ценят инженеры научно-исследовательского центра в Де-Мойне. Эту репутацию молодой человек заслужил за смелость, которая стоит того, чтобы о ней упомянуть: один инженер из Канзаса представил американскому штабу фирмы патент на машину с вертикальным буром. Это изобретение вызвало восторг инженеров — исследователей фирмы, которые поспешили купить патент, но затем столкнулись с оппозицией и недоверием коммерческих работников: последние утверждали, что ни одна страна в мире не найдет ему применения. Новая машина была единодушно объявлена непродажеспособной. Бриньон уговорил Сен-Раме от имени французского филиала проявить интерес к этой машине, доказав ему, что ее можно будет продавать в Вогезах и на востоке Центрального массива. Штаб в Де-Мойне позволил произвести опыт, и он оказался успешным. Будущее машины было обеспечено: опираясь на успех французского филиала, руководство фирмы «Россериз и Митчелл» стало поставлять машины во все страны, рельеф которых был схож с вогезским. Де-Мойн поздравил Сен-Раме, и американские инженеры захотели узнать имя молодого инициатора этого успеха. Таким образом перед Бриньоном открылись блестящие перспективы.

— Здравствуйте, дорогой Бриньон.

— Где вы будете завтракать, мосье?

— Право, еще не знаю.

— Порталь, Шавеньяк, Лё Рантек и я завтракаем сегодня вместе — хотите составить нам компанию?

— Охотно, Бриньон. Я сейчас присоединюсь к вам. У меня есть еще маленькое дело. А куда вы пойдете?

— Мы завтракаем «У Батиста».

— А, «У Батиста», очень хорошо, Бриньон, спасибо и до встречи.

Прежде чем сесть за стол, мне захотелось пройтись, пожать руку кое-кому из сотрудников, прощупать пульс предприятия, послушать, что будут болтать об этой истории со свитком. «У Батиста» был один из тех ресторанов, где в те времена собирались порой журналисты, связанные с торговыми кругами, чтобы привлечь к себе внимание руководящих работников и их начальников.

«У Батиста» завтраки стоили дорого, сидеть было неудобно, и хозяин вам грубил. Но там свисали с потолка связки ломбардских сосисок и можно было полакомиться салатом из одуванчиков.

Здравствуйте, Террен, глава местного рынка, которому Бриньон навязал свой экскаватор с вертикальным буром, за что тот и ненавидел Бриньона. Привет, Иритьери, стажер первой категории юридического отдела. Мир вам, Селис, заместитель директора по импорту! Я встречаю их всех у выхода с предприятия, они спешат веселые, упитанные, с разыгравшимся аппетитом. Воспоминания! Воспоминания! Бриньон, Шавеньяк, Порталь, Лё Рантек и я разместились за столиком «У Батиста», молчаливые и серьезные: умер Арангрюд. Мои младшие коллеги начинают тотчас расспрашивать меня, какие пути в наши дни ведут к власти в гигантских транснациональных предприятиях. Я не решаюсь заговорить о свитке. Они либо его не читали, либо тоже не решаются говорить о нем. Я отвечаю на их вопрос и излагаю свои мысли языком, который, как я знаю, им нравится:

— Видите ли, первый путь — это овладение техникой. Может ли директор одного из заводов «Россериз и Митчелл» стать со временем главой предприятия? Да, может. Второй путь — это финансы. Может ли финансовый директор стать со временем главой предприятия? Да, может. Третий путь — это торговля. Может ли стать главой предприятия директор по продаже и «маркетингу»? Да, может. Наконец,— говорю я, готовясь произвести на них впечатление,— мы подходим к новой концепции, отличной от всех других, берущей ото всех понемногу,— это управление; администратор не является ни финансистом, ни техником, ни коммерсантом, я думаю, он организует все понемногу. К тому же в американских школах этому обучают, и в нашей стране такие школы уже рождаются, растут, и, возможно, кончится тем, что они заменят все другие. Путь управления ведет к тому, что называется *менеджментом*. Менеджмент состоит в том, чтобы как можно лучше разбираться в планах, цифрах, организациях, сделках, соглашениях,— короче говоря, находить всевозможные решения и отбрасывать все эмоциональные факторы. Для крупного менеджера не существует никакой разницы между религиями, политическими режимами, профсоюзами и т. д. Вот почему все менеджеры мира — американцы, африканцы, азиаты, европейцы — похожи друг на друга, думают все одинаково; менеджмент требует совершенной беспристрастности и полной независимости. Проблема состоит в том, чтобы знать, рентабельно предприятие или нет, может ли оно самофинансироваться или нет. Неважно, объявят ли себя потом руководители правыми или левыми. Постепенно произойдет всеобщее нивелирование поступков и идей. Политический антагонизм уступит путь мирному движению капиталов и товаров, что неизбежно приведет к гармонии и мировому братству.

— Можно ли назвать Сен-Раме менеджером? — спросил Порталь, глава экспорта Италия — Бельгия — Нидерланды.

Я увидел ловушку и, улыбаясь, ответил:

— Да, он менеджер, но крупный менеджер.

Я заметил подлинное восхищение на молодых, честолюбивых и нетерпеливых лицах. Разве я не ловко им ответил? Ведь я не отказался от своего мнения и не скомпрометировал себя! Вот что они должны были усвоить, чтобы со временем достичь высокого положения.

— Когда похороны Арангрюда? — спросил Бриньон.

— Не знаю... Видимо, завтра утром.

— Должны ли мы идти на похороны? — осведомился Шавеньяк.

— Вам сообщат в надлежащее время.

— Отчего он умер на самом деле? — спросил Порталь.

— Удар в правый висок... столкнулся с грузовиком «Сотанель».

— «Сотанель»? — спросил Бриньон.— Солидная лавочка, у меня там приятель, одного со мной выпуска... шесть тысяч франков в месяц... «Сотанель» — французская фирма, занимающая четвертое место по производству тяжелых грузовиков.

— Утвердившаяся в Бенилюксе,— уточнил Порталь.

— Грузовик принадлежал фирме «Амель-Фрер».

— «Амель»? Тоже хорошая лавочка... вторая по дорожному транспорту, они тоже часто ездят в Бенилюкс.

— Бедняга Арангрюд! — вздохнул Бриньон.

— У него были дети?

— Двое.

— А жена?

— Я увижу ее сегодня во второй половине дня.

Теперь глаза мои затуманились, и я больше ничего не различаю, кроме их застывших силуэтов. Подумать только, как они сказали: «Бедняга Арангрюд!» Я вспоминаю, что после завтрака, вместо того чтобы немедленно вернуться к себе на фирму, я пошел прогуляться по Пер-Лашезу.

Не сомневаюсь, что тем сотрудникам, которые прогуливались на больших кладбищах в часы, когда они открыты для посетителей, будут отпущены все грехи.

V

Вдова выглядела утомленной. На ней была юбка в черную и белую полоску, черная блузка, черные чулки, белые сапожки; черный с белым платочек покрывал ее волосы. Арангрюды занимали пятикомнатную квартиру на холмах Сен-Клу. Они купили ее в кредит. Предприятие выдало им ссуду, чтобы пополнить, как называли в те времена, их личный взнос. И в самом деле, руководящие сотрудники, будь они даже членами главного штаба, были не в состоянии купить квартиру, так дорого это стоило. Тогда они залезали в долги и в течение двадцати лет выплачивали астрономические ежемесячные взносы, ибо им хотелось жить в фешенебельном квартале. Это обстоятельство сразу ставило их в зависимое положение. И когда директор по «маркетингу» терял свое место, он одновременно утрачивал иллюзии о своей видной роли в обществе того времени. Успеха добивались другие, те, кто жонглировал деньгами, кто их рассматривал как самоцель, а не как средство обмена и производства. Что станется с вдовой Арангрюда и его детьми? Придется продавать цветной телевизор, стереофонический магнитофон, скандинавскую мебель, нормандское стекло, деревянные вилки, сделанные вручную эскимосами, светильники, созданные и расписанные американскими модернистами, большой автомобиль мужа, маленький автомобиль жены, шотландскую овчарку, сумки и шали, привезенные из Макао женой министра, держащей модный магазинчик на бульваре Сен-Жермен, взять обратно как можно больше денег, внесенных в строительные и кредитные организации, в надежде быстро продать квартиру, сказать «прощай!» всем женам сослуживцев, с которыми были знакомы или дружили, рассчитать бонну и девушку из «Альянс франсез», приходившую работать на полдня, отказаться от снимаемой на лето виллы и, наконец, удрать в провинцию, где квартиры не так дороги, предварительно взяв у Сен-Раме рекомендацию, чтобы получить работу у какого-нибудь марсельского подрядчика фирмы «Россериз и Митчелл-Франс». Таковы последствия смерти ответственного работника нака-

пуне его назначения на пост директора. Я сидел перед вдовой, и она тихо говорила мне:

— Роже умер, и я расскажу вам, кто такая мадам Арангрюд. Мой отец был чиновником в Управлении общественных работ префектуры Эро. Я сдала экзамены на бакалавра, получила степень кандидата по итальянскому языку и стала преподавательницей коллежа в Мюлузе. Однажды в воскресенье я увидела, как под моими окнами ехали повозки, украшенные окороками и сосисками. В повозке на большой картонной сковороде сидели в кружок переодетые сосисками мужчины. Я рассмеялась, так как зрелище было очень забавное. Вдруг один из окороков, более заметный, чем другие, протянул ко мне руку и закричал: «Мадемуазель, идите съешьте меня!» Это был Роже. Он организовал эту рекламу для местной промышленной фирмы, где работал, и вскоре она стала компанией «Корвекс». Позже я вышла за покупками и вновь увидела этот карнавал на вокзальной площади. Роже узнал меня, и мы решили встретиться вечером. Вот каким образом я стала его женой. Он был честолюбив, образован и работал по шестнадцать часов в сутки. Он добился баснословного увеличения продажи колбасных изделий в районе.

— Да,— тихо сказал я,— он и Бриньон были единственными работниками штаба, которые действительно участвовали в коммерческих операциях на местах. Сен-Раме знает об этой истории с окороками и часто рассказывал о ней молодым сотрудникам, ставя в пример вашего мужа.

— На следующий год,— продолжала вдова,— его пригласила фирма «Россериз и Митчелл». Я была счастлива переехать в Париж. У нас появился первый ребенок, и первый раз мы получили жалованье свыше пяти тысяч франков в месяц. Несмотря на успех, Роже оставался скромным и трудолюбивым. Все вечера он изучал проблемы производства и продажи машин. Я глядела, как он сидит, погруженный в диаграммы и данные статистики, и все больше восхищалась им. В этот период он занимался также изучением валютно-финансовых проблем. Он не хотел, чтобы события опережали его, и поэтому читал огромное количество статей о золоте, долларе, франке, марке и уж не помню о чем еще...

— Фунте, лире,— прошептал я.

— Ах да, фунте и лире! Он часто смеялся надо мной, потому что я их путала,— сказала она, вдруг немножко повеселев, несмотря на боль, ей причиняемую воспоминаниями, и продолжала: — Он очень быстро изучил все, что касалось торгового оборота, доходов, прибылей, капиталовложений. Знаете, у него была поразительная способность сразу схватывать все...

В это время мы услышали, как на улице, под окном квартиры, сильно заскрипев тормозами, остановились какие-то машины.

— Ох,— простонала она.— Боже мой, они приехали... Извините, что я вам не сказала, но поймите, я совершенно одна, я так растерялась и не подумала, что надо вас предупредить...

— Что там происходит? — спросил я, вставая с пуфа.

Она разрыдалась и сказала:

— Они привезли тело покойного.

— Ах вот что,— проговорил я, взволнованный и сбитый с толку,— они привезли тело.

Я об этом действительно как-то не подумал. Я положил ладонь на ее руку и, машинально похлопывая по ней, старался собраться с мыслями и решить, как мне себя вести. Разумеется, если бы меня предупредили, я не приехал бы в такую тяжелую минуту. Как бы угадывая мои мысли, вдова сказала:

— Я не знала, что надо делать... Я была измучена после ночи, проведенной в больнице... К полудню они спросили меня, хочу ли я, чтобы тело привезли домой... Я ответила «да»... ничего не соображая.

Внезапно мне пришла в голову тревожная мысль, еще увеличившая мои опасения. Я спросил:

— Но они привезут тело вашего мужа или гроб, в котором он покоится?

— Этого я не знаю,— сказала она.

— Не знаете? — повторил я озадаченный.

— Нет, я просто ответила «да». Я вам уже сказала, что растерялась, я не знаю обычаев. Умоляю вас,— прибавила она, испугавшись, что я уйду под предлогом, что теперь посторонний будет помехой,— умоляю вас, останьтесь со мной. Мои родители приедут лишь сегодня вечером или завтра утром, а пока я одна, не оставляйте меня.

— Не бойтесь, я останусь, но мне придется уйти не позднее шести часов.

В дверь постучали. Я открыл. Передо мной стояли трое мужчин: двое в белых рубашках и один в черном пальто.

— Мадам Арангрюд здесь?

— Да,— сказал я,— она тут.

— Куда нам положить тело?

— Оно в гробу? — спросил я.

— Нет, на этот счет мы не получили никаких указаний.

— Подождите минутку.

Я пошел к вдове и тихо объяснил ей:

— Тело не в гробу, куда его положить?

Мадам Арангрюд закрыла лицо руками и простонала:

— В его комнату, сюда, налево.

— Ну же, будьте мужественны,— сказал я, немного раздосадованный этим инцидентом. — Где ваши дети?

— У друзей.

— Очень хорошо, идите же, проведите этих людей.

Мужчины с помощью шофера санитарной машины внесли носилки с телом, накрытым белой простыней, и опустили его на кровать. Затем они заявили, что вернутся завтра, чтобы положить тело в гроб. Санитары без всяких затруднений внесли покойного по широкой мраморной лестнице в дом, построенный с размахом для кадров главного штаба. Итак, мы, я и вдова, очутились у изголовья Арангрюда, который лежал неподвижно, вытянувшись, с головой, обвязанной белоснежным бинтом Вельпо. Мы сидели не говоря ни слова. Уже давно я не встречался со смертью. Моим последним умершим родственником был кузен моего возраста, он утонул в море близ Мальорки во время ловли тунца, организованной фабрикантами, изготовлявшими оборудование для кемпингов. Мы просидели молча добрых четверть часа, потом вдова нарушила тишину. Она успокоилась и сказала:

— Извините меня, прошу вас, но подумайте, как трудно для женщины внезапно оказаться перед таким несчастьем: администрация больницы — там выполняют только формальности. Сухо задают вам кучу вопросов, действуют в зависимости от полученных ответов и не стараются что-нибудь объяснить. Они спросили меня: «Отвезти тело к вам домой?» Я ответила: «Да».

— В общем,— заметил я,— это неплохой обычай. В детстве я тоже бодрствовал при своих покойных дедушке и бабушке, а однажды — у соседа, и у меня не осталось дурных воспоминаний. Может быть, следует, раз уж тело здесь, чтобы возле него подежурили ближайшие коллеги? Хотите, я поговорю об этом с мосье Сен-Раме?

— О, мне бы не хотелось никого беспокоить.

— Я думаю, некоторые из них захотят отдать вашему супругу последний долг.

— Поступайте, как сочтете нужным, мосье. Я предоставляю вам решать самому, если это не значит злоупотреблять вашей любезностью.

— О нет, ведь я прежде всего заместитель директора по «человеческим отношениям», именно поэтому я и посетил вас, мне надо поговорить с вами о порядке похорон. Где вы собираетесь похоронить вашего дорогого супруга?

— На кладбище Сен-Клу. Позже, возможно, отец захочет увезти его к себе, но пока у них нет фамильного склепа.

— Желаете ли вы, чтобы на похоронах присутствовали только родные, или в них могут участвовать его коллеги, друзья и сослуживцы?

— Я не возражаю.

— Мосье Сен-Раме чрезвычайно ценил Роже Арангрюда. Как вам известно, он прочил его на пост директора по «маркетингу» всей фирмы, а это очень высокая должность. Учтите, что фирма «Россериз и Митчелл» — самая большая транснациональная компания в мире!

— Я знаю,— сказала вдова, пристально глядя на покойного.

— Мосье Сен-Раме, возможно, захочет произнести речь на могиле такого бесценного сотрудника. Что вы об этом думаете?

— Я думаю, что Роже был бы очень рад, узнав об этом.

Мы снова замолчали. Хотя я не отношусь к числу мечтателей, я начал размышлять о множестве предметов, в беспорядке теснившихся у меня в голове, и прежде всего об этом беспокойном дне. Право, вот уже второй раз какие-то странные силы пытались привести меня в состояние оцепенения, отрешенности от рационального автоматизированного мира, где я до сего дня так хорошо зарабатывал себе на жизнь. Уже у окна моего кабинета я ощутил смутное беспокойство. И вот сейчас у изголовья усопшего кадра я почувствовал, что плохо справляюсь с бременем навалившихся на меня событий. Неужели было предначертано, что этот день будет и для меня таким тяжелым? На закате моей долгой жизни я хочу предостеречь граждан и гражданок, которые не придают должного значения фактам, захватившим их врасплох, и продолжают витать в облаках. Хоть я и не суеверен, но все же искренне советую им относиться к таким фактам серьезно. Я в этом уверен теперь, когда рассказываю эту странную историю, зная ее дьявольское развитие и роковой конец.

К моему смутному, но все же реальному предчувствию того, что будущее полно ловушек и обманов, примешивались и размышления более практического характера. Например, каким образом поставить в известность Сен-Раме и руководящие кадры о возможном ночном бдении возле усопшего? Никто этого не ожидает, а я уже почти связал себя обещанием. Я возобновил разговор, прерванный прибытием тела:

— О чем мы только что говорили?

— Право, не знаю... Ах да, я была беременна; мы сняли и наспех переоборудовали маленькую квартирку на улице Ренн. Роже мне обещал, что вскоре у меня будет большая, хорошая квартира и что он непременно добьется успеха на фирме «Россериз и Митчелл». Он сдержал обещание, как вам известно... Вот он лежит здесь неподвижный, застывший, такой бледный, с повязкой на голове, а я никак не могу этому поверить... Мне все кажется, он сейчас встанет и начнет рассказывать об инфляции, повышении цен...

— О,— сказал я,— он говорил вам даже об этом...

— Да... в последнее время он очень беспокоился... Мосье Сен-Раме вызвал его, чтобы сообщить о новом назначении, а Роже тревожился о том, что цены на машины, изготовляемые во Франции, сильно возрастут и их не смогут больше продавать за границу, как прежде, и тогда в Де-Мойне решат переоборудовать заводы для производства кузовов.

— Он преувеличивал трудности,— заметил я,— но это скорее всего от сознания своей ответственности.

— Да, вы правы. Он многого ждал от Европы... Он говорил, что если Соединенные Штаты, Европа, а также Япония придут к соглашению, то они будут продавать еще больше машин в другие страны мира. Роже хотел поехать в Китай, так как, часто говорил он, китайцам очень нужны машины... Видите? Он не разделял идей китайцев, но тем не менее хотел продавать им машины... Роже был добрый... Возможно, со временем он занялся бы и политикой...

— Я уверен,— сказал я торжественно,— настанет день, когда мы будем продавать китайцам много машин... А теперь я должен вас покинуть, мне надо приехать вовремя на улицу Оберкампф, чтобы предупредить его коллег... Неловко оставлять вас одну...

— Служанка придет в половине шестого.

— Ну хорошо, я вернусь к вечеру... Меня восхищает ваше мужество, мадам Арангрюд, до свидания...

Она проводила меня до дверей. На улице я взял такси и назвал адрес фирмы «Россериз и Митчелл».

VI

Когда я вернулся на фирму, меня там ждал сюрприз: Сен-Раме приглашал меня вечером к себе на обед. Я спросил у своей секретарши, в какой форме генеральный директор передал мне приглашение.

— Мадам Дормен позвонила около одиннадцати часов,— ответила она.

Я тут же вызвал по телефону секретариат Сен-Раме. Там подтвердили приглашение и сообщили, что мне надлежит прибыть непосредственно на квартиру патрона, который сейчас отсутствует и не собирается возвращаться на фирму до обеда, назначенного на 20 часов 30 минут. Таким образом, за время моей работы у «Россериз и Митчелл» я был приглашен к Сен-Раме в третий раз: в первый раз — на официальный ужин по случаю награждения генерального директора орденом «За заслуги»; во второй — на более интимный обед, на котором присутствовали два директора отделений с женами и Берни Ронсон, представитель Де-Мойна во Франции. Обед был устроен в честь одного американца, прославившегося созданием теории внутренних коммуникаций в системе гигантских и транснациональных предприятий. Буду ли я на этот раз единственным приглашенным? Я пожалел, что не спросил у мадам Дормен, которая все знала, но мне было неловко вновь звонить ей по этому поводу. К тому же я начал свыкаться со странными явлениями этого насыщенного событиями дня, и это новое состояние духа облегчило мои размышления. Я перестал чувствовать себя одиноким, запутавшимся в сети непостижимых событий, когда убедился, что они касаются не только меня, но и других. Будущее представлялось мне неопределенным, но оно было таким же и для Сен-Раме, и для руководящих работников штаба. Сейчас, когда я пишу эти строки, я отчетливо вспоминаю свое моральное состояние в конце этого дня: право, оно вновь стало превосходным. Возможно, благодаря чисто инстинктивному чутью я уже

предвидел, что бремя осложнений, которые обрушатся на предприятие, не буду нести в одиночестве. Правда, до сих пор судьба ставила меня на передний план, ибо, бесспорно, именно мне было поручено истолковать смысл первого свитка, исследовать причины появления трещины и выяснить ближайшие последствия смерти Арангрюда. Однако это не означало, что все эти дела угрожали лично мне или должности, которую я занимал. Вскоре, не сегодня-завтра, вопросы, поднятые этими странными событиями, встанут перед всеми и я освобожусь от большей их части. Конечно, в то время я совсем не представлял себе, что не только окажусь прав, но более того: выживу, чтобы осветить события перед новым судом, который много времени спустя будет выяснять причины износа нервов и здания. Но мысль, что морально я не заслуживал серьезных упреков, очень поддерживала меня и облегчала выполнение задачи, которую я охотно взял на себя в тот вечер. Было, должно быть, 18 час. 30 мин. Служащие собирались уходить. Я попросил мою секретаршу, не теряя ни минуты, пригласить ко мне основных ответственных сотрудников для срочного сообщения. Такое приглашение сотрудники обычно встречают с особым интересом. Конечно, если оно исходит от Сен-Раме, их возбуждение еще возрастает. Однако так или иначе они уже, наверное, узнали, что день заместителя директора по «человеческим отношениям» был чрезвычайно беспокойным и, главное, что он дважды беседовал с Сен-Раме, и это еще повысило их интерес к моему сообщению. В самом деле, они не замедлили явиться, и через четверть часа в моем кабинете собрались: Бриньон, Порталь, Самюерю, Вассо, Аберо, Иритьери, Шавеньяк, Террен, Фурнье, Селис, Лё Рантек. Я их разглядывал с явным удовольствием. Меня надо понять: директор по «человеческим отношениям» приобретает вес не благодаря [illegible] своего благородного титула, а в зависимости от того, поддерживает ли он контакт с вышестоящими руководителями. Мои инициативы чаще всего имели мало влияния на служащих, которые стремились лишь добиться коммерческих успехов. В лучшем случае они выказывали мне снисходительную любезность или, на худой конец, подобно Бриньону, держались со мной учтиво. Мне же редко доводилось собирать их всех вместе, да еще так быстро. А главное — то, что я хотел в этот вечер сделать им сообщение, исключительное в практике директора по «человеческим отношениям».

Вот чем я думал их поразить. Я хотел сообщить им, что там, на холмах Сен-Клу, лежит их дорогой коллега, бледный и застывший, с бинтом Вельпо на голове. Я собирался предложить им установить ночное бдение у одра усопшего. Как же мне было не упиваться этой минутой?

Речь свою я начал спокойным тоном:

— Добрый вечер, господа, благодарю вас за то, что вы так быстро и в полном составе собрались на это совещание, и прошу извинить меня за то, что я созвал вас столь неожиданно. Но бывает, что события командуют нами, не правда ли? Вы, разумеется, уже знаете, что Роже Арангрюд, увы, погиб сегодня ночью на окружном бульваре. Его машина столкнулась с грузовиком «Сотанель», работающим на фирму «Амель-Фрер», компании хорошо вам известной, так как она занимает второе место в своей области. Удар в правый висок вызвал мгновенную смерть нашего дорогого Арангрюда. Из чего можно сделать вывод, что наш дорогой коллега не страдал, и это, я уверен, порадует нас всех. Мосье Сен-Раме поручил мне позаботиться об организации похорон, и от его имени, от имени предприятия, а следовательно, также и от вашего, я посетил сегодня после полудня дом усопшего, чтобы встретиться с вдовой и определить, какое участие

наша фирма примет в похоронах. Возможно, наш генеральный директор произнесет речь на могиле; во всяком случае, окончательные распоряжения последуют завтра утром, ибо решение будет принято сегодня вечером. По этому поводу мосье Сен-Раме пригласил меня к себе на обед. Это совещание не ставит себе целью дать вам какие-либо указания, поскольку они еще официально не утверждены. Но так или иначе нас всех ждет печальная и благородная обязанность. Мадам Арангрюд пожелала, чтобы тело ее мужа покоилось в его квартире, на его собственной постели, а не оставалось в морге больницы. Значит, вы легко можете себе представить, что сейчас, в то время, когда я обращаюсь к вам с этими словами, Роже Арангрюд, ваш дорогой коллега, лежит на своей кровати, застывший и величественный, и я добавлю, что бинт Вельпо, стягивающий ему голову, еще более подчеркивает величие лика покойного. Возможно, некоторые из вас в глубине души немного удивлены, слыша, что заместитель директора по «человеческим отношениям» выражается столь высокопарно. Но моя необычная речь вызвана еще более необычными событиями. Не странно ли потерять так жестоко и глупо человека, в котором наш генеральный директор видел будущего руководителя по «маркетингу» нашей фирмы? Не странно ли, что жена усопшего возобновила трогательную и поэтическую традицию, решив привезти тело покойного домой и побыть около него в последний раз? И разве не чрезвычайно странно, что голова усопшего повязана белоснежным бинтом Вельпо? Сам я никогда, конечно, не произнес бы подобных слов, если бы не взглянул на него, но я увидел его, господа, и это меня глубоко взволновало. От имени фирмы я решительно заверил мадам Арангрюд в нашей готовности ее поддержать и выразил глубокое сожаление и скорбь нашего генерального директора, а также, господа, ваши соболезнования и вашу скорбь. Я обещал ей, что этой ночью те, от кого зависит рост и расширение предприятия, придут ее навестить и соберутся у изголовья того, кто был одним из лучших среди нас. Вот почему, господа, я предлагаю вам отдать последний долг покойному в наиболее удобное для вас время. Я только прошу вас приходить не всем сразу и не слишком рано вечером, так как ночь длинна и было бы лучше, если б вы сменяли друг друга. Не приносите цветов — они загромоздят квартиру. Я сам после обеда вернусь в Сен-Клу, где, я уверен, найду большинство из вас. Это все, господа. Если кто-нибудь желает дополнительных разъяснений, прошу вас.

Таковы были слова, с которыми я обратился к этой необычной аудитории в не менее необычных условиях. Я немало гордился своей короткой речью. Было заметно, что руководящие кадры фирмы «Россериз и Митчелл-Франс» растерялись. К тому же я не осветил самого главного для них в этом мероприятии: примет ли Сен-Раме участие в похоронном бдении? Я хорошо знал своих коллег и, разумеется, понимал, что помимо смерти Арангрюда и его бинта Вельпо их волновал именно этот вопрос. К тому же сделанное мной вскользь сообщение о том, что я обедаю у Сен-Раме, обязывало их серьезно задуматься, как им следует себя вести. Считать ли это дежурство желательным или обязательным? Сказал ли Сен-Раме моими устами, что ответственные сотрудники должны явиться в Сен-Клу и оставаться там всю ночь? Им было трудно прямо задать такой вопрос, это было бы явно неприлично, ибо означало: если Сен-Раме придет, приду и я. Но именно это им и хотелось бы выяснить. Потом Вассон взял слово:

— Мосье, скажите, в котором часу было бы удобнее всего прийти, чтобы не очень обеспокоить мадам Арангрюд?

— На мой взгляд,— ответил я не без тайного злорадства,— между полуночью и четырьмя часами утра.

Наступила тишина. Вассон продолжал:

— Можно ли прийти туда с женой?

Правду сказать, об этом я не подумал. Многим из этих господ было бы трудно объяснить своим женам, почему они не ночуют дома. Попробуйте убедить жену ответственного работника, что ее муж должен всю ночь бодрствовать в Сен-Клу у изголовья усопшего коллеги. С другой стороны, я хотел избежать толчеи. Наконец я нашел прекрасный, вполне корректный ответ и заявил:

— Те, чьим женам приходилось хоть раз завтракать, или обедать, или, тем более, провести уик-энд в обществе супругов Арангрюд, могут пригласить их с собой. Другие, если в этом возникнет необходимость, могут попросить меня подтвердить причину их отлучки на всю ночь.

И тут произошла первая в этот день стычка по поводу свитка, о котором, казалось, все позабыли. Лё Рантек взял слово:

— Господа, если ни у кого больше нет вопросов о бдении у гроба, мне бы хотелось воспользоваться случаем и в присутствии основных ответственных сотрудников фирмы задать вопрос о свернутом в трубку пергаменте, который я получил сегодня утром и прочел лишь пополудни. Такие же свитки, как мне известно, получил весь персонал. Я понимаю, что мой вопрос может показаться неуместным на совещании по столь печальному поводу, как смерть нашего оплакиваемого коллеги. но вместе с тем, признаюсь, этот свиток меня беспокоит, и я уверен, что те же чувства испытывает большинство присутствующих здесь коллег и даже сотрудников, находящихся в их подчинении. Можем ли мы поговорить на эту тему?

Лё Рантек занимал довольно любопытный пост, вызвавший в свое время яростные споры в большинстве крупных компаний: пост ответственного секретаря. Мнения ответственных сотрудников относительно этой должности разделились. Одни думали, что она является ступенью к власти в кампаниях, именуемых «холдинг», от англосаксонского глагола to hold — держать. Быть ответственным секретарем «холдинг»-компании — это, очевидно, иметь возможность всюду совать свой нос и — козырь немаловажный — присутствовать на Больших советах, что позволяет такому подчиненному быть на виду у президентов и администраторов. Другие придерживались мнения, что ответственный секретарь — должность второстепенная, с пышным, но ничего не говорящим титулом, короче, нечто вроде лакея у президента компании.

Вопрос Лё Рантека испортил мне настроение. Я колебался, продолжать ли этот разговор. Мне было бы удобнее сослаться на поздний час, на обед, который меня ждет, на серьезный характер совещания и перенести на будущее обсуждение свитка. Но я чувствовал, что смерть Арангрюда интересовала их куда меньше, чем свитки, распространенные утром на фирме, и это уже было для меня ценным сведением. В сущности, я присутствовал при первой реакции руководящих кадров на появление свитка. То, что мы с Сен-Раме искали ощупью, испытывая своих секретарш, теперь раскрылось передо мной: отныне было ясно, что кадры главного штаба «Россериз и Митчелл-Франс» взволнованы текстом, написанным на пергаменте. И я решил про себя сообщить об этом генеральному директору. Я демонстративно посмотрел на часы и, сославшись на ограниченность времени, решил разузнать кое-что об этом деле, впрочем, не слишком вдаваясь в подробности. Я сказал твердым голосом:

— Господа, как и вы, я держал этот свиток в руках. Я не думал, что он может вызвать дискуссию между нами, и, во всяком случае, не сегодня вечером. Однако, возможно, что его подтекст ускользнул от меня; признаться, я не слишком долго занимался расшифровкой. В моем распоряжении около четверти часа, после чего я буду вынужден вас покинуть. Есть ли у кого-нибудь еще вопросы ко мне по поводу бдения у одра покойного? Нет? Тогда давайте обсудим этот инцидент.

Они молчали, и это означало, что свиток занимает их внимание. Арангрюд умер, и для них он уже похоронен. Меня снова охватили мрачные предчувствия.

— Господа,— начал я,— у нас осталось четверть часа, чтобы обменяться мнениями по поводу этого подобия трактата. Позволю себе напомнить вам или, вернее, сообщить, что до сего времени этот инцидент никак не обсуждался генеральной дирекцией, и, кроме того, если мы располагаем в этот вечер всего пятнадцатью минутами, то лишь из-за трагических обстоятельств, которые вам хорошо известны, а отнюдь не из-за преднамеренного решения дирекции, ибо она, как вы знаете, готова в любой момент обсудить любой вопрос. Мосье Лё Рантек, вы просили открыть дебаты — даю вам слово.

Я хочу просить о снисхождении у тех, кто сегодня стал бы возмущаться, что автор этих строк допустил за столь короткое время так много лжи: у него были смягчающие вину обстоятельства. В частности, стиль, который я стараюсь передать как можно точнее, был в то время обычным для всех предприятий. Даже манера, в которой я повел обсуждение, длинные эвфемизмы, употребленные мною с целью убедить их, что пергамент не привлек внимания генеральной дирекции, свидетельствовали об обратном. Точно так же напоминание о свободе высказывания мнений на предприятии — это скорее принятый способ выражения, словесный прием, не отражающий реальности. Никому из сотрудников, даже самому смелому, не пришло бы в голову поймать на слове своих руководителей. Члены нашего персонала сочли бы проявлением самого дурного тона, если бы Вассон, например, преступая святые правила, установленные руководством, проявил инициативу и обратился ко мне следующим образом:

«Уж если, господин заместитель директора по «человеческим отношениям», вы мне разрешаете, я буду говорить с вами совершенно откровенно и выражу громко и свободно то, о чем многие из моих коллег думают про себя: а) из достоверных источников мне известно, что сначала вы сами, а затем и генеральный директор, весьма встревоженные этим текстом, сколь наивным, столь и провокационным, а возможно, даже и растерявшись, проделали опыт на собственных секретаршах, чтобы выяснить, может ли это послание оказать вредное влияние на персонал; б) если уж вы говорите о свободе выражения мнений и информации на всех уровнях (повторяю одну из ваших многочисленных пустых фраз), позвольте мне сказать вам, что нашим предприятием руководит напыщенный и высокомерный технократ, окруженный ничтожными людишками, ослепленными выпавшей на их долю жизнью, случайно данной им потребительским обществом». Подобное выступление вызвало бы всеобщее неодобрение, и Вассон недолго оставался бы на фирме «Россериз и Митчелл». Вот почему язык, каким я выражался во время этого совещания, лишь внешне казался лживым, раз все равно никто ему не верил. Зато каждый был мне признателен за то, что я ловко следовал правилам общения между людьми, принятым в ту эпоху. В те времена не было ничего хуже, чем обладать талантом или проницательностью. Итак, Лё Рантек снова взял слово:

— Я нахожу, что этот текст грозит взбудоражить все предприятие, потому что он не похож ни на один из знакомых нам текстов. Это не профсоюзное воззвание, не политическая пропаганда, он наивен, и назначение его непонятно. Он никем не подписан и, однако, был распространен среди всего персонала. Я считаю, что: а) необходимо раскрыть, с какой целью, если таковая существует, свиток был распространен; б) необходимо также провести расследование, чтобы выяснить, каким образом листовка или документ могут быть распространены в таком огромном количестве без ведома руководства. Это все, что я хотел сказать,— заключил Лё Рантек, внушительно пожав плечами.

— Что касается выяснения цели,— ответил я,— то дирекция этим займется, однако вы сами правильно отметили, насколько непоследователен текст. Поэтому все вы будете нужны руководству, чтобы установить, что именно может интересовать персонал в механике закона спроса и предложения. Что же касается расследования, я с вами совершенно согласен: его начнут сразу же, с завтрашнего дня, не дожидаясь похорон Арангрюда.

Бриньон вернулся к содержанию текста:

— Вы спрашиваете, чем именно этот текст может интересовать персонал. Я так же, как и вы, не знаю. Но я отметил, что в него вошли не только рассуждения о законе спроса и предложения; в нем то и дело цитируются слова мосье Сен-Раме, и автор непрерывно расхваливает нашего генерального директора. Что до меня, то я нахожу разительный контраст между элементарным, крайне упрощенным изложением сути закона спроса и предложения и преувеличенными похвалами по адресу мосье Сен-Раме за его обширные познания. Не кроется ли здесь насмешка над ним, издевательство над его знаниями? Ибо, право, восхищаться кем-то, кто знает, что избыток продукции понижает цены, по меньшей мере, странно. Мне хотелось бы узнать мнение моих коллег по этому поводу.

Это послужило сигналом к одной из наиболее оживленных дискуссий между сотрудниками, на какой мне доводилось присутствовать за всю мою довольно долгую и деятельную карьеру.

Селис, заместитель директора по импорту, счел своим долгом вмешаться, поскольку лучше других разбирался в ценах. Он воскликнул:

— Послушайте, Бриньон, надеюсь, вы не собираетесь утверждать, что закон спроса и предложения толково изложен в этой бумажонке?

— Конечно,— возразил Бриньон язвительным тоном,— я вовсе не утверждаю, что эта бумажонка, как вы изволили выразиться, способна удовлетворить заместителя директора по импорту, но ее можно назвать скорее недостаточно полной, чем ложной.

— Похоже на то,— сказал Селис, задетый,— что вы одобряете ее.

— Послушайте, Селис! Я просто считаю, что в этом случае, как и в других, следует хладнокровно анализировать факты, приятны они или нет. Сам я не крупный специалист по механике ценообразования, однако могу подтвердить, что все изложенное по этому поводу в тексте — правильно.

— Что именно правильно? — спросил Селис, на этот раз весьма раздраженно.

— Там справедливо написано, что цены падают, когда предложение увеличивается, и поднимаются, когда товаров не хватает.

— Вот именно,— воскликнул Селис,— так думают везде и даже, увы! — прибавил он злобно,— в системе таких больших предприятий, как наше! Вы описываете примитивную механику ценообразования,

которая существовала еще в либеральный девятнадцатый век! В наши дни этот закон стал более сложным!

— Как бы ни был интересен этот диалог,— сказал я, видя, что дело принимает плохой оборот,— напоминаю: мы собрались здесь не для обсуждения закона спроса и предложения... Кто хочет слова?

— Я,— сказал Фурнье, начальник секции новых машин,— я счастлив, что в этом тексте объяснена разница между благами материальными и нематериальными. Хоть это и незаметно, но многие люди не знают этого различия, и мне думается, что отдел постоянной переподготовки персонала должен бы заинтересоваться такими вопросами.

— Что касается меня,— проговорил Террен, глава Французского рынка, известный своей медлительной речью, а также здравым смыслом,— то до меня все это попросту не доходит, я не вижу, каким образом утверждение, что урок литературы есть благо нематериальное, а швейная машина — благо материальное, может обогатить наш ум и ум персонала. Я твердо уверен, господа, что этот текст всего-навсего розыгрыш и что его автор, если он не имел дурных намерений, хотел попросту посмеяться над нами.

— Браво, Террен! — воскликнул Селис.— Так и я считаю.

— Господа,— сказал я,— предлагаю вам отложить на время нашу дискуссию, а сейчас я должен закрыть заседание. Этой ночью я, наверно, вновь увижу вас в Сен-Клу у мадам Арангрюд. Те, кто захочет присоединиться ко мне, могут позвонить мне по телефону до двадцати часов. До свидания, господа!

Они разошлись. Я слышал, как они удалялись, громко разговаривая.

Помнится, прежде чем вернуться домой, чтобы переодеться к обеду у Сен-Раме, я еще довольно долго сидел в раздумье у себя в кабинете. Я думал об ушедших молодых людях — все они не любили друг друга. Такое утверждение могло бы вызвать улыбку, если бы не следующее дополнение: они не любили друг друга в некотором роде из-за своего служебного положения. Их взаимная ненависть основывалась не на обычных критериях. Например, они могли бы ненавидеть друг друга по причинам политическим, социальным, расовым, эмоциональным. Шавеньяк, например, левый и южанин, мог бы ненавидеть Лё Рантека — левого, но бретонца. Иритьери — баск и правый — мог бы презирать Самюерю — еврея и анархиста. Аберо — прогрессист с Центрального массива — мог бы ненавидеть Порталя — гасконца, выходца из богатой семьи. Бриньон — бойкий супруг вялой и ограниченной женщины — мог бы завидовать Фурнье, у которого была пышная и развратная бабенка. Жена Террена могла бы обманывать его с фатоватым Вассоном. Ничуть не бывало. Насколько мне известно, в те времена не было серьезных причин, которые хоть как-то объясняли бы такие столкновения. Их вражда основывалась на том, что все они были ответственными сотрудниками, кадрами штаба, по выражению теоретиков того времени, все были на жалованье у фирмы «Россериз и Митчелл», все были похожи друг на друга, все знали или не знали почти одно и то же, подавали одинаковые надежды, подвергались одним и тем же опасностям, были зажаты в одинаковые тиски.

Едва только один из них был принят на фирму, как тотчас же, в зависимости от жалованья и поста, становился чьим-то коллегой и врагом. Таким образом, вражда была одновременно искусственной и постоянной. Искусственной — потому что она не приводила к оскор-

блениям и драке: ведь никто ни у кого не увел жены. Постоянной — потому что не выросла на почве кровожадной злобы и могла распространяться, не угрожая вызвать бурные ссоры и яростные стычки. Я также думал об их неспособности сосредоточиться на каком-то одном предмете и обсудить его. Малейший намек на сферу деятельности одного из них неминуемо перемещал обсуждение вопроса в эту сферу. Укусила ли собачка девочку? Да. Передними зубами? Да. Нет! — тотчас же возражал тот, кто занимался передними зубами: собака никогда так не кусается. Затем следовало длинное обсуждение, позволявшее специалисту по передним зубам напомнить, что если ему платят большие деньги, то не зря... Зато он уважает своего коллегу, специалиста по коренным зубам, и ни за что на свете не стал бы высказывать мнение в его области. Все они вели себя подобно сторожевым псам, охраняющим крошечное пространство вокруг своей конуры. Такая позиция приводила к тому, что основной предмет обсуждения отходил на второй план. Так протекало каждое собрание, какая бы тема ни стояла на повестке дня. Отношение ответственных сотрудников к тексту свитка это полностью подтверждало. Упустив из виду главное — что за ночь кто-то распространил на предприятии более тысячи экземпляров странного текста, они сразу об этом забыли и с жаром погрузились в тонкости закона спроса и предложения. Хотя я и мог предвидеть нечто подобное, я все же почувствовал смущение и тревогу. Если такой случай повторится, если появится второй свиток, не посеет ли он распри в нашей фирме? Я решил в тот же вечер поговорить об этом с генеральным директором. Перед уходом я широко распахнул окно и стал смотреть на Париж. Люди возвращались к себе домой. Нескончаемые вереницы автомобилей загромождали площади и создавали пробки на магистралях. Внизу справа мерцали прожекторы, рассыпая неверный свет на плиты и могилы.

Когда я брился, раздался телефонный звонок. Это был Рустэв, заместитель генерального директора. Он высказал свое недовольство тем, что его не оповестили о совещании, которое я только что провел.

— Мне кажется,— проворчал он,— смерть Арангрюда касается меня не меньше, чем вас, но сначала объясните мне, что это за спектакль?

— Какой спектакль, мосье?

— Вы созвали основных сотрудников фирмы, чтобы пригласить их на ночное бдение у одра усопшего, это верно?

— Да, мосье.

— Сен-Раме в курсе дела?

— Нет, мосье, у меня не было времени поставить его в известность. Тело было доставлено при мне, но я не был об этом предупрежден заранее.

— Доставлено куда?

— К нему.

— Ничего не понимаю — о чем вы говорите? — сказал Рустэв.— Немедленно позвоню Сен-Раме, надеюсь, он объяснит мне все толком. До свидания.

Этот короткий телефонный разговор дает мне повод описать личность мосье Рустэва и обрисовать его несколько необычное положение в компании «Россериз и Митчелл-Франс». Был однажды французский предприниматель, который производил машины, предназначенные для дорожных работ. Звали его Габриэль Антемес. Бла-

годаря рынкам, предоставленным ему государством, и собственным махинациям он разбогател. Но он был не слишком умен. Хороший техник и ловкий делец, он владел двумя заводами и питал слабость к молодому и честолюбивому директору одного из них по имени Рустэв. Со временем Антемес женил его на своей толстой и плохо воспитанной дочери. В те времена в деловых кругах считали Рустэва восходящей звездой и в будущем главой предприятий Антемеса. Но для того чтобы выжить, как говорили в те времена, предприятие должно было расти и расти. Правительство, которому Антемес был обязан своим богатством, оказало на него давление, и по указке министра финансов, всесильного повелителя банков, произошло объединение компании «Россериз и Митчелл» с компанией Антемеса. Годом позже вторая попала под контроль первой. Рустэв был вытеснен технократом-модернистом Сен-Раме.

Во время появления трещины под зданием и первого свитка на предприятии шла отвратительная борьба между этими двумя людьми. Вот несколько слов о разгневанном человеке, который мне позвонил. Облекаясь в костюм, подходящий одновременно для обеда у генерального директора и для похоронного бдения, я мысленно составлял план своего доклада Сен-Раме. Мне было досадно, что Рустэв первый сообщит патрону об этой истории с ночным бдением, но, зная, какую неприязнь питает директор к зятю Антемеса, я не придал этому большого значения. Снова раздался телефонный звонок. На этот раз звонил Рюмен, всеми признанный профсоюзный вождь предприятия.

— Мосье,— сказал он,— вы проводили совещание по вопросу, который всех нас интересует. Почему же профсоюзы не были поставлены в известность?

На этот раз мне пришлось изложить дело более пространно, ибо по долгу службы я не мог отмахнуться от такой влиятельной и придирчивой личности. Этого Сен-Раме мне бы не простил. Я подробно объяснил Рюмену, откуда взялась мысль о бдении у тела покойного.

— Я нахожу эту мысль великолепной,— заявил Рюмен.— Хотя Арангрюд был классовым врагом, но теперь он умер, и я думаю, что это бдение приобщает нас к святым народным традициям и вносит каплю человечности в обычно такую холодную атмосферу предприятия. Но что должны делать рядовые работники? Или вы считаете их недостойными дежурить у одра покойного сослуживца?

— Послушайте, Рюмен, вы повсюду подозреваете ловушки или оскорбления! — воскликнул я, обеспокоенный размахом, который принимала моя инициатива.— Я же вам сказал, что это не было задумано мною. Что бы сделали вы сами, Рюмен, если бы, придя с визитом соболезнования к мужу секретарши второй категории, внезапно стали бы свидетелем появления тела усопшей? И если, более того, вы узнали бы, что тело ее привезли домой не по желанию мужа, а потому, что он растерялся, когда его спросили об этом в больнице? Оставили бы вы его одного? Разве вы не пригласили бы коллег и подруг усопшей побыть ночью у ее изголовья? Неужели вы думаете, что я позвонил бы вам и стал жаловаться на то, что заместитель директора по «человеческим отношениям» не был предупрежден?

— Вполне согласен, возможно, вы не позвонили бы, потому что приглашены на обед! Но все же я говорю вам, что рядовой персонал должен быть приглашен к одру умершего сослуживца, даже если речь идет о вышестоящем сотруднике.

— Послушайте, Рюмен,— возразил я, теряя терпение,— делайте что хотите! Если вы находите нужным, идите туда! Я хочу лишь на-

помнить, что в данном случае распоряжается мадам Арангрюд, а не фирма. Спокойной ночи, Рюмен!

Я бросил трубку и тяжело вздохнул. Дело принимало скверный оборот. Сотрудники запутались в истории со свитком, профсоюзный вождь разозлился, что не принимает участия в траурном мероприятии, а заместитель директора полон желчи. Рюмен меня раздражал. Благодаря редкому нахальству и уменью выставлять себя напоказ он вскарабкался на вершину профсоюзной иерархии. Рюмен вынюхивал «выигрышные» конфликты, которые публично ставили руководителей в ложное положение. Он водил за нос журналистов не хуже, чем сам Сен-Раме. Если он усмотрит в этом мелком случае с бдением у тела усопшего повод для «выигрышного» конфликта, он способен глубокой ночью устроить торжественное шествие под окнами умершего, шагая во главе своих стойких активистов. Меня это встревожило, и я решил заручиться поддержкой генерального директора и рассказать ему подробно обо всем, что заинтересовало или взволновало меня за этот долгий день. С более стесненным сердцем, чем можно было ожидать, отправился я на авеню Жоржа Манделя, 12.

Этот обед и это бдение крепко врезались мне в память. Я был взволнован, встретив у Сен-Раме двух в высшей степени именитых гостей, которых никак не ожидал увидеть в тот вечер. Все ответственные кадры главного штаба были бы рады получить приглашение на подобный изысканный прием. Но мне почудилось в этом мрачное предзнаменование. О, мои начальники! Где вы? Спите ли спокойным сном или продолжаете блуждать, богохульствуя, в подземных лабиринтах?

VII

Анри Сен-Раме пригласил к обеду вице-президента всей компании Адамса Дж. Мастерфайса, ведающего финансовыми делами в Европе (я знал, что он недавно совершил инспекционную поездку в Лондон и Амстердам), Берни Ронсона, представителя Де-Мойна во Франции, госпожу Мастерфайс и меня. Госпожа Сен-Раме и ее дочь Бетти тоже принимали участие в этой дружеской трапезе. Никогда еще я не бывал в избранной компании специалистов столь высокого ранга. Собственно, Мастерфайс и Сен-Раме вдвоем обладали властью решать почти все дела компании. Кадровые сотрудники со смаком обсуждали такого рода обеды, но мало кому из них за долгую служебную карьеру выпадала честь или счастливый случай присутствовать на них и тем ускорить свое продвижение по службе и повысить свой оклад. Впрочем, подобные оказии могли также обернуться и против них, ибо даже самая незначительная ошибка могла привести к обратному результату. Я понял, что проклятый свиток побудил Сен-Раме посоветоваться с Мастерфайсом и вопреки порядкам, существующим на фирме, вызвать меня к себе. В самом деле, я понял, что был скорее вызван, чем приглашен. Эти господа сразу увели меня в гостиную и попросили изложить все события дня, что меня вполне устраивало, так как позволяло остановиться на подробностях, говоривших в мою пользу. Они выслушали меня не перебивая. С большим облегчением я почувствовал, что они нисколько не осуждают моего поведения, но лишь сосредоточенно обдумывают сообщенные мною факты, стараясь их осмыслить. Атмосфера была серьезная, порой даже напряженная, и это меня радовало. Мое служебное положение могло укрепиться и повыситься после такого испытания. Эти господа, озабоченные в то время ценой рабочей силы

на юге Мексики, тратили свое драгоценное время, слушая заместителя директора по «человеческим отношениям», который рассказывал им о трещине в подвале здания и о том, как выглядела голова умершего сотрудника. К тому же я прекрасно говорил по-английски, что было тотчас оценено. К концу моего рассказа вошел слуга и объявил: «Кушать подано!» Мы прошли к столу. Нам подали плоды авокадо с уксусом. Я долго говорил и теперь замолчал, ожидая новых вопросов. Воспользовавшись этой передышкой, я пытался дополнить психологический анализ создавшегося положения. Сен-Раме приводил меня чуть ли не в восхищение. Утром, расставшись с ним, я решил, что он не придает должного значения злосчастному тексту, и это внешнее равнодушие обмануло меня. Он же лишь прикинулся равнодушным, чтобы не взволновать своего сотрудника. Затем, оставшись один в своем обширном кабинете и сознавая свою ответственность, он все обдумал. Он понял двусмысленный характер этого текста и, предугадывая его губительные последствия, решил принять чрезвычайные меры. Сен-Раме побеспокоил Мастерфайса и попросил его приехать из Лондона. Ну разве это не истинный руководитель? Какая проницательность и ясность ума! О да, мы имели бесценного человека во главе нашей фирмы. После авокадо с уксусом принесли жареного барашка с зелеными бобами. Мои высокопоставленные сотрапезники не спешили высказать свое мнение. Вдруг Мастерфайс спросил меня:

— Как вы думаете, этот текст был составлен и распространен кем-нибудь из ваших сотрудников?

— Честно говоря, мосье, я бы не мог этого утверждать,— поспешно ответил я.

У меня было несколько секунд, чтобы сделать трудный выбор. С одной стороны, если бы я не придал никакого значения выражению «ваших сотрудников», то могло бы показаться, что я имею в виду подчиненных Сен-Раме, но отнюдь не моих. Была ли это провокация? Считали ли они меня ответственным за беспорядки? Входило ли в их намерения отделить Сен-Раме, главу фирмы, от заместителя директора по «человеческим отношениям», который отвечал за все, что происходит на предприятии и связано с персоналом? И тогда не в этом ли кроется разгадка моего присутствия на обеде? Я не был уверен в этих гипотезах и потому почел за лучшее не уточнять немедленно смысл поставленного вопроса, тем более что я рисковал вызвать неудовольствие его автора. С другой стороны, я знал, что быстрый ответ, произнесенный твердым голосом и спокойным тоном, понравится этим заатлантическим начальникам, так как, по их мнению, доказывает ясность мысли и глубокое знание обсуждаемого вопроса. Ронсон изменил тему разговора и перешел к проблеме французских университетов.

— Единственные хорошо подготовленные кадры в этой стране — те, кто учился в Соединенных Штатах,— сказал он.— Вы, мой дорогой Анри, наиболее яркий пример из всех, какие мне известны.

— Даже можно сказать,— добавил Мастерфайс,— что, изучив наши правила, они применяют их лучше нас.

— Как и японцы,— рискнула вставить госпожа Сен-Раме.

— Да, там у нас великолепные кадры,— согласился Мастерфайс.— В начале моей службы в компании я прожил довольно долго в Японии и в одном докладе предсказал, что эти люди вытеснят нашу торговлю. Что вы хотите, они не обязаны, как мы, платить непомерно высокое жалованье.

— А вы, мадемуазель Бетти, я полагаю, учитесь в Соединенных Штатах? — спросил Ронсон.

— Да, и когда я возвращаюсь во Францию и гуляю по Латинскому кварталу, мне кажется, будто меня отбросили на несколько веков назад.

Они засмеялись и продолжали разговаривать, не обращая на меня внимания. На десерт нам подали мороженое.

— Итак,— проворчал вдруг Мастерфайс,— вы не можете ответить на мой вопрос?

Теперь все стало ясно. Как я был наивен! Какое-то время я даже думал, что высокопоставленное начальство компании, став в тупик перед непостижимым происшествием, обратилось за разъяснениями к сотруднику, ответственному за взаимоотношения на их фирме. Но нет. Они, как видно, уже тайно совещались и решили, что необходимо кое-что вытянуть из меня. В конце концов разве не я первым обратил на это внимание? Невежливый тон американца навел меня на нелепую догадку: уж не подозревают ли они случайно, что я автор текста? Вместо того чтобы испугаться, я ощетинился.

— Мосье,— сказал я довольно сухо,— я не могу ответить на ваш вопрос, ибо никто не может на него ответить. Однако раз вы настаиваете, чтобы я непременно высказал свое мнение, то вот что я думаю: либо мы имеем дело с розыгрышем, и в таком случае я полагаю, что это вмешательство извне, например, выпад группы крайне левых студентов, которые решили высмеять способности руководителей нашей эпохи; либо мы имеем дело с новой формой подрывной деятельности, соответствующей интеллектуальному уровню пролетариата гигантских предприятий, то есть массы служащих и главным образом тех, кто упаковывает и продает; в таком случае я думаю, что автор текста работает у нас и что он человек образованный или желает им быть. В этом втором случае я придерживаюсь мнения, что, если мы не найдем виновного, это дело может принять большой размах. И, наконец, мосье, могу вас заверить, что автор этого текста — не я.

Они уставились на меня, ошеломленные, а потом запротестовали. Тактичная госпожа Сен-Раме предложила мне ликеру. Адамс Дж. Мастерфайс, пожевав сигару, сказал:

— Мне нравится ваша манера говорить. Если сегодня вечером вы находитесь здесь среди нас, то лишь потому, что мы встревожены этим случаем, но зато мы хорошо знаем, что в Париже имеем дело с одним из наших лучших руководителей по «человеческим взаимоотношениям». Единственный человек, который превосходит вас, находится в Сан-Франциско, или, как мы говорим, во Фриско, и превосходит лишь потому, что у него более долгий опыт. Но скоро, дорогой мой, вы будете не хуже его, ведь правда, Берни?

И он подмигнул. Берни Ронсон слегка тряхнул головой. Сен-Раме помахал мне рукой в знак поощрения и покровительства. Итак, мы пришли к гипотезе, которая возникла у меня в начале вечера: я оказался служащим проницательным, это уже признано, и фирма рассчитывает на меня; я должен помочь ей раскрыть тайну. Однако я оставался начеку.

— Как вы думаете вести расследование? — спросил Сен-Раме.

— Поначалу фирма должна вести расследование собственными средствами, тем более что, судя по всему, за первым текстом последует второй.

— Второй свиток? — воскликнул Мастерфайс.

— Вполне возможно,— ответил Сен-Раме,— автор на это намекнул.

— У меня свое мнение об этом тексте,— решительно заявил Мастерфайс,— по-моему, это просто розыгрыш.

Но тут случилось ужасное происшествие. Бетти Сен-Раме, чью возрастающую бледность я заметил еще раньше, почувствовала себя совсем плохо. Ее била дрожь, она выронила стакан и рухнула на ковер. Она корчилась, каталась по полу и тяжко стонала. На губах ее выступила пена. Мы все перепугались. Госпожа Сен-Раме позвонила доктору. Состояние девушки ухудшалось с каждой минутой. Она начала бредить. Я услышал бессвязные отрывочные слова, что-то вроде: простите, Данте... рай... демон... сорок пять долларов десять центов... да здравствует Лос-Анджелес... ноль...

Вскоре приехал врач. Он не разрешил перенести девушку в ее комнату и осмотрел при нас. Закончив осмотр, он сказал:

— Все это очень нехорошо, надо отправить ее в больницу.— И, повернувшись к Сен-Раме, добавил: — Я должен сообщить вам нечто очень серьезное. Хотите поговорить со мной здесь или с глазу на глаз?

В порыве гордости Сен-Раме заверил:

— Мне нечего скрывать от тех, кто здесь присутствует.

Это привело меня в замешательство.

— Так вот, мосье, ваша дочь — наркоманка, вам это известно?

— Нет,— пробормотал генеральный директор.— А вы в этом уверены, доктор?

— Да, мосье, не только уверен, но должен сказать, что она в тяжелом состоянии... Сколько ей лет?

— Семнадцать.

— Чем вы занимаетесь, мосье?

— Я руководжу фирмой «Россериз и Митчелл-Франс».

— С чем вас и поздравляю. Уже не первый раз мне приходится сталкиваться с подобными случаями. На прошлой неделе это произошло с сыном директора Регионального европейского банка. Кончится тем, что я стану думать, господа,— сказал он, ни к кому не обращаясь,— что вы руководите вашими делами лучше, чем вашими детьми.

Никогда врач высокого класса не позволил бы себе такой вольности выражений. Но госпожа Сен-Раме в спешке вызвала первого попавшегося врача, и я потом узнал, что он практикует в бедном квартале.

Сен-Раме, обычно такой скорый на реплики, на этот раз промолчал. Американцы присутствовали при этой сцене, ничего не понимая, ибо их международный либерализм не предусматривал изучение языка страны, в которой они зарабатывали деньги. Элементарная вежливость требовала, чтобы им перевели хотя бы самую суть разговора. Мне было крайне неприятно, когда Сен-Раме поручил мне выполнить эту миссию.

— Должен ли я им все перевести, мосье?

— Да... все.— Он извинился и вышел из гостиной, чтобы проводить врача.

Бетти немного успокоилась. Она все еще лежала на ковре. Ее мать, госпожа Мастерфайс, слуга и горничная хлопотали возле нее.

— Это серьезно? — спросил меня Ронсон.

— Да,— сказал я,— отравление наркотиками.

— Наркотиками? — удивился Мастерфайс.— А что сказал врач?

— Он сказал: «Вы руководите вашими делами лучше, чем вашими детьми».

— О! — воскликнули в один голос американцы.

Вскоре два санитара унесли девушку из комнаты. Приглашенные неловко откланялись, и мы сразу же очутились на авеню Жоржа Манделя.

— Это несчастье меня просто потрясло,— сказал Мастерфайс,— мне совсем не хочется спать; к тому же мы не исчерпали тему нашей беседы, у меня к вам есть еще вопросы. Хотите, мы продолжим разговор в баре отеля или, может, вы устали?

— Я скорее удручен, чем устал, и готов принять ваше предложение. В каком отеле вы остановились?

— В отеле «Георг Пятый». Есть у вас машина?

— Да, я буду следовать за вами.

Мастерфайс махнул своему шоферу, и тот подъехал. Они нырнули с Ронсоном в огромную колымагу и подождали, пока я не двинулся за ними. После чего мы отправились к отелю «Георг Пятый».

VIII

Люди, которые отыскивают следы того, кем я был и что пережил, навестили меня сегодня утром. Они весьма предупредительны. Однако к моему повествованию относятся недоверчиво. С самого начала они не скрывали от меня, что мой рассказ вызывает у них большой интерес, что он может держать в напряжении читателей и читательниц, но трудно поверить, будто в его основе лежат реальные события. Они всякий раз спрашивают, на чем я остановился в своей работе, обещают вскоре вернуться, а если найдут что-нибудь новое, тотчас мне сообщить; затем обнимают меня и уступают место врачу. Доктор также заботлив и внимателен, он тщательно осматривает меня. Затем качает головой. Никто мне никогда не перечит. Мне раз и навсегда сказали, что мои приключения похожи на роман и очень увлекательны, но в них описаны никому не известные события. Я жив, ем, пью, но названия мест и имена людей, на которые я ссылаюсь с тех пор, как пришел в себя, им ничего не говорят. Я так упорно и точно описываю определенные места, что они иногда и сами начинают сомневаться. С другой стороны, неправдоподобность моего рассказа усиливает их недоверие. Например, я постоянно ссылаюсь на процессы, однако никаких процессов подобного рода не происходит и не предвидится. В сущности, я убежден, что все мы одинаково не уверены и смущены. Им не удается установить мою личность и объяснить, откуда я взялся; я же не знаю, где нахожусь. Я уже привык к этой странной неопределенности и решил сам все описать. Надеюсь, у меня хватит сил довести до конца мою работу. Меня ободряет, что в высшей степени усовершенствованная техника, с которой я сталкиваюсь, нисколько не умаляет важности создания моей книги. Либо эти люди мне лгут и обманывают меня, либо их и вправду восхищает, что я взялся писать. Почему они придают такое значение моей одинокой и малоуспешной попытке? Возможно, я узнаю об этом раньше, чем смерть, наконец, настигнет меня на последней строке при последнем усилии, завершающем мое повествование.

Я помню, что в ту ночь, когда глава транснациональной компании, в которой я служил, затащил меня в бар, госпожа Мастерфайс в первом часу покинула нас и поднялась к себе спать. Мы пили виски, и, как бы приветствуя уход своей жены, вице-президент заказал шампанское. Дело в том, что после нашего отъезда из дома Сен-Раме, к часу ночи отношения между американскими супругами явно испортились. Должно быть, припадок, случившийся с Бетти Сен-Раме, пробудил у супружеской пары Мастерфайс какие-то неприятные вос-

поминания. Мадам выпила много крепких напитков, супруг ее тоже выпил немало, и они стали язвительно обсуждать званый обед у Сен-Раме перед своим невозмутимым соотечественником Берни Ронсоном, этим недремлющим оком Де-Мойна, который сам оставался трезвым. Я не очень хорошо понимал их отрывистый жаргон. Мастерфайс упрекал жену в том, что она неправильно воспитывает детей, и, опьянев, уверял, что то же самое, наверное, происходит и у Сен-Раме. «Анри большой труженик, человек безупречный во всех отношениях, доверил — что вполне естественно — воспитание их единственной дочери своей жене, и вот что вышло! — кричал, распаляясь, глава треста.— Этот врач увидел только часть правды, он должен был выругать мадам Сен-Раме и сказать ей: «Мадам, если бы ваш муж руководил фирмой так же, как вы воспитываете дочь, вот что получилось бы: сначала снижение, затем прекращение прибылей, замедление, затем приостановка капиталовложений; потом производство стало бы отставать, сбыт — сокращаться, началась бы безработица, рост цен, потеря рынков в развивающихся странах из-за наплыва японцев, русских и немцев, падение ценных бумаг, крах доллара и, наконец, гибель Америки!»

Я был смущен этой громогласной тирадой, которая привлекла к нам внимание нескольких богатых полуночников, жадно слушавших опьяневшего американского промышленника, готового, быть может, выболтать кое-какие секреты. Вот тут-то возмущенная госпожа Мастерфайс покинула нас, и мы остались втроем. Нам принесли шампанское.

Меня интриговала личность Ронсона. Официально он назывался представителем Де-Мойна во Франции. Фирмы каждой страны, кроме Соединенных Штатов, должны были иметь при своем национальном штабе американского представителя. В большинстве все они были похожи на Ронсона: холодные, вежливые, сдержанные. Порой они даже говорили на языке страны, куда их посылали,— случай исключительный для американцев того времени. Чем занимался Ронсон? Ходили слухи, что два раза в год он посылает в Де-Мойн секретные донесения о деятельности руководителей — Сен-Раме и Рустэва, о политическом и прежде всего экономическом положении Франции, о работе конкурентов фирмы и о государственных проектах. Действительно, Ронсон поддерживал тесные связи с членами коллегий трех-четырех министерств (Экономики, Финансов, Иностранных дел, Информации), а иногда с самими министрами и высшими чиновниками. Его связи с послом Соединенных Штатов во Франции и с большинством западных послов в Париже были общеизвестны, так же как частые и дружеские встречи. Повсюду во французской столице можно было видеть широкоплечую фигуру Ронсона, его толстую шею, маленькие голубые глазки и, как утверждали злые языки, фальшивые очки. Едва мы допили бутылку шампанского, как Мастерфайс разразился оглушительным хохотом, что нисколько не отразилось на настроении Ронсона, но еще больше усилило мое замешательство. Голова моя отяжелела от спиртных напитков, и мысли путались. Меня бросало в дрожь, когда я думал о судьбе, на которую сильные мира сего обрекают своих подчиненных, ставших свидетелями их шалостей или сомнительных похождений. Когда дело касается политики, обезображенные тела таких свидетелей часто подбирают во рвах или на пустынных песчаных берегах.

— Эх, вы, французы,— говорил, икая, Мастерфайс,— вы никогда не изменитесь! Подумать только, свиток, трещина — и все это у нас в Париже, на фирме «Россериз и Митчелл»! И я мчусь на самолете из Лондона, чтобы выслушивать подобный вздор! Но, с другой стороны, это изумительно! Ничего подобного никогда не случалось ни у нас,

ни у наших конкурентов! Трещина! Из-за нее же может рухнуть все здание! К счастью, у нас еще есть заводы! Я уверен, на всех наших фирмах во всем мире мы можем упразднить центры управления. Сталь, чугун, краски, нефть — вот что нам нужно! У нас лучшие тракторы на всей планете! И какая-то там трещина не помешает нам спать! Да еще этот покойник, он, кажется, очень вас тревожил — кто он такой? Мне говорили о каком-то покойнике у «Россериз и Митчелл-Франс», вы тоже слышали, Ронсон?

— Да, умер ответственный сотрудник Арангрюд. Его собирались назначить директором по «маркетингу». Он разбился на своей машине позавчера вечером.

— Но что такое, черт побери, рассказывал мне Сен-Раме по этому поводу... Где он сейчас, этот умерший кадр?

— У себя, мосье.

— А, вспоминаю! Ответственные сотрудники бодрствуют у изголовья своего умершего коллеги! Но мы должны пойти туда, черт возьми! Я только проездом в Париже и уверен, что, если там появлюсь, это произведет огромное впечатление на сотрудников! Вы представляете себе, Ронсон? Адамс Дж. Мастерфайс собственной персоной у изголовья покойного директора по «маркетингу»? Вы думаете, вице-президент «Ромни и Прауди» встал бы у гроба директора по «маркетингу» своей французской фирмы? Прежде всего, Ронсон, что такое директор по «маркетингу»? Во времена нашей молодости мы оба с вами занимались «маркетингом», но тогда его еще только изобретали. Мы-то с вами хорошо знаем, что это такое, ведь правда, Ронсон? Вы помните?

Мастерфайс, как видно, вспомнил очень забавный случай, ибо веселость его передалась даже Ронсону, и тот широко улыбнулся этому воспоминанию. Что же до меня, то, представив себе смущение, которое вызвал бы Мастерфайс, ввалившись в таком состоянии к бедной вдове, я, скажем прямо, сразу протрезвел. Я тщетно старался встретить взгляд Ронсона: он один мог бы повлиять на вице-президента и заставить его отказаться от этой безумной затеи. Но Ронсон оставался невозмутимым. Если совсем опьяневший Мастерфайс заупрямится, мое положение на фирме будет сильно подорвано. Какой скандал! Моя голова мигом прояснилась, и я уже представил себе картину своего увольнения: взяв на себя инициативу организовать ночное бдение на квартире умершего Арангрюда, я после обеда у генерального директора привел туда международного вице-президента нашей компании, предварительно хорошенько напоив его и протащив по «злачным местам Парижа». Это значило бы, что я просто обманул всех: госпожу Арангрюд, которая была бы оскорблена, что я привел к ней какого-то пьяного молодчика, чей ранг был ей теперь совершенно безразличен; ответственных сотрудников, которые обозлятся, что они влипли в грязную историю; штаб Де-Мойна, который никогда не простит мне, что я злоупотребил доверием одного из его членов; и, наконец, самого Мастерфайса — уж он-то не забыл бы отругать меня за это. Вице-президент попросил нас поторопиться, чтобы не прибыть слишком поздно к Арангрюду. Тогда я сделал две попытки как-то оградить себя от неприятностей.

— Я хочу в свою очередь предложить вам, мосье, распить еще бутылочку!

— Нет, нет, старина, здесь плачу я! — запротестовал он.— И давайте поторопимся, я совсем забыл об этом покойнике, одном из лучших наших кадров! Задерживаться еще дольше было бы невежливо!— С этими словами он встал и пошел слегка пошатываясь.

— Видите ли,— пролепетал я,— я не уверен, что запомнил адрес.

— Ну что ж! Сначала заедем в вашу контору и возьмем его.

— Согласен,— сказал я неуверенно.

Мы вышли: Мастерфайс — нетвердым шагом, но очень довольный, Ронсон — невозмутимый и я — крайне встревоженный. Вице-президент подозвал такси, и я сказал шоферу адрес: угол улицы Оберкампф и авеню Республики, недалеко от Восточного кладбища.

Шофер высадил нас около кладбища. Пока мы ехали, Мастерфайс все время обдумывал план своего торжественного вступления в квартиру госпожи Арангрюд. Ронсон вышел из своего невозмутимого состояния и попытался все же отговорить Мастерфайса от намерения выстроить ответственных сотрудников по обеим сторонам лестницы. Я с трудом сдерживал сильнейшую досаду. Мне удалось оттянуть этот постыдный визит под предлогом, что у меня нет адреса покойного. Теперь же я терзал свой мозг, пытаясь придумать какую-нибудь хитрость, чтобы, воспользовавшись этой отсрочкой, отвезти Мастерфайса в отель. На улице Оберкампф, когда вице-президент выразил желание посмотреть кладбище, у меня появился проблеск надежды. Я тотчас же решил, что у него уйдет на это вся ночь и в конце концов он заснет на какой-нибудь могиле. Мы направились к воротам кладбища, но они были заперты. Я знал другой вход, тоже закрытый, но его было нетрудно открыть, и повел их на запад. Когда мы шли вдоль стены, из какого-то величественного склепа, находившегося метрах в десяти от нас, донесся шум. «Тише»,— шепнул я, и мы прислушались. Шум возобновился где-то подальше, но стал более четким. Он не ускользнул и от внимания Ронсона, который тотчас поднял палец. Мастерфайс попросил разрешения помочиться, в чем ему не было отказано. Понял ли Ронсон мою уловку? Догадался ли, что, предложив пройтись по свежему ночному воздуху, я рассчитывал, что Мастерфайс придет в себя и я уговорю его отказаться от его намерения? Этого я не знаю. Во всяком случае, он не мешал моим усилиям, не ставил мне палки в колеса. Мы снова двинулись в путь, и, когда проходили у самого склепа, оттуда снова донесся шум. Мастерфайс тоже услышал его. Он прошептал: «Там кто-то есть». Меня немного успокоило, что он это прошептал, а не закричал. Пьяный человек всегда говорит слишком громко. Еще один километр, подумал я,— и он протрезвится.

— Это, должно быть, кошка,— сказал я.

— Кошка в склепе?

— Нет, рядом, она, наверно, перевернула горшок с цветами. Пер-Лашез славится множеством кошек, они тут бегают по ночам.

— Я этого не знал,— прошептал Мастерфайс.

Такая быстрая перемена подбодрила меня, и я ускорил шаг. Через четверть часа Мастерфайс вдруг остановился и сказал:

— Послушайте, я уже нагулялся и чувствую себя много лучше. Благодарю вас за прекрасную разрядку, а теперь вернемся на улицу Оберкампф и разыщем там адрес нашего покойника; ночь уже на исходе, и если мы еще задержимся, то придем к выносу.

Пораженный, я замолчал и несколько минут шел не говоря ни слова. Значит, мне не удалось его обмануть. Его замечание было дружелюбным или враждебным? Не потому ли Ронсон, друживший с Мастерфайсом двадцать лет, нисколько не беспокоился, что знал, как он себя поведет? Мы снова проделали весь путь в обратном направлении, и я почувствовал, что ужасно устал и физически и духовно. Я стал перебирать в уме, что произошло со мной за день,— все события у меня перепутались. Я и сам выпил немало — не сверх меры, но все же больше, чем обычно. Я взвалил на себя решение почти всех возникших в этот день вопросов. Меня неудержимо клонило ко

сну, и теперь я уже тащился позади всех. Я вздрогнул от возгласа Мастерфайса: «Вот и пришли!»

Мы были на авеню Республики. Там, вдали, я видел громадную сверкающую махину из стекла и стали. Мастерфайс уже обрел все свои силы и ясность ума. Я с трудом волочился за ним.

— Эй, господин заместитель директора по «человеческим отношениям», даю слово, вы спите на ходу, очнитесь! Мы пришли, и я задал вам вопрос!

— Извините, я вдруг очень устал.

— Ну так что же, как вы думаете: надо выстроить сотрудников вдоль лестницы или же перед дверью лифта?

— Разве вы задали мне этот вопрос?

— Проснитесь, друг мой! Я задал его дважды.

— Как,— сказал я, потрясенный,— вы на самом деле думаете, что их надо выстроить?

— Не для почетного караула, конечно! Но они знают меня хотя бы в лицо, а я их вовсе не знаю. Где же вы полагаете представить их мне? В квартире умершего сотрудника? Это неудобно, подумайте сами! Не понимаю, что, собственно, вас беспокоит?

— Ничего, мосье, просто я не подумал об этом.

— А теперь, как же попасть в эту дьявольскую коробку?— спросил Мастерфайс, барабаня кулаками по небьющемуся стеклу обрамленной сталью двери.— Я полагаю, там есть сторож?

— Да,— сказал я,— их даже много.

Я нажал на кнопку сигнального звонка.

— Откройте,— закричал я,— вы что, не узнаете меня? А этот господин — вице-президент нашей компании!

— А, вы тоже пришли принять участие в ночном бдении? —осведомился один из сторожей, отпирая дверь.

— В каком бдении?

— У тела покойного.

— Да, но откуда вы знаете? — спросил я, внезапно проснувшись.

— Просто они уже здесь по крайней мере часа два.

— Кто они?

— Как кто? Служащие... Катафалк установлен в большом зале.

— О чем он говорит? — спросил Мастерфайс.

Я перевел ему бред, который услышал.

— Давайте войдем,— тихо сказал Ронсон,— и посмотрим сами.

Мы поднялись по монументальной мраморной лестнице и вошли в большой зал. Зрелище, которое открылось нам, показалось мне игрой воображения. В центре огромного зала возвышался катафалк, окруженный внушительными канделябрами. Вокруг молча и неподвижно сидели: Бриньон, Порталь, Шавеньяк, Фурнье, Селис и Лё Рантек со своими женами; за ними: Самюерю, Аберо, Террен и Вассон; затем Рустэв и его жена Розина Антемес; на заднем плане виднелся Рюмен, а вокруг него толпилось около пятидесяти его активистов. Отдельно, у самого подножья катафалка,— госпожа Арангрюд. Все они восседали в красных креслах. Ошеломленный, я созерцал этот странный собор. Картина смерти, расположившейся среди ночи на первом этаже здания французского филиала фирмы «Россериз и Митчелл-Интернейшнл», плясала перед моими вытаращенными, скорбными глазами. Я закрыл их и потерял сознание.

IX

Когда я пришел в себя, оказалось, что я нахожусь в своем кабинете. Меня окружали Мастерфайс, Ронсон, Рустэв, Рюмен и один из сторожей здания.

— Что случилось? — спросил я слабым голосом.

— Бедняга,— сказал Ронсон,— вы свалились с лестницы, наверное, от усталости и волнения. И рассекли себе висок.

— Висок? — повторил я, приходя понемногу в себя, и, пощупав голову, обнаружил повязку.

— Это не опасно,— сказал Мастерфайс,— но вы сильно ударились правым виском. Благодаря мосье,— прибавил он, указывая на Рюмена,— мы отыскали аптечку фирмы и перевязали вам голову бинтом Вельпо. Возьмите выпейте, и вы придете в себя.

Он протянул мне стакан с виски и заставил проглотить. Голова у меня была тяжелая, но не болела. Бинт Вельпо напомнил мне Арангрюда, теперь я был похож на него. Эта мысль была мне неприятна.

— Сколько времени я был без сознания?

— Около двадцати минут,— сказал Рюмен.

— Почему и каким образом вы здесь оказались? — спросил я.

— Сен-Раме пришла в голову мысль пригласить сюда похоронное бюро за счет предприятия,— объяснил Рустэв,— и они взяли все хлопоты на себя.

— Кто предупредил персонал?

— Все тот же Сен-Раме,— сказал Рюмен,— и он был прав.

— Я вам не говорил, что я против,— вздохнул я.

— Чувствуете ли вы себя в силах присутствовать на совещании? — спросил Мастерфайс.

— На каком совещании?

— Сен-Раме, Ронсон, Рустэв, этот мосье Рюмен и я решили собраться, чтобы обсудить положение. Мы ждем Сен-Раме; он провел полночи в больнице и теперь должен скоро приехать.

— Я чувствую себя хорошо,— сказал я,— и через четверть часа буду в полном порядке.

— Отдохните еще, а мы снова спустимся в зал, чтобы принять участие в этом бдении у катафалка, раз уж он здесь...—И Мастерфайс безнадежно махнул рукой.— Как только приедет Сен-Раме, мы пошлем за вами. Хотите, я погашу свет?

— Нет,— сказал я поспешно,— не надо.

Они ушли. Я встал, открыл дверь кабинета, прошел в туалет и посмотрел на себя в зеркало.

Освежившись холодной водой, я вернулся в кабинет. Неужели Сен-Раме действительно отдал подобное распоряжение? Вот что казалось мне маловероятным. Однако он скоро сам все объяснит. Но что меня особенно смущало, это присутствие на совещании Рюмена. Если бы события развивались нормально, в этом не было бы ничего опасного. Но если, наоборот, мы признаем, что в течение тридцати шести часов предприятие было ареной странных и необъяснимых действий, Рюмен не преминет потребовать создания официальной комиссии по расследованию, в которую войдет, естественно, и он сам. В таком случае невозможно предвидеть, к чему это может привести. Рюмен способен поднять по тревоге служащих управления, а в случае необходимости — и рабочих заводов, если течение событий покажется ему подозрительным и небезопасным для персонала. Словом, я был убежден, что этого следует избежать. Беда в том, что история со свитком, трещина в здании и необычные последствия смерти Арангрюда способны вызвать смятение, а возможно, и панику, остановить которую будет уже не в силах ни дирекция, ни сам персонал. Значит, если тут был злой умысел, надо было разоблачить злоумышленника или злоумышленников, а если злого умысла нет, тогда преуменьшить значение событий, обратить все в шутку, посмеяться самим, а главное — рассмешить все предприятие. Я сидел погруженный в эти мысли, когда

открылась дверь. Ронсон сказал мне, что совещание в кабинете Сен-Раме началось. Я взглянул на часы — было четыре часа тридцать минут. Вскоре тысяча сто служащих заполнят здание. Наше совещание должно принять тщательно продуманное решение. В противном случае на фирму «Россериз и Митчелл-Интернейшнл» нахлынет волна истерии.

Мне сразу не понравился тон этого совещания, и оно приняло такой оборот, который, по-моему, не предвещал ничего хорошего. От меня не ускользнуло, что присутствие ответственного профсоюзного деятеля мешало взаимопониманию, той непринужденности, которая часто царит на советах дирекции. Я понимал, что Сен-Раме раздражен: теперь уже стало ясно, что слухи об инцидентах, хотя по существу и незначительных, уже распространились и что благодаря Рюмену весь персонал вмешался в эти дела. Итак, генеральный директор принял чопорный вид и открыл собрание следующими словами:

— Господин президент, господа, предлагаю вам отложить пока выяснение создавшегося положения, а теперь сразу же начать обсуждение мер, касающихся похорон Арангрюда. Сейчас его коллеги, делегация служащих, вдова и само его тело находятся внизу в зале, там уже установлен и весь траурный реквизит. Приехав сюда, я успел коротко переговорить с мадам Арангрюд. Ее семья, а также семья усопшего прибудут в Париж сегодня утром. Завтра утром в церкви Сен-Клу состоятся похороны. Я решил, что наша фирма может взять на себя расходы, и уверен, вы не будете возражать. С другой стороны, считая невозможным оставлять катафалк в большом зале на целый день, я распорядился, чтобы сегодня в шесть часов тридцать минут утра служащие похоронного бюро приехали сюда, забрали гроб, катафалк, канделябры и кресла и вновь установили все это в одном из своих похоронных залов. За это наша фирма тоже заплатит. Как только наше заседание закончится, эти решения будут сообщены служащим, собравшимся внизу. И, наконец, я предлагаю вам вновь встретиться сегодня в пятнадцать часов, чтобы обсудить некоторые события в жизни нашего предприятия, происходящие со вчерашнего утра. Господа, это все, что я хотел сказать.

Этот монолог вызвал у меня два соображения: во-первых, не надо удивляться властному, даже немного диктаторскому тону заявления — ведь оно было сделано в присутствии Адамса Дж. Мастерфайса, человека, стоящего на более высокой ступени иерархической лестницы, чем Сен-Раме. Генеральный директор видел насквозь своих американских боссов и больше всего опасался, как бы не впутать представителя Де-Мойна в эту темную историю. Выступая таким образом, он отводил Мастерфайсу роль постороннего высокопоставленного наблюдателя и тем самым не давал возможности Рюмену воспользоваться присутствием высокого гостя и тут же затеять международный скандал. Сен-Раме также хотел, чтобы в Де-Мойне знали, что, когда Мастерфайс был проездом в Париже, его лишь слегка коснулось это нелепое дело. Мое второе соображение касается тактики, которую применил генеральный директор. Перед ним стоял выбор: либо он примчится в спешке, небритый, удрученный личными и служебными заботами, запутавшийся в клубке противоречий, и скажет: «Господа, я не могу назвать нормальным создавшееся положение, и все мы в одинаковом затруднении. Мне бы хотелось, чтобы каждый из вас объяснил причину вашего присутствия здесь, а также появление этого катафалка. Однако предупреждаю вас, что мы в любом случае должны принять срочные меры до наступления утра, когда откроются слу-

жебные помещения». Либо он будет вести себя так же, как обычно, хотя и встретился с необычными обстоятельствами,— что он и сделал. Этой ночью у Сен-Раме было достаточно и смелости и мужества, но он проводил это совещание так, как если бы его внезапно разбудили и сказали, что рабочие захватили здание компании. Сейчас я знаю почему, но уже слишком поздно. Что должно было произойти, произошло. Изумленный Рюмен спросил:

— Мосье, я совершенно согласен с вами, зал надо привести в порядок, но у меня такое ощущение, что я не все знаю и от меня скрывают правду. Что именно имели вы в виду, когда сказали: обсудить события в жизни нашего предприятия, происходящие со вчерашнего утра?

— Послушайте, дорогой Рюмен, сейчас не время для обсуждений. Я обещаю вам заняться этим вопросом после обеда.

— Я и не собираюсь сейчас же начать обсуждение, мосье, но как я смогу принять участие в дискуссии, если у меня не будет времени подготовиться, тогда как у вас, напротив, будет время все продумать? Почему всех присутствующих здесь что-то смущает,— прибавил он, воспламеняясь,— мне все-таки хотелось бы знать — ведь у меня нет дурных намерений. Мосье Арангрюд погиб, и я просил и добился, чтобы персонал принял участие в похоронном бдении; этот шаг можно оспаривать, но идею похоронного бдения тоже можно оспаривать. Если бы взаимоотношения между профессиональными союзами и дирекцией были лучше, меня бы это так не насторожило! Но я обязан быть бдительным. Видели ли вы когда-нибудь в Париже, чтобы руководящие сотрудники бодрствовали у гроба своего умершего коллеги? Нет? Вот это меня встревожило и смутило. К тому же вы сами известили меня о новом распоряжении — устроить ночное бдение, раз уж оно назначено, на предприятии, так как квартира мадам Арангрюд слишком мала. Все это немного странно, хотя и не драматично!

Теперь Сен-Раме, должно быть, понял, что избрал неправильную тактику. На лице его проступили усталость и подавленность, которые он пытался скрыть. Он пристально посмотрел на Рюмена и сказал в нависшей тишине:

— Рюмен, я вас не приглашал.

— Как так? — подскочил уязвленный профсоюзный деятель.— Я сам говорил с вами по телефону!

— Возможно, Рюмен, возможно, но это был не я... Кто-то, должно быть, подражал моему голосу.

— А,— сказал Рустэб, безучастный ко всеобщей растерянности,— вот с этого надо было начинать. Если я вас правильно понял, мы участвуем в маскараде, потому что меня вы тоже просили прийти.

Сен-Раме развел руками, затем сжал их в знак своей беспомощности. Потом, как будто вспомнив что-то странное, повернулся ко мне:

— А вам, мосье Мастерфайсу и Ронсону тоже звонили?

— Нет,— ответил я,— нет, это вышло случайно... я хотел избежать... видите ли, мы готовились поехать в Сен-Клу, но я забыл адрес... Тогда мосье Мастерфайс предложил сначала зайти за ним ко мне в кабинет.

Сен-Раме, казалось, был очень удивлен. И было чему удивляться, поэтому я не обиделся, что он задал тот же вопрос Мастерфайсу. Тот подтвердил мои слова и, воспользовавшись случаем, попросил перевести ему суть речи Рюмена. Затем, глубоко задумавшись, долго качал головой. Быть может, он искал в своем богатом прошлом что-нибудь похожее на этот случай. Но только на этот раз он не воскликнул, обращаясь к Ронсону: «Ах, Берни, это мне напоминает историю в Сантьяго, когда мы добились у Чили покупки в рассрочку многих и

многих тонн меди! Почти даром! Помните, Берни?» Напротив, он начал с интересом молча рассматривать каждого из присутствующих. Ронсон шепнул что-то на ухо Сен-Раме, и тот сразу же объявил:

— Господа, до скорой встречи.

Мы поднялись. Рюмен и я вошли в один и тот же лифт и спустились вниз, не обменявшись ни словом. Я сообщил руководящим сотрудникам, а он остальному персоналу о только что принятых решениях. Профсоюзный деятель протянул мне руку и, посмотрев мне прямо в глаза, сказал:

— До скорой встречи, надеюсь, вы появитесь на этом совещании уже без повязки.

Я совсем забыл о ней. Теперь я понял, почему несколько минут назад госпожа Арангрюд так испуганно посмотрела на меня. Похоронное бюро проявило крайнюю расторопность, и в шесть часов тридцать минут зал был пуст. Стоя в одиночестве на том месте, где возвышался катафалк, я раздумывал, что мне делать до девяти часов. Спать? К семи часам я только добрался бы до дому, а через полтора часа уже надо было бы снова вставать. Однако я очень устал. Внезапно из-за колонны раздался голос, и я вздрогнул. Это был Сен-Раме. Он подошел ко мне и участливо сказал:

— Поезжайте домой, отдохните, поспите до полудня, раньше вы не понадобитесь. И перемените повязку.

Чтобы не остаться в долгу, я спросил:

— Как чувствует себя ваша дочь?

— Много лучше, спасибо.— Затем он прибавил слегка дрожащим голосом: — Во всяком случае, много лучше, чем мы.

— Что вы хотите сказать, мосье?

— Вы и сами понимаете. Послушайте, прежде чем уйти, скажите, не знаете ли вы кого-нибудь у нас на фирме, кто умеет подделываться под мой голос?

Я с сомнением покачал головой.

— Во всяком случае,—продолжал он,—это должно облегчить нам поиски: тот, кто написал обличение, часто встречается со мной, если так ловко мне подражает.

— Обличение? — удивился я.

— Да, этот текст, такой безобидный на первый взгляд,— настоящее обличение, он пророчит смерть. Самое печальное, что мы это в какой-то мере заслужили. Поверьте, я уже думал об этом, среди нас скрывается обличитель.

Он попрощался со мной и, согнувшись, исчез в глубине зала. Я попросил дежурного по охране вызвать такси. Уже занимался день, когда я, освободившись наконец от своей повязки, бросился в кровать. И тут я вдруг подумал: надо посмотреть в словаре, что же на самом деле значит «обличитель».

Я соскочил с кровати и вошел в свою библиотеку. Вот что я прочел: «*Обличение* — проклятие. Риторическая фигура, выражающая пожелание несчастья тем, о ком или с кем говорят. *Обличитель* — человек, который обличает».

— Проклятие,— прошептал я, прежде чем уснуть.

X

В тот день я приехал на работу в 14 ч. 45 мин. В 15 ч. я поднялся к Сен-Раме. Ронсон, Рюмен и Рустэв были уже там. Сен-Раме улыбнулся мне и предложил занять место слева от себя. Видеть меня на этом месте было настолько непривычно, что матерые волки фирмы — Рюмен и Рустэв нахмурились. Генеральный директор взял слово:

— Господа, через час к нам присоединится Адамс Дж. Мастерфайс. На этот раз — по моей просьбе, его присутствие будет официальным. Я думаю, что в последнее время наша фирма стала мишенью грубых шуток и разных проделок, ставящих себе целью отвлечь сотрудников от работы. Заместитель директора по «человеческим отношениям» сейчас подробно доложит о том, что произошло у нас со вчерашнего утра.

Я превосходно изложил недавние события. Пока я говорил, Рюмен все время делал какие-то заметки. Даже Рустэв написал несколько строк. Сен-Раме снова взял слово:

— Я благодарю господина заместителя директора по «человеческим отношениям» за сжатое и яркое изложение. Теперь у нас есть две возможности: либо господа Рустэв и Рюмен дополнят этот рассказ, объяснив нам, каким образом они были приглашены среди ночи в здание фирмы, либо, может быть, кто-нибудь из вас хочет сразу же задать вопросы. Что вы предпочитаете?

Рустэв заявил, что порядок собрания ему безразличен, но он в самом деле хотел бы задать много вопросов. Рюмену не сиделось на месте — это свидетельствовало о том, что его волнует создавшееся положение, и меня это немного встревожило.

— Я бы хотел,— сказал он самоуверенно,— осветить некоторые подробности, но мое дополнение к только что выслушанному здесь рассказу, во всяком случае, даст очень немного. Мосье Сен-Раме или, насколько я понял, кто-то, подражавший его голосу, позвонил мне и предупредил, что похоронное бдение состоится в зале предприятия в одиннадцать часов вечера. Я сбился с ног, чтобы оповестить об этом активистов, с которыми уже сговорился встретиться к концу дня в Сен-Клу. Мне пришлось поставить одного из них на часах у дверей дома мадам Арангрюд. Это все, что я могу сказать, и надеюсь,— добавил он многозначительно,— что руководители предприятия сумеют дать нам более полное разъяснение, иначе персонал фирмы окончательно запутается в том, что здесь происходит. Но у меня есть еще вопросы, на которые я хотел бы получить ответ: если я правильно понял,— и он повернулся ко мне,— вчера утром вы дважды беседовали с мосье Сен-Раме: первый раз по поводу смерти Арангрюда, второй — по поводу свитка; и теперь мне хотелось бы знать, связываете ли вы эти два происшествия и считаете ли, что распространение свитка более важно, чем смерть руководящего сотрудника. И еще одна неясность, хотя вы ее и объяснили: ваше появление на улице Оберкампф. Трудно поверить, чтобы такая случайность, как поиски адреса, привела вас прямо к изголовью умершего, где все мы собрались! Наконец, считаю необходимым, чтобы мадам Арангрюд, несмотря на постигшее ее испытание, пришла и засвидетельствовала сама все, что произошло, так как она оказалась в центре событий.

И Рюмен, чрезвычайно довольный собой, закинул ногу на ногу и закурил сигарету. Тут отворилась дверь, и в кабинет вошел Мастерфайс. Присутствующие встали и почтительно приветствовали вице-президента. А тот отеческим жестом успокоил шум, вызванный его появлением, и совещание возобновилось. Сен-Раме сделал для Мастерфайса нуднейший обзор того, «что было сказано раньше», как это принято, когда всемогущий начальник приходит с опозданием на собрание своих подчиненных. Американец поблагодарил его бесцветной улыбкой. Внезапно он подал знак, что желает говорить. Он долго говорил Сен-Раме что-то по поводу выступления Рюмена; суть сказанного генеральный директор передал вкратце профсоюзному деятелю так:

— Мосье Рюмен, я изложил мосье Мастерфайсу вопросы, которые вы поставили. Президент считает, что вы совершенно правы, остано-

вившись на них, с чем он вас и поздравляет. Он также прибавил, что необходимо немедленно послать за мадам Арангрюд.— И Сен-Раме тут же вызвал свою секретаршу и поручил ей отправить шофера в Сен-Клу. После чего генеральный директор продолжал говорить по-французски: — А пока, мосье Рюмен, я все же могу ответить на большинство поставленных вами вопросов. Вот как я провел время прошлой ночью: на обед ко мне были приглашены мосье Мастерфайс с супругой, мосье Ронсон, а также присутствующий здесь заместитель директора по «человеческим отношениям». Мы обсудили организацию похорон нашего умершего сотрудника, а затем поговорили и о странном появлении свитка. К полуночи мои гости ушли, и я отправился спать. Позже меня разбудил мосье Рустэв, который выразил свое удивление по поводу того, что меня нет на похоронном бдении в большом зале. Я был поистине ошеломлен. Наспех одевшись, я приехал на улицу Оберкампф. Вы спрашиваете еще, есть ли связь между странной суетой, поднятой вокруг смерти Арангрюда, и появлением свитков? Вот этого я не знаю, мосье Рюмен, и больше всего рассчитываю, что именно вы поможете нам выяснить это в ближайшие дни.

— Что вы хотите этим сказать? — спросил насторожившись Рюмен.

— Просто, что в вашем положении вам будет легче собирать сведения, чем нам и...

— Но я не шпион, мосье!

— Не кипятитесь, Рюмен, никто не просит вас шпионить, но в таком трудном положении надо объединить усилия персонала и дирекции, это в наших общих интересах. Мы не должны придавать свиткам большего значения, чем они заслуживают, но мы поступали бы безответственно, если бы отнеслись легкомысленно к этому делу.

— Могу я, наконец, получить слово? — желчно спросил Рустэв.

— Ну конечно, Андре,— сказал Сен-Раме.

— Вот мое мнение,— наставительно заявил заместитель генерального директора.— У нас творятся странные дела и не только с сегодняшнего дня. Я мог бы многое порассказать о совершенных за последние два года ошибках, но остановлюсь только на недавних событиях. Кто-то на этом предприятии над всеми издевается: пишет глупый текст, печатает его и находит способ — вот что чрезвычайно странно — разложить ночью на всех столах более тысячи экземпляров под самым носом у охраны. Что они делают, эти охранники? Спят? Мы должны немедленно отказаться от услуг обслуживающей нас компании по охране и потребовать возмещения убытков. Затем этот «кто-то», воспользовавшись тем, что его план посеять смуту на предприятии совпал со смертью нашего ответственного сотрудника, составляет целый похоронный сценарий. Он узнает о нелепом бдении у одра усопшего, организованном в доме вдовы, и, подражая голосу генерального директора, начинает действовать следующим образом: а) от имени фирмы «Россериз и Митчелл» дает распоряжение похоронному бюро установить в большом зале катафалк, канделябры, кресла и перевезти туда тело покойного; б) предупреждает мадам Арангрюд о том, что фирма якобы решила провести ночное бдение у гроба на улице Оберкампф, чтобы официально и торжественно воздать последние почести усопшему; в) профессиональный союз, ответственные сотрудники и я сам были извещены точно таким же образом. Все, о чем я говорю здесь, было мной тщательно проверено. Понимаете, я сам провел расследование, и вдова подтвердит вам мои слова. Все это ясно указывает на связь между свитками и трагикомическим бдением. Эта связь — в руках самого обманщика, сеятеля смут. Речь идет о ком-то, кто прекрасно знает нашу фирму и ее главных кадровых сотрудников.

Порой создается впечатление, что ему известны даже намерения руководства. Мы должны разоблачить этого человека, обратившись в солидное частное сыскное агентство. Вот малая доля того, что я хотел сказать. Когда-нибудь, я надеюсь, начнут тщательное расследование упущений, которые привели к тому, что самое могущественное в мире предприятие стало вдруг местом всеобщего помешательства и сценой для абсурдного и зловещего спектакля.

Сказав это, Рустэв бросил самодовольный взгляд на двух невозмутимых американцев и язвительный на своего ненавистного соперника Анри Сен-Раме. Скажу прямо, я и не подозревал, какая потрясающая и жестокая драма разыгрывалась у меня на глазах на этом лицемерном заседании. Последующие события покажут, что в этом не было моей большой вины, у меня были смягчающие обстоятельства. Даже человек с самым искушенным умом не нашел бы здесь ничего жестокого или необыкновенного. Он, как и я, просто отметил бы невероятный случай: Андре Рустэв — всем известный враг профсоюзов и ярый консерватор — не смог удержаться от выпадов против своего соперника в присутствии Рюмена. Обычно Рустэв знал, как вести себя, чтобы скрыть свою зависть и злобу; его упорство и вкус к интригам создали ему репутацию, которую кое-кто сумел оценить. Менее гибкий, чем Сен-Раме, вероятно и менее способный администратор, он зато считался в Де-Мойне руководителем более грубым, хитрым и коварным. Вот почему его постоянно держали про запас, а не только из-за его родственных связей, как думали многие сослуживцы. Рустэв ненавидел всякие переговоры с профсоюзами и всегда, где только мог, срывал попытки договориться или смягчить отношения. Какие злые силы или корыстные расчеты заставили забыться заместителя генерального директора фирмы «Россериз и Митчелл-Франс» и открыто выказать свою враждебность? Мне показалось, что такое поведение удивило Сен-Раме, Рюмена и американцев не меньше, чем меня самого. Сен-Раме, должно быть, стоило больших трудов сохранить свое всем известное хладнокровие, и Рюмен, как видно, помог ему в этом, заговорив первым:

— Я благодарю мосье Рустэва за его откровенность и прямоту. Долг профсоюзного деятеля — заботиться только об интересах тех, кто избрал его, и по возможности не вмешиваться в личные счеты сотрудников и своего предприятия. Неважно, кто из них говорит правду. Как бы серьезны ни были разногласия между персоналом и заместителем генерального директора, будь то в прошлом или теперь, я заявляю, что согласен с тем, что он только что сказал. В частности, я тоже думаю, что следует немедленно начать расследование, однако я считаю нужным создать паритетную комиссию. И под контролем этой комиссии частное сыскное агентство могло бы выполнить свою задачу. Наконец, мне хотелось бы довести до вашего сведения, что вчера произошло еще одно событие, которое здесь обошли молчанием. Появилась трещина в восточной стене фундамента со стороны кладбища. Я случайно узнал об этом сегодня утром и сожалею, что сообщение исходит не от дирекции.

— Мосье Рюмен,— сказал я,— поймите, невозможно останавливаться на всех мелких происшествиях, которые ежедневно случаются в жизни такого большого предприятия, как наше.

— Вы называете это мелким происшествием? — запротестовал Рюмен.— Трещина длиной в метр шестьдесят сантиметров и в шесть миллиметров шириной!

— Откуда вы взяли эти цифры? — спросил я, немного растерявшись.

— Узнал в хозяйственном отделе и более того: я пошел и проверил их сам.

— Вчера,— сказал я,— ширина трещины не превышала трех миллиметров. Я дал распоряжение вызвать архитектора.

— Он пришел к концу дня,— подтвердил Рюмен, в самом деле бывший в курсе всего.— Об этом я также навел справки, но за это время трещина расширилась, и человек, с которым я говорил по телефону, выразил беспокойство.

— Что случилось? — спросил вдруг Ронсон, до сих пор хранивший молчание.

Я перевел. Тут лицо американца оживилось. Он обменялся несколькими словами с Мастерфайсом, который обратился к Сен-Раме уже начальственным тоном. Это тоже было новостью.

— Что это еще за история с трещиной, вы в курсе дела?

— Нет,— ответил Сен-Раме.

Я был благодарен Сен-Раме за то, что он не воспользовался трусливой уловкой, к которой прибегают почти все руководители, когда их отчитывает вышестоящее начальство,— в таких случаях они с упреком поворачиваются к своим подчиненным, чтобы свалить на них всю ответственность. А Сен-Раме не стал изворачиваться.

— Последние сутки для заместителя директора по «человеческим отношениям» были тяжким испытанием. События, следовавшие одно за другим, не имели никакого технического, финансового или коммерческого значения, зато все они входили в круг его обязанностей. Ему пришлось столкнуться со всеми событиями сразу, а что касается трещины, он тут же дал необходимые распоряжения; нельзя его упрекать за то, что он еще не успел мне о ней сообщить.

— Конечно,— сказал невозмутимый Ронсон,— но дело в том, что эта трещина расширяется. Что вы об этом думаете, мосье Рустэв?

Подобное обращение очень много говорило каждому, кто умел разбираться в языке предприятий того времени, полном намеков и умолчаний. Все мы в этом кабинете — старые волки, понаторевшие в интригах,— имели на это хороший нюх. Зять Габриэля Антемеса, этот мужлан, вновь приобретал вес, о котором, быть может, уже и не мечтал. Человек ловкий, он не злоупотребил благоприятным положением, однако его ответ под притворной скромностью таил угрозу.

— Даю слово, это очень серьезная проблема,— проворчал он,— и, конечно, мне ничего не сообщили; чтобы ответить, следовало заранее изучить вопрос, беспристрастно измерить трещину и готчас посоветоваться с экспертами. Не скрою от вас,— заключил он,— на мой взгляд, трещина гораздо важнее, чем чертовы свитки и нелепые похороны, которые готовят несчастному Арангрюду, хотя, поверьте, я сожалею обо всем не меньше, если не больше, чем вы.

Это был хитрый ход. С быстротой молнии Рустэв подхватил устное предостережение Ронсона. Он понял, что американцев начинает раздражать суета вокруг смерти руководящего сотрудника и появления свитков. И он поддержал их тайное недовольство, заявив, что трещина вызывает куда больше тревоги, чем все эти истории, которые они, наверно, принимали за бабушкины сказки.

Мастерфайс одобрил точку зрения Рустэва, заметив сухо:

— Я согласен с вами, Андре, и думаю, что вы с Анри должны разделить обязанности: вы займетесь трещиной, а Анри займется свитками и похоронами.

Такое распределение обязанностей не совсем устраивало Рустэва, и на этот раз он цинично воспользовался своим превосходством и предложил:

— Мне кажется, у Анри не хватит времени справиться со свитками одному. Я думаю, вместе мы могли бы скорее покончить со свитками и одновременно каждый из нас занялся бы своим делом: он — похоронами умершего, я же — сращиванием трещины.

— Верно! Срастите трещину! — удовлетворенно сказал Мастерфайс.— Это именно то, что надо сделать. Что вы об этом думаете, Анри?

Рюмен, Сен-Раме и я молча, но настороженно слушали разговор этой тройки. Создалось нечто вроде коалиции из американцев и Рустэва; естественно, в противовес ей возникла другая, готовая дать им отпор: Рюмен, Сен-Раме и я. Сейчас, мне кажется, следует подчеркнуть, насколько поведение генерального директора было необычным для тех, кому приходилось с ним постоянно общаться. Небрежно подбрасывая пару игральных костей, он смотрел почти мечтательно и казался скорее безмятежным, чем равнодушным. Его ответ Мастерфайсу был по меньшей мере неожиданным:

— Совершенно верно, Андре Рустэв прав: сращивание — это точное определение; ведь предприятие во всех отношениях похоже на человеческий организм. Надо срастить эту трещину, как сращивают перелом, и я не сомневаюсь, что Андре на этот раз проявит себя отличным врачом.

Меня этот ответ привел в восторг. Надо ли напоминать, что то, как он меня защитил, подчеркнув трудность моей задачи, преисполнило меня благодарности и даже восхищения. Ответ же его пленил меня своей неожиданной поэтичностью, а также язвительным употреблением глагола «проявить». Если бы Рустэву удалось срастить эту трещину, то он и в самом деле «проявил бы» себя, так как это была бы его первая успешная операция. Наконец, ловкость, с какой Сен-Раме избежал прямого ответа на вопрос о распределении обязанностей, позволила ему сказать «да» с большим юмором и вскользь. В самом деле, это был умный ход настоящего руководителя того времени. Конечно, его находчивость не осталась незамеченной присутствующими, которые лишний раз получили возможность убедиться в высоких качествах генерального директора. Тут в комнату бесшумно вошла секретарша Сен-Раме и шепнула несколько слов на ухо своему начальнику.

— Пусть она войдет,— громко сказал генеральный директор.

Появилась госпожа Арангрюд. Мастерфайс предложил ей сесть, затем Сен-Раме, извинившись за причиненное беспокойство, сказал:

— Мадам, можете ли вы рассказать, при каких обстоятельствах тело безвременно ушедшего Роже было перевезено к нам в большой зал предприятия?

— О! Мосье Сен-Раме, я никогда не смогу отблагодарить вас за все,— ответила вдова, которая уже не казалась такой измученной.— Мой бедный Роже часто говорил мне: «Мосье Сен-Раме воистину один из тех, от кого зависит будущее страны, и он достигнет вершины благодаря своим душевным качествам». Если бы вы знали, какое удовольствие вы доставили мне вчера вечером, сообщив о принятом вами решении. Как был бы доволен Роже! Я даже думаю, что это должно стать известно всем, кто считает крупные фирмы бесчеловечными. Если хотите, я разрешаю вам опубликовать фотографии, которые были сделаны прошлой ночью.

— Какие фотографии? — спросил Сен-Раме.

— Фотографии, которые были сняты как раз перед вашим приездом. Я сожалею, что вас не было рядом со мной у катафалка.

— Ах да, правда,— сказал Сен-Раме.— Я совсем забыл, что они должны были сделать фотографии.

— Через полчаса после вашего звонка,— продолжала она,— люди из похоронного бюро уже были у меня. Мне ни о чем не пришлось заботиться, я даже вздохнула с облегчением. Я опасалась, как бы моя квартира не оказалась слишком мала для всех друзей моего мужа, которые пожелают прийти. «Подумать только,— сказала я себе,— они позаботились и об этом». Если бы Роже не был мертв, я бы чуть не прыгала от радости. Я позвонила родным в Арденны и сообщила им новость: «Роже воздадут последние почести в большом зале фирмы «Россериз и Митчелл-Франс». Они с трудом могли поверить. Прошу вас, мосье Сен-Раме,— прибавила она, поворачиваясь к ошеломленным американцам, которые начали догадываться, что грандиозная идея бдения у гроба оборачивается в пользу фирмы,— чтобы от моего имени и от имени моей семьи вы поблагодарили этих господ, а также весь персонал предприятия. Роже будет похоронен завтра в десять часов на кладбище Сен-Клу. Я слышала, вы собираетесь произнести речь,— вся семья будет в сборе. Конечно, все это не вернет мне мужа, но мне хочется быть достойной его, я знаю, ему бы не понравилось, если б я стала плакать. Наверно, вы послали за мной вашего шофера, мосье Сен-Раме, чтобы договориться о похоронах?

— Да, конечно. Завтра в девять часов сорок пять минут мы будем все у церкви в Сен-Клу. Благодарю вас, мадам Арангрюд, что, несмотря на вашу усталость, вы все же к нам приехали. Сейчас я велю проводить вас.

Сен-Раме поднялся. Его примеру последовали другие. Вдова усопшего откланялась и вышла. Через несколько минут генеральный директор возвратился и вновь занял свое место. Он вкратце изложил по-американски предыдущий разговор, что дало повод загадочному Ронсону выступить еще раз:

— Кто там фотографировал?

— В самом деле,— сказал Рустэв,— я вспоминаю многочисленные вспышки, мелькавшие из-за колонн.

— Совершенно верно,— подтвердил Рюмен.

— Но кто же фотографировал? — настаивал Ронсон.

— Не знаю,— ответил Рустэв.— В таких случаях всегда фотографируют. Я полагал, это должно входить в обязанности похоронного бюро. Так принято на всех церемониях.

— Надо расспросить поодиночке всех, кто присутствовал в большом зале этой ночью,— заявил Мастерфайс.

С согласия американцев Сен-Раме объявил заседание закрытым.

— Я должен провести еще одно совещание, на этот раз с ответственными сотрудниками,— сказал он, как бы извиняясь.

— Постарайтесь узнать у них, откуда взялся этот фотограф,— сказал Мастерфайс.

— Да, но прежде я позвоню в похоронное бюро и спрошу у них.

Явно помрачневшие американцы, ни с кем не попрощавшись, покинули комнату. Но я слышал, как Мастерфайс проворчал: «Hell, where are we?», что по-французски значило: «Черт побери, где мы находимся?» Иначе говоря: «Какого черта, во что мы влипли?»

XI

После этого совещания фирму «Россериз и Митчелл» мало-помалу начала окутывать густая пелена подозрительности. Разве отныне не стало ясно, что предприятие приютило у себя провокатора и, судя по некоторым признакам, он, должно быть, занимает ответственный пост? Первый, кого я встретил, выйдя из кабинета Сен-Раме, был

Лё Рантек, доверенное лицо при дирекции. Итак, он оказался первым, на кого я решил направить свое подозрение, что потребовало, как вы увидите, большой доли воображения. Что представлял собой Лё Рантек? Мужчина среднего роста, брюнет, с очень черными глазами, носивший темные костюмы в полоску. Он выдавал себя за знатока экономики и был типичным представителем большой группы людей от тридцати до сорока лет, очень похожих друг на друга и живущих одной и той же иллюзией: что они принадлежат к категории тех, кто умеет управлять и извлекать прибыли. Умели ли они на самом деле? Обладали ли они подлинными знаниями и культурой? В этом не было никакой уверенности. Почти все окончили общеизвестные учебные заведения: Институт политических наук, Школу гражданских инженеров, разные коммерческие учебные заведения,— затем понабрались кое-каких сведений из крупных газет. В частности, они усердно читали передовые статьи двух-трех писак, распространявших чужие идеи и повторявших избитые истины. Они быстро заучивали несколько общепринятых правил, позволяющих понять, что такое баланс и по каким законам создаются компании; они приправляли свою речь ходовыми англосаксонскими выражениями, выставляли напоказ и громогласно расхваливали свои достижения. Они называли себя экономистами и всячески подчеркивали свое презрение ко всем прочим. Они не желали нести никакой ответственности на предприятиях и старались занять видные посты поближе к правлениям или генеральной дирекции. Зато они, как кролики, бросались наутек, лишь только им предстояло руководить людьми и машинами, выпускающими продукцию. При этом они не упускали случая дать совет по поводу методов, которые следует применять, а иногда даже изобретали новые. Самый вид карты Соединенных Штатов Северной Америки на стене доставлял им истинное наслаждение. Они повсюду трезвонили, что пошлют своих детей учиться только в США. Они толковали вкривь и вкось о людях, на чей авторитет постоянно ссылались: о Маклюэне, Маркузе, Гэлбрейте, Блоке-Ленэ,— своих недолговечных кумирах, которые вполне могли бы обойтись без таких невежественных поклонников, никогда не изучавших и даже не читавших их работ! Лё Рантек провел Сен-Раме и американцев. Он пользовался на фирме репутацией человека компетентного и образованного. Но тот, кто присмотрелся бы внимательней к его карьере, обнаружил бы, что руководящий сотрудник Лё Рантек никогда ничем не руководил и ни разу ничего не организовал. Зато он созывал ответственных работников на многочисленные конференции, где так и мелькали слова вроде: cash-flow, staff and line, international management [1], капиталы, баланс, налоги, казначейство, акции, холдинг, Европа, Америка, Япония, страны Восточной Европы, Китай, экспорт, импорт, оптимизация и т. д. И никто не поднял руки, чтобы со всей ясностью сказать: «На прошлой неделе я читал работу Маршалла Маклюэна под названием «Гутенбергова галактика», или Джона К. Гэлбрейта «Новое индустриальное общество», или работу М. Блока-Ленэ о партнерстве, и, мне кажется, их авторы утверждают как раз обратное тому, что говорите вы». Тот, кто осмелился бы поднять руку, был бы резко осужден собравшимися, ибо в то время несколько слов, сказанных в микрофон, считались непреложной истиной, свидетельствующей о могуществе и освобождающей от необходимости что-либо знать.

Лё Рантек, которого я встретил, выйдя от Сен-Раме, был явно взволнован. В первую минуту я даже испугался, что сотрудникам фир-

[1] Поток наличных денег, руководящие и рядовые работники, международное управление *(англ.)*.

мы неудачно и преждевременно сообщили о происходящих у нас беспорядках и это уже привело к волнениям, с которыми будет трудно справиться. Но нет. Лё Рантек бегал по коридорам, разговаривая сам с собой о сое, говядине и международных экономических отношениях. По правде говоря, он мало смыслил в этих вопросах, но надо было быть тонким наблюдателем, чтобы это сразу заметить.

— Можете себе представить,— сказал он мне,— на импорт говядины вновь установлена пошлина! Цены на какао и медь ползут вверх! Сырье скоро станет для нас недоступным! Я собираюсь созвать совещание с Аберо и Селисом и, возможно, даже пригласить патрона.

Вот так-то. Этот человек, не способный руководить учреждением или заводом, не имеющий ни малейшего понятия о производстве, не получивший никакого серьезного экономического образования и узнавший лишь из журналов, как составляется государственный бюджет, решил собрать своих коллег, чтобы обсудить, какое значение имеет для нашего предприятия рост цен на сырье. В ту эпоху таких людей, как Лё Рантек, было великое множество. Бедняга Лё Рантек! Вспоминая его жалкий образ, я надеюсь, что он исчез без больших мучений. И желаю ему, чтобы какой-нибудь милосердный призрак, проходя мимо, набросил свое покрывало на его продрогшую душу.

— Соя! Говядина! Да, да! — ответил я этому якобы непоколебимому стороннику Гарвардской школы администраторов.— Я думаю, вы правы, цены на сырье поднимутся.

Он, наверно, уловил в моем ответе явное безразличие, ибо нравоучительно проговорил:

— Я вижу, вы к этому относитесь легкомысленно, однако в этом основа экономической политики. Как хотите вы играть видную роль, если ваши интересы не выходят за пределы вашего предприятия?

— Вы правы,— сказал я,— слишком многие руководящие сотрудники, в том числе, сознаюсь, и я сам, несведущи в этих трудных вопросах. Попробуйте разобраться,— прибавил я,— выгодна ли для нас ревальвация франка! Невозможно составить мнение об этом, не имея солидного экономического образования.

Лё Рантек посмотрел на меня очень довольный. Он стал любезным и даже предупредительным; взяв меня под руку, он соизволил проявить ко мне интерес.

— Дорогой коллега,— прошептал он,— мне кажется, вы чем-то озабочены. Что случилось? Неприятности с патроном? Если хотите, я могу все уладить.

Вот каким образом в те времена возникали связи на предприятиях. Ты признал мое превосходство в экономике над другими сотрудниками, а я признаю тебя лучшим из директоров по «человеческим отношениям». Затем сюзерен и вассал, взявшись под руку, дружно прохаживаются по коридорам: один мечтает о полноте власти, другой прикидывает, что он, пожалуй, вскоре снимет более дорогую и просторную квартиру.

А может быть, Лё Рантек и есть обличитель? И я решил тут же испытать его.

— Послушайте,— спросил я,— читали вы текст на свитках, распространенных прошлой ночью?

— Да, для очистки совести. Это глупая бумажонка, студенческая шутка. За последние три месяца мы приняли на работу много студентов из коммерческой школы. Я уверен, это их проделка.

— А вы могли бы написать этот текст?

— Конечно мог бы,— ответил он заносчиво.— Это же азбука экономики, краткое описание обстановки, в которой действует современное предприятие, и затруднений, которые ему приходится преодоле-

вать. Я с нетерпением жду продолжения, где речь пойдет о более тонкой материи: о финансовых учреждениях и администрации, а это куда сложнее.

— Вы с нетерпением ждете продолжения? — спросил я, сбитый с толку.

— Ну конечно, автор текста об этом предупреждает. А вы сами его прочитали?

— Да, прочитал, но я не так спокоен, как вы.

— А что вас беспокоит? Я же говорю, это просто студенческий розыгрыш.

— В таком случае,— ответил я, немного раздосадованный,— пойдите и скажите это шефу.

Я знал, какое действие окажет такая фраза. Лё Рантек нахмурился и спросил:

— Шефа это беспокоит? Он вам сказал?

— Не скажу, что беспокоит, но он официально поручил мне выяснить, откуда взялась эта проклятая бумажка. Итак, могли бы вы быть ее автором?

— Что вы хотите сказать?

— Мне кажется, это ясно.

— Я мог бы ее написать, это так, но я не могу поверить, что вы подозреваете во мне автора или даже инициатора подобного розыгрыша.

— Я отвечу вам на манер инспектора полиции,— сказал я, стараясь превратить все в шутку, чтобы он не вздумал затеять скандал.— Я подозреваю всех и никого.

Лё Рантек посмотрел на меня пустым взглядом, затем внезапно повернулся и ушел. Было далеко за полдень. Итак, предстояла борьба Рустэва против Сен-Раме, Сен-Раме против Мастерфайса и особенно — против Ронсона, уж не говоря о соперничестве между руководящими сотрудниками, а также о стычках между начальством и профсоюзами. Но мне показалось необычным и, пожалуй, даже революционным, что эти битвы разгорались вокруг трещины в подвале здания, похорон руководящего сотрудника и студенческой шутки. Это ставило меня в привилегированное положение человека значительного и компетентного. Действительно, уладить эти вопросы в интересах фирмы входило в обязанности заместителя директора по «человеческим отношениям». Дадут ли мне время подумать? Объяснит ли Сен-Раме свое поведение? А эта трещина? Я не видел ее со вчерашнего дня. Если я не буду ходить туда по меньшей мере дважды в день, меня обвинят в бездеятельности. Я решил спуститься в подвалы нашего здания до того, как вернусь к себе в кабинет. Внизу я никого не встретил. В подвалах было темно, что меня удивило. Я направился к тому месту, где находится распределительный электрощит, и, осветив его зажигалкой, увидел листок с надписью «авария». Это было очень странно, и мне еще больше захотелось осмотреть трещину. К счастью, я знал все подвалы фирмы «Россериз и Митчелл-Франс» как собственный карман и мог ориентироваться с помощью зажигалки. Минут через пять я заметил мерцание огонька в конце коридора. «Черт возьми,— сказал я себе,— если не ошибаюсь, там как раз и есть трещина». Я медленно продвигался вперед, и, сам не знаю почему, сердце у меня билось все сильнее. Когда я был в нескольких метрах от трещины, я погасил зажигалку и замер от изумления. Вокруг трещины кое-где уже были возведены леса, и это свидетельствовало о том, что работы начались. Но доски были освещены дюжиной свечей, что придавало этим приготовлениям какой-то нереальный, почти фантастический вид. Возможно, рабочие, когда произошла авария с электричест-

вом, находились здесь, у них оказались с собой свечи и они их зажгли? Но тогда куда же они ушли? Я попытался найти несколько разумных доводов, чтобы объяснить это странное явление. Не появилась ли у меня склонность давать слишком многим фактам неправдоподобные объяснения? Кто, кроме рабочих, мог зажечь здесь эти свечи? Тут мне пришла в голову идиотская мысль, что эта освещенная свечами трещина напоминает окруженный канделябрами катафалк Арангрюда. Мне вдруг стало страшно, и я бросился к залу для отдыха. Подземный лифт находился как раз напротив его двери. Едва я подбежал к ней, как загорелся электрический свет. Тогда, успокоившись и немного стыдясь своего бегства, я вернулся назад. Трещина была на месте, доски тоже, но свечи исчезли.

XII

Много позже появилась официальная версия этих событий, принятая следователями, основывавшимися на моих показаниях: рабочие, застигнутые врасплох аварией в электросети, воспользовались свечами, чтобы предупредить о начатых там работах, и убрали их, когда вновь загорелся свет. Мои толкования различных происшествий, которыми изобиловала в тот период жизнь предприятия, в общем были признаны паническими. Тем не менее меня поздравили с таким активным пессимизмом, который, по крайней мере, доказывал мою неустанную бдительность. Словом, я все же осмотрел эту трещину и пришел к заключению, что Рюмен был прав: она расширилась и стала значительно длиннее. Я вернулся к себе, и секретарша сообщила мне, что в 17 часов состоится заседание директоров и заведующих отделами в конференц-зале № 4, расположенном в подвале, как раз рядом с этой самой трещиной. Я быстро просмотрел несколько второстепенных дел, ответил на письма и ровно в 17 часов вошел в лифт и снова спустился в подвал. Сен-Раме председательствовал на этом заседании; Рустэв сидел справа от него, я — слева.

Ах, как бы мне хотелось сказать им: «Дамы и господа! Все вы, сидящие здесь,— главная опора нашего предприятия; вы так разумны и добродетельны, что благодаря вам фирма «Россериз и Митчелл-Интернейшнл» гордится громадными успехами, достигнутыми в продаже машин; вы всемерно способствовали распространению во Франции новых плугов; вы, сидящий там в глубине, такой бледный и сосредоточенный, скрываете за своим чуть покатым лбом сложные расчеты, которые расширяют рынки сбыта комбайнов, а вы, с виду такой хрупкий и скромный, сумели добиться, чтобы наши знаменитые виноградные прессы и образцовые фургоны проникли на испанский рынок; а вы, сидящий предо мной в первом ряду, гордый, грозный и непобедимый, знали, как перестроить руководство и управление во всех секциях по производству машин для рыхления почвы; и, наконец, вы, самый мудрый и уравновешенный, добились успеха на переговорах о перестройке производства моторов грузовых автомобилей на нашем северо-западном заводе; всем вам, кого люблю и уважаю, я говорю: осторожно, у нас появилась трещина. У нас появилась трещина совсем близко, тут, рядом с нами, и с каждым днем она становится все длиннее и шире на глазах ошарашенного Рустэва. Эта зияющая трещина начинает серьезно раздражать американцев, наших покровителей, чувство юмора которых вы так цените. Надо ли, чтобы эта рана стала серьезной, кровоточащей, вспухла и загноилась и чтобы они вовсе утратили чувство юмора! Так знайте же: трещину заделают, распоряжения уже отданы, врачи сбегутся и позаботятся о ней, они ее зале-

чат и обезвредят. Ярость Рустэва пойдет на пользу нашему предприятию, ибо мы ловко направили ее на эту ужасную расселину, которая, словно опухоль в нашем подземелье, отравляет чрево фирмы. Да будет вам все это известно, мужчины и женщины конца нашего века! Возвращайтесь с миром к вашей работе, укройтесь за вашими уравновешенными и приветливыми руководителями. Не лишайте их своего доверия, производите, упаковывайте, продавайте, программируйте, а тем временем ваши руководители, освободившись от забот о расширении и насыщении рынков сбыта, сосредоточат все свои силы и способности на уничтожении невероятной, отвратительной трещины, этой загадочной, дерзкой и подлой расселины, которую мы полностью обезвредим, а потом заделаем и заполним особым прочным цементом, доставленным из секретных карьеров Невады и Колорадо. А теперь, когда мы ударили в набат, мобилизуя все силы против безобразной щели, пусть тот, кто написал и распространил текст, поднимет руку! Пусть тот, кто свернул пергамент и перевязал его зеленой с черным лентой, встанет и сознается! Он будет прощен. Более того, все признают, что у него есть педагогический талант, несомненное умение упрощать и популяризировать сложную экономику нашего времени. Ему будут признательны за то, что он расслабил нервы предприятия. Ему могли бы даже предложить проводить и дальше свой опыт, то есть написать продолжение, и, если он пожелает, французская дирекция и штаб в Де-Мойне позволят ему свернуть, перевязать и распространить ночью его талантливые свитки. Зеленая с черным лента будет увековечена. Каждый месяц все сотрудники от самого ничтожного до самого знатного, от самого невзрачного до самого блистательного, от самого глупого до самого умного, от самого богатого до самого бедного будут, в соответствии с законами демократии, получать свои свитки по научной экономике и управлению предприятием. Пусть тот, кто написал этот свиток, поднимет руку! Он даже будет вознагражден, так как показал себя новатором. Ведь он изобрел новую, революционную систему внутренних коммуникаций! Он нашел решение проблемы, которую унаследовала наша западная цивилизация,— проблемы общения между людьми, где бы они ни были, и в частности, внутри гигантских американских и транснациональных предприятий. Я сам, заместитель директора по «человеческим отношениям» этой прекрасной фирмы, позавидовал бы ему. Ах, как бы мне хотелось изобрести что-нибудь в этом роде! Я был бы счастлив, если бы ночью в своей маленькой комнатке на улице Бюрнуф мог написать такой текст, тайно напечатать его и распространить под покровом ночи, ловко обманув бдительность сторожей. Где же тот, кто написал, свернул и перевязал? Пусть он покажется—ему будут рады, его поздравят, ему увеличат жалованье, его повысят по службе, пошлют усовершенствоваться в Массачусетс, и пусть он вернется, да, да, пусть вернется еще более образованным, более сведущим в деле амортизации и движения капиталов, подведения итогов, создания резервных фондов и товарных запасов, самофинансирования, кредита, замораживания капиталов, пределов доходности, политики цен, налогов на компании, расходов на социальные нужды и принудительных займов! Ну, в самом деле, пусть он возвращается из Массачусетса и пишет нам полезные и длинные свитки на эти сложные темы! Пусть тот, кто написал, свернул, перевязал и распространил, встанет, и он удостоится всеобщей похвалы. А теперь, теперь, когда он встал, пусть поднимутся все и почтут минутой молчания память нашего дорогого Роже Арангрюда, человека, который, будучи совсем молодым, сделал гигантский скачок в «маркетинге» колбасных изделий в целлофановой упаковке; его заслуги так велики, что в час, когда смерть настигла Роже на окружном бульваре,

его должны были назначить директором по «маркетингу» у «Россериз и Митчелл-Франс»! По этому случаю — я имею в виду: по случаю его смерти — я еще раз искренне поздравляю того, кто только что встал перед всеми, того, кто написал, свернул, перевязал и распространил свитки, ибо он не ограничился этим подвигом, но еще лучше доказал свою преданность нашей блестящей и мощной фирме. Что же он сделал? Сейчас я вам открою: это ему пришла в голову мысль отдать последнюю дань уважения нашему дорогому Арангрюду! По собственной оригинальной инициативе он сделал заказ похоронному бюро и организовал бдение у гроба покойного в нашем большом мраморном зале! Подумать только! Мы хотели устроить бдение в Сен-Клу у мужественной мадам Арангрюд, а он решил, что высокие качества покойного стоят того, чтобы ему отдали почести у нас на фирме! И выполнил свое решение так смело и точно, что вызвал восхищение наших руководителей! И вот прошлой ночью катафалк был установлен — и должен сознаться, без нашего ведома, но к нашей радости — в зале предприятия, где были также расставлены гигантские канделябры и великолепные красные кресла. Там персонал предприятия, достойно представленный господином Рюменом и делегацией ответственных сотрудников, окружил глубоким, но сдержанным почтением вдову и руководителей, к которым добровольно присоединился и вице-президент Мастерфайс. (Волнение было столь велико, что ваш бедный заместитель директора по «человеческим отношениям» ненадолго потерял сознание.) Завтра мы похороним нашего друга без излишней помпы, но с официальными почестями. К тому же, чтобы подчеркнуть, что дань уважения, отданная этой ночью покойному, была не только нашей, но и вашей данью уважения, мы позволили себе с согласия мадам Арангрюд сделать несколько фотографий. Тому, кто только что встал, кто написал, свернул, перевязал, распространил, отдал распоряжение о бдении у гроба, мы и поручили сфотографировать катафалк. В ближайшие дни мы вывесим эти фотографии в нашем здании в витринах, специально предназначенных для подобных целей. Наконец, дамы и господа, дорогие коллеги и дорогие сотрудники, выходя из зала, вы заметите направо в глубине коридора доски, прислоненные к стене. Не удивляйтесь и не пугайтесь: там находится трещина, которую мы старательно заделываем под верховным надзором заместителя генерального директора мосье Рустэва; ему лучше чем кому-либо другому известны вопросы строительства зданий и фундаментов, благодаря подготовке, которую он получил в свое время у глубокоуважаемого тестя Габриэля Антемеса, знаменитого предпринимателя. И если случайно кто-нибудь из вас обнаружит в подвалах или еще где-нибудь наполовину обгоревшие свечи, я был бы весьма признателен, если бы вы передали их владельцу — тому, кто встал, кто написал, свернул, перевязал, распространил, распорядился о бдении, а также зажег эти свечи во время аварии в электросети, чтобы из-за отсутствия света тяжелые подпорки, окружающие трещину, не остались незамеченными и не произошло несчастного случая. Вот, дамы и господа, это все, что я хотел вам сказать. И хотя рабочий день еще не окончен, фирма разрешает вам разойтись по домам, что, возможно, позволит вам избежать уличных заторов».

Я был бы рад произнести такую речь на этом информационном совещании. Не сомневаюсь, она могла бы развеять в прах коварные замыслы обличителя. Встал бы он? Об этом можно спорить без конца. В одном я уверен: сегодня — увы!— уже поздно задавать себе этот вопрос. Я уверен, что, если бы наши американские руководители могли представить себе, что им готовится, они охотно согласились бы произнести именно такую речь, лишь бы уберечь всех от опасности и

предотвратить ход последующих событий. Но, к сожалению, история народов и предприятий показывает, что невозможно заставить людей серьезно прислушиваться к предостережениям. Современникам надвигающихся трагедий они всегда кажутся надуманными, неуместными и порой даже безумными. Позднее, когда происходит плачевная развязка, люди признают, что предсказания были вполне разумными. Если бы Сен-Раме, человек куда более проницательный, чем прочие руководители и присутствующие здесь лица, не избрал себе особую участь, он, возможно, пришел бы к какому-нибудь решению в таком роде — например, ввел бы настоящее, поистине свободное обсуждение, устранил бы всех кровососов из главного штаба, современных энергичных псевдоспециалистов, псевдоэкономистов, лжеэкспертов, словом, всех, кто захватил хотя бы малую толику власти только потому, что научился составлять финансовые планы; и вот эти ничтожества, ошалевшие от того, что вознеслись так высоко, берутся учить, как надо жить, мужчин и женщин, постоянно работающих с предельным напряжением нервов; и хотя эти мужчины и женщины уже обзавелись телевизорами и холодильниками, однако это не мешает им устраивать на улицах дикие драки, если кто-нибудь случайно помнет им машину; а ночью в своих дешевых квартирах они вскакивают спросонок, разбуженные шумом воды, которую спускает сосед, помочившись в уборной за дешевой стенкой, в десять раз более тонкой, чем в квартире их начальника. Крупные капиталисты слишком поздно поняли, какую страшную опасность представляет такой захват власти для всей экономической системы западных демократий, находящейся постоянно под угрозой мятежа и вынужденной поэтому избивать своих девушек и юношей или запрещать им доступ в общественные парки. Как видно, у этих капиталистов не хватает ни разума, ни души. Рассчитать на три года вперед, какой коммерческий успех выпадет на долю складной вилки, которую можно превратить в мундштук для сигарет, плести интриги, чтобы выгодно поместить капитал или свалить Сальвадора Альенде в Чили, несомненно, куда легче, чем создать и применить новые принципы руководства, неугодные обществу изобилия, а также принести в жертву эгоистические стремления и посадить за решетку ростовщиков, чтобы спасти свободные страны. Но свободу, позволяющую швейцарскому миллиардеру спрятать в Нью-Йорке в глубине бронированных подвалов шедевры мировой живописи, разве можно назвать иначе, чем свободой обогащения? И разве этот швейцарский миллиардер не согласился бы на любую диктатуру, лишь бы сохранить свое богатство? Управлять армией в мирное время — задача не простая, и если не выполнять ее разумно, без демагогии, можно разрушить страну изнутри не менее основательно, чем если бы она подверглась варварскому нашествию. То же относится и к предприятиям. Они дружными рядами устремились к краху, хотя их кассы никогда еще не были так набиты деньгами.

Генеральный директор взял слово и выступил с пространной речью. Я с горячим интересом слушал его и размышлял. По существу, Анри Сен-Раме смотрел на вещи так же, как и я. Разница между докладом, который я мысленно произнес, и его речью была совсем невелика. Это доказывало, что мы поставили одинаковый диагноз обстановке на предприятии, нашли одинаковый способ лечения, раскрыли или смягчили те же факты. В чем же была разница? Только в одном. Сен-Раме не смог или не захотел сказать в тот вечер главного: пусть встанет тот, кто написал, свернул, перевязал, распространил распорядился и зажег свечи, пусть встанет, и он будет вознагражден! И поверьте мне, если бы он встал, это спасло бы нас от многих бед. Теперь, когда я все знаю, я понимаю, что это было совершенно невозможно.

обличитель ведь уже решил, что никогда не встанет. Жребий был брошен: гигантскому американскому и транснациональному предприятию придется испить чашу до дна.

XIII

К концу этого дня, второго после появления свитка, я провел совещание с ночной охраной нашего здания из стекла и стали, а также с начальником бригады уборщиц. Я призвал их усилить бдительность и объявил о двух решениях, принятых фирмой: нанять дополнительно шесть сторожей и выдать большую премию тому, кто схватит мужчину, или женщину, или группу лиц, распространяющих ночью на предприятии листовки или рекламы. Но я давал это указание без всякой уверенности в успехе. Я был убежден, что противник применяет неизвестные нам методы или, во всяком случае, у него есть перед нами огромное преимущество, хотя я не имел ни малейшего представления, какое именно. Из телефонного разговора с директором компании по охране зданий я узнал, что ночные сторожа, предоставленные фирме «Россериз и Митчелл», работают в компании с давних пор, все они были допрошены и, по-видимому, нет причин подозревать кого-нибудь из них. В ночь, когда появились свитки, они ничего не видели и не слышали. Я был совершенно уверен, что скоро появится второй свиток. Но надеялся, что на этот раз сторожа, заранее предупрежденные и заинтересованные обещанной наградой, затруднят обличителю выполнение задачи. Ведь надо обладать редкой изворотливостью, чтобы одурачить стоящих начеку сторожей и разложить ночью на всех этажах огромного здания 1100 экземпляров нового свитка! Здраво рассуждая, можно заключить, что в такой обстановке выполнить незаметно подобную операцию физически невозможно. Что же будет, если, к несчастью, этот вывод окажется неверным? Я не смел даже подумать о такой гипотезе. Удача обличителя могла взбудоражить умы и, вероятно, даже вызвать панику, последствия которой могли стать гибельными для предприятия. Если бы, например, разнесся слух, что на фирме появился дурной глаз? У нас началась бы утечка сотрудников, многие из них ушли бы от нас, и нам было бы трудно найти им замену, так что пришлось бы предложить им жалованье в два-три раза выше, чем у конкурентов, что разорило бы фирму. К концу дня я убедил себя, что дело будет иметь также и серьезные экономические последствия. Если появится второй свиток, будущее французского филиала фирмы окажется под угрозой. И как знать, мало-помалу, из уст в уста дурная слава перейдет границы и сама транснациональная компания покачнется на своих мощных опорах. И из-за чего? По чьей вине? По вине одного человека, распространяющего текст о законе спроса и предложения! Было, верно, уже более 20 часов, когда, измученный этими размышлениями, я решил, что могу уйти домой. Надо ли уточнять, что ответственные сотрудники того времени сочли бы себя недостойными пользоваться своими мелкими привилегиями, если бы стали приходить и уходить в одно время с секретаршами! Правда, среди этих привилегий самое видное место занимало разрешение приходить утром в 9 ч. 30 мин.! Я надел пальто и вышел. В этот час улица Оберкампф начинала уже разгружаться, и у ответственных сотрудников не было ни малейшего основания задерживаться дольше на предприятии. Таким образом, они одним выстрелом убивали двух зайцев: создавали видимость тружеников, занятых делами после ухода младшего персонала, и избегали неудобств уличного движения. Я быстрым шагом направился к улице

дэ Сандрие, где мы, высшие административные служащие, оставляли свои машины. Мы не имели права ставить их в подземных гаражах фирмы. И вот один ответственный сотрудник первым понял, что по неизвестным причинам улица дэ Сандрие ускользает от бдительного ока полицейских. Низшие служащие уважали привычку начальства и никогда не ставили на этой улице своих машин. Они довольно хорошо устроились на улице Ла-Пьер-Левэ. Я сел в машину и собирался было тронуться с места, когда увидел в зеркале заднего обзора хорошо знакомые мне силуэты. Я сразу же выключил свет и стал наблюдать. Небольшая группа двигалась в моем направлении. Я пригнулся на сиденье, и они прошли мимо, не заметив меня. Осторожно приподняв голову, я узнал Рустэва, Бриньона, Самюерю, Вассона, Иритьери, Террена, Фурнье, Порталя и Шавеньяка. Они пошли по улице дэ Сандрие, затем свернули направо на улицу дез Амандье. Что это значит, черт побери? Склонный все видеть в мрачном свете, я ни на минуту не подумал, что они попросту могли вместе пойти поужинать. Каковы бы ни были их планы, я, однако, не сомневался, что события, развернувшиеся на предприятии, были причиной этой необычной вылазки. Внутренний голос шепнул мне, что мой день еще не кончился: при обстоятельствах, сложившихся на фирме «Россериз и Митчелл», заместитель директора по «человеческим отношениям» был обязан выйти из автомобиля, нагнать группу и следовать за ней. Тот же голос посоветовал мне не показываться им, что побудило меня надеть старую большую черную кепку и плащ, которые я всегда держал в отделении для перчаток и напяливал только в деревне в плохую погоду. Я поднял воротник плаща и, вырядившись подобным образом, бросился вслед за моими коллегами — ответственными сотрудниками и нашим заместителем генерального директора. На улице дез Амандье не было никого. Озадаченный и раздосадованный, я уже решил было вернуться, как вдруг мне показалось, что я узнал Селиса, проскользнувшего в маленькую близлежащую улочку. Я вспомнил, что не видел Селиса в группе Рустэва, и снова воспрянул духом. Возможно, у него свидание с ними. Я подбежал к тому месту, где он исчез, услышал, как хлопнула дверь, и постарался точно определить, какая именно. Я находился как раз у входа в тупик дэ Ронс и, крадучись словно волк, пошел вдоль стены здания, где хлопнула дверь. Это был четырехэтажный массивный квадратный дом. Зачем они пошли в этот дом? Тупик был пустынный, и мне стало не по себе. Теперь, когда я знал, где собрались эти господа, я имел право уйти и завтра потребовать у них объяснения. Эта мысль показалась мне разумной, и я пошел назад. Не успел я пройти и пятидесяти метров, как услышал стук открывающейся двери. Я спрятался за каким-то автомобилем и увидел Селиса, который вновь появился на улице и принялся рассматривать другие дома, как будто он ошибся адресом. После нескольких минут раздумья он углубился дальше в тупик. В это время какой-то мужчина вышел из маленькой таверны, которую я сначала не заметил, и направился на улицу дез Амандье. А, это Аберо, сказал я себе: наш заместитель директора по прогнозированию. Но он тут же ушел. Что происходит сегодня вечером в тупике дэ Ронс, куда руководящие сотрудники фирмы пробираются словно воры? Я почувствовал раздражение. Над кем они смеются, думал я, кто поставил этот водевиль? И, не стараясь больше скрываться, я сунул кепку в карман и, опустив воротник плаща, воинственным шагом направился к своей машине. Возвратясь к себе, я позвонил Сен-Раме по телефону и подробно рассказал ему о похождениях Селиса и Аберо и об исчезновении группы Рустэва.

— Вы уверены, что не ошиблись? — спросил генеральный директор.

— Мосье,— ответил я с возмущением,— я еще не потерял голову, хотя недавние события могли сбить с толку и уравновешенного человека.

— Не сердитесь, друг мой,— мягко сказал Сен-Раме,— я вовсе не думаю, что вы безрассуднее других, но ведь вы могли и перепутать. В тупике, как вы мне объяснили, было темно.

— Я не мог перепутать Рустэва и тех, кто его сопровождал. Они прошли мимо меня по улице дэ Сандрие.

— Да, но вы их больше не видели. Быть может, они просто пошли поужинать. В тупике дэ Ронс, как вам показалось, вы узнали только Селиса и Аберо, но и тут вы могли ошибиться.

— Возможно,— сказал я,— однако...

— Послушайте,— перебил меня Сен-Раме,— вы хорошо сделали, что позвонили. Знайте, это происшествие меня тревожит. Стало быть, не жалейте, что побеспокоили меня, но проще проверить все завтра. Не знаю, какая секретная миссия могла быть возложена на Рустэва без моего ведома. Последуйте моему примеру, спите спокойно — и до завтра.

Я с сердцем бросил трубку. Сен-Раме явно сам ничего не понимал. Я так разозлился, что готов был пожелать обличителю добиться своей цели, хотя — в чем я уже не сомневался — это и приведет к катастрофе.

На другой день, к моему стыду, все обернулось против меня, Рустэв пригласил ответственных сотрудников поужинать, чтобы дать оценку создавшемуся положению, что было его неотъемлемым правом. Это также раскрывало его намерение до конца использовать обстановку и захватить первенство. Приглашение было послано довольно поздно, и потому четверо из нас его вовсе не получили. Селиса, Лё Рантека, Аберо и меня до 20 часов якобы не смогли отыскать. Однако я был в своем кабинете. Может быть, я на минутку отлучался? Селис и Аберо, исподволь опрошенные Сен-Раме, заявили, что были весь вечер дома. Что касается группы Рустэва, возможно, я и ошибся. Я же действительно потерял их из виду на улице дез Амандье, когда они свернули направо. Были ли они в тупике дэ Ронс? Об этом я узнал значительно позднее.

Теперь я должен вспомнить похороны Роже Арангрюда, сотрудника, принадлежавшего к элите фирмы, безвременно исчезнувшего из штатного расписания «Россериз и Митчелл-Франс».

Огромная толпа народа топталась на паперти церкви Сен-Клу и заполняла прилегающие улицы в ожидании прибытия катафалка. В ушах у меня до сих пор звучат слова Мастерфайса по поводу этого зрелища. «Кого они хоронят, черт побери?» — проворчал он. И в самом деле, можно было задать такой вопрос. В честь кого собрались здесь все эти граждане? Мог ли себе представить Арангрюд, что в день его смерти сбежится столько народу и чуть ли не склонится до земли, когда появится его роскошный гроб, заказанный и оплаченный могущественной компанией? Личного состава фирмы «Россериз и Митчелл-Франс» было бы недостаточно, чтобы создать такую толпу, большинство лиц здесь было мне незнакомо... С похвальной предусмотрительностью Сен-Раме приказал вывесить объявления, разрешающие всем желающим присутствовать на церемонии. Кроме того, заподозрив, что дирекция ведет какие-то тайные маневры, Рюмен

послал на похороны своих активистов. Понятно, что две трети личного состава фирмы столпились на паперти. Я сам был ошеломлен, увидев в толпе не один десяток ответственных сотрудников из главного штаба фирмы и много известных технократов. Кто их оповестил? Правда, соблюдая обычаи предприятия, мы послали в крупные газеты некролог: «*Адамс Дж Мастерфайс, вице-президент фирмы «Россериз и Митчелл-Интернейшнл», ответственный за финансы в Европе, генеральная дирекция «Россериз и Митчелл-Франс», профессиональные союзы и персонал фирмы с прискорбием извещают о безвременной кончине Роже Арангрюда, директора по «маркетингу» в Бенилюксе, бывшего студента Высшей коммерческой школы; смерть последовала на севере парижского окружного бульвара около 22 часов*». Под нашим извещением следовало извещение семьи, а под ним можно было прочесть третье, гласившее: «*Компания «Корвекс», вторая в Европе и первая в Африке по колбасным изделиям в целлофановой упаковке, с глубоким сожалением и скорбью узнала о неожиданной смерти Роже Арангрюда, бывшего студента Высшей коммерческой школы, бывшего выдающегося начальника производства компании (по ветчине корвебон)*».

По зрелом размышлении присутствие стольких ответственных сотрудников из главного штаба на похоронах Арангрюда можно было просто объяснить появлением этих извещений. Тем более что в конце нашего извещения было уточнено: смерть последовала на окружном бульваре в 22 часа, что было весьма необычно. Это прозвучало как «смерть на поле боя» и потому было способно приковать к себе внимание. Мне кажется, именно это и произошло. Парижские сотрудники главного штаба почувствовали, что это их близко касается. Они, должно быть, испытали сильное волнение и даже восторг, читая извещение, под которым стояла авторитетная, на их взгляд, подпись: «Россериз и Митчелл». То, что профсоюзы и американские хозяева, объединенные общей глубокой скорбью, отдали проникновенную дань уважения одному из своих коллег — не кому-нибудь, а настоящему кадровому работнику, окончившему Высшую коммерческую школу, в дни своей молодости победоносно продававшему такой деликатный продукт, как ветчина в целлофановой упаковке, принятому затем в лоно сверхмощной промышленной и торговой истинно американской — не итальянской, не британской, не русско-голландской, а подлинно американской — компании, где преуспевают лучшие, наиболее способные работники, где господствует справедливость, ибо там почитается интеллектуальная иерархия: итак, не служит ли знаком уважения к административным деятелям во Франции, Японии, Германии и в целом мире то, что подобная честь оказана Арангрюду? А профсоюзы? Готовы ли они, наконец, признать высокие качества сотрудников главного штаба, их ведущую роль в политике страны и на предприятии, силу и проницательность, которые они вкладывают в развитие и расцвет моральных и культурных ценностей западной цивилизации? А решение точно указать место и час гибели Арангрюда — не было ли оно принято с целью подчеркнуть его сильнейшее переутомление после непрерывной шестнадцатичасовой работы, которая в тот вечер тяжким бременем легла на его плечи? Ах, ему, право, не стоит завидовать тем расстрелянным женщинам, мужчинам, студентам, чьи имена увековечены кое-где на мраморных досках как память для прохожих: «*Здесь 1 августа 1943 года в 10 часов полицейский Гонтье пал под пулями нацистского оккупанта*». Или же: «*Здесь учились молодые французы, расстрелянные врагом 3 ноября 1942 года за участие в движении Сопротивления*». Вот и здесь — тоже смерть, и присутствующие показывали женам

извещение. А в воспаленные их головы, наверно, закрадывалась мысль сложиться и прибить на окружном бульваре доску с надписью: *«Здесь в 22 часа Роже Арангрюд, бывший студент Высшей коммерческой школы, директор по «маркетингу» в Бенилюксе компании «Россериз и Митчелл-Франс», бывший начальник производства компании «Корвекс», второго в Европе и первого в Африке по выпуску колбасных изделий в целлофановой упаковке, получил удар в правый висок, от которого погиб; он стал жертвой шестнадцатичасового рабочего дня. Прохожий, помни о нем».*

Сама фирма «Корвекс», весьма признательная Арангрюду, не забыла о нем, что было еще более редким явлением. Вот по каким соображениям из всех уголков Парижа потянулись в Сен-Клу сотрудники главного штаба фирмы «Россериз и Митчелл-Франс». Все были здесь. Я видел их из автомобиля — похожих друг на друга, одноликих и взволнованных; а когда проезжал катафалк, некоторые даже смахивали крупные слезы, стекавшие за толстыми стеклами их массивных очков. Арангрюд становился символической фигурой: он был первым ответственным сотрудником, который, не имея капитала, удостоился похорон, какие обычно устраивают лишь сильным мира сего. А ведь эти злополучные кадры были еще раз одурачены. И тот, кто с рупором в руках осмелился бы вдруг вскочить на крышу катафалка и обратиться к ним с речью, чтобы открыть этим несчастным их заплаканные глаза, был бы освистан и осмеян, а затем приговорен к смерти — так был непоколебим их эгоистичный и ограниченный идеал счастливой жизни и свободы. А он вот что мог бы сказать:

«Все вы, непрерывно с утра до вечера продающие груды товаров, или, как сказал профессор Моно Жак, миллиарды тонн единиц продукции,— что вы об этом думаете? Неужели вы считаете, что присутствуете на торжественных похоронах, подтверждающих прочные основы вашей жизни и будущей достойной смерти торговцев продовольствием, товарами и машинами? Нет, господа технократы производства, упаковки и продажи, эти похороны — надувательство! Наоборот, вы присутствуете при крушении кумиров. Человек, который покоится в роскошном гробу, заказанном и оплаченном фирмой, и уносит с собой в могилу вместе с чалмой из бинта Вельпо размышления о продаже машин для сбора помидоров, этот человек похож на вас, и даже мертвый он, как и вы, был обманут. Бдение у гроба в большом зале, траурные извещения, собравшие вас, эскорт профсоюзных активистов — все это не что иное, как роскошная махинация. В самом чреве «Россериз и Митчелл-Франс» всколыхнулись грозные силы, несущие смятение и панику, они уже дают о себе знать. С каждым часом растерянные руководители отступают, надеясь своей податливостью вернуть утраченное, разрядить обстановку. Они были вынуждены бодрствовать у тела покойного сначала у него на квартире, затем на предприятии, вынуждены участвовать в похоронах, вынуждены допустить рядовых работников на траурную церемонию, оплатить стоимость гроба, опубликовать извещения. Не стройте себе иллюзий! Посмотрите, как хмурится этот вельможа Мастерфайс! Как он еле передвигает ноги, словно ему приставили к спине пистолет! Взгляните на затаенную ненависть в глазах Ронсона, на скованную походку Сен-Раме! Знаете, о чем они думают? Как бы поскорее навести здесь порядок, побыстрее покончить с этим дьявольским наваждением, сесть в самолет, отправиться в Де-Мойн и дать отчет: там, во Франции, в Париже, в нашем здании из стекла и стали мы почувствовали дух сатаны. Скончался ответственный кадр, и мы чрезвычайно странно похоронили его. Как знать, не будет ли теперь его призрак бродить по лабиринтам, рыться в кабинетах, распростра-

нять новые свитки, расширять трещину, подрывать рост, экспансию, самофинансирование, амортизацию, экспорт! И кто знает, не просыпаются ли ночью во всем мире тысячи Арангрюдов, не бродят ли они по карьерам, где мы вырубаем наши камни, по лесам, откуда мы вывозим нашу древесину, по рудникам, где мы добываем наше железо, нашу медь, наше олово, наш алюминий, по нашим металлургическим заводам, на которых мы плавим наш чугун, чтобы потом, собравшись вокруг наших нефтяных скважин, мочиться в нашу нефть. Ах, господа из высшего совета, подумайте серьезно о нависшей угрозе! Представьте себе, как эти чудовищные орды кадровых работников, с головами, обмотанными бинтом Вельпо, опустошают НАШИ кофейные поля в Бразилии, НАШИ шахты в Чили, НАШИ плантации в Африке, уничтожают НАШУ рыбу в Китайском море, НАШИХ мальков в прудах Франции, НАШИХ овец в Австралии, НАШИХ свиней в Новой Зеландии! Особенно, повторяю вам, берегитесь, как бы они не стали мочиться в наши нефтяные скважины, разбросанные во всем мире там, где мы их пробурили благодаря лишь нашему гению и исключительному содействию господа бога!».

Тот, кто посмел бы вскочить на крышу катафалка и, поднеся к губам рупор, обратился бы с такими словами к служащим предприятия, столпившимся у входа в церковь Сен-Клу, был бы изгнан из общества, брошен в тюрьму и обуздан. Его голос был бы тотчас же заглушен тысячью других голосов, поющих воинственную песню, которая в те времена волновала души и наполняла ликованием сердца: «Производим, упаковываем, продаем, и да будет так!» Они сделали выбор. Они утратили воображение. Они видели мир лишь через зеркало заднего обзора своих автомобилей!

На кладбище Анри Сен-Раме произнес поразительную речь, которой я в ту пору не придал должного значения. Сегодня я горько сожалею об этом, но в тот день я был раздосадован высокомерием и алчностью экономических и финансовых империй того времени, чьи заблуждения и безумная спесь вели к уничтожению породивших их свободных обществ, к которым, однако, они себя причисляли; они якобы защищали и даже укрепляли их, а на деле похитили у них власть и толкали эти свободные общества к распаду. Миллионы юношей и девушек индустриальных стран, возмущенные преступлениями, совершаемыми международными финансовыми властителями, их наглой политикой, и не желая так дорого платить за свободу потребления, наивно обращали свои надежды к лжесоциализмам и к безжалостным диктатурам. В те времена демократии, казалось, находились при последнем издыхании. Так, одной из стран Латинской Америки, по имени Чили, был нанесен удар ножом в спину финансистами с Уолл-стрита и их сообщниками из роскошных кварталов Сантьяго. Государственные деятели Запада, не зная — из-за отсутствия воображения и твердости характера,— как избавиться от угрозы коммунизма и революций в собственных странах, дрожали при мысли, что их могут обвинить в апологии чилийского Народного фронта, если они осудят убийство. И потому они избрали предательство. Эти мои соображения объясняют, почему я не проявил в ту минуту должного интереса к двусмысленной речи одного из наиболее типичных руководителей того времени, произнесенной над свежей могилой перед толпой сотрудников и ответственных кадров, заполнявших кладбище Сен-Клу. Вот почти точное воспроизведение этого панегирика:

«Высокий кадр, покоящийся на дне этой могилы,— не обычный административный работник. Прежде всего — и я молю небо не усмотреть в этих словах никакой дерзости — Роже Арангрюд был

ответственным сотрудником фирмы «Россериз и Митчелл». В течение двух лет он блестяще справлялся с возложенными на него обязанностями по «маркетингу» машин, предназначенных для наших бельгийских, голландских и люксембургских друзей. Он выполнял свою миссию с таким успехом, что мы были готовы доверить ему невероятно тяжелый пост руководителя «маркетинга» всей нашей фирмы. Но однажды вечером на окружном бульваре бог призвал его к себе. Мы ни на минуту не усомнимся, что, несмотря на прекрасное будущее, которое открывалось перед ним в земной жизни, бог милостиво уготовил ему еще более высокое положение в своем царстве.

Итак, Роже Арангрюд жив для тех, кто верит. Но он жив и для многих, кто его любил и уважал. На его похороны собралась большая толпа, люди слушают и предаются размышлениям. Почему? Да потому, что сегодня утром мы хороним образцового представителя нашей свободной и индустриальной цивилизации. Роже Арангрюд допоздна засиживался по вечерам, беседуя со своей супругой, и они читали друг другу шедевры поэзии, ставшие достоянием всего человечества. Бывало даже, что в иные вечера супруги тратили свои чувства и интеллект на знакомство с произведениями неизвестных молодых поэтов, старались проникнуть в их поэтический мир. Где те кадры, которые в наши дни читают стихи? Роже Арангрюд возвращался домой не для того, чтобы молча поужинать, наспех поцеловать детей и быстро выудить из своей газеты несколько общедоступных политических и экономических идей; не для того, чтобы без толку сидеть перед телевизором, уставившись на экран тупым или насмешливым взглядом. Каждый год он поглощал десяток современных романов, три-четыре политические или экономические работы, на которые тщательно составлял аннотации; во время отпуска он перечитывал по крайней мере один крупный классический роман и, однако же, не был занят по шестнадцать часов в сутки! Последним романом, который он перечитывал, был «Война и мир». Где те кадры, которые читают, а тем более перечитывают эту весьма объемистую книгу? Какое им дело до того, как Толстой представлял себе Наполеона, вторгшегося на его родину? Почему Арангрюд перечитывал Толстого? И как это могло способствовать увеличению продажи машин? А Роже Арангрюд часто размышлял, посещал музеи, выставки. Когда его руководители слушали, как он красочно описывает машины для сбора помидоров, им было приятно сознавать, что в его голове неустанное движение коммерческого механизма как бы смазывалось вздохами Анны Карениной или шепотом Бориса и Наташи. Что касается меня, то я находил в этом невыразимое утешение. Наконец, Роже Арангрюд любил своего ближнего. К тому же у себя дома или в компании друзей он никогда не затрагивал вопросов, касающихся нашей фирмы. И самое высокое жалованье не могло бы купить его и заставить отречься от культуры, размышлений и любви,— одним словом, от своей индивидуальности. Этот человек, так глубоко связанный с обычаями своего века, так уверенно выполнявший свои профессиональные обязанности и находившийся в самом сердце наиболее мощной во всем мире транснациональной компании, умел при этом оставаться самим собой в нашу противоречивую эпоху. Вот почему я взял на себя смелость отступить от правил, принятых в подобного рода речах. И я склоняюсь в это утро перед его могилой и говорю ему: «прощай!».

Так говорил Анри Сен-Раме, генеральный директор фирмы «Россериз и Митчелл-Франс».

Вызвали ли его слова оживленные обсуждения, когда люди расходились с кладбища? Вовсе нет. Подавляющее большинство было

слишком далеко от могилы и ничего не слышало. Что же касается тех, кто внимательно следил за каждым словом, то они расходились молча, низко опустив голову и заложив руки за спину. И только американцы, неспособные понять больше десяти—пятнадцати слов по-французски, казалось, вздохнули с облегчением, убедившись, что Арангрюд покоится под могильной плитой, хорошо упрятанный в крепко заколоченном гробу. Однако и им было невесело, и дальновидный сотрудник легко мог догадаться, что отныне начнутся уже серьезные дела. В Де-Мойне, без всякого сомнения, были подробно информированы о волнении, царившем во французском филиале фирмы, и если Сен-Раме не удастся быстро восстановить спокойствие, то ему самому уже придется защищаться. Моя уверенность, что чья-то злая воля, а не случайное стечение обстоятельств вот уже три дня будоражит предприятие,— возрастала, но, с другой стороны, мысли мои еще больше перепутались. Один вопрос не давал мне покоя: неужели Арангрюд действительно был таким, каким его так выспренно описал Сен-Раме? Вдова мне ничего не говорила о Толстом. Если ответ на мой вопрос был положительный и Сен-Раме действительно узнал от мадам Арангрюд подробности личной жизни ее мужа, то было совсем не в духе генерального директора становиться на ходули и создавать романтическую картину. Почему Сен-Раме внезапно проявил такое пристрастие к культуре, размышлениям и любви? Если же ответ был отрицательный, зачем он нарисовал ложный портрет усопшего? Такие сотрудники, как Бриньон, Лё Рантек или я, хорошо знавшие внутреннюю политику нашей фирмы, просто растерялись. Значит, молчание сотрудников объяснялось их неспособностью решить, следует ли выражать восторг по поводу этой речи или не следует. Никто не хотел рисковать и высказывать свое мнение. Случай был из редчайших. Президенты и генеральные директора того времени могли, по примеру Нерона или Дракулы, позволить себе любую вольность перед своими, даже самыми умными, сотрудниками, не вызывая с их стороны никакого отпора, ибо сотрудникам было жизненно важно сохранить свои высокие оклады. Западные демократии имели, стало быть, своих деспотов, но вместо того, чтобы занимать королевские дворцы, они восседали на тронах в огромных роскошных кабинетах в своих зданиях из стекла и стали. Болезнь распространялась и на нижестоящих подчиненных, ибо каждый считал себя королем над кем-то другим. Эта удручающая психология руководства усиливала процесс деградации, разъедавшей изнутри свободные страны. Все говорило о том, что сдержанность, с которой основные руководящие сотрудники отнеслись к выступлению Сен-Раме, объяснялась их растерянностью. Мы с Бриньоном сели в автомобиль Лё Рантека, и во время поездки я лишний раз убедился, какое замешательство вызвала речь Сен-Раме. Хотя наши мысли были заняты его выступлением, мы не обменялись о нем ни словом.

Когда мы прибыли на улицу Оберкампф, я увидел подъехавший лимузин американцев. (Ему не удалось избежать уличных заторов.) Не желая сталкиваться с начальством, я поспешил скрыться в здании фирмы. Через четверть часа Адамс Мастерфайс вызвал меня в маленькую приемную. «Ну, начинаются неприятности»,— сказал я себе и отправился к нему.

XIV

Американец был не один. Какой-то чудовищно широкоплечий детина развалился на диванчике. Он панибратски махнул мне рукой, как

будто мы с ним вместе отбывали воинскую повинность, и сказал: «Хелло». Я в свою очередь кивнул ему. Затем Мастерфайс предложил мне сесть и заявил следующее:

— Я хочу представить вам Гарольда Кинга Востербилла, которого мы зовем Кинг Востер,— он наш постоянный частный детектив и вот уже более десяти лет успешно практикует у нас в Айове. Мы попросили его присоединиться к нам. Наш дорогой Анри, со своей стороны, обеспечит участие французского детектива, и именно ему будет официально поручено расследование. Мы, американцы, питаем большое доверие к французскому частному сыску. Присутствие Кинга не следует понимать как отказ от этого доверия, но события показались нам такими непонятными, что будет совсем не лишним соединить наши силы и наши знания. И потом надо же, чтобы Кинг оправдывал свое жалованье! — Эта шутка вызвала у них довольно грубый и шумный взрыв веселья.— В этом деле,— продолжал Мастерфайс,— я назначил вас главным действующим лицом по трем причинам: прежде всего, из-за вашего служебного положения; затем, вы превосходно говорите на нашем языке, а это необходимое условие, так как мы, американцы, решили прошлой ночью в Де-Мойне взять на себя надзор за расследованием, чтобы облегчить работу нашим французским друзьям Рустэву и Сен-Раме; и наконец, я имел возможность оценить вас во время наших непосредственных контактов — вы производите впечатление сдержанного, скромного, но в то же время мужественного и волевого человека. Надо ли добавлять, что я уверен в вашей невиновности — возможно даже, в конце концов, вы окажетесь здесь единственным человеком, стоящим вне всяких подозрений. В самом деле, мы с вами провели вместе ту решающую ночь сначала в отеле, потом гуляя по кладбищу и, наконец, на бдении у гроба. Итак, только вы, Сен-Раме и Рустэв — а я со своей стороны, вопреки мнению Ронсона, добавил бы сюда и Рюмена — находитесь вне подозрений. Видите ли, Рюмен — член Французской коммунистической партии, и распространение таких дурацких текстов не похоже на те методы, какими они пользуются. Всех же остальных мы обязаны взять под подозрение. К тому же Сен-Раме полностью согласен с нами. Наши мнения расходятся только по вопросам тактики. У нас, в Соединенных Штатах, мы привыкли шагать прямо к цели и не придавать значения тому, «что скажут об этом другие». Возникает проблема, она существует, ее надо решить, и только это имеет значение. Здесь же, во Франции, вы более осторожны и стараетесь приглушить, ограничить инцидент. Если бы это зависело только от нас, мы просто-напросто предупредили бы персонал, что проведем расследование с целью разоблачить того, кто мешает нам работать, производить, продавать, получать прибыли, а следовательно, платить жалованье нашим сотрудникам и выдавать им щедрые премии летом и в конце года. Анри предпочитает не оглашать инцидента и действовать более скрытно. Французский детектив будет якобы представителем одной бельгийской фирмы, желающей слиться с нашей, что обеспечит ему полную возможность находиться в нашем здании, расхаживать, где ему вздумается, посещать служебные помещения. Кинг сойдет за одного из моих помощников из Де-Мойна. Мы с Анри договорились, что максимальный срок расследования — одна неделя. Если к концу этого срока мы не разоблачим самозванца, то воспользуемся моим методом. Я пригласил вас сюда, чтобы представить вам Кинга Востера и посвятить вас в нашу тайну. Кроме Ронсона, Сен-Раме, Рустэва, Кинга Востера французского детектива и меня самого, вы — единственный ответственный работник нашей фирмы, кто знает секрет. Что вы обо всем этом думаете?

Как было бы разумнее всего ответить вице-президенту? Конечно, у меня не было недостатка в разных соображениях. Мысли теснились у меня в голове, но были запутанны, несколько туманны, противоречивы. На мой взгляд, самым главным в этом длинном наставлении было вот что: американцы окончательно взяли дело в свои руки. Неуклюжие ссылки на согласие Анри Сен-Раме принять их условия красноречиво говорили об этом. Мастерфайс и Ронсон, вероятно, еще накануне связались с Де-Мойном, иначе Кинг Востер не смог бы примчаться так скоро, несмотря на быстроту средств сообщения. С самого начала этой истории я заметил, что между французским генеральным директором и его американскими начальниками возникли разногласия. Фактически американцы только что лишили Сен-Раме его полномочий, что также говорило о том, как серьезно отнесся мозговой центр в Де-Мойне к беспорядкам, происходившим в их французском филиале. Я мог также допустить, что американцы получили какие-то неизвестные мне сведения, которые побудили их поскорее взять дело в свои руки. Какие претензии имели они к Анри Сен-Раме, чтобы так явно унизить его? Играл ли Рустэ в какую-нибудь роль в этом тайном замысле? Заручился ли он в Де-Мойне новой, еще неизвестной поддержкой? Тут было над чем поломать себе голову. Однако здесь было не место для подобных размышлений, и я ответил:

— Мосье, я думаю, что самое главное для меня — лишить провокаторов возможности вредить, и какой бы метод вы ни избрали, я нахожусь на своем посту, чтобы следовать ему. Однако я хочу задать вопрос: должен ли я участвовать в расследовании? Например, могу ли я допросить наших сотрудников обо всем, что произошло в последние дни?

— Вы правильно ставите вопрос,— сказал Мастерфайс,— я не знаю, что думает об этом Кинг, но, по-моему, вы имеете право, сохраняя строгую тайну, опросить ваших коллег — ответственных сотрудников. Вы могли бы собрать ценные сведения, не вызывая подозрений у персонала.

Американский детектив кивнул головой.

— Могу ли я, разговаривая с ответственными сотрудниками, сослаться на руководство и, в частности, на вас?

— Безусловно,— сказал Мастерфайс,— безусловно, вы будете говорить от моего имени.

В эту минуту дверь приемной отворилась и на пороге появился Ронсон, лицо у него было серое, напряженное. Он не удивился, увидев меня, и, к моему изумлению, пожал мне руку. Затем объявил:

— Только что в больнице скончалась дочь Сен-Раме.

Мне стало страшно. Все это было неестественно. И в первый раз мне пришла в голову мысль, что все мы не сходя с места можем умереть. Как бы в подтверждение моей мысли резко прозвучало дурацкое замечание Гарольда Кинга Востербилла.

— Будем надеяться,— с вульгарной хрипотцой сказал он,— что мы не обнаружим ночью ее гроб в большом мраморном зале.

Сейчас я уже плохо помню, но мне кажется, что даже Мастерфайс и Ронсон не очень высоко оценили его остроту. Я откланялся и ушел грустный и обескураженный. Через четверть часа я был вновь приглашен в приемную. На этот раз на меня молча уставились шесть человек. Не зная, как поступить, я остался стоять. Я решил, что сейчас самое уместное — выразить соболезнование Анри Сен-Раме, но, угадав мое намерение, он тихо поднял руку и сказал:

— Нет, благодарение небу, моя дочь не умерла. Она даже поправилась и со вчерашнего дня находится в деревне.

Я сел на пуф. Ронсон глухим голосом кратко изложил мне суть дела:

— Около получаса назад голос Анри сообщил мне по телефону, что он отменяет свидание, которое мы назначили, чтобы отправиться в больницу: его дочь-де умерла. Это оказалось неправдой. Вот почему мы вызвали вас. Вы уже кому-нибудь сказали?

— Моей секретарше,— в ужасе прошептал я.

— А... как вы можете это исправить?— спросил Мастерфайс.

— Пойду и поскорее скажу, что это ошибка.

Я уже собирался встать, но Ронсон остановил меня:

— Позвоните отсюда, вы выиграете время.

Я подбежал к телефону, находившемуся у окна, и позвонил секретарше:

— Мадемуазель? Это я... да... послушайте, я неверно понял то, о чем мне сообщили: мадемуазель Сен-Раме жива и хорошо себя чувствует. Да... Вы кому-нибудь говорили? А, очень хорошо... тем лучше... я ошибся, извините, до скорого...

И я положил трубку. Мне было не по себе, и я разозлился. Прежде всего я не совершил никакой ошибки. Было вполне естественно, что я сообщил своей секретарше о смерти Бетти Сен-Раме. Более того, это входило в мои обязанности. Мастерфайс, как видно, понял мое состояние и дружески помахал мне рукой. На какую-то долю секунды он стал мне даже симпатичен. Ронсон сказал:

— Извините нас, вы ни в чем не виноваты, но было совершенно необходимо сразу положить конец распространению этой ложной вести.

— Это как бы продолжение нашей беседы,— добавил почти дружелюбно Мастерфайс,— я уже говорил вам: кто-то на нашей же фирме смеется над нами. На этот раз провокатор сделал смелый ход. Он позвонил по внутреннему телефону, и не кому-нибудь, а Берни Ронсону! Кончится тем, что он выдаст себя. Кто здесь, в нашей фирме, способен так ловко подражать вашему голосу, Анри?

— Все, кто меня окружает и как-то соприкасается со мной.

Французский детектив, перехватив мой взгляд, улыбнулся мне и сказал:

— Нас не познакомили: Редан, частный детектив.

— Очень приятно,— сказал я и представился в свою очередь.

— А вы пробовали подражать вашему генеральному директору? — смеясь спросил он меня и, видя, что я нахмурился, пояснил: — Знаете, мы не добьемся никакого результата, если не ослабим напряжения и не попытаемся влезть в шкуру самозванца.

Тогда, изменив голос, я заговорил как Анри Сен-Раме.

— Браво,— воскликнул детектив,— браво! Теперь повторите снова.

Я повиновался. На этот раз меня поздравили даже американцы. С их разрешения я покинул комнату под одобрительные возгласы детективов и руководителей штаба.

Лё Рантек был моей первой жертвой. Я немедленно пригласил его к себе таким безапелляционным тоном, что он через несколько минут примчался в мой кабинет скорее ошарашенный, чем возмущенный.

— А,— сказал я ему,— дорогой Лё Рантек, сейчас я должен со всей серьезностью взять все в свои руки: дела у нас плохи! Извините, что я так неожиданно вас вызвал, но время не ждет: попробуйте воспроизвести голос нашего генерального директора. Ну же, дорогой Лё Рантек, не возражайте, подчинитесь жесткой коллегиальной дис-

циплине, она одна поможет откачать отравленные воды, затопившие трюм нашего флагманского корабля. Нет, я прошу вас, не возмущайтесь, не думайте, что я сумасшедший, наоборот, я уполномочен нашими горячо любимыми руководителями говорить с вами в такой манере. Прошу вас, попытайтесь подражать голосу Анри Сен-Раме, даю вам две попытки. Что? Это не мое дело? Не оскорбляйте меня, дорогой мой, разве я не заместитель директора по «человеческим отношениям»? Успокойтесь, Лё Рантек, друг мой и коллега, я работаю для вас, я — в погоне за вашим конкурентом, за обличителем, который своими поучительными лекциями по экономике может вскоре вытеснить вас! Но я предпочитаю вас, дорогой, я предпочитаю вас, Лё Рантек, человека левых взглядов и бретонца, этому примитивному самоучке-экономисту, так внезапно и неизвестно откуда появившемуся у нас там внизу, в глубине сырых подземелий, недалеко от знаменитых костей и скелетов Восточного кладбища. И что за идея построить так близко от мертвецов сверкающее здание для бесстрашных зачинателей наших современных крестовых походов, наших заманчивых таможенных авантюр? Возможно, здесь земля была дешевая? Вы должны знать, Лё Рантек, сколько стоил во время постройки квадратный метр земли на углу авеню Республики и улицы Оберкампф! Постарайтесь вспомнить, дорогой, назовите мне цену в долларах и скажите это голосом Сен-Раме. Таким образом, мы одним выстрелом убьем двух зайцев: узнаем цену и я посмотрю, попадете ли вы под подозрение.

— Я немедленно пожалуюсь Сен-Раме,— отрезал выведенный из себя Лё Рантек и вышел, хлопнув дверью.

Однако он вскоре вернулся в сопровождении американцев, Сен-Раме и Рустэва, которые своим видом ясно давали понять как Лё Рантеку, так и мне, что время шуток кончилось.

— Начинайте,—настаивал Мастерфайс,—не будьте формалистом, dear[1] Лё Рантек,— возможно, наш друг по «человеческим отношениям» неумело обошелся с вами, но он прав, на него возложена ответственность, он должен провести расследование и разоблачить самозванца. Я сам подражал, впрочем, я и сейчас повторю еще раз, чтобы вас это не смущало и вы освободились от всякого нелепого чувства, вот послушайте: «Алло, мистер Лё Рантек? Это я, Сен-Раме, ваш генеральный директор...» Видите? Я преуспел, и совсем неплохо, и мог бы быть виновным, ха, ха, ха, Лё Рантек! Если бы Адамс Дж. Мастерфайс оказался виновным, это была бы грандиозная история! Ну же, смелей, будьте самоотверженны, соглашайтесь на этот опыт, но потом никому не рассказывайте; мы вас знаем, dear Лё Рантек, мы, американцы, в Де-Мойне отметили вас, оценили и понимаем, что вы один из немногих французских сотрудников, способных сказать, сколько стоил доллар в тысяча девятьсот двадцать третьем году; ну же, валяйте, мы скоро пошлем вас на стажировку для повышения квалификации в Массачусетс! Если, конечно, вы не виновны, ха, ха, ха! И помните: если кто-то намеренно станет плохо подражать, это сразу же будет замечено, правда, Берни?

— Конечно,— буркнул Ронсон.

В этот момент вошел Кинг Востер. Лё Рантек, и так уже утративший дар речи от тона и выражений, употребленных мною, а через пять минут и Мастерфайсом, при появлении детектива из Кентукки чуть не упал в обморок. Менее подготовленный, чем я, к тому, что его может ждать нервное потрясение на предприятии, он, наверное, испугался, что его начнут пытать у меня в кабинете, чтобы заставить

[1] Дорогой *(англ.)*.

признаться. Бог знает почему, но одного упоминания о Кентукки оказалось достаточно, чтобы Лё Рантек пришел в экстаз и простонал:

— Ах, Кентукки, Соединенные Штаты... заатлантические университеты, в будущем году я пошлю туда своего сына.

Но это преклонение не спасло его, ибо он тут же услышал голос Мастерфайса, потребовавшего, чтобы он в присутствии Кинга Востера попытался подражать Сен-Раме.

— Начинайте, Лё Рантек, одним махом, какого черта, не бойтесь этого человека, это один из моих старых сослуживцев — Гарольд Кинг Востербилл, он состоит при мне, изучает статистические данные. Он родился в той же деревне, что и Ронсон, не так ли, Берни?

Ошеломленный Лё Рантек повиновался. Он стал подражать голосу Сен-Раме.

— Совсем неплохо, мой дорогой, совсем неплохо, а ну-ка еще разок!

Вторая попытка была признана превосходной.

— Конечно, не так хорошо, как ваш заместитель директора по «человеческим отношениям», но совсем неплохо,— заявил Мастерфайс.

Тут Лё Рантек понял, что до него я тоже был подвергнут такому же испытанию.

— Значит, вы тоже занимались такой имитацией? — прошептал он.

— Ну да, дорогой, теперь вы убедились, что я не сошел с ума — во всяком случае, не больше, чем эти господа. Понимаете, обличитель подражает голосу нашего генерального директора, чтобы совершать злодеяния.

— Обличитель?

— Да, человек, который подрывает предприятие, тайно организует бдения у гроба, распространяет ложные слухи, выдумывает, излагает, печатает и распространяет эти проклятые свитки,— он и есть обличитель.

Внезапно мной овладело желание использовать создавшееся положение в собственных интересах, подчеркнуть мою привязанность к предприятию, верность системе, преданность делу нашей цивилизации. Человеку, ответственному за «человеческие отношения» на нашем предприятии, никогда еще не представлялось такого удачного случая блеснуть. У нас можно было совершить подвиг только в трех областях: производстве, упаковке и продаже товаров. Не избалованный похвалами, я вдруг ощутил неудержимое желание наверстать упущенное. И тогда я сказал, как будто обращаясь к Лё Рантеку, но на самом деле имея в виду генеральный штаб, собравшийся в полном составе в моем кабинете:

— Понимаете, Лё Рантек, наши начальники считают нас, административных работников, необходимой движущей силой фирмы и питают к нам полное доверие. Вот почему мы должны сплотиться, перенести эти испытания и заставить себя подчиниться необходимости подражать голосу Сен-Раме. Я вас не подозреваю, президент Мастерфайс, господа Ронсон, Сен-Раме и Рустэв тоже не подозревают, но наш долг — начать расследование с нас самих. Ибо наша фирма нуждается не просто в ловких продавцах и находчивых инженерах, но ей нужны люди с твердым характером и с воображением. Нашей фирме угрожает смертельная опасность. Возможно, речь идет просто о шутке, о глупой проделке, но, пока мы не установим, зло это или шутка, мы не имеем права ни плакать, ни смеяться. Разумеется, не очень приятно на таком предприятии, как наше, да еще занимая высокий пост, публично подражать голосу своего генерального директора. Но теперь,

когда минутное замешательство прошло, разве забота о нашей судьбе, о нашем существовании не требует использовать все имеющиеся у нас средства для изгнания злого духа? Слушайте, Лё Рантек, среди тысячи ста служащих нашей фирмы есть один сумасшедший. Вот в чем дело. И этот сумасшедший очень хитер. Вот в чем трудность. Пробил час, когда мы должны сплотиться и поддержать наших руководителей в зто смутное время. Позвольте мне со всей откровенностью заявить вам: я считаю особой честью для могущественной и славной компании «Россериз и Митчелл», что именно против нее впервые выступил новый неведомый злоумышленник, который исподтишка обходит препятствия, воздвигнутые современной психосоциологией вокруг компаний, чтобы обуздать революционные или подрывные выступления. Это значит: по месту и почет. Здесь среди нас находится Адамс Дж. Мастерфайс собственной персоной; наш могущественный сюзерен покинул свой кабинет в Де-Мойне, чтобы мужественно броситься в гущу схватки и вести нас в бой. Тут и Анри Сен-Раме, его молодой доблестный вассал. А мы, Лё Рантек, мы — их рыцари. Наденем же вновь кольчуги, опустим забрала, пристегнем латы и бросимся на чудовищного зверя, который пытается пронзить утробу нашей распухшей от изобилия и щедрости богини — «Россериз и Митчелл», самой мощной во всем мире компании по производству и продаже машин, чей годовой бюджет превышает государственный бюджет большинства стран нашей смиренной планеты, исполосованной шрамами, которые нечистая сила пытается вновь разбередить, чтобы они кровоточили вечно. Итак, представьте себе, Лё Рантек, что сатана поселился у нас внизу, в подвалах предприятия! Представьте себе, Лё Рантек, что сатана составил против нас заговор, обозленный тем, что благодаря нашим машинам наша Земля избавляется от зарослей кустарника, от джунглей, чтобы дать место сое и полевой горчице! Вот, Лё Рантек, месть сатаны, который понимает, что человек заплатил свой долг и после того как, обливаясь потом и кровью, искупил свою вину, наконец, обрел счастье. И тогда сатана выходит из своего огнедышащего логова и набрасывается на тех, от кого зависит процветание и счастье человечества. И среди них кого он видит, Лё Рантек, кого видит он? Он видит где-то во Франции здание из стекла и стали, возвышающееся на углу авеню Республики и улицы Оберкампф, недалеко от Восточного кладбища. Он читает сверкающую огненную надпись, которая видна всему Парижу: «Россериз и Митчелл». Лицемерный и жестокий, он проникает под землю, где грешные души на кладбище указывают ему путь,— и бог знает, Лё Рантек, сколько их там томится; а потом он прокрадывается в подвалы нашей фирмы. Однажды вечером, говорю я вам, мы еще увидим, как он шевелит кончиком своего зеленоватого, облезлого хвоста, выставив его из-за колонны в большом мраморном зале. Конечно, Лё Рантек, я говорил с вами не так, как положено говорить ответственному сотруднику, заботящемуся о росте коммерческой прибыли, но я сказал вам те слова, которые в настоящих условиях кажутся мне достойными заместителя директора по «человеческим отношениям».

Вот тут-то я и был назначен директором. Само собой разумеется, я говорил по-американски. Умы были так взвинчены всеми превратностями судьбы, грозящими фирме, что моя речь, за которую в обычное время меня просто отправили бы в сумасшедший дом, не только польстила начальникам, но и возбудила их. Я заметил, что американский сыщик смотрит на меня уже по-иному, и пожалел, что тут не было французского детектива. Адамс Дж. Мастерфайс встал и сказал:

— Великолепно! Я вновь открыл вас сегодня! Теперь я убедился, что вы ни в чем не уступаете директору по «человеческим отноше-

ниям» из Сан-Франциско! Анри, Берни, Андре, назначим его директором! Какого черта, почему он все еще ходит в заместителях! Назначим его директором! Назначим! — вскричал он, все больше распаляясь.

— Да, да, назначим! — подхватили хором остальные.

После обычных поздравлений они вышли из комнаты очень довольные. Лё Рантек неподвижно сидел на месте. Он побледнел и не мог прийти в себя после столь бурного развития событий; казалось, он спрашивал себя, в самом ли деле произошло то, что он только что пережил. Наконец, он поднялся, вытер лицо носовым платком и протянул мне руку.

— Я тоже поздравляю вас,— сказал он упавшим голосом,— но мне надо подумать, я пойду к себе.

Он ушел. Я, в свою очередь, вытер лоб, затем открыл окно. Свежий ветерок ласкал мне лицо. Вдали, за зданиями, я увидел детей, игравших на школьном дворе. Я закурил сигарету. Странная тишина окутала наше предприятие, обычно такое шумное. Внизу на улице движение показалось мне неестественно замедленным. Меня охватила усталость. И вдруг я осознал, что произошло важное событие. Я думал не о моем неожиданном повышении, но о том языке, на котором говорил в течение почти часа. Как странно! Уж не были ли мы пьяны?

Я высунулся в окно. Справа от меня раскинулось кладбище Пер-Лашез. Не притаилась ли там змея с длинным зеленоватым хвостом? Уж не смеется ли в эту минуту злой дух во мраке подземелья под зданием, убедившись, что болезнь поразила даже наш язык? А через неделю, со страхом думал я, того и гляди, сотрудники фирмы «Россериз и Митчелл» будут не говорить, а распевать?

Сегодня вечером, когда я пишу эти строки, мне совсем не хочется спать, хотя меня очень утомила моя литературная работа. Слишком свежо еще воспоминание об этих минутах, и страшные видения встают передо мной. Этой ночью меня будут преследовать кошмары, и я, наверно, буду вскакивать, разбуженный клокотанием отвратительных водоворотов, леденящим холодом грохочущих водопадов — предвестниками надвигающейся истерии.

Итак, это было в то время, когда богатые страны, ощетинившиеся заводскими трубами и набитые магазинами, открыли, наконец, новый закон и создали проект, достойный тяжких усилий, выпавших на долю человека в течение тысячелетий: превратить весь мир в единое громадное предприятие.

XV

На следующий день все тысяча сто человек, работавших в компании «Россериз и Митчелл-Франс», получили у себя дома по свитку, перевязанному зеленой с черным лентой. Это было второе обличение; полный текст его я привожу ниже, а потом уже расскажу о комментариях и волнениях, которые оно вызвало. Оформление первой страницы и шрифт были такими же, как и в первом послании.

ЧТО ЗНАЮТ ТЕ, КТО УПРАВЛЯЕТ ФИРМОЙ «РОССЕРИЗ И МИТЧЕЛЛ»?

Те, кто управляет фирмой «Россериз и Митчелл», знают больше, чем можно подумать. И если некоторые сотрудники недооценивают знания своих начальников, то лишь благодаря чрезвычайной скромности последних. В самом деле, те, кто сегодня охватывает широкие мировые горизонты, претворяет в жизнь космические проекты, те,

кого — в силу их образованности, глубоких знаний и упорства — уже не пугают тайны вселенной, те, в чьих глазах Плутон — это сгусток энергии, а не загадочная точка на небе,— все они, вопреки тому, что можно было бы ожидать, люди скромные, живут просто и не выставляют своей учености напоказ. В результате граждане и гражданки, встречаясь с ними на улице или в коридорах предприятия, их не узнают или, обманутые их приветливостью, простотой, естественностью и скромностью одежды, составляют себе о них неправильное представление и говорят: «В сущности, разве эти люди, наши начальники, знают больше нас?» Но среди слов, понятий, формул, которые оживляют повседневную жизнь этих граждан и в конце концов становятся для них привычными, есть много терминов, обозначающих очень сложные понятия, и рядовой человек имеет о них лишь смутное представление. К ним относятся, например, слова: капитал, капиталовложение, амортизация, концентрация, прибыль, валюта, бюджетный тупик. Мы видели, что капитал может находиться в обращении в зависимости от того, основной он или оборотный. Но большинство подчиненных довольствуются этими понятиями, а руководители смело их расширяют. Как создать капитал? Как быть в случае его истощения и что делать для его восстановления? Вот вопросы, на которые особенно трудно ответить. Но те, кто руководит, на них уже ответили. Возьмем, например, сталь: это — сырье, которое находится в обороте, потому что хотя предприниматель покупает сталь, чтобы произвести автомобиль, сталь, содержащаяся в автомобиле, выходит с завода вместе с ним и движется по живописным дорогам нашей страны. Но чтобы купить сталь, предприниматель должен затратить деньги. Так вот, деньги, которые необходимы для приобретения сырья, называются денежным капиталом. Верно. Но кто даст предприятию этот денежный капитал? Так вот, его дают граждане и гражданки. Ибо они не тратят всех денег, которые получают в обмен на свой труд. Кое-что они откладывают. Часть своих сбережений они помещают в банки и различные финансовые учреждения; другую часть тратят, приобретая акции и облигации. Ах уж эти акции и облигации! Массы, не искушенные и совершенно невежественные в вопросах финансовой науки, никогда не могли понять, в чем основная разница между акцией и облигацией. Они не догадываются, что тот, кто владеет акцией, становится участником предприятия, тогда как владелец облигации — лишь его кредитор. Акционер — это тот же компаньон, он приглашен активно участвовать в деле и, следовательно, ничем не отличается от тех, кто владеет или управляет предприятием. Владеть акцией — значит стать активным членом компании, к которой ты присоединился. И потому вполне естественно, что акционер должен делить удачи и неудачи компании. И в самом деле, иногда стоимость акции возрастает, иногда падает. Облигация же более сурова, более цинична, чем акция. Человек дает взаймы предприятию, которое обязано выплачивать ему ежегодно проценты независимо от того, как шли дела за этот период; а по истечении срока обязательства предприятие возвращает деньги кредитору. Те, кто руководит судьбами фирмы «Россериз и Митчелл», не довольствуются усвоением этих истин, они вникают во все тонкости и с помощью математики направляют по своему усмотрению безликую силу денег. Те, кто управляет фирмой «Россериз и Митчелл», всемерно стараются выгодно помещать капиталы для нашего наибольшего блага. Они расширяют сферы капиталовложения, модернизируют их, строят новые заводы, увеличивают резервы. Вот это и есть самое важное — уметь предвидеть. Равным образом необходимо предвидеть износ оборудования и зданий. Следовательно, надо создавать резервы, предназна-

ченные для восстановления основного капитала. Откуда взять эти резервы? Те, кто управляет, изучили этот вопрос и нашли решение. Они включают деньги на износ оборудования в продажную цену товаров. Видите, как иногда для наиболее трудных проблем находятся наиболее простые решения. Так, они подсчитали, например, что машина может произвести двести тысяч изделий, после чего она износится или устареет. Если эта машина стоила четыреста тысяч франков, то делят четыреста тысяч на двести тысяч, что составляет 2 франка, и в цену каждого изделия включают эти два франка. Эта гениальная операция называется амортизацией. Капиталовложение и амортизация — две основы, на которые опираются те, от кого зависит наше существование. Вот почему они уделяют этому особое внимание. Каждый год наш дорогой Анри Сен-Раме в тиши своего кабинета берет ручку и считает. Он вычитает общую сумму амортизации из общей суммы капиталовложений. И таким образом, представьте себе, он получает капиталовложения в чистом виде — безошибочный барометр здоровья и процветания фирмы. Этот краткий и сознательно упрощенный обзор механики образования и использования капитала, так же как и погружение в бездну биржевых и финансовых расчетов, бесспорно, страдает неполнотой ввиду необъятности этой проблемы. Здесь мы даем самое сжатое описание явлений, управляющих нашим миром, и тех многотрудных задач, которые стоят перед нашими руководителями и требуют от них выдающихся умственных способностей. Пусть же моя скромная попытка обрисовать их тяжкий труд будет правильно понята. Я бы хотел, чтобы граждане и гражданки, сотрудники и сотрудницы, не впадая в неуместный восторг, проявляли впредь немного больше понимания заслуг и тяжкой ответственности тех, кто ими руководит, и если случайно встретятся с ними на улице или в коридоре, сумели бы как-то отблагодарить их скромной улыбкой или доброжелательно подмигнуть им в знак преданности и признательности. А вскоре ваше восхищение ими перейдет все границы, когда я коротко изложу вам, какие мягкие и доброжелательные системы внутренней организации предприятий осуществляются нашими добрыми хозяевами — staff and line [1] для целевого управления. И тогда, без сомнения, у многих от волнения захватит дух и сожмется сердце, и, как знать, быть может, граждане и гражданки даже смахнут тайком пару крупных соленых слез.

А пока помолимся богу, чтобы наше общество выиграло экономическую войну во имя великого счастья всего человечества, и попросим его сохранить в добром здравии руководителей, которые неустанно следят за нашим ростом и расширением. Слегка приоткрыв то, что они знают и какое несут бремя, я стремился лишь вызвать к ним еще большее уважение.

Итак, в то утро к началу рабочего дня жители квартала — площадь Бастилии, площадь Нации, авеню Республики и кладбище Пер-Лашез — с любопытством наблюдали за тем, как целые когорты людей спешили к дверям фирмы «Россериз и Митчелл-Франс», держа в руках свитки, перевязанные зеленой с черным лентой. И хотя я ждал, что рано или поздно получу второй выпуск этого окаянного пергамента, сердце мое сильно забилось, когда я узнал его среди писем и реклам, наполнявших мой почтовый ящик. Я взял его не сразу, но все же не мог долго сдерживать любопытство, развернул его и прочел. Ничего нового из этого текста я не узнал. Он был написан все так же упрощенно, наивно и, по-моему, даже иронично. Я сунул его в карман и сел в автобус. По пути у меня неоднократно возникало

[1] Руководящими и рядовыми *(англ.)*.

желание перечитать свиток, но я не решался выставить его напоказ. Однако полагаю, что никто не хлопнул бы меня по плечу и не воскликнул: «По этому свитку я узнал, что вы работаете в гигантской американской и транснациональной компании «Россериз и Митчелл»! Так о чем же в нем говорится на этот раз? Может быть, о евродолларе? Ваши руководители разбираются и в этом вопросе? Вам повезло: вы можете изучать на этой фирме экономику и финансы весьма оригинальным способом. Все фирмы должны были бы завести у себя, а потом холить и лелеять этакого таинственного корреспондента! Я слышал, что американцы испытывают новую технику информации, которая улучшит и усовершенствует целевое управление, позволит передать власть децентрализованным производственным единицам и центрам дохода,— словом, речь идет о коммуникации по восходящей и нисходящей. Кажется, один специалист из Аризоны — Роберт Алан Дормет — доказал, что движение информации внутри больших современных предприятий должно быть организовано по принципу морских приливов и отливов. Если сравнить центральный и транснациональный американский главный штаб с Солнцем, а французских, голландских, немецких, британских, итальянских, датских, ирландских и прочих руководителей — с Луной, то движение информации можно было бы регулировать по законам морских приливов и отливов. Каждое предприятие омывалось бы своего рода океаном совершенно одинаковой информации, которая сама по себе имела бы мало интереса и значения. Она приобретала бы значение лишь в той мере, в какой это считали бы нужным американский штаб и его европейские сателлиты. Итак, ежедневно одно или несколько сообщений, отобранных руководителями, до которых эти сообщения поднялись на гребнях волн, опускались бы к сотрудникам, омывали бы кончики их ног, а затем снова поднимались бы к светилам и планетам. Периоды кризисов, следовательно, зависели бы от частоты этих приливов и отливов. Переизбыток волн информации затопил бы персонал, не успевший выбраться на высокий берег, и вызвал бы у него раздражение. Переизбыток желаний, переизбыток просьб, хлынув к штабам, действовал бы им на нервы и ожесточал их. Почтенный Роберт Алан Дормет объясняет эти кризисы высоким приливом волны «staff» против «line» — в этом и состоит его вклад в улучшение существующих методов организации работы. Вы работаете у «Россериз и Митчелл», мосье, скажите, вы слышали что-нибудь об этой теории? Не возражайте, мосье, я узнал этот знаменитый свиток, обвязанный зеленой с черным лентой, вы явно сотрудник этой богатой полнокровной компании по продаже машин! Не стесняйтесь, будьте любезны, покажите мне свиток!»

Выйдя из автобуса, я еще раз убедился в губительном влиянии этой подпольной махинации. Множество вопросов теснилось у меня в голове, но едва я успел выйти на улицу Фоли-Мерикур, как тут же получил ответ на один из них: сотни служащих нашей фирмы направлялись к улице Оберкампф, оживленно болтая и размахивая свитками. Это означало, что все они, как и я, нашли их утром в своих почтовых ящиках. Не желая выделяться из толпы, я сразу же вытащил свой свиток из кармана. Здесь, на улице Оберкампф и в близлежащих кварталах,— в противоположность автобусу — было просто неприлично появиться без этой гадости в руках. На ходу я рассмотрел свиток повнимательней и заметил, что на нем нет почтового штемпеля. Значит, обличитель и его сообщники сами разнесли свитки по домам. Но если у них нет целого отряда помощников, то это смахивало на чудо! Служащие фирмы «Россериз и Митчелл» жили во всех уголках Парижа, а некоторые даже в далеких пригородах. Мне предстояло с утра начать проверку, все ли тысяча сто человек, работающих на

фирме, получили свитки. А это надолго задержит опрос руководящих кадров! Но с другой стороны, подумал я, так будет даже лучше, это облегчит мою задачу: новое выступление обличителя позволит вести расследование по горячим следам. К тому же это распространение свитков по домам имело и свою положительную сторону: оно доказывало, что приказ усилить ночную охрану оказался эффективным, он закрыл доступ провокатору и ему пришлось предпринять крупную ночную операцию, а следовательно, привлечь новых людей к своей работе. Мне подумалось, что обещанное хорошее вознаграждение позволит нам установить связь с кем-нибудь из участников ночной экспедиции. Наконец, изменение метода действий придавало его автору более человеческий облик и характер. Теперь мы имели дело не с какой-то сверхъестественной силой. Дьявол или привидения обманули бы наш ночной дозор. Могуществу обличителя был поставлен заслон в виде бригады ночных сторожей из плоти и крови, оно было низведено до разумных размеров. Но, невзирая на эти положительные и успокоительные рассуждения, следовало помнить о самом предприятии, а оно пребывало в состоянии крайнего возбуждения, если судить по толчее и сумятице у дверей большого мраморного зала. Прошло уже четверть часа после начала рабочего дня, а служащие все еще толпились у входа. Сначала я удивился, увидев, что все они принесли с собой свитки, но тут же вспомнил, что они уже получили один свиток и теперь, обнаружив в своих почтовых ящиках второй, должно быть, решили, что это остроумная шутка. Я протиснулся в толпу и попытался пробить себе дорогу к массивным дверям. Некоторые служащие, узнав меня, без церемоний здоровались, они вели себя непринужденно, смеялись, радовались, и это обеспокоило меня.

Наконец мне удалось пробраться в большой мраморный зал. Там я увидел Рюмена, Сен-Раме, Рустэва и большинство ответственных сотрудников. Мне стало не по себе, когда я заметил, что персонал пренебрегает обычными знаками уважения. Сам я мало придавал значения этим условностям, но был шокирован тем, что они исчезли. От какого гнета эти люди почувствовали себя освобожденными лишь потому, что каждый из них получил сегодня утром по свитку? Может быть, они решили, что грандиозная шутка всколыхнула все предприятие или что руководители, восхищенные ростом прибылей, устроили для них экстравагантное развлечение и сами составили текст этих свитков, напечатали и распространили их за счет фирмы? Атмосфера была вполне добродушная. Я прошептал Сен-Раме:

— Мосье, что надо делать?

— Я думаю, мне надо выступить, а вы как думаете, Рюмен?

— Мосье,— сказал Рюмен,— не мое дело заставлять персонал вернуться на работу по той простой причине, что не я заставил их всех покинуть свои рабочие места. Я сам спрашиваю себя, что здесь происходит. Я связался с профсоюзным центром, и он не одобряет этот спектакль; пожалуй, еще будут говорить, что весь переполох — дело наших рук. Это провокация; профсоюзы не устраивают бульварных представлений, когда отстаивают свои права. Вы должны выступить, я буду молчать, но стану рядом с вами.

— Откуда мне говорить?

— Может быть, из моего кабинета, мосье,— сказал я,— окно в нем расположено на идеальной высоте: не слишком низко, не слишком высоко.

— Мое расположено не хуже вашего,— возразил Бриньон, который стоял рядом навострив уши.

Я бросил на него презрительный взгляд. Предприятие столкнулось с трудностями, а он думает только о себе и о своем повышении.

Я решил про себя, что заставлю его подражать голосу Сен-Раме больше трех раз.

— Вы думаете, все будет слышно? — спросил генеральный директор.

— Я могу одолжить вам свой рупор,— предложил Рюмен,— если вас это не будет смущать. Обычно он служит для передачи лозунгов.

— Разве издали будет видно, что это именно ваш рупор? — спросил Рустэв.

— Нет, он ничем не отличается от других,— заверил Рюмен.

— А я не преувеличу значения этого дела, если выступлю с речью из окна, да еще через рупор Рюмена? — спросил Сен-Раме.

— Мне кажется,— сказал я,— оно и так уже достаточно преувеличено.

Рустэв и Рюмен согласились со мной. Тогда Сен-Раме повел нас к лифту, мы поднялись и пошли в мой кабинет. Рюмен со своим рупором присоединился к нам.

Генеральный директор подошел к окну, справа от него встал Рустэв, слева — Рюмен. Я стоял как раз позади профсоюзного деятеля. Как только Сен-Раме показался в окне, поднялся громкий гул, но никто из нас не знал, как его истолковать.

— Дамы и господа, дорогие сослуживцы! — начал Сен-Раме.— Сегодня утром вы все нашли в своих почтовых ящиках свитки, перевязанные зеленой с черным лентой! Так вот, я хочу вам сказать, что тоже получил такой свиток! — Его слова были встречены громом аплодисментов.— И даже,— продолжал генеральный директор,— он у меня с собой, я принес его в кармане... Вот он! — Тут поднялся поистине исступленный крик. Ошеломленный, я просунул голову между Рюменом и Сен-Раме и просто остолбенел: тысяча рук потрясала тысячью свитков, приветствуя генерального директора, а он, вытянув руку, показывал свой свиток толпе. Затем я был свидетелем незабываемого зрелища: захваченные врасплох, смущенные, Рюмен и Рустэв тоже медленно вытащили свои свитки и, не решаясь поднять руки, держали их на уровне подоконника. Я рискнул бросить еще взгляд на толпу, и мне показалось, что я увидел немного в стороне Лё Рантека, который неистово размахивал свитком словно саблей и время от времени рассекал им воздух. Неужели перенесенное накануне испытание повредило его рассудок? — Дамы и господа,— продолжал Сен-Раме,— больше я вам ничего не скажу! Кто бы ни был автор этих свитков, я поздравляю его и благодарю за юмор, за уменье ослабить напряжение на предприятии, за ловкость, с какою он распространил свои послания! А теперь я прошу вас приступить к работе, спокойно ждать следующего свитка и служить нашей фирме, как и до сего дня, помогая ей подниматься все выше, продавать все больше машин во всем мире, чтобы мы могли непрестанно увеличивать наши капиталовложения, являющиеся, как правильно подчеркнул автор свитка, наряду с амортизацией основными столпами, на которые опираются те, кто управляет! Что до меня, то я иду прямо к себе в кабинет, где меня в самом деле ожидают трудные задачи, а среди них самая главная — сделать вас счастливыми.

В ответ на эти слова толпа устроила овацию генеральному директору и без дальнейших задержек в полном порядке влилась в двери предприятия.

XVI

В то утро ответственные сотрудники и персонал предприятия впервые увидели перед собой военный совет фирмы «Россериз и Митчелл-Франс». Он образовался спонтанно благодаря веселой и непроиз-

вольной манифестации под окнами моего кабинета. Сен-Раме, Рустэв, Рюмен и я предстали вместе перед сотрудниками, которые мгновенно подмечали малейшие изменения, назревающие или происходящие в иерархии фирмы, и тотчас это учли. Тот факт, что главе профсоюзов и директору по «человеческим отношениям» было открыто предложено разделить ответственность с генеральной дирекцией, свидетельствовал как о том, что положение становится все более странным, так и о том, что оно может вызвать перемещение первоочередных задач на фирме. В самом деле, какая польза от самого активного продавца, самого знающего инженера, самого умелого администратора, когда надо выследить, окружить, поймать и приговорить к смерти обличителя? А разве это — не самое срочное и неотложное дело? От быстрого и успешного проведения этой операции непосредственно зависели рост и расширение нашей фирмы, завоевание ею новых рынков, постоянное увеличение самофинансирования, а следовательно, увеличение мощного cash-flow [1]. Ибо руководители больше всего боятся, что обличитель отвлечет трудящихся от их прямых обязанностей и они, забыв о своих насущных интересах, то есть об интересах фирмы, станут производить хуже, упаковывать наспех, продавать спустя рукава и, сами того не сознавая, понизят знаменитый уровень рентабельности фирмы «Россериз и Митчелл», ослабят предприятие, поразив его в самое сердце — в его cash-flow. Ведь в те времена, вопреки мнению, сложившемуся у недалеких людей, накапливание прибылей не являлось «правильной» задачей гигантских американских и транснациональных компаний. Их цель была — делать деньги, выколачивать гроши, создавать из них холмики платежных средств и затем сомкнутым строем бросать их в атаку, для захвата новой добычи, с тем чтобы скромные холмики превратились в величественные горы.

Минут через десять после своего короткого выступления Сен-Раме пригласил нас к себе в кабинет. У него собрались Рустэв, американцы, оба детектива и комиссар полиции нашего квартала, пришедший узнать, в чем дело.

— Мне приказано,— сказал он,— по распоряжению министра внутренних дел в случае бунта использовать воинскую часть, чтобы обеспечить охрану банков и больших компаний вроде вашей, если массы попытаются их разгромить.

Сен-Раме поблагодарил блюстителя порядка и извинился от имени фирмы за уличные заторы, вызванные скоплением персонала фирмы. Он заверил, что это больше не повторится, просто в то утро у кадровых сотрудников, служащих, младшего персонала и руководителей было праздничное настроение. Для полицейского комиссара инцидент был исчерпан. Однако он не был исчерпан для нас — об этом не могло быть и речи. Началось длительное заседание, еще более напряженное, более двусмысленное, чем все предыдущие. Адамс Дж. Мастерфайс, нервный и раздраженный, сам установил повестку дня и руководил выступлениями. Он не раз грубо обрывал руководителей французского филиала фирмы и не разрешал мне выступить в течение двух первых третей дискуссии. Зато в начале совещания он внимательно выслушал выступление Рюмена, которое я вкратце перевел. Одна тайна — как были распространены свитки — раскрылась очень быстро; зато другая — кем был тот, кто подражал голосу Сен-Раме,— стала еще темней. Около 10 часов утра служащий по имени Рабо, уполномоченный по рекламе, попросил, чтобы дирекция приняла его по чрезвычайно важному делу. У него есть, передал он через мадам

[1] Приток наличных денег *(англ.)*

Дормен, срочное сообщение, касающееся распространения свитков. Мастерфайс велел ввести его в кабинет. Рабо рассказал, что Сен-Раме дал ему указание сделать заказ обществу, занимающемуся распространением рекламных материалов, и он взял соответствующий счет за эту операцию. Конечно, сказал он в ответ на посыпавшиеся вопросы, редко случается, чтобы генеральный директор сам занимался подобными делами, насколько ему известно, это было впервые, но Сен-Раме изложил ему причины по телефону. Рабо показал пораженной аудитории лист бумаги, на котором он записал весь телефонный разговор, и прочитал следующее: «Свяжитесь с обществом по распространению рекламы «Дистрибекс-Промосьон» и скажите, чтобы они были готовы распространить ночью важный материал. Какой именно и куда он должен быть доставлен, будет указано позднее». Дата заказа совпадала с той, когда были распространены свитки. Вот почему он, Рабо, полагая, что было бы недобросовестно растрачивать таким образом деньги из бюджета его отдела, желает получить подтверждение прежде, чем оплачивать счет.

— Вы правильно поступили, Рабо,— спокойно сказал Сен-Раме,— я в самом деле давал такое указание, но оно не имело отношения к свиткам. Кто-то, должно быть, перехватил и использовал это распоряжение в своих целях. Не занимайтесь больше этим делом и уплатите по счету «Дистрибекс-Промосьон».

Рабо ушел, и Сен-Раме позвонил в общество «Дистрибекс». Вот что он узнал.

— Мы мобилизовали шестьдесят четыре бригады,— оправдывался директор, думая, что Сен-Раме начнет торговаться о цене,— операция была трудной не столько из-за большого количества рассылаемых документов — оно было скорее даже ограниченным,— сколько из-за того, что адресаты живут в самых разных местах.

— Где вы взяли материал для распространения? — спросил Сен-Раме.

— На вашем складе в тупике дэ Ронс.

Сен-Раме задумчиво положил трубку. Затем пояснил:

— У нас и правда в тупике дэ Ронс есть старый склад, которым мы не пользуемся более двух лет. Там хранится всякий хлам, и я хочу избавиться от него, продав этот участок по цене за землю, но я пока еще не нашел покупателя. Значит, обманщик еще раз подделал мой голос и спокойно сложил свитки в тупике дэ Ронс, увидев, что охрана внутри фирмы усилена.

Внезапно раздался изумленный голос Рюмена:

— Это еще что за история?

Мы попросту забыли, что профсоюзный деятель не был посвящен в тайну. Несколько минут все нерешительно молчали: члены главного штаба не спешили с ответом. Затем Ронсон, который потом уже сидел не раскрывая рта, решил прервать молчание и сказал:

— Ну ладно, раз уж мосье Рюмен находится среди нас и если принять во внимание его профсоюзную деятельность и ответственное положение, я думаю, уместно сообщить ему, в чем дело, как вы полагаете, Адамс?

Мастерфайс согласился и предложил Сен-Раме все рассказать. По мере того как Сен-Раме говорил, физиономия Рюмена все больше и больше менялась. Наконец, ошеломленный и возмущенный, он решительно заявил, невзирая на высокий ранг своих собеседников:

— Итак, если я правильно понял, вы вляпались в дерьмо!

Я уставился на кончики своих ботинок. Американцы, поняв, что эта короткая фраза весьма выразительна, потребовали перевода. Его

взял на себя Рустэв. Мастерфайс вдруг оживился и, повернувшись к Рюмену, сказал:

— Совершенно верно, мы вляпались в дерьмо, но рассчитываем с вашей помощью вылезти из него. Вы не только обрисовали суть дела, но и высказали то, что мы думаем, Ронсон и я. Мы никогда не видели ничего подобного, и я могу теперь открыть вам, дорогой Румайн, что с самого начала этой идиотской истории я поддерживаю связь со своими друзьями в Де-Мойне, а они смеются надо мной. Перед этим совещанием я позвонил в Соединенные Штаты и объяснил, что́ произошло сегодня утром, а президент нашей фирмы, смеясь, посоветовал мне поменьше увлекаться шампанским! Что вы об этом думаете, мосье Румайн? Неужели я приехал сюда, чтобы выслушивать подобные советы, в моем-то положении и возрасте? Дело в том, что они там относятся к этому так, как относился я сам, когда только приехал сюда: они просто потешаются! Пойдите-ка объясните им, что французская фирма вот-вот выпустит из рук рычаги управления! Всего за несколько дней мы были свидетелями целой серии сногсшибательных происшествий! Как можно поверить, что одному человеку удалось одурачить руководителей самой мощной в мире компании! Не кажется ли вам, мосье Румайн, что у нас есть дела поважнее? Знаете ли вы, что в настоящее время я должен изучить все цены на цветные металлы и их влияние на денежное обращение? В 1939 году алюминий в США стоил на семьдесят процентов дороже, чем медь; тридцать лет спустя, дорогой Румайн, медь стоит в долларах в два с половиной раза дороже, чем алюминий! Индекс розничных цен у нас, по ту сторону Атлантики, вырос на триста процентов, а сегодняшний доллар стоит лишь одну треть доллара 1939 года! Разве не так, Берни? Что я могу поделать, если, защищая свободу во всем мире, наш доллар обескровился? Ах, у меня и так хватает забот, правда, Берни? И вот вдруг кто-то подражает голосу Анри, устанавливает катафалк посреди нашего большого зала, распространяет ложные слухи, делает заказ на рассылку этих дьявольских свитков! И вот уже наутро персонал фирмы устраивает демонстрацию перед нашими дверьми! Конечно, там, в Де-Мойне, думают, что я здесь валяю дурака, но если так будет продолжаться, я заставлю их приехать, пусть они здесь переночуют, пусть сами поглядят на все! И держите эти новости про себя, дорогой Румайн, вы не пожалеете об этом! Там, в Соединенных Штатах, руководители наших профессиональных союзов так же могущественны, как и мы, их все уважают, весь мир восхищается ими, так высока их мораль, их честность, их преданность человеческим ценностям! И вы, дорогой Румайн, если вы поможете нам преодолеть это дьявольское препятствие, даю слово Мастерфайса, у нас вы тоже станете кое-чем!

Высказавшись таким образом, вице-президент энергично скрестил ноги и окинул всех удовлетворенным взглядом. Сен-Раме попросил меня перевести.

Ошеломленный, Рюмен внимательно выслушал меня, а затем сделал неопределенный жест рукой, который мог обозначать: «Уж коли мы до этого дошли, то хочешь не хочешь, а придется продолжать!» Что мы и сделали, перейдя к анализу второго обличения. Все участники согласились, что оно отличается от первого тоном заключительной части. Было ясно, что на этот раз автор открыто смеялся над «теми, кто знает». Выражения вроде «крупные соленые слезы» не оставляли на этот счет никакого сомнения. Однако персонал фирмы не злоупотребил этим, и его уважение к Сен-Раме, как видно, не поколебалось. Обличение повлияло на сотрудников лишь в том смысле, что они вели себя непринужденно, пришли в хорошее настроение. К тому же, как пояснил генеральный директор, «это подсказало мне,

как надо себя вести. Как только я увидел толпу, размахивающую свитками, я избрал шутливый тон. Какое иное поведение могло бы так быстро покончить с этой всеобщей неуместной веселостью? В самом деле, после моего короткого выступления служащие с легким сердцем вернулись на свои места, радуясь этому неожиданному развлечению».

Много раз я порывался взять слово, но меня удерживал Мастерфайс, делая знак рукой, что надо набраться терпения. И тем он оказал мне услугу, ибо дал возможность подумать о новых фактах и сопоставить их с предыдущими, которые в свое время меня уже заинтриговали. Так, например, насчет пресловутого склада в тупике дэ Ронс. Я вспомнил тот вечер, когда Рустэв в сопровождении нескольких ответственных сотрудников направлялся, как мне казалось, именно к этому месту. Если бы в тот вечер я вспомнил про склад в тупике дэ Ронс, я установил бы связь между ним и появлением там Рустэва, Аберо и Селиса. Я удивлялся, что эта связь ускользнула от Сен-Раме, которому я сообщил об этом по телефону. А может быть, некоторые ответственные сотрудники знают факты, которые мне неизвестны? Или генеральный директор был прав, утверждая, что я ошибся, что меня подвела темнота и богатое воображение? Тем не менее это было странное совпадение, и я решил в тот же вечер пойти и осмотреть это место.

Детективы представили нам полный отчет о своих действиях со вчерашнего дня. И тот и другой ночевали на предприятии, осмотрели подвалы, и это подвело нас к обсуждению трещины. Ее ремонт, важно заявил Рустэв, идет полным ходом. К концу недели она будет полностью заделана. Когда мне, наконец, предоставили слово, я сказал:

— Только интересам предприятия, лишь им одним должны быть подчинены все наши мнения, все поступки и все решения, и поэтому мы обязаны свободно высказывать свои мысли, даже если они внешне противоречат мнению других. Это дает мне право предложить не держать больше в тайне появление и коварные действия человека, подражающего голосу нашего генерального директора. В противном случае мы обречем себя на всевозможные неприятности. Если персонал не будет предупрежден о грозящей ему опасности, самозванец сможет спокойно продолжать свое пагубное дело. С другой стороны, если мы опубликуем сообщение, предупреждающее служащих, чтобы они остерегались всяких устных распоряжений, исходящих от мосье Сен-Раме, и потребуем, чтобы они немедленно проверяли, исходят ли они от него, мы расстроим планы сумасшедшего, который бродит среди нас. Зачем, ссылаясь на то, что мы не хотим волновать персонал, и так уже сильно взволнованный, лишать себя такого простого и действенного способа нанести контрудар?

Мое выступление было встречено гробовым молчанием. Я хорошо понимал, почему их не устраивает мое предложение. Нужно не иметь никакого опыта руководства коллективом, чтобы согласиться применить метод лечения, который может оказаться более вредным, чем сама болезнь. Что решили бы профессора того времени? Они очень много знали о рождении, детстве, юности и росте компаний, но что знали они о том, как компании умирают? Конечно, они знали, что нельзя нанимать больше служащих, чем можно оплатить, нельзя растрачивать всю прибыль, продавать товары ниже себестоимости, покупать слишком дорогие машины, оборудование, сырье, слишком сильно сокращать темпы работы и рабочее время, нельзя слишком удлинять отпуска или увеличивать оклады, слишком часто ошибаться относительно того, какие производить товары, и надо по возможности точно предвидеть, как будут развиваться новые рынки,— все это они зна-

ли, дорогие профессора того времени, но они не могли найти лекарства против своеобразной лейкемии, однажды поразившей могучие разжиревшие тела, которые раскинулись по всему миру, а теперь обессилели; вот почему никто из них не мог с легким сердцем согласиться на мое лечение: сказать правду персоналу и таким образом связать обличителю руки и отрезать путь к отступлению. В то утро в главном штабе фирмы «Россериз и Митчелл-Франс» было желание, но не хватило духу созвать тысячу сто сотрудников фирмы и крикнуть им: «Помогите нам, дамы и господа, все происходящее выше нашего понимания, и мы буквально парализованы от растерянности! Мы скрыли от вас, что бдение у гроба организовал не Сен-Раме, но это лишь для того, чтобы не напугать вас. Теперь же настал час сомкнуть наши ряды! Посмейтесь вволю, затем сплотитесь вокруг ваших руководителей. Отныне я сам, Анри Сен-Раме, решил не давать больше устных приказаний, и так будет впредь до нового распоряжения. Поэтому, если вам кто-нибудь позвонит и вы узнаете мой голос, перекреститесь, а потом положите трубку и скажите: «Надо же, это опять он». После чего сообщите в мой секретариат об этом звонке. Дамы и господа, объединимся перед лицом обличителя!»

Итак, они довольно долго молчали. Глаза Ронсона блестели, словно он подавлял желание признать, что мое предложение способно приостановить наступление гнусных сил, поднявшихся для осады нашей фирмы. Наконец, Мастерфайс заговорил:

— Это заманчиво, я бы сказал больше: возможно, это именно то, что нам следовало бы сделать. Но что мы можем вызвать в ответ? Кончится все тем, что над нами просто посмеются.—И тут он тихим голосом сделал нам самое важное сообщение: — Я сейчас открою вам, какую позицию занял генеральный и транснациональный штаб в Де-Мойне. Вот она: события, волнующие французскую фирму, просто смехотворны, и было бы неприлично, если бы эти чудеса не прекратились как можно быстрее. Наши немецкие заводы впервые за всю свою историю охвачены длительной забастовкой, которая наносит нам, как вы понимаете, большой урон; так разве можем мы тратить время на развлечение французских служащих, участвуя в этой глупой игре, которая уже и так слишком затянулась! Немецкие проблемы, валютные вопросы, недовольство наших южноамериканских и восточных поставщиков, подготовка президентских выборов у нас в стране — все это создает столько забот, что требует, можно сказать, мобилизации всех наших сил и лишает нас возможности уделять серьезное внимание тому, что происходит в Париже на углу авеню Республики и улицы Оберкампф, недалеко от Восточного кладбища. Правильно? — заключил Мастерфайс, обращаясь ко мне.

— Правильно,— сказал я, удивленный этой вспышкой юмора.

Все было ясно. Персонал не узнает правды. Кроме американцев, генерального директора и двух детективов лишь Рюмен да я будем оставаться в курсе дела. Разволновавшись, я решил уточнить предписания относительно десяти ответственных сотрудников, которым я должен предложить имитировать голос Сен-Раме:

— Если они спросят меня о причинах расследования, что я должен им отвечать?

— Скажите им,— ответил Сен-Раме,— что помимо злополучных текстов обманщик подражал моему голосу, чтобы распространять ложные слухи — о смерти моей дочери, например. Такого объяснения вполне достаточно.

Американцы и Рустэв согласились. На этом совещание закончилось. Я уже закрывал дверь кабинета, когда Сен-Раме удержал меня за руку и, убедившись, что нас никто не слышит, шепнул мне на ухо

нечто совершенно непостижимое, так не вязавшееся с тем представлением, которое сложилось о нем у моих сотрудников и у меня самого.

— Господин директор по «человеческим отношениям»,— прошептал он, подчеркивая мою должность.— Рюмен прав: мы по самые уши увязли в дерьме.

Едва я пришел в себя после столь вольного выражения со стороны генерального директора и собрался рассмотреть несколько текущих дел, громоздившихся у меня на столе, как секретарша сообщила, что Бриньон хочет видеть меня — и как можно скорей.

— Не похоже, чтобы у него было хорошее настроение,— сказала она, качнув головой.

— Ну что ж, это очень кстати, мне как раз надо с ним поговорить. Пусть войдет, и, пожалуйста, никого ко мне не пускайте, я у себя только для представителей главного штаба.

Через десять минут Бриньон вошел и, вяло пожав мне руку, сел.

— Дорогой Бриньон, я как раз собирался...

— Да, я знаю,— отрезал он,— вы собирались позвать меня и заставить подражать голосу Сен-Раме, вот поэтому-то я и хотел вас видеть. Я должен выполнить поручение, которое возложили на меня мои коллеги, а также и ваши, если я еще могу себе позволить такое выражение — ведь, как я понял, с сегодняшнего утра нашей фирмой управляете вы и Рюмен.

Меня не смутила его агрессивность. Я ожидал, что ответственные сотрудники управления и «маркетинга» отнесутся враждебно к моему внезапному повышению. С другой стороны, опыт научил меня, что любезности, извинения, возражения приносят только неприятности и сразу ослабляют твою позицию, тогда как сухой отпор, а в случае надобности и некоторая доза самонадеянности высоко ценятся ответственными сотрудниками. Они неизменно устремляются к новому начальнику, стремясь проверить, смогут ли в будущем заставить его плясать под их дудку или же, наоборот, лучше относиться к нему с уважением. Обычно они возвращаются с поджатым хвостом, медоточивые, заискивающие, стараясь добиться теплого местечка, вынюхивая возможность повысить свой оклад, получить премию за экономию расходов или внеочередное назначение на должность, а то и попросту попросить выручить их из тяжелого положения. Итак, смело начиная эту беседу, я не собирался терпеть оскорбления. Тем не менее у Бриньона было передо мной важное преимущество: в глубине души я сам не одобрял этого принудительного подражания голосу Сен-Раме. Я считал, что эта нелепая процедура, вместо того чтобы прояснить обстановку, только запутывает и усложняет ее. Немного смущенный этой тайной мыслью, я ответил своему коллеге:

— Бриньон, вы должны сделать над собой усилие — я знаю, вы на это вполне способны — и заняться областью, которая до сих пор была вам чужда, то есть психологией предприятия. Конечно, если вы просто ляпнете кому попало: «У «Россериз и Митчелл» люди посходили с ума! Представьте себе, они заставляют нас подражать голосу нашего генерального директора», вас могут послушать, а нас отправить в психиатрическую лечебницу! Поэтому я прошу вас, сделайте милость, рассмотрите создавшуюся обстановку. Прежде всего здесь кто-то строит нам козни и может в конце концов нанести серьезный вред нашей компании, распространяя ложные слухи. Для нас жизненно важно как можно быстрее разоблачить самозванца.

— Вы хотите сказать,— прервал меня Бриньон,— что руководящие кадровые сотрудники попали под подозрение?

— Позвольте мне объяснить вам все до конца. Я никогда этого не говорил, во всяком случае, вопрос ставится не так. Любой сотрудник может попасть под подозрение, так происходит во время всякого следствия, проводимого полицией. Генеральная дирекция ведет тайное, но тщательное расследование среди персонала — задача деликатная, чреватая реальным политическим риском. Вот почему привлекли к этому делу Рюмена, хотя это и может обернуться отнюдь не добром; что касается руководящих сотрудников, они настолько выше всяких подозрений, что лишь для соблюдения приличия и элементарной справедливости Мастерфайс и Сен-Раме предпочли поручить расследование директору по «человеческим отношениям», чем полицейскому. Представляете себе, дорогой Бриньон, что вас будет допрашивать полицейский — вас, которому наверняка предстоит заменить Арангрюда?

— Сен-Раме вам это сказал? — с жадностью спросил Бриньон.

— Впрямую он так не сказал, но что до меня, то я не вижу, кто, кроме вас, способен прямо с ходу взвалить на свои плечи такое тяжелое бремя.

Бриньон скромно опустил глаза. Я почувствовал, что настал благоприятный момент, чтобы вытянуть из него все, что меня интересует.

— А теперь, дорогой Бриньон, объясните мне, что у вас там произошло?

— Лё Рантек рассказал нам о своем разговоре с вами. Мы не поверили и были возмущены. Нельзя сказать, чтобы я так уж высоко ставил Лё Рантека, но после его рассказа у нас появилось чувство, что все мы находимся под ударом. Не для того мы учились в школах, слушали лекции по вопросам управления, экономики и организации, ездили в Соединенные Штаты, а кое-кто получил первоклассное образование в Гарварде или в Массачусетсе, чтобы в тридцать или тридцать пять лет подражать голосу нашего генерального директора у вас в кабинете. И тут мы единодушно решили отказаться от такого эксперимента, а меня уполномочили сказать вам об этом.

То был бунт руководящих ответственных сотрудников. Они отказывались подражать. Они мужественно восстали. Я почувствовал облегчение. Я порадовался, увидев, что наши французские кадры умеют, когда это необходимо, поднять голос в защиту своего человеческого достоинства. А ведь чего только не рассказывали в те времена! Администраторы, мол, не обладают твердостью характера, говорили завистники; они просто-напросто разбогатевшие пролетарии и только ворчат в своем углу, а сами трусливо соглашаются на всякие унижения. Они льстят начальству. Неистощимый перечень их льстивых выдумок передавался из уст в уста. Например, они расхваливали начальников за правильность взглядов на политику, на будущее мира, на образование детей, хвалили за хороший вкус в одежде, за превосходную кухню. Эти похвалы наполняли гордостью президентов и генеральных директоров, ибо относились к чисто духовной и интеллектуальной сфере и таким образом прибавляли новые достоинства к их профессиональной проницательности. Руководители того времени не довольствовались больше общепринятой лестью, вроде: «Вы — лучший руководитель машиностроительных заводов», им надо было сказать: «Вы — лучший руководитель машиностроительных заводов, но кроме того, вы гениальны и ваши взгляды в области политики, социологии, культуры, ваше умение жить должны стать примером для народов и правительств». Дело доходило до того, что президент, которому польстили только за профессиональные успехи, готов был обидеться, если при этом не соглашались с его мнением о реформах в области образования. И несчастных ответственных сотрудников еще обвиня-

ли в пристрастии к низкопоклонству! Поведение Бриньона и его коллег, напротив, доказывало, что они хотят с достоинством заниматься своим делом, а не добиваться любой ценой повышения или просто сохранения высоких окладов. Так-то оно так, но на меня ведь была возложена миссия, и я должен был довести ее до конца. Несмотря на свой гнев, Бриньон не утратил, однако, ни памяти, ни надежд. Арангрюд мертв, и Бриньону надо было добиться поста, который тот занимал.

— Поставьте себя на мое место,— сказал я,— как бы вы поступили? Представьте себе, что вам надо заставить ваших коллег выполнить в сущности лишь пустую формальность. Как бы вы взялись за дело?

После некоторого колебания Бриньон ответил:

— Прежде всего, скажите мне откровенно, что за обстановка сложилась на нашем предприятии — все это время мне было не по себе. Что на самом деле у нас происходит? На мой взгляд слишком много шепчутся о трещине, о махинациях, о заговорах вокруг смерти Арангрюда. В конце концов, ведь вы — директор по «человеческим отношениям» и, значит, должны быть в курсе дела; я уверен, что если бы вы собрали нас и объективно, со всеми подробностями, изложили, в чем дело и каковы ваши предположения, мы охотно пошли бы на то, что пока кажется нам лишь оскорбительным водевилем.

Это звучало вполне разумно и здраво. Но как бы подостойнее ответить? И главное, сохраняя в секрете то, что должно быть скрыто? Я глубоко вздохнул и послал ответный мяч в ворота своего коллеги — и, даю слово, довольно ловко.

— Бриньон, ответьте мне, как вы себе представляете будущее общества потребления?

— Что? — удивленно спросил он.— Какое отношение имеет ваш вопрос к моему?

— Ах, дорогой Бриньон,— прошептал я,— увы! — он имеет прямое отношение. Я убежден, что какой-то подрывной отряд выбрал фирму «Россериз и Митчелл», чтобы отточить на ней свои зубы, а его цель — посеять смуту внутри нашего предприятия и заронить глубокие подозрения в лучших умах; это нападение имеет дальний прицел: разложить хорошо обеспеченные и индустриализованные западные общества. Разве вы забыли про обличения? Разве вы не были свидетелем волнения, овладевшего персоналом? Разве вы, как и я, не видели странной веселости, шокирующей жизнерадостности, которые внезапно охватили предприятие? Две-три бочки доброго вина, я уверен, не оказали бы такого действия, дорогой Бриньон. Сегодня сотрудники были словно навеселе, как будто хлебнули лишнего! Но что будет, если однажды утром мы найдем их не навеселе, а мертвецки пьяными? Никто, насколько мне известно, не в силах сейчас бороться с этим наваждением. Подумайте, Бриньон, никто не в состоянии понять смысл и цель этих обличений! Одни находят их очаровательными, ироничными, полными юмора; другие считают их скучными, пустыми, надуманными! Правда же, Бриньон, состоит в том, что с нами обращаются так же, как когда-то американские торговцы оружием обращались с индейцами: нас спаивают, одурманивают, ставят в невыносимое положение, вызывая к жизни инстинкты, которых у нас нет или которые мы утратили. Да, Бриньон, поверьте, вместе с вашими коллегами вы восстали не против превышения власти, ибо к этому вы уже привыкли, а против истерического поведения главного штаба. Вот чего вы испугались. Вы боитесь, как бы безумие не охватило предприятие, которое платит вам высокое жалованье. Так вот, позвольте вам сказать, Бриньон, вы правы, именно этого вы и долж-

ны бояться: нашу фирму подстерегает безумие, оно даже не у дверей, оно проникло внутрь, оно сгущается где-то внизу, в подвалах, и этим, наверно, объясняется появление дьявольской трещины! Ах, Бриньон, вот я и ответил на ваш вопрос! А теперь можете ли вы обрисовать мне, в свою очередь, будущее общества потребления? Чем мы будем загружать наши доменные печи, где найдем моторы для наших машин, если, охваченные яростью роста только ради роста, мы обрекаем себя на производство ради производства? Откуда будем черпать энергию? А если массы видят, что те, кто управляет и распоряжается производством, не имеют сигнализации, подающей тревогу, то не становится ли безумие единственным нашим тормозом? Если нас охватит безумие до начала великих политических и экономических кризисов, которые нас ожидают, то, быть может, нам удастся их избежать? Что вы на это скажете, Бриньон? Согласны вы теперь подражать голосу вашего замечательного старшего коллеги Анри Сен-Раме, родившегося в Полиньи, в департаменте Эндр, получившего диплом в Гарварде, нашего главного начальника после бога и американцев и, как мне кажется, единственного из всех руководителей, способного предчувствовать, какое зло угрожает нам и вскоре нас подточит?!

Бриньон слушал мою речь с явным интересом и несколько сдержанным удивлением, которое вызвала у него моя теория; он был озадачен и сосредоточенно потирал подбородок.

— Итак, Бриньон,— настаивал я на этот раз уже жестко, пользуясь своим преимуществом,— куда вы пойдете, если вас уволят? Станете ли вы объяснять другому Сен-Раме, что у «Россериз и Митчелл» все сошли с ума и вы сбежали от этого безумия? Чтобы на другой день прочесть в ведомственной газете, что Порталь занял ваше место, а Самюерю получил пост, предназначавшийся Арангрюду? И это в тот момент, когда ваше жалованье должно было вскоре взлететь на почти головокружительную высоту? Почему бы вам не ответить на мой вопрос об обществе потребления?

Бриньон почувствовал перегиб и тотчас кинулся в атаку:

— Вы все твердите об обществе потребления, но сами же прежде всего и пользуетесь его благами. Так что же вы имеете против него?

— Ничего, Бриньон, ничего, но между нами есть существенная разница: сейчас меня уполномочили защищать это общество и добиться от вас, чтобы вы подражали голосу нашего генерального директора, а уж если мы до этого дошли, значит, и вы, и я, и многие другие во всех индустриальных странах, видимо, наделали много ошибок. В самом деле, мы обречены производить какую-то продукцию — все равно какую, лишь бы она была новой,— в противном случае наша система рухнет, ибо так уж она устроена, что на нее влияет малейшая слабость, малейшая осечка. Промышленник, который не может каждый год выпускать новые образцы продукции и находить новые рынки, обречен. Считаете ли вы нормальным непрерывно изобретать разные новинки не для удовлетворения потребностей общества, а для питания механизма экономики? Считаете ли вы нормальным, что наши менеджеры или чиновники наших финансовых ведомств беспрерывно говорят о сигнальных огнях и пультах управления? Да разве экономическое общество — что-то вроде «боинга-727»? Как будто все забыли, что если самолет летает, то лишь для того, чтобы перевозить пассажиров из одного пункта в другой, и только это оправдывает его производство? И если надо следить за сигналами на приборной доске, то лишь для того, чтобы самолет не рухнул,— это в порядке вещей, но не является самоцелью. Цель самолета не просто летать, Бриньон, это лишь его функция. Мы стали жертвами гордыни и отсутствия воображения у экономистов последних двадцати лет, вот что мне хотелось

услышать от вас, Бриньон. Вот что делает предприятия хрупкими, а правительства — все более и более циничными и авторитарными. Счастье потреблять — неустойчиво и тревожно. Первый попавшийся идиот, написавший обличения, нарушил равновесие производительных сил, неразумно нацеленных на искусственное развитие, пренебрегающее общественным благом и интересами слабых народов, у которых грабят сырье. Политическая власть почти везде отрекается от своих полномочий, ее место занимают ожесточенные революционные движения разочарованной молодежи, против которой не всегда можно двинуть полицию. Бриньон, нервы нашего общества напряжены, и немного надо, чтобы дремлющее и успокоенное, как после причастия, население оказалось беззащитным перед диктатурами. Поверьте мне, безудержное сверхпотребление и всеобщая инфляция, с которой сами министры финансов обращаются как с хитроумным, но не свирепым сообщником, приведут к гибели западные демократии. И, возможно, близится день, когда Соединенные Штаты Америки спешно направят свои военно-морские силы в Эр-Рияд или Триполи. А вообще-то, Бриньон, кто докажет мне, что не вы обличитель? Кто может поклясться, что обличитель не скрывается под личиной какого-нибудь ответственного сотрудника?

Бриньон смотрел на меня преобразившимся взглядом. Я его обезоружил. И тут я вспомнил, что он был послан ко мне своими коллегами и, должно быть, они с нетерпением ждут, когда он выйдет из моего кабинета. Желая помочь ему избежать вполне понятного замешательства, я предложил отложить попытку подражать голосу Сен-Раме и вернуться к этому после того, как он все обдумает.

— Мне не нужен вялый подражатель,— пошутил я,— мне нужен настоящий Бриньон, способный быть обвиняемым.

Он улыбнулся. Затем, к моему изумлению, спокойно сказал:

— Нет, я сейчас буду подражать голосу Сен-Раме и объясню другим причины моего поведения.

Он начал подражать. Голос его вознесся звонко, как у мальчишки, и приятно ласкал мой слух. Он повторил свою попытку пять раз — старательно и со вкусом. Браво, Бриньон! Пусть ваша совесть будет спокойна. Ваш директор по «человеческим отношениям» не забыл вас. Он вас никогда не забудет. Он сохранит в памяти, что в трудных и даже опасных обстоятельствах вы не колеблясь пожертвовали собой ради блага нашей фирмы «Россериз и Митчелл-Франс», дочери гигантской американской и транснациональной компании, здание которой из стекла и стали возвышалось в те времена в Париже на углу авеню Республики и улицы Оберкампф, недалеко от Восточного кладбища.

XVII

Люди, которые меня окружают и заботятся обо мне, высказываются весьма оптимистически о состоянии моего здоровья. Они, кажется, чувствуют даже облегчение, как будто я только что преодолел серьезный барьер на пути к выздоровлению. По их словам, я смогу скоро выходить, дышать свежим воздухом, а там и вернуться к работе. Но они по-прежнему отказываются говорить о том, что со мной стряслось, об обстоятельствах моего спасения, о подлинных причинах моего пребывания в больнице. Меня особенно радует, что периоды, когда я чувствую себя в силах говорить, заметно удлиняются. Разумеется, я еще довольно быстро впадаю в прострацию, но меня уже не пугает перспектива вновь погрузиться в глубокий несконча-

емый сон. До сих пор сон меня утомлял, теперь же действует благотворно. И мне кажется, что пишу я все лучше и лучше. Фантастические и жестокие события меня больше не пугают, они стали вносить меньше путаницы в мой рассудок. Итак, мы вместе с книгой продвигаемся вперед: она к концу, а я к выздоровлению.

И вот я снова вижу себя в тупике дэ Ронс, во мне горит непреодолимое желание узнать, какое значение имело Восточное кладбище в жизни компании «Россериз и Митчелл-Франс» и какую роль играло оно в недавних событиях. Прежде всего, разумно ли было строить здание французского филиала так близко от такого обширного кладбища? И не было ли опасно для руководящих сотрудников и доброй части персонала так часто там прогуливаться? Совместимо ли частое посещение подобного места с той деловитостью и коммерческой напористостью, которые требуются от ответственных сотрудников? Можно ли прогуливаться, осматривая могилы и мавзолеи, и в то же время правильно строить планы внедрения наших машин для сбора помидоров или завоевания болгарских рынков для продажи наших прессов и тракторов? Я задавал себе эти вопросы еще до начала беспорядков. Задолго до появления трещины, смерти Арангрюда и первого обличения я лелеял проект запретить сотрудникам нашей фирмы, независимо от ранга, шататься по кладбищу Пер-Лашез. Я видел в этих прогулках зловещее предзнаменование и сам ходил туда только по привычке, не сомневаясь, что в любое время встречу там одного или двух ответственных сотрудников, с которыми смогу не без пользы обменяться мнениями. Считаю необходимым добавить, что я бывал там и по долгу службы, чтобы убедиться, что персонал не злоупотребляет этими прогулками. Однако я не осмеливался просить, чтобы их запретили, ибо был убежден, что моя просьба будет отвергнута, а меня обвинят в злоупотреблении властью или, чего доброго, объявят маньяком с навязчивой идеей. Ни одному директору по «человеческим отношениям» не пожелаю я выполнять свои обязанности по соседству с кладбищем. Итак, пока я размышлял о значении этой близости, множество деталей всплыло у меня в памяти, помогая сосредоточить внимание на этой обители смерти: я вспомнил ту ночь, когда американцы, проходя со мной вдоль стены, услышали шум, который я приписал какому-то животному. Заброшенный склад находился почти рядом со склепом из черного мрамора на могиле Альфреда Шошара, основателя универсального магазина «Лувр». Но разве из-за этого можно было запретить персоналу посещать кладбище? Я бы только еще раз столкнулся с неспособностью наших руководителей понять, что лишь необычное решение, выходящее за рамки рационального, позволит справиться с подобного рода подрывной деятельностью. Именно из-за отсутствия воображения, а не из-за чрезмерной алчности наши полководцы и проиграли это сражение. Чем поразительнее идея, чем больше она должна ошеломить, тем больше она встречает сопротивления и тем больше надо иметь твердости, чтобы его сломить. Итак, я уверен, что, если бы ответственные за фирму «Россериз и Митчелл», их банкиры, их министры, их советники смогли хоть на минуту подняться над собой, они согласились бы на необходимые жертвы. Увы! Они были на это совершенно неспособны. Они задыхались от сарказма и беспомощно кудахтали: «Ах, дорогой мой, я расскажу вам презанятную историю, совершенно достоверную! Наш директор по «человеческим отношениям» — какой-то чудак! Послушать его, так нам следует немедленно мобилизовать наши силы для изучения тайны кладбища, знаете, того самого, Пер-Лашез, там у них во Франции, недалеко от нашего здания из стекла и стали. И для чего, как вы думаете? Держу пари, не угадаете! Чтобы

обнаружить автора этих дурацких текстов, о которых я говорил вам по телефону на прошлой неделе, и узнать, не может ли это послужить поводом для увольнения некоторых служащих! Подумаешь, кладбище! К какому дьяволу мы катимся, если наши лучшие администраторы уже не могут без дрожи смотреть на венки, каменные кресты и позеленевшие бронзовые бюсты? У них слишком чувствительные нервы! И если бы этот директор по «человеческим отношениям» хотя бы привел доказательства, разумные доводы! Так нет, ничуть не бывало! Если бы мы его послушались, нам пришлось бы добиться от нашего дорогого префекта разрешения закрыть на неделю кладбище и, вооружившись факелами и вилами, начать эксгумацию трупов! И для чего, спрашивается? Для того, чтобы открыть тайну обличителя фирмы «Россериз и Митчелл-Франс»! К черту его обличения! Если французы больше в нас не нуждаются, ну что ж, мы поедем в Испанию! Там они, по крайней мере, каждый день устраивают процессии, у них повсюду выставлены распятия, и у каждого сотрудника на письменном столе статуэтка Пресвятой девы! Они-то умеют изгонять злых духов! Я надеюсь, дорогой министр, что все это не помешает вам получить, в виде исключения, участок земли на вечное пользование и быть похороненным на этом знаменитом кладбище! Но не будем больше говорить об этом, у нас еще много прекрасных дней впереди, чтобы производить и продавать грандиозное количество машин, а вам, дорогой министр, подписывать бесчисленные приказы, ха, ха, ха, бесчисленные приказы! А пока мы будем импортировать, экспортировать, производить, упаковывать, расти, и да здравствует соя, дорогой мой, хвала свекле, кукурузе и пшенице, а также свинине и говядине: мы импортируем лучшие куски, мякоть и ромштекс, вырезку и филе, антрекот, бифштекс и баранью ножку, сеньор, и баранью ножку; а экспортируем бычий хвост и желудок, грудинку, огузок и запеину и постную лопатку, сеньор, и постную лопатку! Пропишем обездоленным массам суповую говядину, и да здравствует Пер-Лашез, ха, ха, ха, и его связь с нашей полнотелой красоткой «Россериз и Митчелл» с пышным бюстом и жирным задом; выпьем же, дорогой министр, за здоровье нашего директора по «человеческим отношениям» и, в доказательство нашей признательности, окажем ему протекцию, и выхлопочем для него маленькую ямку в седьмом секторе, на седьмом участке, между Элоизой и Абеляром [1], ха, ха, ха! И да здравствует красотка, пышный бюст и жирный зад!».

Нет, думал я печально, подходя к предприятию, чего бы ни стоила моя интуиция, я все же боюсь, что ее высмеют эти господа. Поэтому, чтобы проверить до конца мою идею, я лучше перелезу вечером один через стену кладбища. Избави нас боже снова оказаться под властью тех, кто держит в руках золотые слитки и платежные средства: они уже больше ничего не боятся. Но злые духи сделались настойчивыми: они вышли из своих убежищ и начали вынюхивать, что делается за непроницаемыми дверями власть имущих. В общем, злые духи тоже осмелели.

Аберо с Центрального массива принадлежал к прогрессивным кадрам. Он был заместителем директора по прогнозированию. В этот период обличений и появления трещины Аберо — бывший студент Горной школы, прельстившийся легкой наживой и перешедший в широкие сферы коммерции,— пользовался странной репутацией. Все зна-

[1] История трогательной любви в XII веке. Богослов Абеляр и монахиня Элоиза пронесли свою привязанность через всю жизнь и были похоронены в одной могиле.

ли, что он никогда не поднимется выше по служебной лестнице, ибо стал жертвой беспощадной самозащиты руководящих кадров того времени, насмешливо вопрошавших: «Разве из ученого математика непременно должен выйти хороший продавец?» И, как правило, это рассуждение применялось к каждому человеку, появлявшемуся на предприятии в ореоле знаний, с солидным университетским багажом. Вот тут-то кадры коммерсантов, разъедаемые жестокой завистью и грубым злословием, смыкали свои ряды и, приглушив взаимную вражду, кричали в кулуарах: «Подумаешь! Все как один восхищаются новичком, он, говорят, кандидат юридических наук, лиценциат физики, доктор философии! Допустим, все это очень хорошо, но каким образом его ученость и культура помогут нам увеличить сбыт товаров? Сегодня нашим предприятиям нужны люди простые, работающие не мудрствуя лукаво! Вы думаете, это так легко — продавать? Ну что ж, пусть-ка он попробует, наш новичок! Пусть объедет наши поселки и предместья, пусть потрется среди миллионов потребителей на местах, тогда, быть может, он поймет, что, если хочешь торговать, не надо залетать слишком высоко. К счастью, нашими фирмами управляют не интеллектуалы, а иначе что стало бы с нашим обществом потребления? Никто не сравнится с крепким и здравомыслящим администратором, который не придет в замешательство при виде солнечного затмения, а глядя, как порхает бабочка, не впадет в мечтательность; он не заглядывает далеко вперед, зато хорошо видит все, что происходит у него под носом: как мимо его дверей проносятся моторизованные граждане и гражданки с туго набитыми животами, направляясь в наши магазины. Да, правда,— продолжали эти кадры, занятые торговлей,— мы с отвращением отворачивались от некогда почитаемых профессий и не терзали наши мозги неблагодарными и постылыми науками, но мы узнали зато, чем надо торговать и как искусно упаковывать товары. Что касается так называемой элиты, пусть она остается в своих лабораториях, пусть ищет способы усовершенствовать наши машины, наши приборы, наши средства коммуникации, наше больничное оборудование, моторы наших автомобилей, мощность наших холодильников. Но пусть не суется в наши дела, в наши фирмы, в нашу торговлю, в наше развитие и рост. Ведь мы не лезем преподавать вместо них!»

Таким образом Аберо был обезврежен, и предприятие было ему даже благодарно за то, что он украшал своим присутствием собрания главного штаба у Сен-Раме; и последний не упускал случая публично подчеркнуть широту своих взглядов, а также смелость своей политики в подборе кадров, приводя в пример этого выпускника Горной школы. Итак, Аберо больше не вызывал опасений ни у кого из своих коллег, не считавших теперь зазорным уступить ему первенство в интеллектуальном плане: у нас-де есть один чертовски образованный тип, тем хуже для него, что он сюда попал. Таков был вкратце почетный смертный приговор, вынесенный сидевшему передо мной человеку со странным, пронизывающим взглядом. Был ли он из прогрессистов? Об этом кое-где шли разговоры, а сам он никогда их не опровергал. В нашу эпоху всякое суждение о политических взглядах кого-либо из кадровых работников весьма недостоверно. Разумеется, существуют левые партии, которые требуют более или менее радикального изменения общества, но становится все труднее различать их сторонников внутри предприятий. Аберо и Лё Рантек были странно похожи друг на друга, но в то же время похожи и на других своих коллег. Наверно, их роднило то, что они все «знали», как писал обличитель, и были согласны с необходимостью применять известные

методы управления. В те времена способность вести дискуссию об импорте нефти с заведующим отделом министерства экономики и финансов ценилась выше уменья предсказать с помощью многостороннего анализа, какие политические и военные проблемы может вызвать к жизни энергетический кризис через двадцать или пятьдесят лет. Уменье набросать широкую картину развития общества встречало, можно сказать, пренебрежение, а вычисление будущего курса лиры или кроны вызывало восхищение и давало смелому предсказателю право на руководящий пост. В ту пору политические взгляды многих отличались такой же неустойчивостью, как и курс западных валют. Многие высшие кадры, дерзкие краснобаи, размахивая руками и играя дешевыми парадоксами, кричали на глазах у своего восхищенного патрона, что они сотрудничают с левыми. А тот в конце званого обеда шептал своим потрясенным слушательницам:

— Видите вон там молодого человека? Это мой ответственный секретарь, я предсказываю ему блестящее будущее, он получает чрезвычайно высокое жалованье для молодого человека его возраста; так вот, дорогие мои, он член революционной партии социалистов.— И, радуясь произведенному эффекту, магнат добавлял: — Сегодня уже нечего бояться левых; для русских и американцев мы соорудили мягкие кровати по их собственной мерке, с тонкими простынями и надушенными покрывалами; нам могут угрожать только негры и мулаты; однако,— заканчивал он, взмахнув рукой,— мы будем посылать им каждый год несколько тонн маргарина, а затем, в случае чего... хм, вы меня понимаете!

Он громко хохотал, властно требуя внимания ответственного секретаря, которого ждало блестящее будущее, хотя тот и состоял в революционной партии социалистов.

Примирился ли Аберо со своим положением или еще надеялся отыграться? Хотел ли он, чтобы Рустэв выжил Сен-Раме? Я мало общался с ним и знал о нем лишь то, что уже здесь изложил.

— Не утруждайте себя объяснениями, зачем вы хотели меня видеть,— сказал Аберо,— я в курсе всего; к слову сказать, меня восхищает ваше уменье убеждать: ведь Бриньон был решительно настроен против вас, а вернулся к нам побежденный и в полном смятении. Итак, насчет подражания мы договорились: каждый волен подчиниться или отказаться. Но в ответ мы решили сами, и немедленно, приступить к самостоятельным поискам... И мы надеемся, что, несмотря на ваше недавнее повышение, вы примкнете к нам.

Аберо поглубже уселся в кресло и закурил тонкую сигару. Итак, он предлагал мне присоединиться к их группе. Это предложение открывало мне новые перспективы, но требовало от меня тонкой игры, ловкого лавирования между моими коллегами и главным штабом фирмы, который привлек меня в свои ряды. Как я выпутаюсь? Аберо угадал мои мысли.

— Я понимаю, вам будет нелегко сманеврировать и присоединиться к нам; теперь вы, может, слишком близки к генеральной дирекции, однако, за исключением злопамятного Лё Рантека, никто из нас не сомневается в ваших способностях и доброй воле; к тому же у нас общая и единственная цель: положить конец всем нелепостям и насмешкам, ибо, если они не прекратятся, никому уже не будет смешно.

— Вы правы,— медленно проговорил я,— но дайте мне немного подумать: наша беседа ведь несколько необычна. Заранее могу лишь сказать, я не вижу, почему бы сотрудничество с Сен-Раме и Рустэвом исключало для меня участие в ваших поисках.

— Что ж,— сказал Аберо,— хотите, мы обсудим с вами этот вопрос?

— Охотно,— ответил я сухо, раздраженный самоуверенностью и высокомерной ноткой в тоне моего коллеги,— насколько я вас понял, вы поднимаете открытый мятеж против генеральной дирекции.

— Приблизительно так, но с той разницей, что наш мятеж, вопреки вашему определению, отнюдь не открытый. Наши действия, наше недовольство вытекают прежде всего из похвальных побуждений: как можно скорее принять участие в борьбе с противником нашего предприятия; затем: наши решения не были нигде оглашены, и, будьте покойны, мы не собираемся распространять их в пакетах, перевязанных зеленой с черным лентой; при таких условиях нельзя говорить об открытом мятеже. Но нас отстранили от участия в проведении операции, и мы не понимаем почему; поскольку за это время дела, мягко говоря, отнюдь не наладились, мы пребываем в недоумении. К тому же мы много думали о появлении этих свитков, об их распространении, и некоторые факты кажутся нам поистине странными. Так, мы пришли к заключению, что только люди — будь то один человек или несколько,— имеющие доступ к картотеке и к делам предприятия, могли пользоваться свободой передвижения, необходимой для подобного рода действий.

— Позвольте вам заметить,— возразил я,— что мы не дожидались ваших заключений для рассмотрения этой гипотезы, и именно поэтому мы вынуждены подозревать всех, начиная с нас самих. Если бы вы довели ваше рассуждение до конца, то поступили бы как я и согласились все до одного — и по доброй воле — участвовать в подражании, которого от вас требуют.

— Ваши слова скорее убеждают меня, что вы и генеральная дирекция потеряли голову: это подражание смехотворно и совершенно бессмысленно. Кто-то, по-видимому, подражает голосу Сен-Раме, и вы надеетесь обнаружить его, требуя, чтобы ваши руководящие сотрудники участвовали в подобном балагане! Нас угнетает не сознание, что нас подозревают, а ощущение, что предприятие понемногу теряет рычаги управления. Подозрения нас не пугают, но в таком случае принимайте реальные меры, делайте у нас обыски, проверяйте, как мы проводим время, допрашивайте наших сотрудников, наши семьи, наших друзей, но, бога ради, не теряйте больше времени и энергии на эти нелепые разговоры!

Аберо был прав. Пока я его слушал, я полностью сознавал, в каком по меньшей мере нелепом виде выставила себя дирекция с начала событий. Захваченный водоворотом ежедневных обязанностей, оказавшись, сам того не желая, в самой гуще событий, я до сих пор лишь смутно испытывал это ощущение. Но теперь все сразу прояснилось в моем сознании. Поведение американцев, особенно Мастерфайса, обращения Сен-Раме к персоналу, приказ подражать голосу генерального директора, данный руководящим кадрам,— все это показалось мне тревожными симптомами растерянности. Встретив проницательный взгляд Аберо, я устыдился, что согласился выполнить миссию, возложенную на меня вице-президентом; но кто в наше время посмел бы отказаться? Аберо нарушил молчание.

— Моя личная точка зрения такова,— сказал он,— нас сознательно и, конечно без нашего ведома, отстранили от проведения операции. Повторяю, это моя личная точка зрения, кроме моей жены, вы единственный человек, кому я высказал это свое глубокое убеждение.

— А за что мне такая честь? — спросил я недоверчиво.

— Очень просто, дорогой директор по «человеческим отношени-

ям»,— ответил Аберо улыбаясь,— вы один можете мне действительно помочь. Я уверен, что вы были невольным свидетелем разных фактов, поступков, разговоров, которые мне теперь было бы очень важно проанализировать, и, я вас уверяю, тогда все бы прояснилось. Вы не сделали этого сами, потому что ваши обязанности затягивали вас в самую гущу событий. Чтобы решить трудную проблему, надо подняться над ней, а потом взять разгон и ринуться вниз, подобно соколу... А теперь,— добавил он, как будто говоря сам с собой,— быть может, интересы предприятия, а значит и наши, не в том, чтобы осветить положение, а, напротив, сгустить краски и затемнить, раз уж мы зашли так далеко.

— Но чего же вы ждете от меня, наконец?

Аберо секунду помедлил, потом встал, подошел к окну, распахнул его и высунулся наружу.

— Что вы делали на днях в тупике дэ Ронс? — спросил он, вдруг резко повернувшись.

Я подскочил. Уж не играл ли он мной для собственной забавы с начала нашего разговора? Я сразу перешел в наступление.

— А вы? — ответил я резко.— Я видел, как вы вышли из таверны.

— Не сердитесь, я в самом деле был в этой таверне и захожу туда почти каждый вечер пропустить стаканчик после работы в конторе. Может, и вы с Селисом случайно нашли еще одну таверну в этом уголке?

— Прошу вас,— оборвал я его,— сейчас не время для шуток! Как знать, быть может, судьба «Россериз и Митчелл-Франс» решается в какой-то степени уже в эти минуты.

— Вы правильно заметили, дорогой друг, она решается и здесь, но в очень малой степени, ибо вы меня не разубедите, что в большей степени она решается в другом месте.

— Где же?

— А вот где, мы должны не только найти, но и доказать, что это именно так,— ответил Аберо,— ибо в конце концов с помощью минимальной сообразительности и интуиции не так уж хитро догадаться где, но вот доказать — это другой коленкор.

Внезапно потеряв терпение, я решил осадить этого субъекта, обрушив на него одну из тех проповедей, которые мне так хорошо удаются, благодаря которым я занял свою высокую должность и ловко укротил Лё Рантека и Бриньона. А этому Аберо, выпускнику Горной школы, угнетенному торговыми кадрами, я сказал следующее:

— Откуда в вас столько злобы и высокомерия, Аберо? Вы пытаетесь меня обойти и толкнуть в лагерь мятежников. А почему? Потому что я вам мешаю. Вас одиннадцать, а вам хочется, чтобы было двенадцать; и вы, Аберо, просто беситесь, что я стою в стороне, вне вашего влияния. Ведь вы глава этих мятежных кадров, вы сбиваете их с толку и хотите отомстить им за ваши неудачи, за то, что они столкнули вас с пути к власти. Что вам понадобилось у нас? Да сумеете ли вы продать хотя бы один галстук? А где ваши прогнозы? Что вы предсказали? Что вы предвидите? Так вот, я вам скажу: вы предвидите, что, используя беспорядки, вы наверстаете упущенное. Быть может, вы и есть обличитель? Ваша логика, ваша хитрость, ваша злопамятность были бы для этого подходящей закваской, и вот вам с дьявольской изворотливостью удалось впрыснуть в утробу нашего предприятия дозу яда и неизвестных вирусов. Вы, как видно, много знаете, Аберо, и в голове у вас полно задних мыслей. Проповедуете ли вы ложь, чтобы выпытать правду, или вы тот самый человек, которого мы разыскиваем? Я очень хорошо представляю себе,

как вы сидите в номере отеля и строчите эти обличения, желчно насмехаясь над теми, кто «знает», потому что сами-то вы не знаете. Почему вы не строите дорог и мостов для улучшения транспорта и сбыта товаров? Что делать горному инженеру в главном штабе нашего предприятия? А может, вы подосланы не вашими коллегами, а какой-нибудь революционной партией? Решитесь ли вы использовать все средства, даже самые подлые, чтобы сокрушить нашу компанию и обмануть наших руководителей? Действуя таким образом, вы окажетесь виновными — и вы, и ваши сообщники — в чудовищном преступлении. Общество потребления прочно стоит на ногах, Аберо! Чем же вы хотите его заменить? Я вижу в вас печальный образец крупного руководителя, скучающего буржуа, всегда готового злословить и разрушать, ничем при этом не рискуя, но в то же время желающего пользоваться всеми благами и наслаждаться жизнью, злоупотребляя свободами, которые расточают индустриальные демократии! Теперь я вижу источник, причину растущего у нас возбуждения: вы его провоцируете. Ваша цель — дезорганизовать предприятие, чтобы затем реорганизовать его исключительно в собственных интересах. Вы ненавидите Анри Сен-Раме и водите за нос Рустэва и своих коллег. Однако теперь я облечен новой властью и на меня возложена миссия, которую я выполню во что бы то ни стало: я должен заставить кадры главного штаба подражать голосу генерального директора. Мне не нужны ни ваши поучения, ни ваши советы, говорите прямо: готовы ли вы подражать, да или нет?

Стыдитесь, Аберо, вы оплевываете наши свободы, наше процветание, нашу экспансию, наши cash-flow, наш staff and line, наш закон спроса и предложения, наше изобилие и пресыщение наших народов и нас самих. Посмотрите на себя — вы тощий или толстый, Аберо? Вы толстяк. Что вы едите, Аберо? Говяжье филе или кусок хребтины? Вы едите филе. Что вы предпочитаете, зашеину или вырезку, Аберо? Вы предпочитаете вырезку. А разве вы не отталкиваете с отвращением бычий хвост и толстый край или суповую говядину и огузок? Да, вы отталкиваете их с отвращением. А какое у вас жалованье, Аберо: мизерно малое, уныло среднее или чертовски высокое? Оно чертовски высокое, Аберо, и вздымается под облака, белые облака, спокойно плывущие по голубому небу нашей цивилизации, которую вы хотите очернить, исполосовать безобразными молниями и уничтожить. И вы мечтаете, Аберо, что мир наш погибнет, на наших нефтяных скважинах запылают пожары, наши стада будут отравлены, свежие овощи завянут, а сухие превратятся в труху, наши фрукты сгниют, прекратится массовое изготовление майонезов, наши разнообразные живительные напитки станут безвкусными и наши реки пересохнут! Вот о чем вы мечтаете, Аберо, но в ваших зловещих видениях вы не забываете построить себе Ноев ковчег, куда вы отнесете хорошую вырезку, кусок филе, ромштексы, бифштексы, спелые и сочные персики, а также горючее, лоты, буры, современные хирургические ножи, бургундские и рейнские вина, коньяки, арманьяки и разных шлюх со всего мира. А потом, Аберо, после вашего потопа, вы причалите к берегам вашего хозяина Сатаны и он вас отблагодарит. О, Аберо, я вижу вас с золотым трезубцем в руках и длинным зеленоватым хвостом, вижу, как вы шагаете по песчаным отмелям, которые были нашими океанами в те счастливые времена, когда люди весело производили, упаковывали, продавали, копили деньги, делали вклады и с песнями занимались инвестициями и амортизацией! Так знайте же, Аберо, вы еще не победили: вы встретите на своем пути многие миллионы гражданок и граждан, возглавляемых многими тысячами директоров по «человеческим отношениям», которых на-

правляют и воодушевляют многие сотни председателей и генеральных директоров компаний, а ими, в свою очередь, мудро и твердо руководят многие десятки маршалов и глав государств, примирившихся ради общего дела с обнищанием своих народов; уж они-то, проводя совещания на самом высоком уровне, найдут нужную тактику, чтобы стереть в порошок ваш золотой трезубец и отрубить вам зеленоватый хвост! Долой всех, кто пытается сокрушить наши гигантские американские и транснациональные предприятия! А теперь, господин заместитель директора по прогнозированию, на основании полномочий, данных мне нашими любимыми руководителями, и в высших интересах нашей фирмы, так же как и в ваших собственных, я требую, чтобы вы подражали голосу Анри Сен-Раме, генерального директора фирмы «Россериз и Митчелл-Франс»! Что вы мне ответите?

— Я вам отвечу,— очень спокойно сказал Аберо, которого моя речь, по-видимому, ничуть не потрясла,— что вы просто не в своем уме. Я только что проверил впечатление нашего коллеги Лё Рантека, выводы которого мы напрасно недооценили, считая, что они вызваны минутной вспышкой озлобления. Теперь я вижу, что он не ошибался и его рассказ был совершенно точен. Он нам клялся, что вы говорили в таком тоне и таким языком, какие можно услышать лишь на театральной сцене или в сумасшедшем доме. По его словам, вы употребляли странные выражения, ваши глаза сверкали диким огнем, вы бессмысленно размахивали руками и поминутно бросали взгляды на окно, как будто в вашей больной голове мелькала мысль ринуться вниз или выбросить за окно вашего собеседника. А Бриньон описал нам свой разговор с вами как настоящую пытку. Он в самом деле подумал, что вы на грани безумия, и вы так его напугали, что он подражал голосу директора много раз подряд. А теперь и я тоже услышал необыкновенные вещи. Не будем останавливаться на содержании вашей речи, сейчас бесполезно спорить с вами. Но ее форма сразу настораживает и способна ошеломить любого человека из любой страны, каковы бы ни были его должность, жалованье или национальность. Положительно что-то неладно на этом предприятии, и если сопоставить ваши три смехотворных и бессвязных выступления с недавними речами Анри Сен-Раме, мы вправе забить тревогу, тем более теперь, когда Лё Рантек принес нам бесспорное доказательство, что наш главный штаб не только одобряет этот нелепый язык, но восхищается и упивается им. Вас как будто даже повысили в должности, на глазах у Лё Рантека, после взлета подобного красноречия, когда вы сравнивали нас со средневековыми рыцарями! Отдаете ли вы себе отчет, в каком состоянии вы были несколько минут назад? К чему эти шутовские ссылки на вырезки, зашеины и свежие овощи? А помните мой зеленоватый хвост? Честное слово, вы переутомились, мой дорогой, и наши друзья Мастерфайс и Сен-Раме тоже. Хотелось бы знать, что думает об этом в глубине души такой уравновешенный человек, как Берни Ронсон. Рустэву, у которого, как бы вы к нему ни относились, много здравого смысла, теперь, наверно, приходится нелегко. И неужели все это — следствие злосчастной трещины, этих обличений и разных случайных обстоятельств? Послушайте, пора действовать, не пребывайте в прострации, как больной после кризиса! Я не принимаю всерьез отповедь, которой вы меня тут угостили, она бессвязна, все искажает, и это не похоже на вас. Я всегда считал вас человеком, достойным уважения, хотя служебные дела редко сталкивали нас, и вы могли бы стать крупным директором по «человеческим отношениям», если бы требовали немного больше независимости от ваших начальников и если бы вызвали интерес к этим вопросам у ваших коллег, склонных недооценивать их, как, впрочем,

недооценивал и я сам. Что же, в самом деле, происходит? Что сводит вас с ума и до такой степени волнует наших начальников? Скажите мне правду об этом ночном бдении! Помогите нам, помогите нашему предприятию и его персоналу, не играйте невольно на руку тому дьяволу, которого вы считаете моим хозяином и лучшим другом. У нас, руководящих кадров, есть более важные дела, чем распутывать колдовские бредни. Присоединяйтесь к нашей группе, никто не станет принуждать вас отмежеваться от Сен-Раме и Мастерфайса. Вы должны сотрудничать с нами в их интересах и тем успешнее им служить. Что вы думаете о том, что я вам сказал? Разве я хоть чем-нибудь вас задел? Или был с вами невежлив? Какие мне привести доводы в доказательство моей доброй воли и искренности моего стремления объединить и поднять настроение наших коллег, которые, уверяю вас, совсем пали духом, и как прекратить панику и беспорядок, серьезно угрожающие нашему предприятию?

Его слова тронули меня. Тем более что я был неподготовлен, чтобы отвечать моему собеседнику, так как разделял его мнение о странном изменении языка внутри нашего предприятия. Ведь в день моего повышения я и сам заметил эту странность в поведении наших руководителей и моем собственном. Но следовало ли сказать ему об этом? Если я сознаюсь в ненормальности своих речей, не подумает ли он, что я говорил так нарочно, с определенным расчетом? Может, Сен-Раме и Мастерфайс, вскочившие на ноги с криками: «Назначим его! Назначим!» на глазах у окаменевшего Лё Рантека, сами сделали это с расчетом? И с каким расчетом? Мне было не по себе.

— Хотите, я открою окно? — спросил Аберо — У вас жарко, нам будет легче дышать.

— Да, я как раз собирался это сделать.

Я встал и, тяжело ступая, подошел к окну. Аберо последовал за мной. Я распахнул окно. Мы облокотились на подоконник и стали смотреть на улицу Оберкампф и дальше, направо, на могилы и памятники кладбища Пер-Лашез.

— Вы заметили, как близко от кладбища находится тупик дэ Ронс? — спросил Аберо.— Совсем рядом.

Я вздрогнул. Этот человек был дьявольски хитер. Но на этот раз я не уклонился от ответа:

— Да, я заметил это как раз сегодня, между двенадцатью и двумя часами дня, и уверен, что ключ от загадки спрятан на этом кладбище.

— Да, да,— подтвердил Аберо,— я вполне согласен с вами; но сознайтесь, вы, право, странный человек, вы мгновенно переходите от необъяснимого возбуждения к поразительной трезвости суждений и выводов.

— Должно быть, я просто болен,— холодно ответил я, полностью овладев собой.

Аберо замолчал. Через несколько минут он отошел от окна и, став посреди моего кабинета, спросил меня с обезоруживающим спокойствием:

— Так что же, вы согласны примкнуть к нашей группе, разумеется, как один из руководящих кадров, а не в качестве директора по «человеческим отношениям»?

— А вы,— ответил я не раздумывая,— согласны подражать голосу нашего генерального директора, ради чего я и хотел сегодня повидаться с вами?

— О, если дело только за этим,— ответил он беспечно,— я даже серьезно тренировался; представьте, вчера вечером я развлекался тем, что звонил своим коллегам, подражая голосу директора, и, знае-

те, я всех одурачил. Сейчас я вам покажу. Что вы хотите, чтобы я сказал?

— Право, не знаю,— ответил я ошеломленный,— говорите что хотите.

— Ладно. Слушайте.— И он заговорил, подражая голосу Сен-Раме: — Господин директор по «человеческим отношениям», я счастлив, что, несмотря на ваше довольно щекотливое положение, вы согласились сотрудничать с нами. Теперь двенадцать руководящих кадров предприятия соединят воедино свои способности и энергию — а это очень много — и, без сомнения, достигнут быстрых и очевидных результатов. Для начала я вас извещаю, что наше собрание состоится сегодня в двадцать один час в заднем зале таверны «Гулим», в тупике дэ Ронс, недалеко от Восточного кладбища. На этом собрании мы свободно обменяемся мнениями и поделимся информацией о положении на предприятии. Желающие могут после собрания остаться поужинать. Каждый сам заплатит за себя. Я, Сен-Раме, с радостью констатирую, что ответственные сотрудники моего предприятия объединились, чтобы предохранить его от вредоносных действий тех, кто стремится развязать нездоровые силы, подспудно живущие в глубине каждого из нас. Мы были добрыми,— нас хотят сделать злыми. Мы были непреклонными,— нас хотят сделать мягкотелыми. Будь я обличителем, я пришел бы в ужас, узнав, что двенадцать самых крупных сторожевых псов фирмы «Россериз и Митчелл-Франс» с нынешнего дня вышли на охоту и будут красться ночами по коридорам и галереям, по подземельям и катакомбам, и ноздри их раздуются, учуяв запах моей серебристой шерсти; а завидев меня, они оскалят свои пасти с белыми стальными клыками, припустятся за мной, выгибая спины и выбрасывая лапы, и будут гнать меня до самой преисподней, а там настигнут и разорвут в клочья. Ну как, это вас устраивает?

— Да,— ответил я потрясенный.

И заместитель директора по прогнозированию вышел и тихонько притворил за собою дверь. Из этого подражания уже сочилась кровь.

Какой позор!

(Окончание следует)

КОРНЕЛИА ДАНЕТ. Румыния. Первая проба.

КЕННЕТ РЕКСРОТ

Из книги «Новые стихотворения»

■

Перевод с английского АЛЕКСЕЯ ПАРИНА

Кеннет Рексрот не любит комментировать свои стихи, считая, что никаких комментариев не требуется,— его тематика общедоступна, а поэтическая речь ясна и проста. Книги Рексрота — от первого сборника «В какое время» (1941) до «Новых стихотворений» (1971, переизд. в 1973 и 1974 гг.), откуда взята эта подборка,— и в самом деле отмечены будничностью материала и прозрачностью, «спокойствием» стиха, которые он так ценил у одного из своих учителей, Уильяма Карлоса Уильямса. Читателю 70-х годов Рексрот может даже показаться чуть старомодным. Между тем в 50-е годы Рексрот был одним из вдохновителей «битников» — молодых поэтов, поднявших авангардистский бунт против идеалов и культуры «молчаливого большинства» тогдашней Америки. Ему многим обязаны самые талантливые из них: Аллен Гинсберг, Гэри Снайдер, Джек Керуак.

Кеннет Рексрот — поэт еще мало известный советскому читателю; вглядимся в его творческую биографию. Сегодня он один из последних представителей поэтического поколения 20-х годов, а это поколение не признавало проторенных дорог и объявило беспощадную войну архаичности и бесстрастному академизму. Это было поколение поэтов-урбанистов, бунтарей и искателей — достаточно назвать такие имена, как Ленгстон Хьюз или Харт Крейн. Рексроту передалась характерная для той эпохи обостренность переживания самых обыденных, казалось бы, явлений бытия, по-новому воспринятых свидетелями исторических потрясений невиданного масштаба.

И по сей день Рексрот сохранил это нешаблонное восприятие повседневного и непримечательного. Его сдержанная тональность по-прежнему скрывает в себе пафос поэтического поиска и недоверие к устоявшимся, признанным формам и стиховым принципам. Его простота обманчива. Она вовсе не синоним безыскусности. Это «сотворенная» простота, итог многих влияний и увлечений, характерных для всей американской поэзии XX века.

Путь Рексрота отразил это общее художественное движение, о котором сам он сказал выразительно и точно: «Отказ от всякой риторики и символичности в поэзии, возвращение к прямому высказыванию, простым и ясным образам, непретенциозным темам, приверженность такому материалу, который поддается проверке объективной реальностью, категорическое неприятие всего сентиментального. Думаю, что такова, по сути, творческая программа всякой настоящей поэзии».

Последнее утверждение, конечно, спорно — Рексрот исходит из специфически американского опыта. В программной «непретенциозности», создавшей особую поэтику с ярко выраженными американскими чертами, сказывались существенные особенности духовной жизни и культуры по ту сторону Атлантики: всевластие рационализма, непосредственность отклика литературы на текущие события, перевес конкретного над умозрительным и многое другое. Такая ориентация сопровождалась для поэзии и не-

сомненными приобретениями, и очевидными утратами. Творчество Рексрота подтвердило это, как и творчество большинства поэтов, с которыми он начинал в 20-е годы. За полвека Рексрот не отступил ни от программы «прямого высказывания», ни от подчеркнутой — не без вызова — позиции общественной и творческой независимости.

Рексрот — очень типичная фигура для своего поколения. Он родился в 1905 году в небольшом городе Саут-Бенде, штат Индиана. Стихи он стал писать еще учеником художественной школы в Чикаго. Шли двадцатые годы. Отказавшись от мысли о солидном занятии и налаженном быте, Рексрот жил случайной работой, потом открыл в Чикаго кафе поэтов «Зеленая маска», где читал стихи вместе с юным Ленгстоном Хьюзом. «Красные тридцатые» застали Рексрота в Калифорнии, где он включился в стачечную борьбу докеров и затеял издание рабочей газеты; почти все материалы для нее он писал сам и сам же печатал газету на ротопринте. Рексрот не стал социалистом, но свои левые убеждения он сумел сохранить и в тяжкие годы маккартистской реакции.

Понятно, что привлекло в нем «битников», начинавших во времена массового конформизма: Рексрот был одним из немногих, кто в годы «холодной войны» имел смелость выступить против истерии «обезличенной мстительности». Долгое время он почти не печатался, ушел в переводы из китайской и японской классической поэзии — следы этой серьезной работы, для которой были изучены языки и поэтическая культура Востока, явственны и в «Новых стихотворениях». Когда в 1956 году вышла, наконец, книга его собственных стихов, она прозвучала манифестом демократической американской поэзии, вновь осознавшей свою насущность в тревожном «контексте» того времени. Книга называлась «В защиту Земли».

Это заглавие точно формулирует главную тему всего, что написано Рексротом в последние десятилетия его творчества. Свидетель двух мировых войн, Рексрот необычайно чуток к той угрозе самой жизни на планете, которую десятикратно умножило изобретение современных средств уничтожения людей, животных, растений. Вместе со своими молодыми друзьями — «битниками» — он был участником знаменитых митингов против атомного оружия и антивоенных поэтических чтений в Сан-Франциско 50-х годов. Но в поэзии пути Рексрота и «битников» вскоре разошлись: если у многих из них бомба вызывала обреченные настроения, то у Рексрота сознание страшной опасности живому бытию оттачивало обостренность восприятия каждого человеческого существования, каждого зверька и росточка как единственного в своей неповторимости мира, который необходимо защищать.

Поздняя лирика Рексрота, представленная в этой подборке, затрагивает «вечные» для поэзии темы старости, последней любви, прощания с миром. Когда Рексрот пишет о вечности духовного бытия, не обрываемого физической смертью и лишь переключаемого в «иной универсум где-то поблизости», отчетливо слышатся отзвуки философских учений Востока. Но, пожалуй, еще отчетливее звучит в таких строках гуманистическая вера в нравственные силы человека, живущего в тревожном и все-таки прекрасном «универсуме» сегодняшнего мира.

В поэзии Рексрота очень сложно взаимодействуют — переплетаясь и борясь друг с другом — трагическая тема быстротечности времени, неизбежности распада и тема неисчерпаемости жизни, великого наследования, не прерывающегося тысячелетиями и противостоящего безумным устремлениям к войне, которая означает для мира самоубийство:

Годы проходят,
И вместе с годами проходят птиц поколенья.
Но наблюдай зорче.
Те же самые сойки и зяблики
Были, сдается, на том же месте
Для тысячи поколений людей.

(Перевод А. Парина)

Известно, что самые заурядные, годами не замечаемые вещи вдруг обретают новизну и подлинную свою значимость в минуту, когда привычное оказывается под угрозой исчезновения и тем более — насильственного уничтожения. Так и в стихах Рексрота: лунная белизна, которая заполняет глаза, силки паутины, запах морской травы, звуки дыханья — все это оказывается наполненным особым смыслом и особой эмоциональной заряженностью, потому что речь идет не просто о живописи словом, а о пульсировании жизни, уловленном и пережитом с такой лирической остротой именно потому, что слишком чувствуется опасность, нависшая над этим живым миром со всеми его бликами и тенями: «Ты слышишь? Мы дышим. Мы живы еще».

Рексроту не свойственны ораторские интонации, его стихия — камерность, приглушенность, полутона. Однако за его строками о плотном тумане между холмами и красных кленовых листьях на фоне дымной завесы заката ощутимо пусть и сдержанное по выражению, но по сути страстное отрицание «нулевой точки», к которой непозволительно близко подошло человечество. Иными словами, у Рексрота постоянно ощутима большая и особенно актуальная в наши дни тема — защита Земли, защита жизни. Трудно назвать его стихи жизнеутверждающими по тональности — скорее в них неослабная борьба горечи и надежды. Но побеждает все-таки надежда.

Поздний Рексрот — лирик, один из самых тонких лириков в американской поэзии наших дней. Как и прежде, он стремится к ясному образу и страшится всякой «сентиментальности» — настолько, что порою это оборачивается несколько суховатым стихом, который слишком выдает свою сконструированность согласно принципам простоты стиля и точности объективного свидетельства о мире. В творчестве Рексрота все заметнее японское влияние — достаточно прочитать такие стихи, как «Сутра цветов» или «Одна пустота», с их намеренной разделенностью образных рядов и даже изолированностью строк — сегментов, передающих мир каждый раз в каком-то строго обособленном мгновенье. Как и у японских мастеров, такие образные сгущения у Рексрота порою оказываются очень выразительными, но в сочетании с американским материалом этот прием все-таки выглядит несколько искусственным. Настоящая сила Рексрота как раз в целостности видения и главной темы. В способности словно бы наново открывать едва ли уже не исчерпанные поэзией темы, охватывая окружающий нас прекрасный и хрупкий мир естественной жизни встревоженным взглядом человека той эпохи, когда так реальна угроза бытию на Земле и так настоятельна потребность противодействовать этой страшной опасности.

В подготовке этой подборки принимала участие известный переводчик и исследователь японской поэзии В. Н. Маркова.

А. ЗВЕРЕВ

Без единого слова

Молчаливые ветви застыли —
Жарко...

Распеленай свою душу
Мысли свои исповедуй мне
Что было с тобой
Что происходит сейчас...

Словно колокол,
В который никто никогда не звонил.

Смущенье чувств

Белизна луны заполняет пространство меж листьев,
Как музыка. Луной убеленный,
Воздух не движется. Белое
Лицо твое движется навстречу лицу моему.
Плотская грусть
Связует нас, как силки паутины,
Как созвучья, как тонкие запахи, как лунная белизна.
Твои волосы падают — и наши лица связуют.
Выпуклость твоих губ рядом с моими губами,
И рот мой чувствует мякоть твоего языка.
Летучая мышь врывается в лунную белизну.
Лунная белизна заполняет твои глаза,
И в них исчезают зрачки и радужницы исчезают —
Предо мною сферы холодного пламени.
Как оленьи глаза,
Они блуждают поблизости, в пустынном лесу.
Твое худощавое тело в ознобе дрожит
И пахнет морскою травой.
Мы слушаем лежа
Звуки дыханья, одевшись белизною луны.
Ты слышишь? Мы дышим. Мы живы еще.

Мне снится Лесли

Ты вошла в сновиденье,
Явилась с огромными
Светящимися глазами
И зыбкими прядями темных волос
Из дали полустолетья,
Чтоб снова спеть мне
Песенку Кемпиона [1], которую мы так любили.
Я поцеловал трепещущую шею.
Не было и намека во сне,
Что ты по прошествии долгого времени
Так уж внезапно пришла
С лучезарной Еленой, белоликой Иопой [2] и прочими,—
Был только покой
Позднего послеполудня
Сострадательной осени
В юности дальней.
Я и думать забыл,
Что я стар, что ты бесплотна.

Воспитание

И вот к сухому склону холма,
К террасам его, где в прах известняк искрошился,
Где когда-то росли виноградники,
Подходит вплотную зябкий лиловый вечер
И заползает под кроны маслин,
И только цветки миндаля и первые звезды
Светятся. Ты говоришь,
И рука твоя тонкая с длинными пальцами,
Как веретенце света,
Движется, будто бы ты
Дирижируешь тихою музыкой.
Что говоришь в темноте?
Ты объясняешь мне все —
Рощи масличной заброшенность,
Старость разрушенных стен, которые Рима старее,
Цветенье миндальных деревьев,
Сгущение сумерек
Возле звезд и возле
Губ твоих говорящих и движущейся руки.

Уединение

Плотный туман оседает
Между холмов.
Из домика я выхожу.
Вы б ни за что не сказали,
Что лес окружает его.

---

[1] Кемпион Томас (1567—1620) — английский поэт эпохи Возрождения.
[2] Елена, Иопа — персонажи древнегреческих мифов.

Кольцами вьется туман, как дым,
В световой полосе из дверного проема.
Слышу: пыхтит енот
В неразличимой чащобе.
Холодная сырость ползет под рубашку.
Почудился шум от машины
На дороге в лощине внизу.
На ощупь в тумане иду
До края просеки ближней.
Не видно ни зги.
Вдруг в темноте
Слышу у ног
Любовные вопли мужчины и женщины.

Двойники

Мой дядя верил, что у него
В ином универсуме где-то поблизости
Есть двойник, чья жизнь
Жизни его во всем
Противоположна, ибо тот человек —
По другую сторону от нулевой точки.
И когда-нибудь им надлежит поменяться местами.
Совсем не во сне, а всего на мгновенье
В момент пробуждения, и тогда бы мой дядя
Улыбнулся особой хитрой улыбкой,
И замер, и после недолгих раздумий
Пошел по своим делам.

Красные листья клена

Кленовые листья сверкают
Над улицей в раме стволов.
Глубокие тени пропитаны
Воздуха ровным багрянцем.
Вскорости листья совсем облетят.
Бледное зимнее солнце
Будет блестеть на снегом укрытых газонах.
Здесь были мы юными оба,
Здесь мы любили друг друга,
Не по возрасту мудрые.
Время, равное двум человеческим жизням, прошло.
Мы двое — вот все, что осталось от давней поры.
Все остальные исчезли вслед за годами.
Мы не встречались с тобою с тех пор.
Сегодня сюда я впервые вернулся.
Я медленным шагом тащусь, твой дом огибая,
Возвращаюсь, стою у стены и вновь возвращаюсь.
За крыльцом, обрамленным колоннами,

Кто-то сидит у окошка.
Тащусь потихоньку к реке,
Глазею на малого с удочкой у парапета моста,
На поплавок в прозрачной воде
Меж палых плавучих листьев.
А после тащусь на запад, к дымной завесе заката.

Одна пустота

Время подобно стеклу
Подобно стеклу пространство
Сижу недвижимо
Бог весть где Что-то
Внезапно случается
Тихое шумное спокойное яростное
Змея сворачивается спиралью
Вокруг самой себя
Все вещи легко пропускают свет
А потом обретают прозрачность
А потом исчезают вовсе
Одна пустота
И нет ей границ
Одна бесконечно неясная
Песня
Свернутого спиралью мозга
И больше нет ничего

День твоего рождения в Калифорнийских горах

Ломаная луна на холодной воде.
Крики диких гусей высоко в небесах.
Дым от костра вторгается
В геометрию неба ночного —
Точки огней в бесконечности тьмы.
Я вижу — за узкой полоской залива
Твоя черная тень колеблется возле огня.
На озере, скованном ночью, кричит гагара.
Но миг — и весь мир замолкает
Молчанием осени, ждущей
Прихода зимы. Я вступаю
В круг огневого света, держа в руках
Кукан с форелями нам на ужин.
Мы едим, и озеро шепчет,
И я говорю: «Много лет спустя мы станем
Вспоминать эту ночь и станем о ней говорить».
Много лет прошло с тех пор, и снова
Много лет. Я вспомнил сегодня
Эту ночь так ясно, будто прошлою ночью она была.
А ты мертва вот уже тридцатилетье.

Сутра[1] *цветов*

Тень густая и сонная под широченными листьями,
К бурой равнине далёко внизу прилипли туманы.
Собираю цветы — клевер и лилии с золотым ободком,
Колокольчики и полевые гвоздики. Кукушка в горах
Мечется, видя меня, и кричит:
«Кёгонкио!»[2]

Земля небо море
деревья птицы
дом
звери цветы

Раннее утро, стынь

Раннее утро, стынь,
Где-то в туманной мгле
Под горбоносой луною
Кричат призывно павлины,
Словно от боли.

Домик среди

Домик среди
Миниатюрного леса.
И всех-то событий что крики
Далеких павлинов и лай
Псов совсем уж далеких,
Да высоко-высоко
Лёт гомонящих ворон.

Прошлое и будущее отпали

Прошлое и будущее отпали.
Налицо лишь голубое и розовое
Мерцание безграничной
Поверхности моря.
Нет опоры для ног.
Времени нет.

Медленно поднимается месяц

Медленно поднимается месяц
Над спокойствием моря.
Медленно лицо любимой
Вырисовывается в памяти моей.

---

[1] Сутра — ритуальное изречение или свод правил.

[2] Цветы, приносимые в дар Будде *(японск.)*. По народным поверьям, кукушка кричит буддийские изречения.

Безлунная ночь

Безлунная ночь.
В черной кромешности неба
Взгляду брести много мильонов миль.
Уныние заполняет сердце.

Весенние лужи дорогу дают

Весенние лужи дорогу дают
Траве молодой.
Сережки вётел у дома
Превращаются в распевающих птиц.

Заря на птичьем дереве

Заря на птичьем дереве.
И еще заря.
И потом еще одна.

После полночи

После полночи
Во мгле
Под зимними звездами
Усики льда
Ползут через ряску.

Годы проходят

Годы проходят,
И вместе с годами проходят птиц поколенья.
Но наблюдай зорче.
Те же самые сойки и зяблики
Были, сдается, на том же месте
Для тысячи поколений людей.

В темени леса шепот

В темени леса шепот
Миллиона листьев.
Над глубиною моря вздох
Миллиона волн.

Долгое время человеческой жизни

Долгое время человеческой жизни.
Народы на площади.
Распад человечества.
Выживает только кристалл —
Бесконечно малый —
Бесконечно большой...

Р. К. НАРАЙАН

Мои дни

■

Перевод с английского Н. ДЕМУРОВОЙ

Глава девятая

Вздыхать по хорошенькому личику или фигурке, увиденной на балконе, на той стороне улицы или в толпе, мечтать о любви в обществе, где, по меньшей мере, в те дни существовала строжайшая сегрегация юношей и девушек и нельзя было заговорить ни с кем, кроме сестры... Мне предстояло пройти через стадию любовных мучений.

Возможно, огромное количество поглощаемой мною литературы способствовало тому, что я начал влюбляться во всех, кто ни попадался на моем пути,— взаимностью, конечно, мне не отвечали. Любая девица, остановившая на мне взор, тотчас становилась моей избранницей, пока ее место не занимала другая. Так я был покорен девушкой с овальным бледным лицом; она проходила в своем зеленом сари по нашей улице, когда мы еще жили на Боджанна Лайнз. А жила она на соседней улице, в доме у сестры, вышедшей замуж за инженера, и я согласен был пропустить любое событие, только не ее появленье, когда она мелькала мимо нашего дома. Иногда я тихонько шел за ней, словно раб, до самой ее калитки — она исчезала в доме, так и не удостоив меня ни единым взглядом. Я мечтал о каком-нибудь деле, связанном с техникой, которое дало бы мне повод посетить ее зятя и завязать знакомство, которое постепенно перешло бы в дружбу; а там в один прекрасный день я мог бы свободно сделать ей предложение на манер Виктории Кросс или Мари Корелли. Я думал о ней день и ночь и не сомневался, что мои мысли дойдут до нее, ибо Мари Корелли научила меня верить в то, что подлинная любовь не знает ни границ, ни препятствий.

Внезапно эта девушка исчезла из моего поля зрения, зато ее место заняла другая. Эта жила чуть дальше; стоя на террасе своего дома, она сушила волосы; впервые я заметил ее по дороге в колледж, а затем стал высматривать каждый раз, когда шел туда и обратно, и неизменно находил ее там же. Она была приземистая толстушка, но я все равно любил ее. Она, верно, по-своему была кокеткой, вечно пялилась на прохожих, а они не оставались в долгу и, возможно, даже заговаривали с нею. Впрочем, меня это не трогало. Я чувствовал, что жизнь моя стала богаче и целенаправленней.

[1] Окончание. Начало см. в № 10 за 1978 г.

С близкими друзьями мы вечно говорили о девушках, позволяя себе вольные шутки и получая от всего этого огромное удовольствие. Слепая жажда любви принимала фантастические формы — я даже влюбился в женщину-врача, которая лечила мою мать, ибо она всегда говорила мне несколько слов, когда я здоровался с ней. Это была полная замужняя англичанка средних лет. Но я видел в ней огромные возможности и вкладывал особый смысл в каждый ее взгляд. Любовь, особенно неразделенная, не знает никаких преград: ни физических, ни расовых, ни возрастных или географических.

Самым невероятным моим увлечением была девушка, которая жила в Англии и с которой я еженедельно переписывался. Она прислала мне свою фотографию, а я ей послал свою. Я носил ее фото в накладном кармане на груди и надеялся, что и она хранит мою там же; нас разделяло пять тысяч миль; даже если б я захотел отправиться к ней, я плыл бы на пароходе четыре недели. Я писал ей страстные любовные письма которые она сразу же отвергла, она отвечала безличными корреспонденциями, описывая каникулы в Брайтоне или новые марки в своей коллекции. Хоть тон моих писем ей не нравился, она продолжала писать, и это казалось мне хорошим знаком. В каждом письме я выражал ей свою безраздельную любовь и долгие годы хранил ее холодные, безликие письма с тем особым ароматом ее бумаги, пока не женился и не выбросил их прочь.

После нескольких ложных надежд пришло настоящее чувство. В июле 1933 года я поехал в Коимбатур со своей старшей сестрой, а затем задержался в ее доме. Мне не к чему было торопиться. Я был свободный художник и мог работать всюду, где бы я ни оказывался. Однажды я увидел девушку, которая набирала воду из уличного крана, и тут же влюбился в нее. Конечно, заговорить с ней я не мог. Позже я узнал, что она даже не заметила, как я ходил вокруг, пока она ждала, чтобы медные кувшины наполнились водой. Мне страстно хотелось хорошенько разглядеть и запомнить черты ее лица, но фактор времени действовал не в мою пользу, ибо я мог смотреть на нее только, пока ее кувшины наполнялись, а потом она уносила их и не возвращалась до тех пор, пока они не опустошались снова. Да и не мог же я просто стоять и смотреть на нее; я мог лишь взглянуть на нее искоса, проходя мимо крана. И я страдал оттого, что образ ее вечно расплывался у меня перед глазами. Я был уверен только в том, что люблю ее, и мучился из-за запретов, налагаемых на меня обществом, в котором я жил. Ее отец, высокий мужчина, директор школы, был другом нашего дома и часто заходил поболтать с моими старшими родичами по дороге в школу, которая находилась на углу нашей улицы. Сам он, его дочь (да и его школа) располагались так близко от нас, что их свободно можно было окликать, не выходя из дома, однако сдержанность, предписанная кодексом поведения, налагала свои ограничения. Я пытался преодолеть их, завязав дружбу с директором школы. Он любил книги и интересовался литературными делами, и мы находили множество общих тем для обсуждения. Мы стали встречаться у него в школе после окончания занятий и беседовали, удобно устроившись на прохладной гранитной площадке перед небольшим алтарем Ганеши на школьном дворе. В один памятный вечер, когда в небе появились звезды, я прервал разговор о политике, который мы с ним вели, и коротко и прямо объявил ему о своем чувстве к его дочери. Он был поражен, но не выдал себя. В ответ на мое предложение он повернулся к алтарю и закрыл глаза в молчаливой молитве. Среди людей нашего общественного положения никто не осмелил-

ся бы поступить так, как я. Следовало соблюсти обычай: говорить о браке могли лишь старшие члены семьи. То, что я сделал, было неслыханно. Однако директор проявил понимание и не велел мне тотчас замолчать. Мы были знакомы семьями — в смысле класса, общины и касты возражений не было. Он ответил:

— Если господь того пожелает...— Он не стал обсуждать мой поступок, а только сказал:— Браки заключаются на небесах. Кто мы такие, чтобы говорить «да» или «нет»?

Потом он объяснил мне все сложности. Надо будет посоветоваться с его женой и другими женщинами в семье, получить согласие моих родителей и так далее, и тому подобное, а также сравнить наши гороскопы — последнее оказалось серьезным препятствием.

В какой-то день он принял практический тон и спросил меня, как я намереваюсь зарабатывать на жизнь. К счастью, примерно в это время «Панч» опубликовал мой небольшой фельетон («Как писать индийский роман», в котором я высмеивал западных писателей, приезжающих в Индию для сбора материала) и заплатил мне шесть гиней. Это была моя первая престижная публикация (редактор отверг все, что я посылал ему впоследствии), она дала мне возможность ответить на вопрос моего будущего тестя. Я живописал ему, как буду печататься в лондонских газетах и журналах, и пояснил, что, когда я закончу свой роман, он будет приносить мне доход до конца моих дней и еще пятьдесят лет после того. Он выслушал меня без возражений и даже с явным интересом, лишь изредка прерывая меня сентенциями такого рода:

— А ведь если б твой отец воспользовался своим влиянием, он бы сумел наверняка добиться для тебя места в Бангалуре. Может, он попробует?

Это меня огорчило, и я поспешил изложить ему свою экономическую систему: мне казалась презренной самая мысль о том, чтоб зарабатывать больше, чем нужно на пропитание, то есть двадцать рупий в месяц для одного и сорок — для человека женатого, и я полагал, что и жена моя будет держаться тех же взглядов. Излагать все это отцу девушки — он и без того колебался, а тут и вовсе пришел в смятение — было не очень-то дипломатично, но я упорствовал в своих убеждениях. Впрочем, хоть они и огорчили моего будущего тестя, реально виды на брак они никак не испортили.

Моя экономическая теория в расчет не принималась, зато принимались в расчет звезды. Мой тесть, сам видный авторитет в толковании гороскопов, посовещавшись кое с кем из знатоков, пришел к выводу, что наши гороскопы несовместимы. В моем гороскопе седьмой дом занимал Марс (седьмой дом означал брак). В астрологических текстах прямо значилось, что Марс в седьмом доме означает не что иное, как катастрофу, ежели только в гороскопе предполагаемой избранницы не будет того же недостатка, в каковом случае два минуса дадут плюс.

Последующие две недели были для меня нелегки. Директор и слышать обо мне не желал. Свой отказ и свою покорность судьбе он облек в очень мягкие выражения, ибо, как оказалось, втайне он склонялся в мою пользу. Я потерял аппетит, не желал никого видеть и проводил дни в унынии и печали, устроившись на шезлонге где-нибудь в углу дома моей сестры.

Все сочувствовали мне. Должно быть, я получал удовольствие от этой драмы, делая все, что положено делать «безнадежно влюбленному». Я избегал проходить мимо уличного крана, я избегал директора школы и всю его семью. Поздно вечером, когда темнело, я выходил поразмять ноги — и быстро шагал, понурясь, не глядел ни вправо, ни

влево, погруженный в мрачные раздумья; моей силы воли хватало лишь на то, чтобы выкурить две сигареты «Голд лейк» и вернуться домой. Сестра, помня, что я ее гость, старалась меня всячески ободрить. Моя меланхолия ее раздражала.

Помню, что в это время я написал пьесу — она заняла меня на целый день. Пьеса называлась «Убежище грома». Это была леденящая душу трагедия, все герои которой погибали от удара молнии на башне, открытой небесам, в то время как вокруг грохотали оглушительные раскаты грома, завершавшие пьесу. Тема ее была в высшей степени философичной, она трактовала идеи любви, покорности судьбе и смерти и весьма развлекала меня, пока я ее писал. Я возлагал на нее большие надежды и в надлежащее время разослал ее во все концы цивилизованного мира всевозможным продюсерам и режиссерам. Я совершенно забыл о ее существовании, пока несколько месяцев назад литературное агентство Дэвида Хайема, избавляясь от старых рукописей, не обнаружило среди них и ее и не прислало мне ее назад.

Неблагоприятное расположение моих звезд вскоре стало предметом обсуждения среди астрологов, друзей директора школы. Он призывал меня и посылал то к одному, то к другому из них — я должен был поговорить с ними и сообщить ему их суждения и выводы; наконец, он послал меня к старику, жившему неподалеку от нас, в глубине сада, где росли кокосовые пальмы. Звали его «Челлаппа-сэр», уж и не знаю почему; возможно, прежде чем уйти на пенсию, он был учителем; говорили, будто он великий знаток. Я отправился к нему домой и стал объяснять суть дела. Он меня оборвал:

— Чего ты хочешь? Разве я Брахма, чтоб изменить твои звезды?

Он был очень сердит, хоть я и не понимал почему.

— Иди и скажи своему директору вот что. Мне все равно, выйдет ли его дочь замуж; я своих взглядов не изменю. Я с этим человеком много раз говорил, а он все сомневается. Если он в астрологии разбирается лучше меня, зачем он меня тогда беспокоит? Пусть слушается разумного совета и назначает день свадьбы, и все тут. Я ничего плохого в звездах не вижу. Он не заметил, какое положение в гороскопе его дочери занимает луна, а она нейтрализует Марс. Но этот человек хочет, чтобы я ему гарантировал, что Марс не нанесет вреда его дочери! Такой гарантии я дать не могу. Что я, Брахма, что ли? — Он все больше распалялся и пронзительно кричал: — Мне все равно, выйдет его дочь замуж или нет!..

Несмотря на все эти колебания и препоны, свадьба моя состоялась через несколько месяцев; ее отпраздновали со всей пышностью и торжественностью, с подобающей толпой гостей и обменом дарами,— словом, всем, чего желали и ждали мои родители.

Вскоре после моей женитьбы отца разбил паралич; теперь мать почти все время проводила наверху возле его постели. Новый член нашей семьи, моя жена Раджам, стала ее заместительницей внизу — на ее попечении оказалось трое моих братьев, которые все еще ходили в школу, повар на кухне, слуга и огромный черно-белый датский дог, купленный моим старшим братом, который любил собак. Раджам следила за запасами провизии в доме, пополняя их по мере надобности, и присматривала за поваром, чтобы он не расточал их попусту и не крал. Ей не было и двадцати, но она умело вела хозяйство и заслужила похвалу моей матери. С моими братьями она была в прекрасных отношениях. В том, что мы жили все вместе, было одно преимущество — дома мы всегда находили себе общество. В то же время у нас с женой всегда была возможность уединиться. В нашем распоряжении находилась отдельная комната; закрыв за собой двери, мы оказывались в идиллическом мире, который принадлежал только

нам. Не прошло и полугода, как Раджам показала себя столь опытной хозяйкой, что мать передала ей все дела; теперь мы могли побыть вдвоем только во время коротких дневных перерывов, когда она заходила ко мне в комнату, или ночью, когда все укладывались спать и дверь в кухню закрывалась. Вскоре и я стал проводить дома мало времени.

Чтобы упрочить свои доходы, я поступил в газету — репортером. Я должен был собирать майсурские новости и каждый день отправлять их в редакцию газеты, которая издавалась в Мадрасе и называлась «Джастис». Эта газета, выходившая ежедневно, защищала интересы тех, кто, не принадлежа к браминскому меньшинству, страдал от его засилья в общественной жизни, образовании и в государственных учреждениях. Хоть «Джастис» вела пропаганду против браминов, редакция почему-то не возражала против того, чтобы я стал их майсурским корреспондентом. Я уходил из дому часов в девять утра и в поисках новостей отправлялся на рыночную площадь и на базар — и все пешком. Я околачивался возле суда, полицейских участков и муниципалитета, пытаясь набрать до обеда не менее десяти дюймов ежедневных новостей. Домой я возвращался в час, проглотив обед, садился за машинку и отстукивал новости, снабжая их соответствующими заголовками. Теперь у меня была старая портативная машинка «Ремингтон», которую подарила мне младшая сестра. Час или около того я печатал, а потом расписывался, заклеивал материал в конверты и спешил к почтовому отделению в Чамараджапурам, чтобы поспеть к выемке почты в 14.20. Если мой младший брат (Лаксман, теперь знаменитый карикатурист) был дома, он соглашался, стоя одной ногой на педали, съездить на почту за минимальное вознаграждение (медяк за оба конца); но когда он отсутствовал, я бежал — в буквальном смысле слова — сам. Конечно, необходимости в такой спешке не было, ибо мои корреспонденции по большей части могли спокойно ждать или вовсе обойтись без публикации; но мы жили в век конкуренции, и я боялся, как бы меня не обогнали другие мадрасские газеты вроде «Мейл» или «Хинду», корреспонденты которых пользовались телефоном и телеграфом. Впрочем, эти корреспонденты были высокомерны и не снисходили до информации, которой я дорожил.

Отправив материал, я отдыхал в своей комнате; обычно в это время жена заходила ко мне. Я описывал ей все события дня: заторы или несчастные случаи на улицах, самоубийства и преступления, которыми я жил; затем я на час погружался в сон, а в четыре часа, выпив чашку кофе, был снова готов к выходу. На сей раз я посещал перед закрытием суд, чтобы записать приговор по делу фальшивомонетчиков или других злоумышленников.

Субботы я просиживал на собраниях муниципалитета, наблюдая, как отцы города ломают копья по каким-то непонятным вопросам,— это продолжалось дотемна. В те дни в совете всегда находилась пара юристов, которые не разрешали принимать решения, не изучив как следует процедуру и всевозможные местные законодательства. За два часа из огромной повестки дня успевали обсудить не более двух пунктов. После перерыва на кофе я внезапно хватал листки с повесткой дня и прочим и уходил, терзаемый головной болью. Иногда мои корреспонденции носили академический характер — приезжая знаменитость читала лекцию в университете или же там заседал Ученый совет.

В городе существовало тогда местное отделение Лиги наций, которое стремилось к установлению мира в этом мире собственными путями. Секретарь отделения, который был преподавателем истории, требовал представлять ему на изучение наши корреспонденции перед

отсылкой в газету. Я возражал против этого распоряжения, видя в нем посягательство на свободу печати, а он грозил лишить меня корреспондентских привилегий (которые в данном случае заключались в праве обедать в их помещении), на что я отвечал, что пожалуюсь на него в Ассоциацию журналистов, добьюсь его осуждения и доведу до сведения всех газетных синдикатов в мире, что он деспот и враг свободы.

Он заявил:

— Да знаете ли вы, что я и вас и ваши газеты уничтожу...

В знак протеста я покинул собрание отделения, а за мной ушли еще двое моих коллег. Я начал игнорировать его деятельность и бойкотировал все его начинания. Вскоре я понял, что это никак не затрагивает судьбы мира на земном шаре и не побуждает моего редактора задаться вопросом, почему я ничего не сообщаю о местном отделении Лиги наций.

На убийства я всегда мог рассчитывать твердо. Из Нанджангуда или Чамараджнагара, на самом юге Майсурского округа, полицейские непрестанно доставляли преступников. И уж тут-то я давал себе волю. Я ожидал возле морга результатов вскрытия и предварительного заключения полиции. Пока я не забывал пересыпать свои сообщения фразами вроде «как предполагают» и прочее, мне не грозила опасность обвинения в подтасовке фактов или в неуважении к суду. Я был знаком со множеством полицейских, сыщиков и осведомителей — помимо председателей и секретарей различных общественных организаций (включая Пинджарапол, приют для престарелых или калечных животных), которые мечтали о рекламе и добивались моего благорасположения. Любящие родители слали мне приглашения на свадьбы в надежде, что я напишу о них в газете и помещу фотографию новобрачных. Я с радостью отдал бы все полосы в газете тем, кто в них нуждался, но редактор, если и не отвергал мои материалы целиком, резал и кромсал их без жалости. Самые красноречивые мои описания он ужимал до двух строк. Сколько я за все это получал? По контракту мне должны были платить три рупии и девять ан за колонку в двадцать один дюйм. Мне казалось, что я посылаю ежедневно материалы дюймов на пятнадцать газетной колонки и должен получать, по меньшей мере, семьдесят пять рупий в месяц, но талант моего редактора к сокращениям вынуждал меня каждый день складывать мучительные дроби. В конце месяца я измерял свой «дюймаж» линейкой и отправлял счет; однако мои расчеты неизменно ставились под сомнение, и в результате мне высылали какую-то непонятную сумму — не больше тридцати рупий, а то и меньше.

Впрочем, работа мне нравилась: я познакомился близко со множеством людей, с их занятиями, а это дало мне многое. Репортером я проработал около года и, верно, оставался бы и дольше, если бы не написал своему редактору письмо, испортившее наши отношения. Мне задержали гонорар за три месяца, и я написал: «Я связан со многими газетами и периодическими изданиями в Америке и Англии, и они всегда высылают гонорары точно в срок; я не привык к проволочкам...» На что редактор ответил: «Если, судя по вашим утверждениям, вы так знамениты, стоит ли обращать внимание на небольшую задержку в выплате гонорара; если же, с другой стороны, вы отдаете себе отчет в том, что являетесь всего лишь корреспондентом, подрабатывающим материалами, которым мы даем ход по нашему усмотрению, вам бы следовало понять, что в ваших обстоятельствах такого тона брать не следует».

Я не простил редактору этого ответа и решил бросить газету, как только смогу себе это позволить.

Я очень тревожился из-за денег. Когда чек задерживался, я попадал в неловкое положение. Мой бюджет был рассчитан до последнего медяка. Мне надо было иметь достаточную сумму, чтобы оплатить свою долю расходов по дому, а также купить жене пудры или мыла. Я великодушно пообещал ей даже сари и купил его в рассрочку; оно было зеленое и стоило шестьдесят рупий; продавец согласился на выплату десяти рупий четвертого числа каждого месяца. Если я задерживал очередной взнос, шестого утром у нашей калитки появлялся сборщик взносов и требовал очередной суммы. Это был высокий, тощий человек с ввалившимися щеками и бесстрастным, словно у мертвеца, лицом. Услышав, как щелкает засов калитки, я повторял про себя слова из «Гамлета»:

— Смотрите, принц, вот он![1]

Я кидался вперед — задержать сборщика, прежде чем его увидит жена или кто-нибудь из домашних, и после долгих улещиваний, обещаний и монетки «на кофе» убеждал его, наконец, уйти. И пока я не выплатил этот долг, при виде жены в зеленом сари меня мучило чувство вины, словно я подарил ей краденое.

Я продолжал посылать материалы о бурном городе Майсуре и время от времени получал чек из редакции «Джастис». Но я порвал с газетой в тот же день, едва получил телеграмму от своего друга Пурны — он в это время жил в Оксфорде: «Роман принят. Рекомендация Грэхема Грина». Мой друг и сосед Пурна, который, бывало, перепрыгнув через стену, окружающую наш дом, приходил слушать, как я читал «Свами и его друзей», в августе 1931 года уехал в Оксфорд, пообещав найти там издателя для моей книги. Закончив роман, я тут же отправил его в издательство «Аллен и Унвин», а когда его вернули — в другое, а затем — в третье. Я уже привык к тому, что регулярно каждые шесть недель получаю свою рукопись назад (две недели туда, две недели — на столе у редактора и две — обратно) с пришпиленным к ней коротким отказом; все вместе давало мне шесть недель надежды! Я привык к этому почти механическому процессу и не испытывал больше волнения, получая отказ. Последним рукопись отверг Дент; в сопроводительном письме я просил его в случае отказа послать рукопись Пурне в Оксфорд, Эксетер колледж. В это же время я отправил Пурне письмо, в котором просил его привязать к рукописи камень и швырнуть ее в Темзу. Пурна, однако, как выяснилось, не тратил в Лондоне времени даром, а показывал рукопись одному издателю за другим. Испытав их всех, он написал мне: «В Темзу? К чему торопиться? Может, до этого не дойдет. Не отчаивайся». А я тем временем собирал новости для «Джастис».

Грэхем Грин жил в это время в Оксфорде. По какому-то наитию Пурна отправился к нему и вручил ему рукопись. Знакомство, начатое таким образом, перешло в живой интерес друг к другу и дружбу, которая продолжается по сей день. Грэхем Грин рекомендовал мою рукопись Хамишу Хамильтону, который тут же ее принял.

Получив телеграмму Пурны, я едва не задохнулся от радости и изумления. Теперь я увидел себя в новой роли романиста. Я заметил облегчение на лице жены, хоть она и старалась его скрыть. Тут же я поспешил написать в «Джастис», что не смогу больше снабжать их новостями из Майсура, хотя аванс за роман равнялся всего двадцати фунтам (минус пятьдесят процентов налога).

«Свами и его друзья» увидели свет в октябре 1935 года. Немногие рецензии были восторженными, но коммерческого успеха роман не

---

[1] Слова Горацио, указывающего Гамлету на Призрак («Гамлет», д. I, сц. IV. Перевод Б. Пастернака).

имел: он появился одновременно с такими побившими все рекорды бестселлерами, как «Человек — существо неизвестное» или «Европа изнутри», и затерялся в этом потоке. Поэтому Хамиш Хамильтон отказался от права на издание следующего моего романа «Бакалавр искусств». «Свами и его друзья»,— написал он мне,— были печальной неудачей. Не думаю, что «Чандрана» («Бакалавра искусств») ждет иная судьба. Надеюсь когда-нибудь убедиться в своей ошибке». Спустя двадцать лет я встретил Хамиша Хамильтона в Лондоне на приеме в редакции «Спектейтор», куда меня привез Грэхем Грин. Это была очень сердечная и интересная встреча. Подстрекаемый Грином, Хамильтон вспомнил свое пророчество относительно моего литературного будущего и, посмеявшись над собой, прибавил:

— Вспомните все же, что я был вашим первым издателем. Мне всегда приятно думать об этом.

На следующий день он прислал мне свою книгу «Большинство», в которой есть страницы, посвященные тридцатилетию его фирмы, сделав на них трогательную надпись. «Бакалавр искусств», благодаря рекомендации Грэхема Грина, был опубликован Нелсоном. Так сбылась мечта, возникшая за несколько лет до того, как из Эдинбурга прибыл представитель этой фирмы — повидаться с отцом по поводу пополнения нашей школьной библиотеки. Я доверительно спросил его тогда:

— Если я напишу книгу, вы попросите вашу фирму ее напечатать?

— Непременно,— отвечал он и дал мне свою визитную карточку.

В феврале 1937 года все переменилось. Мой отец дожил до последнего дня этого месяца, словно специально поставив перед собой эту цель, и умер, оставив нам возможность получить его пенсию за весь месяц. Других средств у нас не было. Отец никогда не верил в сбережения, собственность и прочее.

Мы опасались полного банкротства. Однако все обошлось. Мой старший брат, вернувшийся из Мадраса, открыл в качестве эксперимента небольшой магазин в новом районе и назвал его Национальный продовольственный магазин. Сину получил назначение на государственную службу и уехал в Бангалур. Но мое положение оставалось до крайности шатким. Порой я жалел о том, что отказался от «Джастис», но меня поддерживала неистребимая надежда игрока; подобно мистеру Микоберу [1], я все ждал: мне вот-вот что-нибудь подвернется. С выходом в свет моего второго романа и с рождением дочери жизнь, казалось, мне улыбнулась. Мои рассказы публиковались в Индии и за границей. Так в конце концов оправдались мои слова из письма к редактору «Джастис» о связях с лондонскими издателями, хоть в свое время они были, пожалуй, преждевременны. Великие боги, для которых прошедшее, настоящее и будущее — один лишь миг, поняли бы, что я не ошибся!

Расходы по дому мы делили со старшим братом. Он заботился о еде и прочих насущных нуждах, я же платил за дом; все, что касалось жилья, лежало на мне. «Рама Вилас», где мы теперь жили, надо было сохранить во что бы то ни стало; о переезде в другой дом не могло быть и речи. К счастью, хозяин жил в Бангалуре и приезжал в Майсур только раз в месяц, чтобы получить квартирную плату. Однажды я сказал ему:

— Плата за дом лежит на мне. Я не имею постоянного дохода. Если мои книги идут, я получаю за них деньги лишь в декабре и июне. Прошу вас, разрешите мне платить за дом два раза в год. А ког-

[1] Мистер Микобер — персонаж романа Диккенса «Дэвид Копперфилд».

да мне удастся получить гонорар в промежутке, я буду вносить часть платы на ваш счет в банке.

Он любезно согласился на мое предложение.

Мои доходы были нерегулярными и поступали из различных непостоянных источников. Вдобавок ко всему прочему мне надо было изыскивать средства для покупки детского питания, укропной воды и игрушек. Я много писал; за фельетон для каждого номера еженедельника «Мерри мэгэзин» я получил десять рупий; нелегкое это было дело — паясничать неделю за неделей по тысяче слов кряду. Кроме того, я начал свой третий роман — «Темная комната». Каждое утро, забрав блокнот и ручку, я исчезал на три часа. Я больше не мог работать дома — слишком многое там меня беспокоило и отвлекало: к тому же дома была малышка.

Ей едва исполнился год; писать в ее присутствии я не мог, а жена, уходя на кухню или в сад за цветами для ежедневной молитвы моей матери, нередко оставляла дочь на меня. В мои обязанности входило также носить дочку на угол нашей улицы, где мы любовались розовыми цветами бугенвиллеи, распустившимися в саду достопочтенного Содея. Минут десять она смотрела не отрываясь на соцветия, а затем мне следовало поднять ее повыше, чтобы она могла взглянуть на белого терьера, который с лаем бегал по двору. Лишь после этого мне разрешалось нести ее домой — и я был свободен.

Перед уходом жена давала мне чашку кофе и иногда шептала:

— Не говори никому — кофе в доме подходит к концу. На обратном пути купи немного в лавке.

Работал я в Союзе колледжа, где секретарь предоставил в мое распоряжение комнату. Я запирался на три часа и, глядя на зеленое футбольное поле через улицу, живописал судьбу Савитри, героини «Темной комнаты». Я был одержим идеей: Женщина против Мужчины, ее постоянного угнетателя. Должно быть, это был ранний вариант Движения за освобождение женщины. Мужчина отвел ей вторые роли и держал ее на них так умно и хитро, что она и сама начала терять всякое представление о собственной независимости, индивидуальности, значении и силе. Жена в традиционном индийском обществе была типичной жертвой таких обстоятельств. Ей и был посвящен мой роман, все действие которого было пронизано этой идеей. Я успевал написать около тысячи слов, а потом шел домой обедать — усталый до предела, но и довольный тем, что выполнил свою дневную норму.

«Темная комната», которую снова прочитал и одобрил Грэхем Грин, вышла в издательстве Макмиллана в 1938 году. Все мои книги выходили у разных издателей — необычная судьба! Опубликовав одну книгу, издатель, наверно, говорил себе: «Больше я за этого писателя не берусь!» Хамиш Хамильтон, потом Нелсон, потом Макмиллан.

Глава десятая

Издал Макмиллан «Темную комнату» очень привлекательно. Рецензии на книгу были благоприятные. Меня они вдохновили, но жена не разделяла моих восторгов: она предпочитала подождать письма об авторских отчислениях. Когда же оно пришло, в нем оказался не чек, а сообщение о «неоправданном авансе» (сорок фунтов минус налог). Я поспешил направить Макмиллану письмо, в котором выражал предположение, что им следовало лучше позаботиться о том, чтобы публика знала о существовании книги. На складах издательства в Индии книги не было; не было и рекламы на литературных страницах газет и журналов. Макмиллан отвечал, что они обеспечили книге наилуч-

шую рекламу, возможную в данных обстоятельствах (что это значило, не знаю). Письмо, напечатанное лиловой типографской краской, видно, шлепнули на сыром листе бумаги, оно выглядело неврастенично и мрачно.

Вскоре мне пришлось спрятать в карман свои принципы и взяться за поденный труд. Мой друг Пурна, который в бытность свою в Оксфорде познакомил Грэхема Грина с романом «Свами и его друзья», служил в это время в секретариате сэра Мирзы Измаила, премьер-министра Майсура, и соприкасался с «правительственными гостями», приезжающими в Майсур. В ту пору в одном из особняков махараджи жил мистер Сомерсет Моэм.

Им занимался личный секретарь махараджи сэр Чарлз Тодхантер, многоопытный британский администратор, который считал, что его миссия — занять индийцев каким-либо делом и тем самым удержать их от всяких эксцессов. Он полагал, что индийцам в первую очередь нужны не политические свободы, а светские манеры. С этой целью он патронировал различные общества — Благоденствия детей, Охраны животных, Лигу добрых манер и прочие безобидные организации, предназначенные отвлекать туземцев от нежелательных занятий. Он запрещал в своем присутствии произносить имена Ганди и Неру. Сэр Чарлз полагал: ежели за индийцев взяться как следует, их можно сделать полезными гражданами, что подтверждалось запуганными до предела исполнительными чиновниками, работавшими под его началом. Одним из них был мой брат Сину: сэр Чарлз заметил его в Бангалуре и заманил к себе. Своих собак, кошек и уток сэр Чарлз держал в главном здании — чиновников же он разместил в заброшенном, непроветриваемом сарае под закоптелой черепичной крышей, кишевшей насекомыми, что стоял в дальнем углу сада, и вызывал он их пред свои светлые очи звонком. Он испепелял их взглядом поверх очков, стучал огромным кулаком по столу и до того запугал, что они трудились не покладая рук с утра до ночи. Основная его задача заключалась в том, чтобы следить за махараджей — как бы тот не поколебался в своей верности Британской Короне или не учредил каких-либо промыслов, могущих нанести ущерб британским интересам. Задавать этому человеку вопросы о литературе было совершенно бессмысленно. И все же Сомерсет Моэм это сделал. На банкете, данном в его честь (хоть подозреваю я, ни махараджа, ни личный его секретарь и в глаза не видали ни единого романа Мозма или еще кого-либо), Моэм спросил:

— Как случилось, что я нигде не вижу известного писателя, который живет в этом городе, Нарайана?

Сэр Чарлз в недоумении обратился к своему помощнику:

— Выясните, есть ли в Майсуре знаменитый писатель. Если понадобится, обратитесь к вице-президенту университета.

После должного расследования Моэму сообщили:

— В Майсуре нет никаких писателей. Однако мы можем найти вам писателя в Бангалуре. (Бангалур находился на безопасном расстоянии в сто миль).

Лицо почетного гостя омрачилось, и он объявил, что его путешествие теперь потеряло всякий смысл. Хоть я и почти не верю этой истории (кому-то она пригрезилась, а потом стала переходить из уст в уста), я подозреваю, что Пурна мог как-нибудь спросить Сомерсета Моэма:

— Вы читали «Темную комнату»?

— Я поищу ее в Лондоне, когда вернусь.

— А может быть, вы хотели бы встретиться с Нарайаном?

— Боюсь, у меня нет сейчас для этого времени, но передайте ему мои наилучшие пожелания.

(Позже Моэм прочитал «Темную комнату» и прислал мне письмо.)

Возможно, Пурна рассказал кому-нибудь эту историю, слегка ее приукрасив, и она, обойдя официальных лиц, превратилась в полноценный апокриф, достигнув в конце концов слуха сэра Мирзы Измаила. Сэр Мирза, которому, возможно, не хотелось приобретать репутацию Тодхантера, пригласил меня встретиться с ним в его майсурской резиденции у Куканахалли, называемой «Вид на озеро». Таков был неожиданный результат визита Моэма.

Словно в подтверждение моей теории, что легенды долговечнее фактов, история эта все еще, почти сорок лет спустя, жива! И я встречаю порой какого-нибудь древнего старичка, который излагает свой собственный вариант этой истории.

— Говорят, П. Г. Вудхауз, приехав по приглашению правительства в Майсур, захотел повидаться с Р. К. Нарайаном и очень рассердился, когда Тодхантер сказал, что у нас в городе нет такого. Вудхауз в сердцах тут же уехал, заявив, что не может пользоваться гостеприимством такого невежды.

Порой имя Моэма заменяют еще каким-нибудь именем: Герберта Уэллса, Бернарда Шоу...

Приглашение сэра Мирзы меня чрезвычайно смутило. До сих пор я жил, не встречаясь с министрами махарадж, и самая мысль о такой встрече вызывала во мне отвращение. Для визита к премьеру у меня не было даже подходящей одежды. Ходил я почти всегда в дхоти и в рубашке из хлопка, год за годом отказываясь от европейского платья. Обычная моя одежда была достаточно нарядна для моих встреч на Сайаджи Рао Роуд. Теперь молодежь — не только хиппи, но и все прочие — приучила нас ко всевозможным одеяниям и платьям, но в те дни любой привратник мог не впустить тебя в дом, если ты не был одет подобающим образом.

Я сделал попытку ускользнуть от этой встречи, но Пурна и слышать об этом не хотел. Он чуть не силком приволок меня к сэру Мирзе, по дороге наказывая, как произвести на него наилучшее впечатление:

— Не забудь сказать, что могольская традиция продолжается в современных зданиях Майсура, конечно, смягченная и измененная требованиями сегодняшнего дня.

Он дошел со мной до самого порога сэра Мирзы, шепча свои наставления. Я слышал, как он говорил:

— А еще скажи, что гора Чамунди, возвышаясь над городом, напоминает о древнегреческих городах.

Сэр Мирза любил город Майсур, он перестроил его дома, изменил бульвары и улицы, и ему приятно было услышать похвалу. Я вошел к нему в своем дхоти и рубашке с шарфом вокруг шеи, чувствуя неловкость, как если б на мне была одна лишь набедренная повязка. Сам же он был одет в безукоризненный чесучовый костюм и черную меховую шапку. Он усадил меня и, чтобы успокоить, завел, не вдаваясь в подробности, разговор о моих литературных занятиях.

Речь, которую я подготовил — «Могольская традиция и прочее»,— не имела успеха; я произносил ее урывками, бестолково, бессвязно, как только сам сэр Мирза замолкал. Он был слишком хорошо воспитан, чтобы выказать удивление, но в ходе беседы мягко заверил меня, что, пожелай я поступить в Отдел рекламы, он меня возьмет с удовольствием. Я отклонил его предложение, выразив одно лишь желание: писать о Майсуре.

Пурна в своем простодушии полагал, что редактор любого индийского журнала или газеты закажет мне серию статей на могольские темы, если на то будет указание премьера. Сэр Мирза действительно тут же написал нескольким редакторам, которые, в свою очередь, учтиво его благодарили (правительство штата Майсур давало газетам самую большую рекламу сандалового мыла и шелка); но когда я сам к ним обратился, отказали без всяких церемоний.

В конце концов правительство Майсура заказало мне путеводитель по штату. Мне выдали железнодорожный пропуск для поездок, аванс на расходы и рекомендательные письма к чиновникам различных районов с просьбой предоставить мне «все условия». Штат Майсур, который простирается от Бомбея на севере до Мадраса на юго-востоке и Кералы на юге, с его реками, горными хребтами, лесами и животным миром, не говоря уже о храмах, памятниках архитектуры, крепостях со следами былых боев и развалинах, поистине неисчерпаемый кладезь для путевых заметок. Поездом и автобусом я объехал все уголки штата и внимательно выслушал рассказы местных энтузиастов в далеких горных приютах и деревушках, затерявшихся в зарослях бамбука: вот, мол, самая древняя в мире скульптура или цивилизация, а это самый высокий водопад; эти следы ног на лесной дорожке оставлены Рамой, а этот пруд, заросший лилиями, приобрел золотистый оттенок оттого, что в его прохладные воды погрузилась некогда Сита. Энтузиасты всюду находили какой-нибудь след легендарного героя или знак, оставленный богами во время их краткого пребывания в этой местности. По сравнению с этими знаками храмы Белура и Халебида с их скульптурой XII века или подземелья Шрирангапатнама, где в XVIII веке Типпу-султан держал в заключении англичан, казались чуть ли не современными сооружениями.

Я взошел на одну из вершин Западных Гхат, чтобы взглянуть на берег Аравийского моря, серебряной нитью дрожавший вдали. Я спустился на 8 000 футов под землю — посмотреть золотые копи в Коларе, где от жары и давления трудно было дышать. Я свершил полный круг странствий, оставив жену и ребенка в городе и мучаясь все это время мыслями о них. Время от времени под каким-нибудь предлогом я прерывал свое путешествие и неожиданно возвращался домой — убедиться, что все в порядке. Наконец, я все осмотрел, вернулся в Майсур с кипой записей и заметок и уселся писать книгу.

Предполагалось, что я использую также официальные справочники и указатели, но это мне показалось скучным и невозможным; в результате, если легенды и описания в моей книге и могут увлечь, факты в ней ненадежны. Приятель, занимающий пост в государственном аппарате Майсура, который хорошо знал весь штат, отметил красными чернилами все неточности в рукописи моей книги, провозгласив, что ее надо держать подальше от неопытных путешественников, желающих познакомиться со штатом. Я попытался спасти свою репутацию, подставив слова «около» или «приблизительно» перед каждой датой или указателем расстояния. При всем том не думаю, чтобы моя книга всерьез ввела кого-либо в заблуждение.

Когда рукопись была готова, премьер-министр распорядился, чтобы ее отпечатали в правительственной типографии под моим непосредственным наблюдением: я должен был выбрать бумагу, шрифт и переплет. Смотритель типографии был, казалось, совершенно подавлен данной мне властью и так ловил каждое мое слово, что я не знал, куда деваться от смущения. Положение мое было нелегким, ибо я ничего не знал о том, как печатают книги, в то время как люди, отдавшие в мое распоряжение правительственную типографию, очевидно, считали, что автор трех романов, вышедших в Англии, должен доско-

нально знать типографское дело. Ежедневно, усевшись в качестве советчика напротив смотрителя, я вел нелегкий для себя разговор:

— Какой из этих шрифтов вы предпочтете — платин-12 или баскервилль-10?

И он почтительно выкладывал на стол передо мной образчики. Небрежно взглянув на них, я говорил:

— Что ж... вот этот как будто неплох...

— Я закажу матрицы по этой гарнитуре?

— Да, да, заказывайте, только смотрите, чтобы не тянули...

Мне приходилось принимать решения и давать указания, в то же время обучаясь тому, что все это значило.

— Вот образчики материала для переплетов. «Уолтомстоу», конечно, самый лучший, но мы закажем по вашему выбору... А вот бумага... Плотность...

Я не моргнув глазом просматривал все, что мне показывали, кое-что браковал (из принципа), а остальное одобрял. Я постарался намекнуть им:

— Давайте, насколько возможно, держаться «Темной комнаты» — премьеру она понравилась.

Смотритель тут же раздобыл где-то экземпляр «Темной комнаты» и, содрав с него супер, корешок и переплет, принялся измерять и изучать их с помощью линейки, кронциркуля и увеличительного стекла. В Англию полетели телеграммы с просьбой немедленно прислать материалы. Нельзя терять ни минуты! Никто и не задумался о том, есть ли необходимость в такой отчаянной гонке. Однако не прошло и шести недель, как типография, поспешая, словно в лихорадке, выпустила тысячу экземпляров моего «Майсура».

Я отвез первый экземпляр в Бангалур и вручил премьеру в его кабинете. Я думал: теперь моим финансовым бедам пришел конец. Не только само написание книги, но и выход ее в такой срок и в таком виде казались мне достижением, хоть я и принял на себя обязательства, не имея достаточного опыта. Сэр Мирза проглядел две-три страницы и пробормотал слова благодарности. Он протянул мне через стол руку и сказал:

— Еще раз спасибо. Вы были очень любезны...

Казалось, он хотел сказать: «Ну, а теперь идите, молодой человек, у меня уйма дел...»

Я пришел в ужас — я рассчитывал на чек, а не только на рукопожатие. Уезжая из дому, я составил целый список того, что я куплю на причитающиеся мне 1200 рупий.

Жену я спросил:

— Что тебе привезти из Бангалура?

Она смотрела на вещи более трезво.

— Сперва получи деньги, а потом решим, как их потратить.

Я рассердился и закричал:

— Вечно в сомнениях! Совсем как твой папенька!

— При чем тут мой отец? — тут же возразила она.

— При том! — воскликнул я в сердцах и прибавил: — Я все обсудил с Пурной, а он поговорил с премьером. 1200 — это, конечно, немного. Иностранные журналисты в свое время запросили за ту же работу в десять раз больше, но премьер хотел, чтобы книгу написал индийский писатель, вот в чем дело.

Она не разделяла моего оптимизма, и это вывело меня из себя; перед отъездом мы долго спорили. Дочери, провожавшей меня до калитки, я пообещал:

— Если будешь себя хорошо вести, я привезу тебе...

Теперь в кабинете премьера я почтительно встал и произнес:

— Да, сэр, благодарю вас. Позвольте узнать, когда я могу ожидать выплаты гонорара?

— О! — воскликнул он, не в силах скрыть своего удивления тем, что какой-то писатель посмел осквернить его мысли денежными соображениями.— На сколько вы рассчитываете?

— На тысячу двести,— отвечал я. Пурна советовал мне назвать точную сумму.

— Очень хорошо,— сказал министр.— Когда вы спуститесь вниз, зайдите к первому секретарю и сообщите ему о нашем разговоре. Он вам поможет.

Я уверенно вошел в комнату первого секретаря. Он разговаривал по телефону и посмотрел сквозь меня без всякого выражения. Я встал у его стола; как только он положил трубку, я провозгласил:

— Меня послал к вам премьер.

И объяснил, зачем я пришел. Он жестом предложил мне сесть и спросил:

— Есть у вас письмо относительно вашей просьбы? Премьер написал вам что-нибудь?

Пока я размышлял, как лучше ответить на этот вопрос, секретарь забыл о моем деле — его то и дело вызывали к телефону, он беседовал с посетителями и подчиненными, приносившими ему бумаги на подпись. Через час он снова взглянул на меня и произнес:

— Прошу вас подать мне письменное заявление, иначе мы ничего сделать не сможем.

Он подал мне лист бумаги, на котором я написал: «Я буду рад принять, согласно обещанию, премьер-министра»... и прочее.

Секретарь внимательно изучил мое заявление.

— Премьер действительно дал вам обещание или пообещал рассмотреть вашу просьбу?

Я не понял тонкого различия, заключенного в этих словах, и просто сказал:

— Он обещал, что вы сделаете так, чтобы мне заплатили. Прошу вас устроить это побыстрее, ибо я хотел бы вернуться в Майсур сегодня вечером.

— Да, да, конечно, безусловно, можете ехать, если хотите, в должное время мы вам напишем.

Он уже явно забыл обо мне, а я все сидел, в надежде, что он извлечет откуда-то чек. Когда настало время обеда, он встал и вышел, не говоря ни слова. Я последовал за ним и спросил:

— Я вас еще увижу?

— Почему бы и нет? — ответил он неопределенно и удалился. (Больше я его никогда не видел, ни в тот день, ни на следующий, ни в какой другой — он вечно был занят и его нельзя было беспокоить.)

Прождав весь день, я решил снова отправиться к сэру Мирзе и пожаловаться, что его распоряжение не выполняют, но, подойдя к его кабинету, обнаружил, что дверь заперта. Он уехал в Шимлу, сказали мне, за тысячу миль от Бангалура. Я разыскал Пурну. Он сказал только:

— Не волнуйся! — И посоветовал мне пойти наутро в рекламный отдел.— Твой гонорар,— объяснил он,— должен пройти через рекламу.

Я просидел целый день перед чиновником, возглавляющим рекламный отдел. Подчиненные приносили вороха бумаг и сваливали ему на стол. Он подолгу рылся в них и каждый раз говорил:

— Ваше дело еще не пришло...

— Откуда? — спрашивал я.

— Из финансового отдела.

В шесть часов вечера, наконец, принесли мои бумаги. К этому

времени я вконец измучился, наблюдая, как через кабинет проходят бумаги и люди. Чиновник по рекламе просмотрел мое дело и подтолкнул его — для назидания — ко мне. Мое заявление лежало сверху на пачке писем, а на полях его различными почерками и чернилами были начертаны всевозможные замечания; под ними лежали все предшествующие корреспонденции, которыми я обменялся с правительством штата. Не без горечи изучил я пометки на полях моего заявления о гонораре. «В финансовом отношении неприемлемо»,— начертал финансовый отдел. Кто-то вопрошал: «Договор существовал?» Юридический отдел ответствовал: «Нет. Правительство брало на себя обеспечение условий для написания книги (см. распоряжение от такого-то числа)». Следующий вопрос гласил: «Запросили ли расценки других авторов? На каком основании выбрали данного автора для написания книги?» Я не удержался и начертал на оставшемся на полях свободном месте свой собственный ответ на этот вопрос: «На основании вымышленной истории, связанной с приездом мистера Сомерсета Моэма. Можете, если угодно, спросить, кто такой Сомерсет Моэм и значится ли его имя в утвержденном списке подрядчиков».

Нельзя утешать себя мыслью о том, что все это случилось три с половиной десятилетия назад. И сегодня бюрократия во всем мире остается все той же. Если сегодня я совершу ошибку и приму правительственный заказ на написание книги, он, конечно, пройдет все тот же процесс проверки и конечного уничтожения в результате бессмысленных процедур.

Глава одиннадцатая

В январе 1939 года жена уехала отдохнуть к своим родителям в Коимбатор. Я не возражал: на это время и мне предстояло уехать по делам. Работать в Майсуре было прекрасно, но пристраивать написанное надо было в Мадрасе; я провел там месяц и, помимо прочего, продал права на тамильскую публикацию «Темной комнаты» отдельными выпусками в журнале. Но больше всего меня порадовал договор с «Хинду», согласно которому я должен был еженедельно давать для воскресного номера рассказ или очерк, гонорар за него — тридцать рупий. Кроме того, я дал согласие писать для Всеиндийского радио и время от времени кое-что для киностудии, как, например, диалоги для отдельных сцен или «разработки» идиотских идей, приходивших в голову какому-нибудь продюсеру. Закончив все эти дела, я возвратился в Майсур.

Дом без жены и ребенка казался мне теперь пустым, и я старался проводить в нем поменьше времени. Я шел по Вани Вилас Роуд, замедляя шаг у старого Аграхара, чтобы вознести краткую молитву Ганеше, стоящему у обочины под фиговым деревом; в воздухе плыл аромат жасмина, которым торговали на дороге, и сандала (поблизости изготовляли ароматические палочки). Порой я соблазнялся запахом еды, долетавшим из ресторанчика, укрывшегося в боковой улочке, съедал там *досаи*, запивая его кофе, и, закурив сигарету, продолжал свой путь. Я следил за своими расходами и никогда не тратил больше рупии в день. Все утро я бродил по улицам.

На каждом углу я встречал персонажей, которых хоть сейчас можно было вставить в рассказ. Во время этих прогулок возникали замыслы, которые я развивал или, случалось, терял, отвлекшись каким-нибудь уличным происшествием. По главной улице Майсура Сайаджи Рао Роуд нельзя было пройти, не останавливаясь каждые несколько шагов — поболтать с каким-нибудь знакомым. Майсур не только внешне похож на древнегреческий город, привычки его граждан также в высшей степени эллинские. Важнейшие проблемы, включая фи-

лософские и политические, анализировались и решались жителями Майсура (по крайней мере в те дни) прямо на улицах. Тут тебе попадались навстречу люди, давно потерянные из виду, и ты останавливался узнать, каково им живется с тех пор, как ты их видел в последний раз. Если бы Сократ или Платон вдруг воскресли, они бы на Сайаджи Рао Роуд чувствовали себя как дома; а свои диалоги они вели бы на площади с фонтаном.

Помимо многозначительных встреч такого рода, на улице попадались и люди, задолжавшие тебе деньги, а иногда — даже прятавшийся от тебя водопроводчик; здесь можно было преградить путь собственному адвокату и потребовать немедленной консультации. А когда отвлекаешься на все это, не мудрено, что замыслы рассказов куда-то исчезают, а нить повествования то и дело обрывается. Все же я обычно удерживал в голове некую тему и, вернувшись домой, усаживался за письменный стол и писал до вечера. По средам я должен был посылать рассказ в «Хинду». Я всегда мечтал написать и отделать его заранее, чтобы в среду спокойно опустить в почтовый ящик; но это никогда не выходило. Отчаянный рывок накануне самого последнего срока был, очевидно, необходим для окончательного прояснения замысла. В результате я всегда сидел над рассказом до последней минуты, а затем чуть не рысью бежал на станцию, чтобы сунуть его в почтовый вагон. В четверг утром, когда верстали воскресный номер, он должен был лежать на столе у редактора.

В те дни, когда я понимал, что жена опять не написала мне в условленное время, мой рабочий распорядок нарушался. Она неизменно обещала мне сообщать о здоровье своем и дочери по меньшей мере раз в неделю, но сдержать свое слово была не в силах. Обычно я ждал от нее письма в понедельник днем, потом прибавлял еще два дня и начинал беспокоиться, если ничего не получал, в среду. Причин для этого не было никаких, ибо я хорошо понимал: она не из тех людей, что любят писать письма.

В начале нашей совместной жизни, когда нам случалось расставаться, мы писали друг другу на голубой бумаге, и если я запаздывал с ответом, она тут же слала мне тревожное письмо; но теперь она относилась к переписке небрежно и держала меня в непрестанном волнении. Я то и дело порывался послать телеграмму: «Сообщи здоровье. Почему нет письма?» Но она не одобряла телеграмм. Раз или два я все-таки не выдержал, и она рассердилась: это казалось ей чересчур драматичным жестом, ей было неловко перед братьями и сестрами. Пришлось мне ограничиться настойчивыми письмами с требованием срочного ответа — иначе я грозил послать телеграмму. В конце концов я получал от нее письмо и успокаивался — лишь на неделю, не более. В следующую среду все начиналось сначала; и почему-то происходило это именно в тот день, когда мне надлежало отослать очередной рассказ. Я не умел совмещать письма и рассказы. Не знаю, как другие писатели, но мне всегда было легче написать рассказ, чем письмо, и когда письма на моем столе накапливаются, я прихожу в отчаяние от мысли, что мой рабочий день может нарушиться. По средам я делал попытку набросать короткое письмо или телеграмму; в результате страдал рассказ. Если редактор «Хинду» бывал порой недоволен моим сочинением, причину следует искать в том, что я не получил письма из Коимбатора. Теперь, оглядываясь назад, я понимаю, как глупо было придавать такое значение письмам. Мы не были новобрачными, которым нужны вечные клятвы во взаимной любви, да и особой надобности в письмах не было, ибо отсутствие вестей, как известно,— наилучшая весть. Такое отношение к письмам было нормаль-

ным, здоровым и разумным; оно давалось естественно моей жене, но не мне.

Меня одолевали тревожные мысли — может, дочь заболела и у жены нет ни минуты, чтоб мне написать, а может, она сама слегла и так ослабла, что перо падает у нее из рук. Я порывался послать телеграмму — быть может, она нуждается в моем присутствии и помощи. Теперь, когда я оглядываюсь назад, все эти тревоги кажутся такими ничтожными, в особенности если подумать о том, что ожидало нас несколько месяцев спустя. Я не понимал, что тогдашнее чувство одиночества было лишь подготовкой к будущему.

Не выдержав, я написал жене, прося ее немедленно вернуться. Она отвечала, что приедет в конце месяца, повидавшись с сестрой, которую ждали 20 февраля из Рангуна. Она была очень привязана к сестре и хотела провести с ней несколько дней перед возвращением в Майсур. Я огорчился и тут же написал ей, чтобы она не откладывала возвращения. Она отвечала кратко: «Мне важно повидаться с сестрой,— времени на это, возможно, больше не будет».

Я швырнул письмо на стол со словами:

— Уж эти мне сестры и их бесконечные уговоры...

Мать, сидевшая, как всегда, на веранде с журналом в руках, видела, как я в сердцах вскочил с места.

Пустота моей комнаты действовала мне на нервы, и я решил повидаться с друзьями, близкими людьми, которые, узнав о моих печалях, умели меня утешить. Мать подняла глаза от журнала и спросила:

— Ты получил письмо от жены? Когда она возвращается?

— Бог знает,— отвечал я, проходя мимо.

— Пусть побудет с родителями еще немного, если ей хочется, что тут дурного? Впрочем, лучше бы уж она вернулась поскорее — не могу смотреть, как ты один сиднем сидишь дома.

Спустя две недели Раджам возвратилась из Коимбатора. Я встречал ее на станции; увидав меня, дочка кинулась мне на шею. Домой я вез их в *тонге*. Всю дорогу Раджам рассказывала мне о том, что происходило в Коимбаторе накануне ее отъезда.

— Даже в последний вечер отец не хотел меня отпускать.

— Невозможный человек! — вскричал я.

— Мы уже совсем выходили из дому, как вдруг явился домовладелец — помнишь, такой толстый? Он чего-то требовал. Отец рассердился, а тот как закричит: «Немедленно освободите мой дом!» Пока они препирались, с крыши упал черный скорпион, как раз с той черепицы, под которой я стояла, еще чуть-чуть — и он укусил бы меня. Отец сказал, это не к добру, и хотел, чтобы я отложила поездку.

— Ну нет! — сказал я.— Это уж было бы чересчур. Твой отец вечно с кем-нибудь ссорится.

— Но я же вернулась, к чему на него сердиться. Я не хотела задерживаться. Ты слишком близко все принимаешь к сердцу. Я только дождалась сестру. Я рада была с ней повидаться — и все.

Не прошло и ста дней после ее возвращения из Коимбатора, как Раджам покинула этот мир. В начале мая она заболела тифом, а в первых числах июня 1939 года ее не стало. Оглядываясь на прошлое, невольно думаешь, что она предчувствовала конец и хотела подольше побыть с родителями и сестрой. В «Учителе английской словесности» я так подробно описал ее болезнь и смерть, что возвращаться к этой поре моей жизни нет нужды (возможно, я и не смог бы этого сделать). «Учитель английской словесности» в большей своей части автобиографичен, в нем вымышлено лишь немногое.

Кришна, учитель английской словесности, в этом романе — вымышленный персонаж, живущий в вымышленном городе Мальгуди;

однако на его долю выпадает то же, что выпало на мою, только его жену зовут Шушилой, а дочь — не Хемой, а Лилой. Тиф, утрата, пустота и отчаяние последующих дней с необходимостью думать о ребенке и психическая переориентация — все это исходит из моего собственного опыта. Эта книга распадается на две части — одна посвящена жизни семейной, другая — «духовной». У многих читателей первая часть вызвала интерес, вторая же — растерянность и даже раздражение; им, возможно, казалось, что картины семейной жизни должны лишь были завлечь их и незаметно подвести к трагедии, смерти и смутным, невероятным раздумьям. То, что книга посвящена памяти моей жены, должно бы было в какой-то мере навести читателя на мысль о том, что не все в ней вымысел; впрочем — и это естественно,— люди в большинстве своем неизбежно противятся переходу от жизни к смерти и тому, что стоит за ее порогом.

Смерть жены была внезапной, мне никогда и в голову не приходило, что я могу потерять ее, хоть тестя и одолевали сомнения, когда он изучал мой гороскоп. Теперь мне предстояло принять ее смерть как свершившийся факт. Нужно было привыкнуть к мысли о смерти и продолжать жить. Если принимать жизнь, то неизбежно надо вместить и идею смерти. И в то же время невозможно перестать жить, действовать, работать, строить планы — какой-то инстинкт побуждает тебя не сдаваться. Возможно, смерть не означает, как нам кажется, конца всему; быть может, личность имеет другие структуры и уровни существования, и распад физического тела, вследствие болезни или старости, означает, возможно, всего лишь изменение формы существования. Такая позиция, вероятно, не имеет ничего общего с наукой, но она помогла мне пережить смерть жены — мне, который так отчаянно страдал, пока она гостила в Коимбаторе. Я сумел как-то выжить после ее смерти и в конце концов достигнуть философского понимания всего происшедшего.

Это было нелегко. Меня осаждали трудности и сомнения; в разреженной атмосфере вечного одиночества подстерегало отчаяние. Я не надеялся, что смогу когда-либо снова испытать интерес к самому процессу жизни, не говоря уже о работе. Но Грэхем Грин в письме, где он выражал соболезнование моему горю, утверждал: «Думаю, что несколько месяцев вы не сможете писать; однако в конце концов вы это преодолеете». Ту же надежду выразил еще один друг, доктор Поль Брантон. Однажды в конце послеобеденной прогулки он сказал:

— Вы напишете книгу, которую носите в себе; она уже созрела и появится рано или поздно, как только вы позволите себе писать.

Я без возражений выслушивал эти слова, но в глубине души ясно понимал, что никогда в жизни не смогу больше написать ни строки. Я лишился основы. Жизнь утратила всякий смысл. Передо мной простиралась унылая пустота. Что ни день, сотни мелочей напоминали мне о прошлом — это было мучительно. Я не мог оставаться в комнате, которую когда-то делил с женой. Спал я в холле. Я пытался освободиться от всего, что напоминало мне о случившемся, но запах «деттола» и жженых листьев маргозы, пропитавший весь дом, преследовал меня днем и ночью. (Считалось, что обкуривание маргозой и «деттол» уничтожают инфекцию.) Мне казалось невозможным проснуться поутру и заняться привычными делами: умыться, одеться, поесть и прочее. Я весь словно закоченел. Мать и братья горевали, глядя, как я все глубже погружаюсь в отчаяние. Я избегал людей. Лишь поздно вечером я выходил из дому; я брел, стараясь не встретиться с друзьями, и, выкурив несколько сигарет, возвращался к тому часу, когда пора было укладывать дочку спать. Я проводил с ней много времени, стараясь возместить ей отсутствие матери. Она спала рядом со мной в

холле; к перемене в нащей жизни она приспособилась быстро. Она не задавала никаких вопросов. Дома бабушка и дяди окружили ее вниманием, ухаживали за ней, развлекали — водили то в зоопарк, то в кино или по магазинам; каждый день она получала посылки с игрушками. Дверь в комнату ее матери мы неизменно держали закрытой. В самый день похорон ее пораньше отправили в зоопарк, чтобы она ничего не заметила.

Она привыкла держаться подальше от комнаты матери еще с тех пор, как был поставлен диагноз — тиф. Теперь ей и вовсе не разрешалось подходить к этой двери. Все же спустя две недели она торжествующе призналась мне:

— Я знаю, ее там нет. Я толкнула дверь, она открылась, и я заглянула в комнату.

— Ее увезли в больницу,— сказал я смущенно.

Ей было всего три года, но она проявила чуткость не по годам. Больше она ни меня, ни кого другого о матери не спрашивала.

Не менее мучительным, чем сама утрата, было предположение — его высказывали недалекие доброжелатели — насчет того, что рано или поздно я должен снова жениться. Когда со мной заговаривали об этом, я приходил в ярость. В колледже у меня был в свое время учитель-тамилец; встретив меня как-то на рыночной площади, он сказал:

— Потерял жену? Ужасно! Ты должен поскорее найти себе другую. Когда старая одежда изнашивается, мы покупаем новую. Если она, не задумываясь, оставила тебя, стоит ли о ней тосковать?

Он говорил так, словно жена от меня сбежала. С языка у меня рвались ядовитые слова, но я сдержался.

Как-то к нам заглянул адвокат, живший на нашей улице.

— Мне очень жаль, мистер,— сказал он мне.— Мне также не повезло. Вы должны перебороть себя, это пройдет.

В ходе своей матримониальной карьеры он потерял четырех жен; каждый раз он женился снова, но в данный момент опять был вдов.

Мне хотелось сказать: «Ваша метода не очень-то помогает». Но снова смолчал.

Сестра, живущая в Мадрасе, предложила мне приехать, чтобы переменить обстановку и пожить у нее в доме, где моя дочь была бы окружена детьми. Родные убеждали меня уехать из Майсура, где все напоминало мне о жене. И вот как-то днем я уложил в чемодан наши вещи и отправился дневным поездом в Мадрас.

Необходимость поддерживать видимость бодрости и интереса к жизни очень мне помогала. Нужно было развлекать дочь, чтобы она вдруг не потребовала материнского внимания. Путешествие в поезде привело ее в восторг, потом, в Мадрасе, она оказалась вместе с другими детьми. Множество игрушек, куклы, друзья, игры — она была счастлива. Не прошло и нескольких дней, как она совершенно освоилась в доме своей тетушки на Кафедральной улице; со мной она виделась мало. Вечерами, когда ее одолевал сон, моей обязанностью было уложить ее в постель: остальное же время она обо мне не вспоминала.

Сестра предоставила мне в своем доме комнату, и я почти не покидал ее. Я пытался немного читать. Попытался снова взяться за рассказы для «Хинду». Кафедральная улица с востока упиралась в пляж; каждый день я направлялся туда и шел по песку вдоль линии прибоя милю или две — к Сантому и обратно; яркое солнце и синее к вечеру море, звезды и светящиеся в темноте волны, далекие огни кораблей на ночном горизонте, прохладные волны, захлестывающие по колено мои ноги (я шел босиком, подоткнув дхоти),— все это словно освобождало меня от гнета воспоминаний и раздумий. Пока я брел по песку

домой, на меня нисходило спокойствие. В такие минуты мельчайшее происшествие обостряло и углубляло мою восприимчивость. Постепенно воспоминание о похоронах и подробностях болезни Раджам начали притухать; я старался уловить и удержать минуты волнения, охватывавшие меня, когда я видел, слышал и ощущал море.

Прогулки составляли единственное мое занятие. Друзей у меня не было. Кино я не интересовался, а книги наводили на меня скуку. Ходить я мог бесконечно, днем и ночью. Это мне помогало; пока переставляешь ноги одну за другой, следя вполглаза за уличным движением, воображение не столь замкнуто, оно становится восприимчивее, обретая ритм, проясняющий мысли, и способность к философским наблюдениям и выводам. Мои идеи менялись и становились прозрачнее. Я все еще не мог заставить себя писать. В глубине души я был уверен, что писать не смогу больше никогда. У меня не осталось ни одного из обычных побуждений к творчеству — ни любопытства, ни интереса к людям и окружению, ни стремления к какой-то цели или мыслей о будущем, которое существовало, лишь поскольку оно касалось дочери.

Однажды вечером, когда я возвращался с берега домой, на углу меня окликнул двоюродный брат, которого я давно потерял из виду (он работал в Джорджтауне в фирме, импортирующей какие-то товары), и выразил соболезнования; я молча их принял. Мы постояли, не зная, о чем говорить дальше. Он заметил:

— Я хотел написать тебе, да все как-то откладывал...

Я слушал его равнодушно. В последние месяцы мне столько раз выражали сочувствие, что я стал относиться к этому с профессиональным спокойствием. Я мог не моргнув глазом выслушать часовую речь и не сказать ни слова в ответ. В зависимости от возраста говорящего я мог предсказать, чем завершится его речь: осторожным или настойчивым советом жениться вторично, взять себя в руки, стиснуть зубы, с головой уйти в работу и прочее. Беседа развивалась, как я и предвидел, и я приготовился было поблагодарить кузена, распрощаться и идти дальше, как вдруг он произнес слова, заставившие меня остановиться:

— У меня есть друг, Рагунатха Рао, ты его знаешь? Тебе будет с ним интересно познакомиться. Он живет здесь поблизости, хочешь, пойдем вместе? Он человек интересный.

Я воспротивился этому предложению, но он настаивал, и я сдался. Делать мне все равно было нечего. Обедали у сестры лишь в десять часов, а дочь хватится меня, только когда ее двоюродные братья и сестры лягут спать.

Эта случайная встреча, казавшаяся столь незначительной, повела к знакомству и событиям, которые оказали глубокое влияние на мое будущее и спасли меня от полного отчаяния и пустоты.

Рагунатха Рао жил в Майлапоре, в частном квартале за Ройапеттской трамвайной линией, в небольшом доме, прячущемся в тени кокосовой рощицы; там царило спокойствие; не верилось, что всего лишь в сотне ярдов отсюда скрежетали, корежа лицо земли, колеса трамваев. Мистеру Рао было лет сорок, он обладал цветущим здоровьем, энергией и бодростью. Он принял нас на верхней ступеньке веранды и объяснил:

— Надеюсь, вы простите меня за то, что я не спускаюсь. Я стараюсь как можно меньше ходить по лестницам.

Он провел меня в дом и представил своей жене, бледной, стройной женщине, до крайности мягкой в движениях и речи, как писателя, рассказы которого им нравились — в особенности им запомнились два-три рассказа о привидениях, опубликованных в «Хинду». Его

добродушная веселость была заразительной, и я провел у них около часа, смеясь и шутя. Видно, кузен шепнул ему о моей утрате, и когда, побеседовав и напившись кофе, мы прощались, он сказал:

— Не хотите ли заглянуть в среду вечером, после шести часов? Мы ставим спиритический опыт, возможно, он вас заинтересует.

Меня эти вещи не очень занимали, и я ответил:

— Благодарю. Приду, если буду свободен.

Я не стал вдаваться в подробности.

Кузен, который вышел вместе со мной, заметил:

— Очень милый человек. Чем он только не интересуется! Теперь у него новое увлечение; я над ним подсмеиваюсь, но у него самого хорошее чувство юмора. Сам он адвокат, но у него есть деньги, так что он может не утруждать себя работой. Практика у него небольшая, и он может заняться тем, что его интересует, все это так или иначе связано с религией. Жена в этом очень с ним схожа.

Прощаясь со мной, он прибавил:

— Можешь заходить к нему когда захочешь, тебе с ним будет приятно. А в среду, если не хочешь, не ходи.

В среду я задавал себе вопрос, идти мне к Рао или нет; я не верил в спиритизм, который, как мне казалось, упрощал вопросы жизни и смерти со всеми их сложностями и загадками. Я пошел к морю, так и не решив ничего определенного; однако, дойдя до трамвайных путей, вдруг свернул и направился к дому Рао. Он встретил меня радушно, усадил в холле и повел беседу о всяких пустяках. В половине седьмого в комнату вошла его жена и сказала:

— Все готово.

— Поставь еще стул для нашего гостя. Может быть, он захочет присутствовать. Хотите зайти?

Они провели меня в небольшое помещение с опущенными шторами. Там стоял круглый столик, на котором лежали листы бумаги и очиненные карандаши. Он указал мне на стул, а сам уселся напротив. Жена села по правую руку от него. Прежде чем начать, он сказал:

— Мы просто пытаемся экспериментировать, я не придерживаюсь никаких определенных взглядов на эту тему. Я отношусь скептически ко всем этим вещам, но несколько месяцев назад, когда я писал что-то, я почувствовал, будто моей рукой водит какая-то иная сила. Я не противился, а написанное нас заинтересовало. И вот каждую неделю в один и тот же час и день мы садимся за этот стол, из-под моей руки выходят письмена; порой это молитвы или гимны. Так продолжается уже несколько недель. Когда я сажусь за стол один, у меня ничего не получается. Но когда рядом сидит жена, пишется много. При посторонних иногда все прекращается, и гость уходит, вдоволь насмеявшись над нами. Но общество восприимчивого человека может оказаться полезным. Интересно, чем обернется ваше сегодняшнее присутствие... Увидим.

— Что я должен делать?

— Ничего. Просто сидите и смотрите и ничего не говорите, когда моя рука начнет писать... Только постарайтесь отнестись к происходящему без предубеждения. Отрицательное отношение мешает опыту. В конце концов всего тридцать минут...

В течение всех тридцати минут, что он держал карандаш над листом бумаги, карандаш двигался, размашисто исписывая страницу за страницей. «Твои помощники здесь, мы приветствуем сегодняшнего гостя. Нам известно, что недавно его постигла утрата, он потерял человека, которого очень любил. Мы видим, что на душе у него все еще тяжело. Если бы мы могли помочь ему и другим таким же, как он, понять природу жизни и смерти и унять боль, которая его мучит, мы

бы считали свою цель достигнутой. Смерть есть всего лишь момент исчезновения физической оболочки, в которой существует и функционирует личность; та же личность не воспринимается органами чувств до своего рождения и вновь теряется из поля зрения после смерти, которая, повторяем, есть лишь момент исчезновения, но не конец...»

И так далее, страница за страницей, с быстротой, которая была необычной — грифель ломался или прорывал бумагу. Потом карандаш написал: «Эта дама здесь, но еще не может общаться прямо со своим мужем. Немного спустя, возможно, когда она станет спокойнее. Сегодня она несколько волнуется, ибо это ее первая попытка установить контакт с мужем. Ее тревожит горе мужа. Мы здесь воспринимаем мысли, возникающие на вашем уровне, и стараемся вас успокоить. Сегодня она счастлива тем, что установлена связь и что она может попытаться повлиять на ваши мысли... Она хочет заверить вас, что она существует, но в ином состоянии, она хочет облегчить вашу душу, чтобы вы не падали под тяжестью вашего горя. Она говорит: теперь тебе сообщили, что я здесь; со временем, когда ты научишься улавливать сигналы, ты будешь, не требуя никаких доводов и доказательств, чувствовать, что я рядом, и это преобразит твой взгляд на мир. Она советует вам не беспокоиться о дочке. С ней все благополучно, она вырастет — и все будет в порядке. Я слежу за ней. Я вижу ее сейчас в комнате, на ней синяя юбка, она играет с другой девочкой, у них три куклы... А теперь дама прощается до следующей недели».

Тридцать минут истекли; за это время было написано 2400 слов — удивительная скорость! Если бы можно было написать от руки 5000 слов в час, то за 16 часов был бы закончен роман в 80 000 слов. Как писатель-профессионал, я должен бы завидовать любому, кто может писать с такой скоростью! Рао и сам был поражен.

— Не думайте, что я всегда пишу с такой скоростью. На открытку у меня уходит целый час, и уже на второй строчке я не знаю, что сказать... Вот почему я не люблю отвечать на письма и таким образом лишился расположения многих друзей и родственников.

Помимо реальных деталей, связанных с бумагой, карандашом и скоростью письма, я начал ощущать присутствие Раджам, то, что она (предположительно) говорила или что написал карандаш Рао, было вторично. Само ее присутствие, которое дохнуло на меня, пока мы сидели в тишине в затемненной маленькой комнате, глубоко меня взволновало. Возвращаясь в тот вечер домой, я чувствовал, что у меня полегчало на сердце. Помню, по небу плыл тоненький месяц — его сияние казалось глубже и ярче, чем всегда, воздух бодрил — все выглядело более ярким и значительным. Войдя в свою комнату, я заметил, что дочка сидит над книгой; на меня она и не посмотрела. Я был рад, что она не обращает на меня внимания. Я не стал проверять, какое на ней было платье, синее или другого цвета, играла ли она с тремя куклами или двумя. Все эти фактические подробности для меня не имели значения. Даже если предположить, что у мистера Рао были свои источники информации, которые он использовал во время сеанса, даже если он телепатически читал мысли мои и других людей, для меня это было неважно. Даже если весь сеанс был сплошным надувательством, это было неважно. Важно было другое: я ощутил присутствие Раджам в комнате, и это изменило все мое мировосприятие. В конце концов медиум был человеком, его воображение и то, что он писал, было несовершенно; он мог прибегнуть к различным сознательным и бессознательным уловкам. И все же то, что произошло, было мне дорого благодаря воздействию, которое, в конце концов, оно на меня оказало. Всю неделю я ждал предстоящей встречи. В среду я снова был у Рао. И в следующую среду тоже. Конечно, многое из того, что выходило из-

под его руки, было сомнительно либо вовсе бессмысленно и совершенно неприемлемо. Но в то же время порой мелькали факты несомненные — упоминание о драгоценности в шкатулке, про существование которой я и не подозревал, какое-нибудь происшествие или разговор в доме брата Раджам, в чем легко было удостовериться. Хотя, общаясь с ней, я и не думал о том, чтобы проверять что бы то ни было, она настаивала на этом, и ради нее я это делал. Порой она вдруг отвечала на какой-нибудь вопрос, который возникал у меня в голове по дороге к Рао. Сначала я полагал, что это, возможно, телепатические прозрения самого мистера Рао. Некоторые подробности поражали меня — например, где я подумал о том-то и том-то и кто был в это время со мной. Даже если это объяснялось телепатическим даром Рао, меня это поражало. Телепатия? Ну и что же? Разве в таком случае ценность этого опыта уменьшается? Для меня, в конце концов, важны были те указания, которые шаг за шагом я получал, они помогли мне достигнуть ясности мысли и восприятия.

Следующие три месяца в Мадрасе дали мне очень многое — не в профессиональном смысле, а в смысле моего развития. С течением времени жена установила со мной на сеансах мистера Рао прямую связь. Из недели в неделю она учила меня, как подготовиться к тому, чтобы воспринимать ее мысли или передавать мои, не прибегая к помощи посредника. Во время получасового сеанса она критиковала попытки, предпринятые на прошлой неделе. «Ты сосредоточиваешься слишком напряженно — это ни к чему, именно этого надо избегать. Я хочу, чтобы ты расслабился и ни о чем не думал. Постарайся быть совершенно пассивным; ты можешь думать обо мне, но без отчаяния — в то же время ум должен быть совершенно пассивным... Нет, нет, не сосредоточенность йоги — то, что нужно, гораздо труднее: установи канал связи и жди... Ум должен бездействовать... Я вижу, что ты все еще слишком беспокоишься о девочке... Окружи ее заботой, но не докучай ей своими тревогами, они уже вошли у тебя в привычку... Два дня назад, засыпая, ты опять думал о моей болезни и о том дне, когда ты оплакивал мой уход... Вреда в том, что ты помнишь о тех днях, нет, но в глубине души у тебя все еще таится боль, и это мешает твоему восприятию. Пока ты не научишься думать обо мне спокойно, твои попытки не увенчаются успехом. Настраивай должным образом ум, и ты будешь знать, что я рядом с тобой. Занимайся этим не более десяти минут в день — не то можешь повредить здоровье... Береги себя... Я слежу за девочкой, она часто знает, что я рядом, но тебе она об этом не скажет... Порой ей кажется, что она видит сон... На днях, помнишь, по вашей улице вечером прошла свадебная процессия, вы все вышли к калитке, а девочка спала в своей комнате... В эту минуту я к ней приблизилась. Если б на следующее утро ты ее спросил, какой ей сон приснился, она бы тебе ответила прямо: «Я видела Раджи...» Иногда она не помнит о своих снах, иногда не хочет о них говорить... Дети гораздо осторожнее, чем ты думаешь... Они очень рано становятся осторожными... Перейдя сюда, я столько узнала о человеческом сознании, я вижу, как оно функционирует... На вашем уровне вам мешает плотность материи, в которую вы закованы... Здесь мы существуем в более свободном состоянии, в иной форме... Как бы мне хотелось объяснить тебе, что я вижу, думаю и чувствую... Когда ты будешь к этому готов, я смогу тебе многое рассказать...»

В течение двенадцати сеансов было исписано огромное количество бумаги; мистер Рао дал мне эти листы, когда я уезжал с дочерью в Майсур. Больше я с ним не встречался. Несколько месяцев мы переписывались. Мы пробовали проводить сеансы на расстоянии — в определенный день и час в Майсуре или Коимбатуре в двухстах

милях от Рао я садился и мысленно подключался к нему, а он посылал мне то, что в результате выходило из-под его руки. Спустя какое-то время необходимость в медиуме отпала. Я чувствовал, что могу действовать независимо, ибо спиритический опыт стал частью меня самого.

Следуя полученным наставлениям, я стал регулярно устанавливать связь. Я занимался этим в течение нескольких лет почти каждую ночь. Я научился абстрагироваться от своего тела (этому учил Поль Брантон), испытывая странное чувство освобождения. Затем постепенно, когда я почувствовал удовлетворение от того, что достиг понимания жизни и смерти, интерес ко всем этим опытам стал угасать.

Я вернулся к обычной жизни и деятельности. Я написал свой четвертый роман. Это был «Учитель английской словесности», опубликованный в 1944 году издательством «Эйр и Споттисвуд», одним из директоров которого был в то время Грэхем Грин. Вторая мировая война еще не кончилась, издательства страдали от отсутствия бумаги и многого другого, однако Грину удалось достать бумаги для тиража в 3800 экземпляров; с тех пор книга непрерывно переиздается.

Из всего этого опыта я вышел с неким представлением о личности, или «себе», или душе, которого держусь до сих пор. «Теперь мы знаем отчасти, а тогда же познаем полностью, лицом к лицу...» — сказал апостол Павел [1]; наши чувства воспринимают лишь то, что происходит «здесь» и «сейчас». Полное представление о личности, начав с младенца в утробе матери, простирается вперед, назад и далее в бесконечность. Наше обычное представление о личности ограничено физическим восприятием во времени, оно выхватывает небольшой участок, словно освещая его фонарем, и оставляет все прочее в темноте. Если бы можно было увидеть себя и других во всей полноте, все приняло бы должные пропорции, охватив все ступени развития и роста, от детства к старости в жизни настоящей, следующей и предыдущих.

Очевидно, для того, чтобы какая-то судьба сформировалась, важно все же появиться в физическом мире; все сексуальные импульсы и весь сексуальный аппарат имеют, очевидно, смысл некого средства, ведущего к определенной цели,— весь динамизм, сила и красота секса приобретают содержание лишь в этой связи. Такая философия может показаться неприемлемой в мире современной культуры, где секс стал в буквальном смысле «фетишем». Ему поклоняются, приносят жертвы, о нем размышляют как о чем-то, имеющем самостоятельную ценность; его используют во всех вариантах и отклонениях кинопродюсеры, драматурги и писатели, стремящиеся беспрерывно возбуждать публику, направляя ее на непрестанную погоню за сексуальными удовольствиями, которым, однако, как бы их там ни расписывали, природа сулила недолговечное существование,— с тем чтобы и дальше люди стремились к подобному сексуальному возбуждению и деятельности в бесконечном бессмысленном цикле.

Поль Брантон, приехавший в Индию для изучения индийской философии и мистики, прожил в Майсуре два года для того, чтобы закончить книгу, над которой он работал. Он снял дом в Вонтикоппале, в северной части города, милях в двух от меня. Раз или два в неделю я шел вечером к нему, чтобы пообедать вместе. Его обед неизбежно состоял из вареной картофелины, ломтя хлеба и чашки йогурта. От мяса

[1] Контаминация из стихов «Первого послания к Коринфянам Святого Апостола Павла»: «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (13, 9—10); «Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу; теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан» (13, 12).

и алкоголя он воздерживался, находя, что такая диета соответствует его образу жизни, посвященной размышлениям и йоге. Нас объединяли общие интересы. Незадолго до своего приезда из Египта он опубликовал книгу «В поисках скрытого Египта», на которую я поместил в «Хинду» весьма саркастическую рецензию. Но, познакомившись с ним, я понял, что он не лгал. Я понял, что многое из того, что с ним произошло и казалось совершенно невероятным, было правдой. Он проводил ночи в камерах пирамид и наблюдал там странные спиритуалистические феномены. Следуя наставлениям знатоков эзотерических искусств в Египте, он приобрел власть над ядовитыми змеями, скорпионами и дикими зверями, дар видеть прошлое и будущее, а также различные чудесные и магические свойства[1], которые не имеют особой ценности для развития личности. Тамильский мистик XVI века пел: «Можно постичь, как ходить по воде, укрощать взбесившегося слона, обуздать тигра или льва, ходить по огню и вершить другие чудеса и все же подлинным чудом было бы успокоить неспокойный дух и познать самого себя». Всякий, кто посвятит себя поискам в области духа, на определенной стадии приобретает оккультные силы, но в конце концов отказывается от них, ибо они для него несущественны. Приехав в Майсур, Поль Брантон оставил все свои прежние занятия, получив наставления Раманы, подвижника, жившего в горах Тируваннамай, он предался размышлениям над вопросом: «Кто есмь я?» Эти размышления, объяснял он, уничтожали замкнутость самосознания, ограничивающую личность, ведя к глубокому духовному освобождению. Когда мы встречались, мы делились опытом, анализировали и оценивали его. Время от времени он исчезал на несколько месяцев, отправившись на поиски какого-либо мистика в Гималаях, а потом так же внезапно возвращался в Майсур.

...К 1942 году в нашем доме прибавились две невестки: мой старший и младший братья женились; у младшего родился сын. Дом ожил и зазвенел голосами. Невестки освободили мать от множества домашних забот и практически удочерили мою дочь, которая по утрам отправлялась в школу, а остальную часть дня проводила в обществе теток. Я был волен заниматься своими поисками и раздумьями. Однако к девяти часам вечера дочь уже ждала меня и волновалась, если я задерживался. В таких случаях я заставал ее стоящей у окна с покрасневшими глазами. Когда я приходил, мать выговаривала мне:

— Подумай о девочке и возвращайся пораньше домой. Если ты задерживаешься, ее начинают мучать какие-то странные предчувствия.

Глава двенадцатая

Потрясения, вызванные второй мировой войной, отозвались и на моей писательской судьбе. Затемнения, продовольственные карточки, тревоги и волнения — все это стало действительностью и в нашем отдаленном майсурском уголке; вдобавок к всеобщим лишениям меня постигли дополнительные потери. Мой агент Дэвид Хайем, теперь уже, возможно, генерал-майор, служил в армии. Английские издатели куда-то исчезли, тиражи моих книг, ожидавшие продажи, погибли во время бомбежки Лондона, и тоненькая струйка гонораров, поступавших ко мне по прошествии полугода, иссякла. «Хинду» сократила свои публикации — не хватало газетной бумаги, типографской краски и многого другого. Чтобы существовать, следовало искать иные занятия. Писатель был лишен возможности контакта с публикой. Те из журна-

[1] В санскрите они называются Siddhis. Их восемь — уменье ходить по огню, воде, способность перевоплощаться, становиться невидимым и умение по-разному управлять стихиями.

листов и писателей, кому удалось поступить на работу в организации, занимающиеся пропагандой, находились в лучшем положении, но я к ним не принадлежал. Я был далек от войны и политики. «Хинду» предоставила в мое распоряжение немного места, однако мне уже приелись мои наблюдения над окружающей жизнью. Постоянная открытость впечатлениям, которые затем надо было укладывать в восемьсот слов, мне наскучила — мне хотелось положить конец этой деятельности, не дожидаясь, пока я сам наскучу читателям «Хинду». В то время я писал в основном о трудностях существования простых людей: день за днем им приходилось выстаивать в очередях — в лавках, где выдавали продукты по карточкам, на автобусных остановках, в магазинах одежды; не зная об окольных путях, ведущих к черному рынку, они боролись с жизнью, стремясь обеспечить себя и свои семьи. Все это, несомненно, отражало тогдашнюю жизнь, но я устал от этих и подобных им тем. Настало время, когда я уже не мог больше ни взять пера в руки, ни смотреть на то, что я написал, будь то рукопись или опубликованный текст. Еженедельная спешка не оставляла ни времени, ни сил для серьезной работы. Каждая написанная фраза, казалось, уводила меня в сторону от чего-то более важного. Меня мучило ощущение, что я должен заняться чем-то иным.

Местом встречи нам теперь служила аптека. Она называлась «Аптека Нарашимха», там царил наш семейный врач, который чем только не интересовался — теннисом, крикетом и политикой. Он лечил мою дочь и вообще следил за ее здоровьем. У меня уже вошло в привычку заходить к нему часов в семь, чтобы сообщить о наших делах или спросить, принимать ли ей и дальше какое-нибудь тонизирующее средство. Деловая часть визита была не так важна; он любил общество и перед своим столом поставил в несколько рядов стулья. Здесь каждый вечер собирались мои друзья и, усевшись, обсуждали жизнь и литературу. Во время одного из этих вечеров родилась мысль — не помню, кто ее высказал,— что мне надо издавать собственный журнал. По вполне очевидным причинам я отверг это предложение. Пурна, который то появлялся на этих сборищах, то вдруг исчезал, заметил не без иронии:

— Почему бы не назвать журнал «Индийская бессмыслица»?

— Давайте назовем его «Индийская мысль», что сведется к тому же,— подхватил кто-то.

Сошлись на том, что название было хорошее. Стали обсуждать детали. Журнал будет издаваться четыре раза в год, он будет посвящен литературе, философии, культуре. Доктор обещал, что все его больные подпишутся на журнал. Пурна обещал поддержку правительства — в виде рекламы и заказов для библиотек. Еще кто-то обещал взять на себя информацию. Я же должен был собирать материал и следить за его изданием.

В ту ночь я не мог заснуть. В голове у меня гудело от планов и подсчетов. На следующее утро я прежде всего сочинил манифест, который следовало широко распространить,— в нем оповещалось о рождении нового журнала. Уговорив дочь пойти поиграть с соседскими детьми, я заперся в своей комнате. Я хотел, чтобы мне не мешали исполнять редакторские обязанности. Я высказал в манифесте все, о чем мечтал: найти должное выражение нашей культуре; переводить на английский язык для популяризации нашего культурного наследия произведения индийской классики и старинной философии, а также современных авторов — с санскрита и десятка других региональных языков; поощрять оригинальное творчество на английском языке самого высокого качества. Мои мечты могли бы осуществиться, если б я взялся издавать энциклопедию культуры в пять тысяч страниц; но

в том объеме, который мы себе наметили — сто двадцать страниц четыре раза в год,— такая попытка была бы чистым безумием, все равно что пытаться засунуть слона в спичечный коробок. Каждый день я писал множество писем потенциальным авторам и доброжелателям. Письма начинались напыщенно: «Пишу вам как редактор литературного журнала, задачи и цели которого излагаются в прилагаемой брошюре. Поверьте, что я буду счастлив рассмотреть... и предложить скромное вознаграждение в тридцать рупий за статью...» По моему тону можно было предположить, что титул редактора был на меня возложен чуть ли не силком обширным и настойчивым комитетом; ничто не выдавало, что эту честь я оказал себе сам. Я чувствовал, что все эти годы не сознавал своего истинного призвания — редактировать журнал. Я вспоминал Дж. Ч. Сквайра и других издателей, которым я посылал «Божественную музыку», и принимал решение не походить на них. Судьба сулила мне открытие и воспитание целой плеяды молодых писателей. Если мне нужно будет отвергнуть статью, я напишу автору об этом с сокрушением, а не свысока и никогда, ни при каких условиях не пошлю отказа, напечатанного типографским способом. Будучи редактором, я могу не сомневаться в том, что для моих собственных работ всегда найдется место (со временем я понял, что отдавать свои статьи в другие журналы гораздо выгоднее).

В банке у меня лежало сто рупий — им предстояло стать первоначальным капиталовложением. Мистер Сампатх, мой издатель (который впоследствии стал героем одного моего романа и двух сценариев), сказал мне прямо:

— Напечатать-то я напечатаю, но бумагу вы доставайте сами. Я в это вкладывать деньги сейчас не могу. Вообще-то я бы ничего против не имел. Только вот время для меня неподходящее. Я как раз заказываю печатную машину с двойным цилиндром, а может, еще и «Гейдельберг» с цветной печатью — весь мой капитал связан. Вы будете счастливы увидеть свою обложку напечатанной на «Гейдельберге» и текст, напечатанный по шестнадцать страниц одновременно.

После чего он попросил аванс. Собрав по подписке сто рупий с четырех наиболее состоятельных моих друзей и приложив сто собственных рупий, я выдал издателю аванс, рассчитывая увидеть первый номер журнала через неделю. На самом же деле первые сто двадцать страниц печатались целых три месяца, ибо, хотя Сампатх разглагольствовал о шестнадцати страницах одновременно, печатать на станке с ножным приводом он мог лишь по четыре страницы. Потребовалась не одна неделя волнительных поездок в типографию, прежде чем был напечатан последний лист. Когда уже я в отчаянье махнул на Сампатха рукой, он вдруг как-то в полночь постучал в мою дверь. И, стоя на веранде, он театральным жестом протянул мне первый экземпляр «Индийской мысли», а у калитки стояла тонга, на ней дожидалась разгрузки еще тысяча. Вид у него был торжествующий.

— Они все аккуратно запакованы,— сказал он.— Вам остается только надписать адреса и разослать их. Если материал для следующего номера готов, я хотел бы приступить к работе немедленно. Мои машины не должны простаивать, для вашего заказа все готово — вы даже не представляете, сколько предложений мне пришлось из-за вас отклонить...

«Индийская мысль» меня потрясла и испугала — на ней была оранжевая суперобложка с моим именем, полной луной, раскидистым баньяновым деревом и силуэтом бродяги, лежащего под его сенью. Я листал страницы, уповая, что они вдохновят и просветят моих читателей. Сам я дал в первый номер лишь какой-то бессвязный анекдот на одну страницу, а прямо со второй страницы начиналось чрезвычай-

но специальное математическое исследование «О вероятности». Я вынужден был вставить его в журнал, ибо оно пришло первым в то время, когда Сампатх требовал материал для первого листа. Оно было включено еще и потому, что его автор был уважаемым преподавателем математики, который помог мне выдержать публичный экзамен. Когда он прислал мне свой труд для публикации, я не мог ему отказать, хоть я ничего в нем и не понял. Страница за страницей рассуждения, а потом формула вероятности выпадения «орла» или «решки», если бросать монету,— НТТНН или что-то в этом роде. Я уповал, что моим читателям все это будет понятнее, чем мне, но лишь один из них поздравил меня с публикацией этого материала. Остальные либо не обратили на него никакого внимания, либо писали о нем с крайним раздражением. Юмористический рассказ под названием «Открытие», переведенный на английский язык с одного из индийских диалектов, который, как я узнал позже, был заимствован из П. Г. Вудхауза и переделан на индийский манер. Чье-то путешествие в Ладакх, экономический труд, статья Поля Брантона о каких-то мистических поэмах, которая была выше моего разумения,— странная мешанина, оправдывающая первоначальное название для журнала, предложенное Пурной. Я постарался оживить второй номер — отказался от оранжевой суперобложки с силуэтом бродяги и придал журналу несколько менее аскетический вид, поместив в конце страниц, там, где оставалось свободное место, анекдоты и шутки. Скоро я понял, что эти вставки читаются лучше, чем основные работы, занимающие большую часть листажа. Мне хотелось сделать журнал легким и увлекательным, чтобы каждая его страница сверкала правдивостью и красотой стиля, чтобы он был глубок, но не тяжеловесен. Однако он стал мешаниной из неудобоваримых специальных трактатов и заимствований из Вудхауза; одним из тех журналов, которые я обычно старался не брать в руки.

Вскоре мне предстояло осознать, что при выборе статей для «Индийской мысли» я руководствовался нездоровыми и даже (в одном случае) бесчестными побуждениями. Я пришел к этому выводу, прочитав в журнале рассказ о бешеном псе, питающемся отбросами. В предыдущем воплощении он был человеком, юношей, как рассказывает об этом от первого лица сам пес. Юноша женился, но возлег на брачное ложе со своей женой, не совершив должных свадебных обрядов; когда его поймали на месте преступления, он осознал свою вину и покончил с собой; в следующем воплощении он оказался бродячим псом; однажды жарким летним днем он утолил мучившую его жажду, напившись воды из канавы, взбесился, кинулся на прохожих и был забит насмерть. Рассказ отличала бессмысленная до смешного жестокость. Я получил его от моего нового домохозяина (старый домохозяин умер), молодого человека, который, помимо прочего, хотел быть писателем. Он не одобрял договоренности с прежним домохозяином, согласно которой я платил раз в полгода, и требовал, чтобы я платил ежемесячно, да к тому же хотел повысить плату. Нападение на Пирл-Харбор и легкий налет на Мадрас повели к оттоку населения в Майсур, располагавшийся в приятном отдалении от моря. В результате спрос на дома повысился, и домохозяева старались под любым предлогом выжить старых жильцов. Мой хозяин также заразился всеобщим поветрием и стал то и дело наезжать из Бангалура и предлагать нам выехать для того якобы, чтобы дать ему возможность произвести в доме капитальный ремонт. Это было немыслимо. Ехать семейству нашему было некуда; и потом, даже если бы нам удалось найти подходящий дом, мы не осилили бы новых цен. Меня преследовали видения: всей семьей, ведя на поводке нашего дога, мы бредем вереницей

по улицам Майсура с чемоданами и постелями в руках, а потом останавливаемся передохнуть на открытой веранде Сита Вилас Чоултри, городского приюта на Стофутовой дороге, где собирались путники и бездомные. Думать об этом было страшно. Мой старший брат почему-то не принимал всерьез требований домохозяина. Он говорил лишь:

— Никто нас не может потревожить, не волнуйся. Давай предложим этому юноше небольшую надбавку, и он оставит нас в покое.

Мы предложили надбавку в десять рупий, которую домохозяин тотчас принял; на пару месяцев он оставил нас в покое, но потом объявился снова все с той же историей насчет перестройки дома. Разговоры эти он мог вести лишь со мной, ибо старший брат с утра до ночи пропадал на своей фабрике удобрений, а младший весь день торчал во дворце. Наш юноша появлялся, усаживался и заводил беседу, начиная ее с общих положений о том, что такое дома и каковы трудности их содержания. Завершал же он ее неизменно следующими словами:

— Нам необходимо в наикратчайший срок перестроить этот дом, ибо мы хотим переехать сюда из Бангалура; мы чувствуем, что и Бангалур небезопасен, раз уж японские самолеты появились над Мадрасом.

Я говорил:

— Ну, если они долетят до Бангалура, то могут спокойно пожаловать и в Майсур. В конце концов, расстояние здесь небольшое!

Вскоре он изменил тактику и начал объяснять, что собирается строить в Майсуре фабрику английской соли, надеется на военные контракты и срочно нуждается в доме. Мы прожили в этом доме много лет, и нам казалось невозможным вдруг выехать из него. Пока я ломал себе голову, как бы уговорить нашего юношу дать нам новую отсрочку, он вдруг во время одного из последних визитов извлек из кармана свой рассказ и принялся читать его вслух. Меня поразила абсолютная нелепость замысла, однако, проглотив свои возражения, я сказал ему что-то лестное. Он казался довольным и впервые за все это время ушел, не обмолвясь ни словом о доме,— вид его коричневого костюма, исчезающего вдалеке, бесконечно обрадовал меня (он всегда наряжался в строгий коричневый костюм, но галстука почему-то не надевал). Я был счастлив, что отправил его восвояси таким довольным.

Но я и не подозревал, чем все это может обернуться. Едва две недели спустя коричневый костюм вновь проник в мой кабинет, он вынул из кармана на этот раз отпечатанный экземпляр своего рассказа. Это случилось в тот самый миг, когда я пытался набрать материал для Сампатха. С приближением крайнего срока Сампатх становился необычайно настойчивым. Он то и дело посылал мне напоминания: «Мы ждем материал, чтобы закончить ваши листы, прежде чем выполнять другие заказы. Убедительно просим оказать нам содействие и избавить нас от убытков, а также не винить нас впоследствии, если мы возьмем другую работу и будем поэтому вынуждены отложить вашу». Этот человек, такой приветливый и простой в личном общении, в письмах, где он говорил о себе лишь во множественном числе, всегда производил гнетущее впечатление. Пока я рассуждал, что бы мне предпринять, а посыльный Сампатха ждал у двери, юный домохозяин взмолился:

— Я буду так счастлив, если вы сможете где-нибудь напечатать этот рассказ.

Я не хотел упускать случай поставить этого юношу в положение человека, обязанного мне, и сказал ему без обиняков:

— Если вам так хочется увидеть свой рассказ в печати, дайте мне письменное обязательство не беспокоить нас, по меньшей мере, в те-

чение двух лет. Это ваш единственный шанс... Иначе несите его, куда пожелаете.

— Два года... Невозможно! — вскричал он и с гневом ретировался.

Я решил, что все кончено и пора, препоясав чресла, перебираться в городской приют. Но в тот же вечер на моем пороге снова возник коричневый костюм. Вид у него был измученный и столь же затравленный, как у меня. Я холодно поинтересовался, чем могу быть полезен. Примирившись с необходимостью переселения в городской благотворительный приют, я решил, что могу, по меньшей мере, позволить себе удовольствие говорить с ним так, как мне хочется. Мой тон, казалось, его обеспокоил.

— Мистер Нарайан,— сказал он,— мы с вами старые друзья. Остановимся на компромиссе. Пусть будет один год, а не два.

И я принял его рассказ, отредактировал, постаравшись, чтобы он звучал не так бессмысленно, и отправил в типографию. Однако, прочитав этот рассказ, напечатанный рядом с другими в третьем номере журнала, я устыдился; я понял, что злоупотребил своим положением редактора в семейных интересах, и мои читатели вправе при первой же встрече забросать меня камнями.

Четвертый номер журнала за октябрь, ноябрь и декабрь 1942 года вышел в мае 1943-го. Сампатх, которому надо было срочно напечатать годовой отчет кооперативного общества, «Подношение к Золотому Юбилею» и с десяток других вещей, отложил мой журнал. Однако он отказывался брать на себя вину за задержку. Он утверждал, что я не доставил ему вовремя бумагу, хотя незадолго до того заверил меня, что я не должен заниматься подобными мелочами, ибо на то у него существуют собственные источники. Все это настолько выбивало меня из колеи, что я решил положить конец нашему изданию. Журнал себя окупал, но я чувствовал, что он поглощает слишком много сил и не дает мне писать. Мой младший дядюшка, который теперь преуспевал на ниве торговли автомобилями в Мадрасе, имея сотни клиентов, ловящих каждое его слово, успешно распространял «Индийскую мысль». Что ни день он присылал мне с десяток новых подписок. Он вербовал под наши знамена самых разных людей; многие из них в жизни не держали в руках книги, а теперь им приходилось выкладывать денежки на заумный журнал, выходящий где-то в Майсуре. Должно быть, дядюшка предлагал им выпить, а потом заставлял расстаться с суммой, необходимой на годовую подписку. Когда я или, вернее, Сампатх решил положить конец нашему изданию, в списках подписчиков значилось около тысячи человек.

У меня полегчало на сердце. Больше не нужно было волноваться о бумаге, печати, подписчиках, авторах. Однако все это совсем не означало, что моя связь с типографией закончилась. Сампатх оказался прелестным другом — он был всегда бодр, полон энтузиазма и всевозможных затей (только не относительно типографских заказов), принимал участие в десятке различных прожектов, совсем не обязательно связанных с его собственными делами. Он специализировался на театре и был знатоком драматических йскусств; стены его офиса были увешаны фотографиями, изображающими его самого в различных костюмах, гриме и позах. Он проводил репетиции с актерами у себя в офисе, меж тем как со стола у него слетали нетронутые корректуры; он помогал людям в запутанных тяжбах, знакомя их с братом, видным юристом; он находил жилье для тех, кто нуждался в помощи такого рода; и все это — за исключением дел, касающихся его типографии,— делал с жаром и увлечением. Мне он признался:

— Я буду рад вас видеть у себя в любое время. Можете, если хотите, считать мой офис своим, встречайтесь здесь с людьми или пишите, только не просите меня ничего вам печатать... Между друзьями не должно быть никаких типографских обязательств...

Я поймал его на слове и стал проводить у него утро и вечер. У Сампатха я познакомился с типографским жаргоном, со многими персонажами своих романов и вообще с жизнью Майсура; все его граждане ежедневно оказывались возле базара на Сайаджи Рао Роуд и, в конце концов, по разным причинам — у Сампатха.

В моем романе мистер Сампатх стал кинорежиссером. Сейчас, как я узнал, Сампатх и в самом деле подвизается в кино; он очень занят, у него чуть не ежедневные съемки в студиях Майсура и Мадраса. Свою типографию он, однако, не бросил; там стоит все тот же станок с ножным приводом — он не совершил ошибки и не купил себе ни двойного цилиндра, ни «Гейдельберга».

Глава тринадцатая

Мой домохозяин, после того как я прикрыл «Индийскую мысль» и наотрез отказался даже смотреть на его писанину, перешел в наступление. Каждое утро теперь я отправлялся на поиски нового жилья. Задача была непростая, ибо нам требовались отдельные комнаты для трех братьев, их семейств и матери; помещение для нашей собаки, огромного датского дога Шебы, какой-нибудь угол во дворе, где можно было бы варить для собаки баранину, чтобы запах, исходящий из котелка, не отравлял строго вегетарианскую атмосферу нашего дома; и, конечно, место для нашего старого слуги, единственного из всех нас, кто соглашался покупать баранину и готовить ее. В «Рама Вилас» мы располагали всем этим и, естественно, искали того же в любом доме, который нам приходилось осматривать. Юный домохозяин с каждым днем вел себя все воинственнее; судя по всему, теперь он вообще переселился в Майсур. С видом собственника прогуливался он по саду, глядел на кокосовые пальмы и, чтоб подчеркнуть свои права, пересчитывал орехи. Мы спокойно взирали на все это из окна, хотя по закону плоды принадлежали нам. Мы согласны были поступиться орехами, только б у нас была крыша над головой. Я его избегал. Наконец настал день, когда я получил от него по почте заказное письмо с требованием освободить дом в течение пятнадцати дней.

Мой брат и тут не обеспокоился.

— Предупреждение? Ну и что? Квартиросъемщика не так-то легко выкинуть из дома. Мы прожили здесь четырнадцать лет — любой суд будет вынужден это учесть. Нам должны дать самое меньшее полмесяца отсрочки за каждый прожитый год, так что у нас есть, по крайней мере, семь месяцев...

Не знаю, откуда он раскопал эти сведения. И все же я нервничал; я связался с агентами, а кроме того, почитал своим долгом посвящать утро поискам нового дома; я прочесывал улицу за улицей, ища вывески: «Сдается». Нам не хотелось далеко уезжать. Поставщики молока, школы для детей, друзья, знакомые, лавки — здесь все было под боком; бросить все и уехать за пределы Виверс Лайнз, Чамунди Экстеншен или Чамараджапурам было невозможно. Я осматривал не менее двух домов в день; я бредил домами днем и ночью. Жить в доме, который не принадлежит тебе, казалось мне теперь унизительным, и я тут же подал в Совет городского земельного треста прошение об участке.

Меж тем домохозяин прислал мне еще одно официальное письмо с требованием освободить дом в десятидневный срок. Я пришел в от-

чаяние и отправился к моему другу Сампатху за советом, что мне делать дальше. Он тут же отвел меня наверх в контору своего брата и коротко изложил ему мое дело. Брат Сампатха был преуспевающим адвокатом и могучим мужчиной, самый вид его действовал успокаивающе. Он проглядел мои бумаги и сказал:

— Вашего домохозяина я беру на себя. Не волнуйтесь.

Моя мать, однако, настаивала на том, что следует не пользоваться преимуществами юридического свойства, а отказаться от дома и переехать куда-нибудь. Я продолжал поиски.

Однажды утром, когда я шел по улице, неподалеку от нашего дома я увидел у калитки профессора Хирийанну, почтенного старца, который преподавал в университете санскрит и индийскую философию. Я остановился перекинуться с ним словечком. Хоть он и был намного меня старше, частенько, увидав его у калитки или на углу его улицы, я останавливался поговорить с ним о книгах или издателях. В это время он вел переговоры с издательством «Аллен и Анвин» о публикации своей книги по философии; некоторые пункты договора были ему неясны, и он обратился ко мне за советом. В то утро, побеседовав на общие темы, я рассказал ему и о своих заботах.

— Почему бы вам не снять этот дом? — спросил он, указав на бунгало справа.— Он принадлежит моей дочери и сейчас, по-моему, свободен. О плате и всем прочем вам надо будет договориться с ней.

Момент был самый подходящий. Не прошло и недели, как мы переселились в дом № 963 по Лаксмипурам, всего в двух кварталах от нашего прежнего жилья. Это был просторный дом с большим двором и комнатами, в которых спокойно разместились все мы и Шеба,— самое главное, район остался тот же.

В 1948 году, в предпоследний день января, я вступил в эпоху строительства, торжественно поддев мотыгой комок земли на участке, выделенном мне в Ядавагири, районе на северной окраине Майсура. Он был еще не застроен и находился на плоскогорье, с которого открывался великолепный вид на многие мили вокруг. Этот участок мы выбрали потому, что на самой его границе стояло цветущее деревце алого жасмина. Несмотря на ряд преимуществ эстетического свойства, место это было заброшенное и пустынное — оно находилось далеко от нашего прежнего района, и там не было ни дорог, ни воды, ни электричества. Церемония «закладки фундамента» прошла шумно и весело — с помощью раздвижного метра и белой краски строитель-подрядчик наметил контуры фундамента будущего дома и оделил всех сластями и рисовыми хлопьями. Все это было убедительно, и мы преисполнились надеждами и ожиданиями.

Однако на этом все приятности и кончились. За столь великолепным началом последовало долгое затишье — в последующие пять лет строительство шло черепашьим шагом — не хватало то денег, то цемента, то стали и леса; между мной и подрядчиком то и дело возникали трения, ибо он требовал денег, но никак не соотносил их получение со строительством. Я залез в долги, но сколько я ни платил, он смягчался лишь на время, а затем снова требовал денег. У него была удивительная манера составлять счета, вписывая туда подряд, размеры, цены, расходы, в результате чего возникали такие итоги, перед которыми меркло все, что бы я ни доставал.

— Если мне не платят за работу,— говорил он с неудовольствием,— как же мне строить?

После чего я снова одалживал деньги, пытаясь его задобрить. Прошло немало времени, прежде чем я понял, что его счета носили

мифический характер, ибо большей части перечисленных в них вещей просто не существовало в природе, и что мне необходимо от него отделаться. Строительство дома находилось все в том же состоянии, зато мои долги росли, а ежедневное (порой даже дважды в день) хождение из Лаксмипурам в Ядавагири и обратно для наблюдения за стройкой лишало меня последних сил и нервов. Пришлось снова прибегнуть к помощи юридического родственника Сампатха; обратившись в суд за арбитражем, я отделался, наконец, от своего подрядчика и нашел другого.

Прошло около пяти лет после торжественной церемонии закладки фундамента; и вот дом был готов. Впрочем, кроме меня, никто из членов нашей семьи не мог сразу в него переехать: представители младшего поколения учились в школах Лаксмипурама, мои братья работали там же. Я стал укрываться в доме на Ядавагири, чтобы писать. Я делил время между Лаксмипурам и Ядавагири, наслаждаясь в одном доме обществом семьи, а в другом — своих книг и рукописей.

В Ядавагири у меня был небольшой кабинет — комната фонарем с восемью окнами, откуда открывался вид на все стороны света: на храм, расположенный на горе Чамунда; на множество шпилей, башенок и куполов с востока; на овец и коров, пасущихся повсюду, и на железнодорожное полотно, перерезающее склон с востока на запад. На соседнем участке кто-то жил; жили, возможно, и на другом участке, находящемся на восточном склоне, где порой в окне мелькал огонек. В тихие дни я слышал негромкий зов вальдшнепа и щебет множества птиц, слетавшихся к деревцу алого жасмина. Красота окружающего ландшафта, как я осознал еще в студенческие дни, не способствует продуктивным занятиям или чтению. Я часами просиживал у окна, поглощенный созерцанием пейзажа; отвлечься было нелегко. Позже я решил занавесить огромное окно у письменного стола, чтобы взор мой падал лишь на серую штору,— таким образом я начал снова писать свою тысячу слов в день, закончив за годы одиночества в Ядавагири два романа и немало рассказов.

Глава четырнадцатая

В феврале 1956 года моя дочь вышла замуж за своего двоюродного брата Чандру. Несмотря на строительство дома, мне удалось сэкономить достаточно для того, чтобы отпраздновать свадьбу с музыкой, угощением и огнями, пригласив множество гостей со всей южной Индии; не пренебрегли и предписанными священными книгами церемониями и обрядами.

Когда дочь уложила вещи и уехала к мужу, я поначалу почувствовал какую-то пустоту. Привыкнув к роли заботливого отца, я обнаружил, что остался без дела; впрочем, вскоре я научился ценить благоприобретенный титул тестя. Дочь с мужем часто писали мне, и письма их были полны бодрости и веры в будущее. Я видел, что они счастливы.

Именно в это время я получил приглашение от рокфеллеровского фонда приехать в Америку. Момент был самый подходящий; я дал согласие и на несколько недель погрузился в разные непривычные дела: получал паспорт, делал прививки, оформлял разрешение на обмен валюты и заполнял документы, снова и снова отвечая на бесконечные вопросы: «полное имя», «имя отца», «дата рождения» и прочее. Наконец, я покинул треугольник Мадрас — Майсур — Коимбатур и в октябре 1956 года отбыл в Соединенные Штаты.

В это время я обдумывал сюжет для романа — романа о человеке, которому поневоле пришлось стать святым. Этот сюжет мне подсказали недавние события в Майсуре. Сильная засуха осушила реки и

водохранилища; пересох и Кришнараджа Сагар, огромный резервуар, питающий каналы орошения на тысячи акров вокруг, обнажив на глубине в сто пятьдесят футов дно в трещинах и расщелинах с залитым когда-то древним храмом, останками кокосовых пальм и обезвоженных крокодилов. Отчаявшись, муниципалитет прибегнул к крайней мере: молебствию о дожде. Группа браминов, стоя на пересохшем ложе Кавери, по колено в воде (которую раздобыли за бешеные деньги), в течение одиннадцати дней без перерыва постилась, читала молитвы, пела особые мантры. На двенадцатый день полил дождь, и вся округа вздохнула с облегчением.

Так возник замысел «Гида»[1]. Во время путешествия по Америке он принял окончательный вид. Я остановился в Беркли на три месяца, снял номер в отеле и написал там свой роман. Приведу отрывок из дневника, который я вел в то время.

Беркли

Снова ищу дом, твердо решив поселиться на время работы над романом в Беркли, а не в Пало Алто. Изучаю объявления в берклианском «Газетире»; осматриваю свободные, по слухам, квартиры; по совету Эда Харпера иду в квартирное бюро университета и рассказываю некой миссис Кихоу о своих поисках. (Никак не мог сосредоточиться на деле, ибо меня так и подмывало спросить, не пропущена ли в ее фамилии последняя буква [2].) Она садится за телефон.

— Тут у меня человек, которому нужна комната для работы с кухней и отдельной ванной. Он может платить до...

Наконец, со списком адресов в руках мы отправляемся в обход... Ни одна из осмотренных нами квартир не подходит. Проходя мимо студенческого книжного магазина на Телеграфной, я вдруг поднимаю глаза и вижу, что стою прямо перед отелем «Карлтон», которого прежде почему-то не замечал. Вхожу; управляющий Каплан чрезвычайно любезен и полон готовности мне помочь — согласен дать мне номер с обслуживанием, постелью и кабинетом, позволив пользоваться электрической плиткой, на которой я смогу готовить себе еду. Идеально, как раз то, чего я искал. И стоит всего семьдесят пять долларов в месяц.

На следующий день в два часа я выехал из старого отеля, где платил по семь долларов в день, а в пять минут третьего уже въехал в «Карлтон». В тот же вечер купил электрическую плитку, кастрюльку, рис и овощи и рискнул приготовить себе обед. Чувствую глубочайшее облегчение от того, что не должен больше есть в кафетерии морковь с томатом.

Впервые за все это время я устраиваюсь и распаковываю чемодан. Здесь мне удобнее планировать свою работу. Мне все тут нравится, все рядом: два кинотеатра, несколько зеленных и бакалейных магазинов, а прочих — так и вовсе без счета; пройдешь несколько шагов — и можешь купить все что угодно; из окна видна башенка с часами, мелодия их боя очаровательна...

Записывать особенно нечего, все идет по-прежнему. Я вошел в ритм работы — что бы там ни происходило, я ежедневно пишу от полутора до двух тысяч слов. Вся книга готова у меня в голове, за исключением кое-каких мелких деталей; дело за тем, чтобы все записать. Иногда, когда я чувствую, что потерял много времени, я говорю для очистки совести Каплану, сидящему за своей конторкой:

— Ближайшие несколько недель я буду очень занят, надо продвинуть книгу.

---

[1] В русском переводе вышел под заглавием «Святой Раджу».

[2] Кихоул (Key-hole) — замочная скважина *(англ.)*.

Лишний раз повторить, что ты собираешься делать, никогда не мешает. Когда проездом через Лондон я рассказал о замысле своей книги Грэхему Грину, он его одобрил. Я колебался, оставить ли в конце романа моего героя в живых,— Грин же считал, что он должен умереть. Итак, у меня на руках человек, осужденный на смерть еще до того, как он родился и вырос, и мне необходимо так спланировать повествование, чтобы подвести к этому. Ни о чем другом я сейчас не могу думать. Я произвожу сложные подсчеты: тысяча слов в день, и к первому февраля я заканчиваю первый вариант. Чтобы облегчить работу, я взял напрокат машинку; после трехдневной трескотни она начинает действовать мне на нервы, и я перебираюсь на диван, вооружившись ручкой. Печатаю я или пишу, но я не успокаиваюсь, пока к концу дня не наберется около двух тысяч слов. От завтрака до ленча я успеваю написать слов пятьсот, пока на электрической плитке варится рис — еще двести, а после ленча — снова за работу до шести часов, с редкими перерывами, чтобы прочитать письма или ответить на них, выйти прогуляться по горной дорожке или перебросится словечком с одним из моих многочисленных здешних друзей...

Написав последнюю фразу своего романа, я собираюсь побродить с неделю по Беркли, а потом поехать дальше по стране. Я жил здесь так, словно мне никогда не нужно будет уезжать из Беркли. Все друзья, какие только у меня есть, кажется, живут здесь. Дни, проведенные в Беркли, были заполнены работой, размышлениями, прогулками по горным тропам и встречами с друзьями. Вот почему, когда приходит время думать об отъезде, мне так грустно. Как это я буду жить без вида на книжный магазин у Сазергейта, без боя часов на башенке, без вечно спешащих внизу по улице студентов, без бакалейщика, прачечной, антиквариата? Мне будет не хватать музыкальных названий этих улиц — Дуайт Уэй, Ченнинг, Эктон, Проспэкт, Пидмонт, Шаста, Олимпус, Сакраменто — и множества друзей, которых я здесь приобрел. Мне будет не хватать голоса Лилы по телефону. Когда солнце сияет, непременно раздается звонок и она говорит:

— Какой прекрасный день, правда?..

Все воскресенье был занят, отменял свой первоначальный план ехать в понедельник. Весь понедельник провел в банке, в агентстве по отправке багажа и на телеграфе. Поздно вечером зашел Билигири. Забежал Джон сказать, что отвезет меня на следующий день на аэродром, но Винсенты уже предложили свою помощь. Пришел Эд Харпер с коробкой конфет — сообщить, как полагается по индийским обычаям, о рождении сына.

Утром безумно занят, так как все еще не уложил чемоданы. Джон и Ирэн Винсент везут меня на аэродром. Каплан у своей конторки, прощаясь, расчувствовался. Несмотря на мои возражения, Джон Винсент все время несет мои вещи. Они идут со мной до барьера, прощаясь, передают мне корзину с фруктами и сластями.

Глава пятнадцатая

«Гид» достиг известной популярности, что хоть само по себе и приятно, привело к смешным и даже трагическим последствиям.

В сентябре 1964 года Дев Ананд, бомбейский кинорежиссер и актер, написал мне из Нью-Йорка, а потом появился как-то утром у меня в доме на Ядавагири для того только, чтобы приобрести права на экранизацию «Гида».

У моей калитки собралась кучка охотников за автографами, в то время как в гостиной, после обычных приветствий и вопросов, Дев Ананд достал чековую книжку, снял колпачок с пера и занес его над

чеком, попросив меня назвать свою цену за «Гида». Он поставит ту цифру, какую я назову. Этого я не вынес. При мысли о такой удаче мозг мой словно парализовало. Я небрежно махнул рукой и попросил лишь более чем скромный аванс и небольшой процент от будущих сборов.

Я важно произнес:

— Рисковать так рисковать! Не хочу вас эксплуатировать.

— С вашей помощью мы все преодолеем,— сказал он,— а тогда пределом нам будет лишь небо!

По мере того как шло время, тучи на нашем небе все сгущались, а когда дошло до сборов, небо закрыла сплошная мгла. В конце концов мне сообщили, что фильм «Гид» сборов не сделал. Мне написали: «Хотим заверить вас, однако, что, как только фильм начнет делать сборы, вы автоматически получите свою долю...» С тех пор прошло уже семь лет. Считается, что затраты по фильму достигли почти десяти миллионов рупий, впрочем, большая часть этих денег пошла на самих киношников, на неслыханные гонорары и царский образ жизни во время съемок. Время от времени меня вызывали для каких-то неясных консультаций или пресс-конференций, где, напоив гостей до бесчувствия, хвастались грандиозными планами и достижениями.

Однажды меня вызвали в Бомбей на обед в Доме правительства с лордом Маунтбэттеном, которого надлежало убедить, чтобы он уговорил королеву Елизавету присутствовать на всемирной премьере «Гида» в Лондоне. Прямо с аэродрома меня отвезли в банкетный зал Дома правительства. Идея была фантастическая — возможно, она возникла в мозгу покойной ныне Перл Бак, которая была партнершей Дев Ананда по постановке «Гида». После роскошного банкета хозяйка, которая в то время занимала пост губернатора Бомбея, незаметно отделила киногруппу от остальных гостей и провела на боковую веранду, где расположился милорд. Мы расселись, повторяя про себя свои роли. Внезапно лорд Маунтбэттен спросил:

— А что там происходит в «Гиде»?

Перл Бак начала рассказывать, но очень скоро сбилась.

— Один человек по имени Раджу... — говорила она.— Ну, он был гидом...

— Гидом? — переспросил милорд своим глубоким голосом.— Каким гидом?

Этот вопрос застал ее врасплох. Она повернулась ко мне и сказала:

— Нарайан, расскажите вы.

Я молчал. Черт побери, чтобы рассказать историю гида, мне понадобилось двести с лишним страниц; больше меня в это дело не затянешь. Если верить рекламе, Перл Бак принадлежала честь создания сценария, за который ей заплатили не то двадцать пять, не то двести тысяч долларов, и я не собирался ее спасать из затруднительного положения. Она с мольбой смотрела на меня, в то время как остальные пытались заставить меня заговорить. Я упорствовал. Перл Бак прошептала:

— А еще там была Рози... танцовщица...

— А-а! — вскричал М.— И что же? Что с ней произошло?

В голосе его внезапно зазвучал интерес, и Перл Бак снова потеряла нить повествования. Признаюсь, я не без удовольствия слушал, как, путаясь и сбиваясь, она излагала Маунтбэттену своеобразную версию «Гида». Понемногу в нашу тщательно изолированную группу стали проникать прочие гости, которым полагалось держаться на расстоянии. Наконец лорд Маунтбэттен сказал:

— Чрезвычайно интересно, признаюсь...

Он повернулся к своему адъютанту:

— Уильям, напомните мне, пожалуйста, когда мы вернемся в Лондон. Не знаю, будет ли королева свободна... Во всяком случае, посмотрим, что можно будет сделать...

Ждать, чтобы рекламой «Гида» занимался человек, который в 1947 году, в бытность свою вице-королем, провел сложнейшую процедуру передачи власти Индии,— казалось мне совершенным абсурдом. Правда, больше об этом плане я не слышал.

Режиссер-американец внезапно потребовал, чтобы в фильм ввели сцену, где два тигра вступают из-за оленя в драку и убивают друг друга. Продюсер возражал, что это непрактично и дорого. Однако режиссер, объявивший себя последователем художественных заветов Элиа Казана, так объяснял свой замысел:

— Это будет символическая сцена. К тому же фильм у нас цветной, а кровь на экране приведет критиков в восторг, и тогда нам пределом будет лишь небо!

Услышав магическую фразу, Дев Ананд согласился на его предложение и отснял в Мадрасе бой тигров. Однако после монтажа вся сцена заняла на экране полсекунды и, несмотря на леденящий душу рык и прочие звуковые эффекты, более походила на цветную кляксу, по небрежности пропущенную при проявлении пленки в лаборатории.

Вначале, до того как начались съемки, меня то и дело просили о консультациях, и я целыми днями водил режиссера и его свиту по Майсуру, показывая реку, заросли, деревню, уличную толпу, гранитные ступени и осыпающуюся стену храма, которые в целом складывались в Мальгуди моего романа; перед отъездом они обещали вернуться в Майсур со съемочной группой и аппаратурой, но так и не объявились. Позже я узнал, что место действия «Гида» перенесли в Джайпур и уже отсняли несколько сцен на натуре, которая была так же не похожа на Мальгуди, как, скажем, Исландия. Когда я запротестовал, мне заявили:

— А где этот Мальгуди, скажите? Такого города не существует. Во всяком случае, считайте, что с этого момента он уничтожен. Для широкого экрана, да к тому же в цвете, Джайпур предоставляет идеальные возможности. Мы не можем попусту тратить средства.

Уничтожив Мальгуди, они избавились и от моих героев и их окружения. Мои персонажи были достаточно просты, их нетрудно было наблюдать; у них были свои четкие контуры, не смазанные городскими масштабами, спешкой, темпом. Моя героиня-танцовщица была звездой местного значения, однако героиня фильма стала знаменитостью в национальном масштабе, каждый день она пролетала сотни миль в «Боинге-707», выступала на концертах, раздавала автографы, позировала фотографам на фоне роскошных отелей и залитых неоновым светом концертных залов. Они ее сделали О. В. П.[1], и когда она спешит к своему умирающему возлюбленному, самолет и джип ей достают не где-нибудь, а в министерстве обороны в Дели, что придает особый блеск сцене смерти. Самым возмутительным был конец фильма, куда в последний миг прибавили сцену пышных похорон с плачем и стенаниями, чтобы умаслить одиннадцать финансистов, которые сидели на просмотре, зажав в руках мошны с деньгами, и ни за что не соглашались расстаться с ними, если в фильм не вставят траурную сцену по их вкусу.

---

[1] О. В. П. — общепринятое в странах английского языка сокращение: «Очень Важная Персона».

Затем начались неприятности с инсценировкой «Гида». Ее сделал мой старый друг Харви Брейт, который одно время был литературным редактором «Нью-Йорк таймс». Его «Гид» настолько отличался от моего, что я отказался дать разрешение на постановку. Я возражал против его сокращений и дополнений; особенно против сцены, где герой поворачивается и мочится на сцене. Эти расхождения настолько повлияли на нашу дружбу, что одно время мы с ним общались исключительно через адвокатов. Однажды утром — дело было в 1965 году в Нью-Йорке — мой адвокат позвонил мне по телефону в отель «Челси», где я остановился.

— Послушайте, Р. К.! Если у вас нет здесь особых дел, немедленно уезжайте из Нью-Йорка, а еще лучше и вовсе из Штатов. Харви Брейт вызывает вас в суд для арбитража. Я заявил его адвокату, что не знаю, где вы в настоящий момент находитесь. Исчезните, пока они не накрыли вас в «Челси»... Да, да, немедленно, сию же минуту. Если вас увидят и вручат вам повестку, нет, не вручат, а хотя бы бросят ее на землю перед вами, вы уже обязаны будете явиться в суд. Если вы не явитесь, вам предъявят обвинение в оскорблении суда, а это повлечет за собой неприятности. Вы не сможете покинуть страну в течение полугода или даже года.

Перспектива была ужасающей. Мне не на что было жить полгода в Нью-Йорке, и у меня не было денег на судебные издержки. Не прошло и часа, как я запихнул в чемодан свои вещи и, проездив добрую половину дня в такси по улицам Нью-Йорка (наилучший способ оказаться недосягаемым), укрылся, благодаря моему другу дипломату Натвар Сингу, в индийском консульстве; там я сидел до вечера, пока не настало время ехать на аэродром. Я чувствовал себя беглым преступником, прячущимся от шайки гангстеров. Пока самолет компании «Эйр-Индия» не поднялся в воздух, я оставался в состоянии крайней тревоги: я боялся, как бы в последний миг меня не высадили и не заставили явиться в суд с повесткой в руках. Повестка все же настигла меня — спустя две недели я получил ее в простом конверте в Коимбаторе. В конце концов арбитраж состоялся, и решение суда было в мою пользу.

Однако этим дело не кончилось; Харви Брейт был слишком хорошим другом, чтобы из-за этого потерять его. Он обратился ко мне, обещая сесть за инсценировку совместно со мной и коренным образом ее переработать. В марте 1968 года состоялась премьера «Гида» на Бродвее, но не прошло и недели, как он был снят со сцены — я даже не успел собрать чемодан и уехать в Нью-Йорк. Продюсеры потеряли на нем что-то около трехсот тысяч долларов. Больше Харви мне не писал. Спустя неделю я узнал, что с ним случился сердечный приступ и он упал мертвым на лестничной площадке у своей квартиры на шестом этаже.

Глава шестнадцатая

Из всех моих нелитературных занятий более всего меня увлекает, как я обнаружил, «сельское хозяйство в кресле». Я вырезаю из газет и храню заметки о сельских новостях, слушаю передачи для фермеров по радио. Я знаю, как избавиться от сорняков и вредителей, как выращивать рис в цветочных горшках, а помидоры — без земли и сколько при этом следует класть удобрений. Я с восхищением выслушиваю всяческие рассказы цветовода-практика о том, как он выращивает полмиллиона цветов, жасмина или хризантем, на одном-единственном акре и отправляет их самолетом на отдаленные рынки. Я никогда не подвергаю сомнению ни одного слова из всего, что говорит такой специалист.

Порой я размышлял о том, что, имей я землю, я бы вставал с ранними птицами, выходил в пять утра в поле и принимался бы за пахоту, пересадку, прополку и сбор урожая. Мне не нужны были бы иные радости, кроме запаха земли и сена, зерна и мякины. Дни я бы посвящал саду и цветам. Проводив уходящее солнце, я бы ложился в постель, следуя во всем замыслу и ритму Природы, живя жизнью, свободной от спешки и общества. Все это, вероятно, было навеяно чтением «Уолдена» Торо и других произведений того же рода.

Года два назад, под влиянием этих неотступных мечтаний о «возвращении на землю», я приобрел в Бангалуре акр земли, милях в ста от того места, где я живу. Этот участок находился за городом, но на территории бангалурского муниципалитета и новостроек, на шоссе между Бангалуром и Майсуром. Мой акр располагался на склоне холма, а на северной его границе высилась скала, этакая мини-гора. От вершины участок полого спускался вниз, до ровной поляны. У меня было достаточно места, чтобы мечтать о выстроенном на разных уровнях сельском доме с широкой верандой (самое главное — это, конечно, веранда); одна сторона моей мини-горы могла бы служить задней стеной для различных уровней дома вплоть до гаража в подвале. Надо найти хорошего архитектора, чтобы он сделал проект. За моим участком располагалась деревня домов в сто, над которой возвышался двухэтажный дом, где жил староста. Мне пришлось сразу же посетить эту персону, ибо я заметил на своей земле кучи навоза, явно принадлежавшие ему, и бурно произрастающие саженцы кукурузы. Мне стало не по себе. Пришлось нанести ему дипломатический визит и разъяснить, что я стал владельцем этого участка и горжусь честью быть его соседом. Я следил за тем, чтобы тон у меня был не слишком воинственный, ибо я знал, что так начинаются все ссоры из-за земли, постепенно переходя в постоянную войну и судебные тяжбы, которые ведутся годами, так что ни у кого не остается времени вырастить хотя бы травинку.

Староста обещал убрать со временем кучи, должно быть, «ребята», объяснил он, невзначай обронили навоз и семена. Я же со своей стороны заверил его, что надеюсь построить небольшой храм на самой высокой скале моей мини-горы, где буду собирать по вечерам деревенских детей и учить их чтению и письму, а также делиться с ними всевозможными сведениями о современном мире. Произнося эти слова, я внезапно открыл цель жизни. Если б каждый человек, получивший образование, усыновил небольшую группу людей и поделился с ними знаниями, которыми обладал сам, в пять лет пятьсот миллионов населения Индии совершенно преобразились бы. Увы, тот образ жизни, который веду я сам, не оставляет мне пока времени на осуществление этого плана.

Я жил в Майсуре и, оставив специалиста по сельскому хозяйству очищать землю от камней и сорняков и готовить ее к посеву, то и дело приезжал посмотреть, как идут у него дела. Он был практиком, который знал все про почвы, семена и времена года. Со временем моя собственная кукуруза поднялась на высоту четырех футов, и я торжествовал, глядя на нее. Однако на моем поле было также немало прохожих. Хорошо протоптанная тропа прорезала по диагонали мою землю, соединяя шоссе и деревни, крестьяне пользовались ею с незапамятных времен. Я обнес свою собственность колючей проволокой, укрепленной на гранитных столбах, однако древней традиции это не поколебало: люди просто сдвинули пару столбов, примяли колючую проволоку и продолжали ходить, как ходили от века. Специалист по сельскому хозяйству объяснял, что они были не нарушителями границ собствен-

ности, а простыми сельскими жителями, которые идут с юга на север, как ходили столетиями.

— Они ничего не испортят,— заметил он небрежно.

— Надо проследить, когда зерно созреет,— сказал я, мучимый мрачными предчувствиями. Мне не нравилось, что среди моей пшеницы ходит столько посторонних.

— Мы должны положить этому конец постепенно, а не то можно их ожесточить,— посоветовал он.

Я начал чувствовать, что на самом деле посторонним здесь являюсь я. В то время как остальным вход на мою землю был открыт, сам я вскоре обнаружил, что не имею юридического права на тропу к собственному участку. Чтобы попасть туда, мне приходилось идти по чужой земле. Человеку, который сваливал навоз на моем участке, принадлежала вся земля вокруг! С какой стати ему разрешать мне ходить по его земле? Я останавливал машину на каменистой проезжей дороге в полумиле от своего участка, а дальше брел пешком по земле этого человека, и, стоило ему захотеть, он всегда имел право запретить мне проход. Я начал беспокоиться из-за разных мелочей, связанных с землей.

К тому же экономический аспект сельского хозяйства ставил меня поначалу в тупик. Это был мир экономики наизнанку, когда по собственной доброй воле вы тратили больше того, что получали взамен. Я осознал это, когда в конце года мне вручили урожай. В один из очередных приездов мне принесли и положили в багажник мешок из грубой рогожи, наполовину наполненный зерном, тщательно собранным и просеянным.

Приехав в Майсур и с гордостью вынув дома мешок, я понял, что денежная его ценность не превышала пятнадцати рупий. Когда же настала пора расплачиваться по всем сельскохозяйственным счетам, мне пришлось выложить около четырехсот пятидесяти рупий. Я допросил своего специалиста, и он объяснил мне:

— Рабочие, сторож, выравнивание участка... Мы же не можем обработать весь акр за один год, займемся этим постепенно, это будет капиталовложение. Со временем оно себя окупит.

На следующий год повторилась та же история. Еще несколько квадратных ярдов земли очистили от камешков и выровняли. И снова рупий за пятьсот мне дали полмешка зерна. На третий год я не получил ничего, ибо в тот год не было дождей и все засохло на корню. Но постепенное выравнивание и очистка земли продолжались, невзирая на все соображения о расходах и доходах. Я чувствовал, что дешевле было бы покупать все, в чем я нуждаюсь, на рынке, но это неправильный и даже нечестивый образ мыслей. Сельскохозяйственные работы следует вести, проникшись смирением, невзирая на трудности, порождаемые людьми, стихиями и вредителями, которые нужно преодолеть непротивлением и верой в конечную победу. Городская суетливость здесь не поможет. Подобно пшенице, сельскохозяйственным проблемам надо также дать время на то, чтобы они зазеленели, созрели и засохли на корню.

Глава семнадцатая

Я склоняюсь к тому, чтобы назвать эту главу последней, но разве у автобиографии может быть последняя, финальная глава? В лучшем случае предпоследняя; автобиографию невозможно заключить плавно, как роман. Кончать книгу такого рода по необходимости приходится внезапно и где придется.

Мне бы хотелось переключиться на рассказ в настоящем времени, но я понимаю, что, если я попытаюсь втиснуть то, что происходит сейчас со мной, в четкие рамки, оно может оказаться обрывочным и несвязным. Прошлое, даже недавнее прошлое, имеет то преимущество, что хорошо укладывается в определенные границы; настоящее же постоянно выходит из берегов и разливается во все стороны.

Недавно, после долгих лет отсутствия, в моем доме появился старый друг. Известный экономист, он более трех десятилетий входил во всевозможные академические и промышленные советы. Мне показалось, что, несмотря на один со мной возраст, состарился он больше. Еще в пятьдесят лет он был бодр и подвижен, однако сейчас он думал только о холестерине, кровяном давлении и диабете. Он колебался, когда ему предлагали что-то съесть или выпить. Врачи ничего не говорили ему насчет еды, но, нахватавшись каких-то туманных медицинских сведений, он сам наложил на себя всевозможные запреты. Он допросил меня о моем здоровье. Когда я весело ответил, что пока что не думаю о нем, он, казалось, огорчился, словно без холестерина и прочего нас ничто не могло связывать. Я перевел разговор на что-то другое, но вскоре понял: о чем бы мы ни говорили, его тянет к волнующим темам. Он сказал:

— Согласись, что после тридцати лет, отданных на благо общества, я заслужил спокойную жизнь?

— А что тебе мешает?

Он растерянно ответил:

— Не знаю... Я перестроил свой дом так, чтобы моя дочь и зять жили в удобстве и в то же время рядом, но, знаешь, мне больно смотреть, как каждое утро она гонит своего сына в школу, а потом заставляет его делать уроки. Все это очень больно.— Он помолчал, вспоминая, что еще его огорчает, потом добавил: — И потом — моя жена! Как она делает покупки! Уж если она отправится на базар — ждешь ее часами! А я все это время сиди в машине! А если нанять шофера, я знаю, он вконец мне испортит машину. Разве в наши дни найдешь хорошего шофера?

В моем возрасте встретить человека своих лет — все равно что посмотреться в зеркало. Когда он уехал, я спросил себя:

— Ну, а я заслужил спокойную жизнь или нет? В какой мере она у меня есть и в какой мере это моя заслуга?

Если я о чем-то беспокоюсь, то это что-то по отношению ко мне внешнее, по большей части меня не касающееся. Обычно я расстраиваюсь из-за муниципальных неполадок: когда я вижу, что улицы освещаются недостаточно, я начинаю досаждать чиновникам телефонными звонками и письмами. Я то и дело кидаюсь строчить язвительные письма в газеты о ставших мне известными случаях коррупции и халатности. Я также взял на себя невозможную задачу — охранять тысячи мадрасских деревьев и без конца взываю к местным властям, чтобы они оградили их от козьих стад и дорожных вандалов. Деревце алого жасмина перед моим домом, которое выросло и пышно раскинуло крону, стало для меня источником непрерывных волнений. В течение четырех месяцев, начиная с октября, оно теряет листву, покрываясь вместо нее множеством бледно-желтых цветов, наполняющих воздух вокруг своим ароматом. Деревце привлекает толпы мужчин, женщин и детей из соседних деревень, которые собирают цветы для богини в небольшом храме Пэлес Порт. Я непрерывно кричу через забор:

— Не ломайте ветки! Трясите!

Одна из главных моих забот сейчас — это как спасти пруд Куканахали, который так много для меня значил в эпоху «Божественной

музыки». Поверхность пруда угрожающе уменьшается — водяной гиацинт выпивает всю влагу. И никого это не волнует.

Поутру, напившись кофе и изучив заголовки в утренней газете, я ненадолго устраиваюсь в кресле на веранде, чтобы обсудить с братом положение в стране и в мире в целом, что обычно влечет за собой в начале дня мрачные раздумья на всевозможные темы — политические, экономические и прочие. Порой мы обсуждаем методы предотвращения катастроф или утешаем себя эпизодом из древнего мифа, в котором всемогущий демон похитил Землю и спрятал ее в лоне Космического Океана, но Вишну в одной из своих аватар уничтожил демона, а Землю извлек и наставил на круги своя. Так что надежда пока не иссякла. Порой же мы незаметно забываем о проблеме сохранения жизни, глядя, как птицы садятся на закрученный в спираль тиковый столб [1], стоящий торчком посреди наших кротонов. У основания столба всегда стоит миска с водой, и птицы по большей части решают окунуться, прежде чем улететь. Дятел, вальдшнеп, черный дрозд, которых я видел здесь, еще когда строил дом, все живут, а впрочем, это, конечно, их потомки; они живут на деревьях за домом — на манго, хлебном и розовом дереве, крошечные ростки которых были посажены долгие годы назад, когда никто не надеялся на то, что они вырастут в целую рощу.

Накопление бумаг есть, верно, осязаемый след человеческой жизни. За сорок лет писания вокруг меня собрались целые горы бумаг — рукописи на разных стадиях их завершения, письма, документы, фотографии, заметки; мысль о них приводит меня в отчаяние. Время от времени я жгу целые кипы, включая рукописи, и все же в черном большом сундуке, куда складываются все бумаги, уровень их непрерывно растет. Я то и дело строю планы, как я их возьму да и уничтожу раз и навсегда, но в данный момент, чувствую, судьбу их должны решать другие. Когда Маршал Бест, мой издатель и друг, приехал ко мне в Майсур много лет назад и увидел, как я пишу какую-то важную заметку, он сказал, что мне скорей всего нужен хранитель, а не секретарь. Намек был оценен по достоинству.

Моя жизнь приобрела четко очерченный профессиональный характер: книги, литературные агенты, договоры, множество писем людям знакомым и незнакомым и, конечно, снова и снова путешествия. Но личная моя жизнь стала интересней. Хоть живу я в основном в Майсуре, я пользуюсь каждым случаем проехать сто двадцать миль по горной дороге, чтобы навестить мою дочь и провести в ее обществе столько дней, сколько я захочу; в ее доме мне отведена удобная комната, где я могу без помехи спать, заниматься или писать и, конечно, наслаждаться обществом моих внуков. Моя внучка сейчас уже не любит, когда ее называют ребенком. Когда я писал «Людоеда в Мальгуди», она, бывало, протискивалась в кресло рядом со мной и, пока я писал, тихо беседовала со своей куклой, но сейчас она уже старшеклассница (была недавно) и интересуется Инид Блайтон [2], музыкой к кинофильмам, которую передают по радио, и историями о Мальгуди. Несколько месяцев назад, во время праздника кукол Наваратри она сделала макет Мальгуди с крошечными улицами и домами; сейчас она помогает мне работать — пишет под мою диктовку и печатает мои

[1] Чудо природы, добытое из леса; какой-то стихийный ураган, пронесясь над лесами, закрутил, словно в неизбывной смертельной схватке или в брачном союзе, два соседних деревца тика и оставил их расти в виде спирали *(прим. автора)*.

[2] Современная английская писательница, известная своими повестями о Кейти («Кейти, вернись домой!», «Что сделала Кейти» и пр.).

письма. Моему внуку одиннадцать лет, он точная копия Свами из «Свами и его друзей», в том возрасте, в каком был я сам в этой книге на страницах 47—48. Он очень занятный внук; школьные дела, уроки, крикетная команда, велосипед и пинг-понг поглощают все его время. Стоит ему почувствовать, что он пренебрегает искусствами, как он берется за свою бамбуковую флейту или за барабан. Три года назад, когда он выздоравливал после операции аппендицита, он заинтересовался изящной словесностью. Я дал ему свою портативную машинку, и, сидя в постели, он весь день печатал на ней двумя пальцами: то перепечатывал что-то из книжки, то сочинял собственные рассказы. Один из них назывался «Идет» (почему, он не объяснял). Я привожу этот рассказ ниже:

«Жил-был человек и его отец. Они были такие бедные. Некому им помочь. Вот пришел день рожденья его отца. Потом этот человек стал очень богатым. Потом его сын стал бедным. Потом однажды пришел его дядя. Пришел день рожденья сына отца. Потом его дядя стал такой богатый. Дай мне деньги, сказал человек. Потом дядя стал такой бедный. Потом его отец говорил дяде: иди к Р. К. Нарайану и возьми денег. Тогда он будет такой бедный».

Мне этот рассказ понравился той легкостью, с которой он разом передает сложность и запутанность родственных связей и налагаемых ими обязательств, а также взлеты и падения в судьбе людей — материала здесь хватило бы на целый роман; помимо всего прочего, упоминание моего имени позволило мне увидеть себя со стороны, что очень освежает. Недавно я предстал перед своим внуком с этим сочинением в руках (завладеть его вниманием хотя бы на несколько минут сейчас нелегко, но я поймал его в тот момент, когда он только что вернулся из школы и не успел еще выбежать на улицу играть). Он равнодушно проглядел свой рассказ и с осуждением покачал головой.

— Я написал это так давно! Я был тогда такой молодой. Пожалуйста, выброси его.

Я объяснил, что не могу этого сделать. На миг он задумался, а потом сказал:

— Этот дядя не настоящий дядя, а просто сосед. Они все тратят слишком много денег на день рожденья, покупают мороженое сотнями порций, конфеты и всякое такое, так что в конце у них не остается денег. Они не должны просить денег у тебя. Пусть просят у других. Вставь эти исправления...

Он высвободился и побежал к своим друзьям, которые ждали его у калитки. На секунду он остановился и повернулся ко мне, чтобы объяснить:

— Мы основали крикетный клуб и назвали его К. К. К.— Крикет-клуб «Космос».

■ Послесловие

Маленький городок, прочно обжитый многими поколениями, уютно замкнувшийся в оболочку полей, стад тенистых деревьев, окруженный деревеньками. Гряда невысоких гор запирает горизонт. Городок живет неспешно, несуетливо, и это существование не то чтобы делало его жителей счастливыми, а просто помогает свыкнуться с тем, что есть.

Городок не оторван от большого мира, но известия о далеких событиях кажутся рябью на поверхности устоявшегося бытия; они проходят сквозь густой фильтр привычных представлений горожан, изменяясь до неузнаваемости, но медленно и необратимо изменяют и самих горожан...

Таких городков, конечно, множество, но того, о котором идет речь, на свете нет — городок Мальгуди существует только в книгах индийского прозаика Р. К. Нарайана. Он сотворил Мальгуди по образу и подобию бесчисленных индийских городишек, он тесно заселил его улицы и переулки пестрым городским людом — ремесленниками, торговцами, стряпчими-крючкотворами, открыл лавчонки на базарной площади,

расположил слободу неприкасаемых в речной низине, открыл колледж миссии Альберта, впустил горластых мальчишек путаться у прохожих в ногах, снабдил городок и собственным святым.

Наш читатель уже не раз побывал в Мальгуди — когда читал в русском переводе романы «Святой Раджу», «Людоед в Мальгуди», «Продавец сладостей»[1] и нарайановские рассказы.

Теперь читатель познакомился с еще одним обитателем городка — на пороге своего семидесятилетия Р. К. Нарайан написал автобиографию, и почти полувековая хроника Мальгуди предстала перед нами высвеченной изнутри.

«Мои дни» — не автобиографический роман, а автопортрет, и художник писал это произведение, следуя не столько хронологической последовательности событий или их масштабу, сколько своим ассоциациям и эмоциональному резонансу, который они в нем вызвали.

Часто пишут, что один из секретов привлекательности нарайановской прозы заключается в умении писателя создать убедительный образ не рассказом о герое, а одним только показом его.

Сделать такую вещь в автобиографии: не рассказать о себе, не оценить в ретроспективе прожитые годы, а показать шаг за шагом путь человека по жизни, вплоть до предпоследней главы — концовка такого рода произведений может быть только условной и неожиданной, задача, граничащая с невозможностью, но Нарайан выполнил ее.

Мы знакомимся с человеком непримечательным и непритязательным, с типичным жителем Мальгуди. Он родился и вырос в обыкновенной семье среднего достатка, столкнулся с заурядными житейскими проблемами, женился и завел семью, бедствовал от безденежья, со временем достиг благополучия, купил домик и живет себе в нем. От миллионов индийцев среднего класса этот человек отличен тем, что его бытие имеет еще и отдельное от него существование — в книгах, им написанных.

Итак, обыкновенный человек сотворил себе собственный мир в своих романах и рассказах; индиец написал все свои произведения на английском языке и получил признание как у тех, для кого английский родной язык, так и на родине — первым из индийских писателей, пишущих по-английски, Нарайан был удостоен в 1961 г. премии Литературной Академии Индии.

«Мои дни» могут быть прочитаны как повествование о человеке, личность которого с детства формировалась под воздействием двух разных культур, постоянно вступавших в противоборство. Дома мальчик жил в Индии, но, отправляясь в школу, он совершал ежедневное путешествие в крохотную Англию.

«Свободное владение английским было признаком общественного положения». В школьной библиотеке содержались только английские книги, школьные учителя в меру своих сил готовили новое поколение «маленьких коричневых сахибов».

«Мои дни» — это и портрет целого поколения индийской интеллигенции, которое воспитывалось с таким расчетом, чтобы, телесно существуя в Индии, жить духовной жизнью далекой метрополии и служить живым проводником ее влияния. Правда, лучшие представители этой интеллигенции, соприкоснувшись с европейской мыслью, стали проводниками передовых, революционных идей эпохи, но всем им приходилось открывать для себя свою страну и свой народ.

Нарайан и в автобиографии, и в своих романах «Учитель английской словесности», «Бакалавр искусств» и в других показывает, как труден, подчас мучителен путь, которым преодолевается отчуждение от собственной культурной традиции, особенно для человека, успевшего вобрать в себя ценности чужой культуры и понимающего, что было бы расточительством утратить их!

Две культуры взаимодействуют в самых потаенных глубинах сознания, души и сердца человека, в котором они сошлись. Вспомним, что рассказывает Нарайан о юношеском предощущении любви — о том, что знакомо каждому из нас. Но юноша, зачитывавшийся романтической английской поэзией, пронзенной преклонением перед Женщиной и влюбленностью в любовь, живет в реальности кастовой Индии, где не может быть места даже простому знакомству юноши и девушки до женитьбы.

Нарайан же, влюбившись в девушку у водоразборной колонки, нарушает все мыслимые для Индии нормы поведения и просит ее руки. Преодолеваются бесчисленные препятствия к браку — на счастье, Раджам и Нарайан принадлежат к одной касте и нет надобности брать хоть этот барьер! Но Нарайан тяжело «ранен женской долей» и в самую светлую и безмятежную пору своей жизни пишет роман «Темная комната». Героиню зовут Савитри, это имя — такой же символ женской верности и долготерпения, как Пенелопа для европейца, но трагична и безысходна судьба идеальной индийской жены.

Сумел бы писатель с такой ясностью осознать трагизм положения женщины в ортодоксальной индусской семье, если бы не сопоставление с женскими образами европейской и классической русской литературы, которую Нарайан знает и любит? Едва ли.

---

[1] См. «ИЛ» № 6, 7, 1960; № 2, 1964; № 1, 2, 1969.

Но когда судьба наносит Нарайану тяжелейший удар, он снова делается индусом, ища опоры в духовной традиции своего народа.

...Раджам умерла от тифа, оставив трехлетнюю Хему. Нарайан больше никогда не женился: девушка у колонки осталась его единственной любовью. Ее неожиданная смерть на долгое время лишила жизни и Нарайана: продолжая существовать, он не жил. Инстинкт самосохранения, инстинкт продолжения жизни проявляется подчас в формах достаточно причудливых, которые особенно необычно выглядят для людей, воспитанных в ином культурном этносе. Случайная встреча привела Нарайана к увлечению спиритизмом, сеансы, как он уверяет, дали ему возможность ощутить близость Раджам. «Фактические подробности для меня не имели значения... Даже если весь сеанс был сплошным надувательством, это было неважно... То, что произошло, было мне дорого, благодаря воздействию, которое в конце концов оно на меня оказало».

Индусу Нарайану трудней представить себе, что смерть окончательна и необратима, что она — последний ответ на жизненные вопросы, чем нам — поверить в возможность близости с ушедшей жизнью и попытки установить общение с ней.

История недолгого счастья с Раджам и долгого пути вовнутрь собственной души вылилась в роман «Учитель английской словесности». Этот роман в известном смысле можно считать поворотным в творчестве Нарайана или если не в его творчестве, то в напряженном равновесии двух цивилизаций: восточной и западной, которые сошлись в этом человеке.

Подействовало и другое: Нарайан получил заказ на книгу о штате Майсур. Ему, горожанину, пришлось много поездить и глубоко окунуться в деревенскую Индию, с ее фольклором, сказаниями, представлениями о мире. Придет время, и Нарайан напишет об этом в своей прекрасной книге «Боги, демоны и прочие». А пока — соприкосновение с Индией заставило Нарайана по-иному ощутить ее в себе.

Стереоскопичность видения мира, которую дал Нарайану его индивидуальный дуализм, в сочетании с глубоким знанием повседневных забот маленького человека сделали произведения писателя самой настоящей энциклопедией индийской жизни.

Убийственное репортерство, которому Нарайан отдал годы, а не дни своей жизни, гоня «дюймаж», постоянно озабоченный, чтобы материал дали в номер: городские улицы, нескончаемые ленты событий, происшествий, взаимодействия тем, типов и прототипов жителей Мальгуди, душу надрывающее сострадание к скудости человеческого существования — все это сделалось основой нарайановского мироощущения.

В одном из своих интервью Нарайан говорит:

«Моя основная задача заключается в том, чтобы главный герой получился типичным, обобщенным; я должен постоянно держать его в фокусе моего внимания. Если главные герои жизненны — все остальное легко...»

И герои Нарайана правдоподобны и типичны настолько, что они без труда переходят со страниц книги в повседневную жизнь, откуда пришли. Сохранить жизненность нарайановских персонажей Нарайан может только в Мальгуди, поэтому как бы ни были масштабны события, описываемые им, читатель увидит их через призму восприятия большой жизни обитателями этого маленького городка.

Поразительная узнаваемость нарайановских образов, доподлинность бытового фона, на котором они действуют — а бытовые детали Нарайан выписывает сочно, ярко, пластично,— занимают внимание до такой степени, что Нарайана легче всего воспринять как иронического бытописателя, зоркого, наделенного даром незлого остроумия, и только.

Тем более, что Нарайан никогда не изменяет раз выбранной манере письма и старательно избегает всего, что могло бы быть внешне оценено как авторская позиция. Он словно бы предлагает читателю урок смирения и принятия жизни как она есть. По сути же за этим стоит принятие — радостное принятие — только самого бытия, отбор же фактов жизни и взаимодействие человеческих характеров подводят читателя к необходимости задуматься над высшими жизненными ценностями.

Высшая ценность по Нарайану — это нравственное усилие, постоянная душевная напряженность, без которой человек не в силах оставаться человеком. При этом речь идет не о самосовершенствовании — писатель считает его разновидностью утонченного эгоизма, а непременно об усилии, направленном на служение людям.

В романе «В ожидании Махатмы» Нарайан показывает Индию маленьких людей, всколыхнутую национально-освободительным движением. Хотя один из героев романа — Махатма Ганди, он играет в нем роль магнита, к которому притягиваются или от которого отталкиваются полярно заряженные частички человеческой энергии. В центре внимания писателя — обыкновенные люди, не приученные мыслить политическими категориями, а решающие на каждом шагу моральные проблемы. Ненасильственное сопротивление или вооруженная борьба? Нарайан по-своему подходит к вопросу, который был предельно важен для Индии тех лет,— чистота помыслов человека, избравшего ту или иную форму борьбы за свободу, и отсутствие корыстных целей.

В «Святом Раджу» писатель по-другому — и на другом материале — раскрывает тему нравственного усилия. Раджу — очаровательный плут, свободный от пут морали, легко вживающийся в роли, которые ему подсовывает жизнь. По представлениям ин-

дусов желание нравиться — порок, потому что, стремясь понравиться, человек перестает быть собой.

А Раджу и в голову не приходит задуматься над тем, кто же он, и быть собой. Он выходит из тюрьмы, куда попал за подделку подписи, и простодушные крестьяне принимают его за святого. Раджу вживается в эту роль, но став символом нравственной чистоты для тысяч людей, он обнаруживает, что не в силах предать их. И Раджу умирает от навязанного ему поста, потому что, если святой не будет поститься, не пойдут дожди и вымрет вся округа...

В другом романе погибнет «чучельных дел мастер» Васу, не сомневавшийся, что норма жизни — эгоизм...

Но Нарайан — не резонер, не моралист. Он художник, мастер иронии и недосказанности, мастер ослепительного, остроумного и грустного повествования.

Нарайан отнюдь не идеализирует житье-бытье своего возлюбленного Мальгуди, не прикрашивает его обитателей, отыскивая некие патриархальные добродетели в скудоумных проблемах, осаждающих их. Нарайан — реалист, и он прекрасно видит глухую застойность жизни, пока еще продолжающей оставаться типичной для большинства населения Индии, понимает, как медленно принимаются ростки нового на этой почве, как трудно их произрастание.

Природа нарайановского дарования такова, что только через доподлинно знакомое ему малое способен он отразить крупное, которое не может стать собой, не вовлекши в себя бесчисленные крупинки человечества.

«Мои дни» — классическая история жизненного преуспеяния, отвечающая всем канонам: мальчик из безвестного городка, годы труда и безденежья, но все венчает собою слава. Переводы и переиздания романов, поездки по свету, литературные премии, контракт на фильмы, обед с последним вице-королем Индии, блистание кинозвездного мира... Но отчего так ироничен Нарайан в описании своего успеха? Скромность, ханжество?

И почему с такой пронзительной нежностью он пишет о своей земле, деревьях на ней, птицах в деревьях, о том, что такое душевное спокойствие?

Заканчивая повествование о днях своей жизни — о днях! — даже в названии проявилась привязанность Нарайана к каждой частице бытия,— писатель говорит: «Я внезапно открыл цель жизни. Если б каждый человек, получивший образование, усыновил небольшую группу людей и поделился с ними знаниями, которыми обладал сам, в пять лет пятьсот миллионов населения Индии совершенно преобразились бы». Не тем схоластическим знанием, от которого так страдал Нарайан в студенческие годы, а умением жить и ценить проявления жизни во всей ее полноте и многоликости — как научился сам писатель и ради чего писалась автобиография.

М. САЛГАНИК.

СОЛЕДАД ЧУКИ.
Чили. Патриотические силы.
Горнорабочий.

Критика

ПАНТЕЛЕЙ ЗАРЕВ

ИДЕАЛ, СОВРЕМЕННОСТЬ, МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

Искусство способно глубоко взволновать нас. И это не времеиное развлечение, не краткое или продолжительное удовольствие, а нечто более важное, затрагивающее главное в нас. Искусство может озарить нас или же насторожить, может поставить перед нами проблему нравственного перерождения или становления человека. Другими словами, речь идет об идеале, посредством которого искусство преображает и воспитывает человека. Именно благодаря тому, что искусство утверждает идеал, писателя называют учителем, воспитателем, способным излечить нас от нравственных недугов и подготовить для более высоких целей в повседневной жизни.

Между идеалом и действительностью существует внутренняя связь, хотя эти понятия и разные. Идеал, как личная и общественная норма,— это желаемое. Люди не всегда такие, какими их считают. Существуст разница между тем, что говорят о них или что они говорят о себе сами, и тем, каковы они на самом деле. Отсюда — потребность в идеале, в той ценности, которая является «высшим благом» и которая возвышается над всем доступным, общепринятым, известным. Определение идеала как понятия дано в этике, философии, но наиболее конкретное и полное выражение идеал находит в искусстве и посредством искусства. Здесь он, будучи органически связанным со стремлением к совершенству, превращается в **эстетический идеал**, единый и в то же время состоящий из отдельных компонентов: этических норм, общественной цели и стремления к красоте и совершенству.

Современность формируется под воздействием динамики жизни, и писатель осознает это. Современность разнообразна и многопланова. Какие же стороны ее ближе искусству? Те, что наиболее верно отражают перемены в человеке, воздействуют на его нравственное, социально-политическое развитие.

Идеал всегда четко ориентироваи, но он, как правило, испытывает влияние современности. Хотя идеал несет в себе социально-общее, «логику истории», вбирает нормы социально-нравственного, порожденные несоответствием между стремлением человека и самой действительностью, он всегда непосредственно осмысливается современностью, находится под ее воздействием. Реализуясь в искусстве, он начинает жить «вечной жизнью», становится носителем типичного для многих других «действительностей», многих «современностей», имеющих между собой сходство. Потому что идеал несет в себе часть общечеловеческого — желание, стремление, ценность.

Как бы мы себе ни представляли современное искусство, оно содержит не только правду о действительности, но и момент удовлетворения или неудовлетворения ею. Искусство, идеал которого — постижение самой действительности, правды о ней,— самое правдивое и полноценное. Но и оно в какой-то степени — volens nolens — одобряет или осуждает, познает и отражает определенную ситуацию, имеющую общественное значение.

В наши дни все настойчивее, и бы сказал, чрезвычайно настойчиво звучит призыв к литературе отражать духовный мир современного человека. Более того — участвовать в его создании, поскольку литература есть выражение духовной силы. Она должна постоянно отметать отжившие моральные ценности и утверждать новые, насущные. Этого требует идеал, поднимающий нас над средней моральной нормой, над стандартной моральной ситуацией, одобряющий или осуждающий, зовущий к желаемому.

Однако от искусства требуется не только охват духовного мира человека, но и нечто большее. Оно должно стать вольным, непринужденным источником жизнеутверждения. Оно должно возвысить дух до подлинного эстетического наслаждения, эстетического переживании. Этого требует сама его природа, его многовалентные возможности духовного воздействия.

Известна старая истина, что в своем развитии искусство, вращаясь подобно земле, переживает моменты взлета; что времи от времени оно бурно или спокойно «самоотрекается», обращаясь к новому содержанию и новым формам и используя старые, предварительно переосмыслив их или дополнив. В наши дни в результате коренных перемен, наступивших в социалистическом обществе, мы переживаем подобный период напряженных творческих поисков и открытий. Разве сегодня не является у нас самым актуальиым вопрос о моральных и психологических изменениях, возникших на основе социальных и демографических перемен, в результате развития науки и техники, то есть проблема нашего современного и даже «сверхсовременного» духовного мира?

Известна также и совсем старая истина, что процессы, происходящие в духовной и общественной сфере, неизбежно вызывают к жизни новые художественные формы. Чтобы в этом убедиться, достаточно присмотреться к потоку литературных произведений, появляющихси на наших книжных прилавках. Но встречается на книжиом рынке и модная псевдоноваторская литература, далекаи от наших представлений о высоких критериях идеала, о современности. Авторы произведений такого рода произносят много красивых слов о новаторстве, авангардизме и интеллектуализме, об ассоциативной образности, будто бы противостоящей устаревшей описательности, бытовизму и т. д. Такие слова мелькают на страницах литературной печати, высекая искры горичих споров. Но возникает естественный вопрос: приближают ли нас эти споры к пониманию искусства как отражении нашей духовной жизни? Какое поэтическое мышление, при всей сложности и многообразии явлений, можно считать новым, а какое — старым?

И все-таки. Появляются новые книги, осуществляющие движение литературного процесса. Читатели находят в них себи, животрепещущие проблемы, истины — конкретные и общечеловеческие. Но иногда за шумихой, поднявшейси вокруг новинки, чувствуется недостаточно серьезная забота об эстетически значимом, об обогащении современного искусства.

При этом не следует забывать и о том, что понятие идеал, и в частности эстетический идеал, склонно в известной степени превращатьси в догму, то есть синтезироваться в нескольких огрубленных принципах, касающихся содержания. Это, как правило, отталкивает и читателей, и писателей. Вместе с тем нельзя пренебрегать и тем обстоительством, что враги нашей социалистической эстетики направляют свои стрелы как раз против эстетического идеала в нашем искусстве.

Литература сегодняшнего дня дает нам пример сложных взаимоотношений между эстетическим идеалом и современностью. Или, другими словами, пример влияния современности на эстетический идеал; это влияние зависит и от мировоззрения художника и обусловливает перемены некоторых аспектов понятия идеала. Можно сказать, что писатели социалистического реализма всегда видели в литературе носителя правды, истины, наконец, духовной силы, высоких норм морали в процессе созидании — материального и духовного — социалистического общества. В своих сложных творческих поисках и открытиях они утверждали облик большого и сильного искусства, несущего дух реальности. В прозе, поэзии и драме присутствует оценка хорошего и плохого, допустимого и недопустимого, согласно нормам социалистической нравственности. Искусство учитси у жизни нравственным ориентирам и в свою очередь дает их человеку. Это видно даже в том дерзком сатирическом духе, который завладел болгарской сценой (например, комедия Станислава Стратиева «Замшевый пиджак») и который имеет свой аналог в злободневной юмористической и сатирической поэзии.

Наша современная литература стремилась к высоким нравственным целям с самых первых шагов, когда в стране рождались и развивались кооперативные хозяйства, создавались первые фабрики и заводы, когда еще не было научных проблем, столь характерных для последнего времени. Происходили социальные, а вместе с ними и демографические перемены. Деревня приближалась к городу, крестьинин становился рабочим, научно-техническая революция овладевала умами и влиила на образ мыслей. Пришло новое време, и оно породило такие произведении,. как «На исходе дни» Драгомира Асенова или «Замшевый пиджак» Станислава Стратиева. Вместе с тем был период, когда поивлялись и до-

---

ПАНТЕЛЕЙ ЗАРЕВ
ИДЕАЛ. СОВРЕМЕННОСТЬ. МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

вольно примитивные художественные произведения о коллективизации, труде бригады, о жизни фабрик и шахт. Сейчас мы более глубоко изображаем самих себя как созидателей нашего общества.

В наши дни художник не только не стоит в стороне от великих социально-политических преобразований, не безучастен к переменам как в сфере производственной, так и в сфере морали, но он стремится к еще большему совершенству; для него важны и изменения в жизни, и осмысление современности, и новая мера ценности таланта и эстетической значимости искусства. Он стремится передать конкретные черты национального характера человека, члена нашего общества, его философию и этику, перемены в его поведении и образе мыслей. Изменяются также и тенденции в общей структуре изобразительной системы. Одна из примет нового: в нашей литературе и искусстве сильно возросло наряду с героическим, утверждающим началом начало очистительное, критическое.

Мы находимся в фазе более развитого общества, но современность не идентична идеалу. Она включает в себя как позитивные, так и негативные стороны, вытекающие из нашего бытия, которые порой трудно определить. Современность — это субстанция, в которой мы открываем компоненты и прошлого, и будущего; мы каждый день сталкиваемся с парадоксами, потому что в одной области мы, к примеру, значительно преуспели, а в другой — отстаем. Современность как отражение момента монолитна и в то же время конгломератна и состоит из тысячи крупиц. Она — проекция всего нашего прежнего бытия и одновременно превосходит его в своей перспективе быть измененной. Она консервативна и необычайно подвижна: то, что было верным для дня вчерашнего, не всегда верно для сегодняшнего. Любой застой, как и любой поспешный шаг, встречает наше сопротивление. Современность, будучи объективной реальностью, вызывает в нас субъективное отношение — либо мы сами стремимся ее задержать, поставить на якорь, либо, наоборот, пытаемся ее взорвать, продвинуть далеко вперед. Таким образом, мы уповаем на современность и боремся с нею. Именно борьба порождает и утверждающее (героическое), и очистительное (критическое) начало. И то, и другое приобретает сейчас возрастающее значение.

Наш современник существенно отличается от человека вчерашнего дня — и духовным обликом, и интеллектуальными качествами. Сохраняя искоиные национальные черты и добродетели, он приобретает и новые черты. Трудно осмыслить эти черты вне глубоких, коренных социальных перемен, в частности вне перемен, которые принесла с собой научно-техническая революция, урбанизация, стирание грани между городом и деревней.

Все сказанное убеждает нас, что эстетическое имеет не только общие установившиеся определения, но и определения конкретные, временные. Они продиктованы динамикой развития, соотношением реального движения (современность) и постоянного, желаемого, которое должно претвориться в жизнь (идеальное). Границы эстетического расширяются — идейно-психологически, морально, эстетически. Мы совершаем новые открытия на этом пути с каждым новым — значительным — художественным произведением, несущим в себе и новую — значительную — концепцию человека.

Остановимся еще на одной особенности искусства. Определение, которое гласит, что эстетический идеал находится под влиянием текущего, сегодняшнего взгляда на действительность, может быть, и выглядит удовлетворительно. Но разве нет факторов, свидетельствующих о художественном воплощении действительности и о специфическом отношении к ней, которые «повторяются» в различные эпохи и которые находятся «вне» границ исторического, современного социально-этического идеала? Действительно, такие факторы существуют. Например, критерий гуманности как постоянное в оценке действительности. Он присутствует в искусстве всех времен, хотя по-разному проявляется в искусстве античности, христианского средневековья, Ренессанса, в искусстве XIX века и в нашем веке, полном великих преобразований. Он меняется и остается прежним, отличается от вчерашнего дня и сохраняется. Не случайно Маркс и Ленин так настойчиво говорили о наследовании духовного опыта прошлого. Достаточно всмотреться в болгарскую литературу, чтобы увидеть, как гуманистические ценности, созданные Ботевым и Вазовым, продолжают жить в творчестве современных болгарских писателей.

Изменяются и вместе с тем сохраняются и некоторые формальные, жанровые структуры. Возьмем, к примеру, аллегорию (иносказание). Аллегорическое изображение характерно и для нашей средневековой литературы, и для литературы Возрождения, и для современной... Оно как будто не подвластно тем изменениям, которые происходят в искусстве с течением времени, при всем том, что оно по-разному идейно осмыслено, насыщено разным содержанием согласно обстоятельствам.

Так как понятие эстетического включает в себя не только позицию, моральное кредо автора, но и выбранную им художественную форму, мы сталкиваемся с с проблемой наследования традиции, видоизменения формы. К примеру, генезис современного юмора другой и содержание его иное, но, будучи живой реальностью, он «воскрешает» на иной ступени развития некоторые старые формы, не повторяя их слепо. Басня существовала в средневековой болгарской литературе; унаследованная от античности и развившаяся в период Возрождения, она существует и в наши дни. Но любопытно, что она имеет

ценность не только как жанр, а как образец стиля. В стихах-рассказах Любомира Левчева встречается вывод-назидание читателю в стиле басенного творчества. Элементы гимна можно обнаружить у современных поэтов, например в мудрой лирике Благи Димитровой. И это не заимствование, а новое творческое переосмысление стилевого приема, пришедшего не из вчерашнего дня, а из вечного бытия литературы.

Баллады писали и поэты-романтики. Баллады существуют и в поэзии социалистического реализма. Вспомним старую балладу Николая Тихонова «Киров с нами» или «Балладу о шестнадцати» Веселина Андреева о погибших партизанах. Каждое из этих произведений, разных по сюжету, существенно отличается по идейно-эмоциональному строю от баллад романтиков. Вообще в последнее время в лирике Валерия Петрова или Благи Димитровой, Павла Матева, Слава Хр. Караславова или Ивана Давидкова — привожу в пример разные творческие индивидуальности — сохраняются некоторые художественные формы искусства прошлого, не целиком, а частично служащие эмоционально-эстетическому «модифицированию» действительности.

Раз в искусстве существуют преходящие и непреходящие явления, то какова же сфера эстетического? Очевидно, идеал — и как художественный образец, и как нравственная норма — включает не только динамичные перемены современности. Вопрос еще более усложняется, потому что, помимо приемов и жанровых форм, долго и прочно сохраняются в искусстве мировоззренческие элементы, в которых заключена оценка определенных явлений. Искусство оказывается «бесконечно единым» в своей поступательной многосложности.

Приведем еще один пример.

Критика, связанная с разоблачением нравов, с поведением и психологией людей, облеченных властью, с разоблачением бюрократизма, ирония, нередко сопутствовавшая этой критике, представляют собой явления, которые словно бы переступают границы времени. Критическое освещение и разоблачение эгоцентризма человеческой личности было свойственно художникам слова еще в античные времена, и в XVI веке (Шекспир), и в XIX веке (Гоголь, Бальзак). В различные эпохи существовало известное сходство в изображении «эгоцентрических» характеров, нелепого поведения человека, когда он использовал власть во вред обществу. Эта тенденция была наиболее сильной в период критического реализма, представители которого высмеивали человеческие пороки, страсти, порожденные злоупотреблением властью. В современном социалистическом обществе норма нравственности приближена к идеалу. Однако есть еще бюрократы, чинуши, тунеядцы. Но несмотря на наличие пережитков прошлого, живая действительность произносит свое особое слово. Нет прямых аналогов в явлениях, есть новые явления. Нет аналогов в целях, а есть новые цели. И есть новая мораль, ведущая по новому пути к будущему. Тем не менее некоторые приемы и художественные средства сохраняются, служа изображению новой действительности.

Ирония — не что иное, как неприятие человеческих недостатков. Высмеивая, автор отрицает то, что, казалось бы, утверждает. Другими словами, ирония — постоянный по своему характеру, субъективный, эстетически модифицированный взгляд на мир, направленный на его непривлекательные и в то же время опасные стороны. Ирония — этически-нравственное проявление торжества совершенства над несовершенством.

Высмеивание отрицательного в человеке существовало во все времена: у Аристофана, Шекспира, Мольера, а также у таких романтиков, как Байрон и Гейне, у таких писателей критического реализма, как Толстой и Чехов, Бальзак и Мопассан. Сегодня зло затрагивает другие стороны духовной жизни человека. Но идеал, порывая с прошлым, по-революционному преодолевая его пороки, черпает в нем и моральные, и эстетические ценности.

Гёте высказал мысль, которую Томас Манн, почти наш современник, неоднократно повторял: «Ирония — это щепотка соли, без которой любое блюдо вообще безвкусно». Гёте видел в иронии универсальное свойство большой литературы. Мы понимаем, что ирония необходима нашему искусству, утверждающему нравственные нормы социализма. Без нее искусство — «безвкусное» блюдо.

Еще раз напомню, что, говоря о роли иронии «во все времена», об «общечеловеческом» в ней, не следует забывать и об ее особой роли сегодня, ибо наша цель — создание высокоразвитого социалвстического общества.

Понятие эстетический идеал, которое зачастую формулируется однозначно, на самом деле чрезвычайно емкое, глубокое — оно включает как преходящее, так и непреходящее в искусстве. Это ощущается и в его национальных особенностях, и в его народных чертах, формах, средствах.

Социалистический реализм — явление новаторское: оно отрицает традицию и в то же время основывается на ней, открывая перед человечеством новые, неведомые доселе пути. Это этап в истории литературы (и культуры вообще) и новое, современное проявление ее общеисторической сущности.

После сказанного мы приближаемся к ключевому вопросу: о творческом поиске. Он связан с отражением перспективы раз-

вития общества. Не раз говорилось о зависимости поиска от мировоззренческой позиции художника. Именно она оказывает влияние на художественное восприятие, а следовательно, и на творческую индивидуальность автора. Черты или элементы нового художественного подхода к изображаемому возникают, как правило, в процессе эволюции мировоззрения. Так происходило не только в прошлом, так происходит и в наши дни.

Например, сегодня писатель-коммунист не приемлет равнодушие, бюрократическое отношение к личной судьбе человека, а потому отпадают и некоторые элементы схематического художественного обобщения, включая и неконкретную, идеализированную оценку жизни и человека. Это ведет к углублению реалистического отображения действительности, отказу от ее лакировки. Перемены в мировоззрении, в «умонастроении» переходят в субъективно-эстетическое восприятие мира и изменяют характер художественного обобщения. Это касается даже совсем незаметных и случайных на первый взгляд перемен. Постоянство мировоззренческой позиции важно, но не менее существенно и живое развитие системы взглядов художника. Мировоззрение художника — не «сухая», интеллектуально-познавательная деятельность ума, оно включает в себя этические, эмоциональные моменты.

Не менее важно и художественное созерцание. Эстетическое немыслимо без опыта, без житейски конкретного. Мы бы дошли до вульгарного упрощения понятия искусства, если бы в качестве его предпосылки взяли лишь мировоззрение как систему взглядов и как самое тонкое, сложное «настроение» духа и ума. Ибо в искусстве играет свою роль воображение художника, его личный и общественный опыт.

Таким образом, все проблемы упираются в человека — его опыт, поведение, мораль. Концепция человека — ключ к полному раскрытию ценностей в искусстве и к пониманию личности. Сегодня приобретает большую важность конкретное изучение людей, современной действительности.

В средневековье, скажем, характер болгарской литературы определялся религиозно-отвлеченным отношением к человеку. Авторы идеализировали своих героев — святых, мучеников христианской веры. Они наделяли их неземными чертами, изображали оторванными от реального мира, творящими чудеса. Но жизнь вторгалась в творчество староболгарских авторов, диктовала отказ от религиозных, культовых средств; церковная идеализация (икона в живописи и «иконопись» в литературе) уступала изображению реальности. Непрерывно ощущалась мучительная борьба между отвлеченным и реальным, между житийно-религиозным сознаньем и земным. Преобладало все же отвлеченное начало, что сказывалось на характере художественных приемов: житийная идеализация, элементы гимна, ораторский «пафос веры».

Во времена Возрождения картина другая. Наблюдается борьба между старым, религиозным и новым, светским сознанием, отрицаются и переосмысливаются готовые приемы идеализации и наблюдается интерес к простому, земному человеку, отсюда внимание к фольклору. На первый план выступают гражданско-историческое начало, судьба народа и отдельного человека. В основном творчество было патриотическим, социальным, более заземленным, идеал редко облачался в условные риторические формы, его связывали с реальностью.

Шло время, и внимание художника от гражданско-исторической проблематики обращалось к личной жизни человека. Это наблюдалось, в частности, после освобождения от османского ига, когда писатель начал открывать все больше истин об индивидуальном бытии, о тайнах сугубо человеческого, интимного мира. Некоторые писатели, подобно Яворову, оставались на своих гражданских позициях или, подобно Йовкову, были верны доктрине «народоведения». В болгарской литературе того периода наблюдается повышенный интерес к психологическому анализу.

Я привожу примеры из прошлого, прежде чем подойти к современности. Вряд ли кто-нибудь сегодня усомнится, что мы стоим перед новым, современным пониманием человека и человеческого. При упрочении нашего общества для нас приобретает значение та мораль, которая формируется в среде рабочего класса, людей труда. В этой среде рождается и утверждается философия и обыденная житейская мудрость, чье величие и важность может почувствовать лишь человеческая душа, устремленная к будущему. Таким был, например, в болгарской поэзии Пеньо Пенев.

Наша действительность богата, разнообразна, порой противоречива. В ней действует не только принцип гармонии. Созидание немыслимо без противостояния ему, добро — без борьбы со злом. Вечный конфликт света и тьмы, прометеева духа и невежества, прогресса и отсталости получает новую жизнь в нашей великой созидательной повседневности.

Отказываясь от абстрактных героев на котурнах, все глубже проникая в духовный мир современника, болгарские писатели находят преломление проблем эпохи в жизни отдельного человека, изображая которого литература тем самым живет более полно и насыщенно. Безусловно, это стремление к глубокому постижению действительности служит источником развития таланта, когда переосмысливаются и художественные средства, когда критическое начало становится движущей силой в искусстве,— и это отражается во всех структурных элементах искусства, и прежде всего в обобщении. Новое толкование идеи долга по отношению к человеку, идеи о гармоничной человеческой личности на-

полняет жизнью и нашу литературу, открывает простор талантливым художественным произведениям.

Важной составной частью литературы является современный опыт, опыт как осознание динамики перемен. Искусство живет не только настоящим, но и будущим. Ему в одинаковой мере присущи как осознание настоящего, так и пророчество будущего.

Литература по природе своей наступательна: она перерабатывает и преодолевает материал современности и материал прошлого, устремляясь в будущее. Этические, гуманные принципы и партийный подход к проблеме, преломляясь в творчестве, обретают свое художественное бытие, целиком растворяясь в его живой сущности. Материал и идеи во многом определяют продукт творчества, если оно, в свою очередь, эстетически значимо. Некоторые отождествляют творчество с повседневностью и забывают об активном начале писателя, о нравственных задачах эпохи.

Сегодня социалистический реализм становится ведущим направлением в искусстве всего мира. Неся с собой новую мораль, отражая проблемы эпохи, социалистический реализм находит все новые и новые формы и художественные возможности. Потому необходимо исследовать его с учетом достижений культуры прошлого — как романтизма, так и критического реализма,— с учетом тех современных литератур, которые обогащают художественный опыт сегодняшнего дня.

Рассмотрим эти вопросы.

Сначала несколько слов о литературе прошлого и о современном социалистическом искусстве. Сейчас уже видна несостоятельность теории механического слияния романтизма и реализма в социалистический реализм, при котором отвергается рассмотрение нового метода в искусстве как творческого сплава с опытом прошлого. Но отрицание этой эклектической теории не устраняет вопроса о существовании современных «романтических» и «реалистических» тенденций, тенденций «идеализации» действительности и ее «критического» осмысления. Изображение человека в его реальном бытии, с его порывами, интимная исповедь автора предполагают как идеализацию, так и заземленность. Однако освоение опыта прошлого здесь неодиозначно. В 90-е годы Горький находился под влиянием и реалистических и романтических тенденций. Уже в «Песне о Соколе», написанной в 1895 году, он рисует романтический образ героя, умирающего за светлое, прекрасное и возвышенное: «Безумству храбрых поем мы песню!»

Как поднимала дух такая поэзия! Безумно храбрые, говорит писатель,— это сама жизнь, без них все гибнет и теряет смысл. Художественное обобщение определяется отношением к человеку. Это хорошо видно на примере «босяцких» рассказов Горького, где призывно и пламенно звучит «безумная» жажда свободы, красоты подвига, наполняя рассказы романтическим очарованием. Заземленные по сюжету, они эмоционально насыщены, в них присутствует этический идеал, жажда красоты. И это оказывает влияние на их художественные качества, начиная от общей структуры и кончая отдельными изобразительными средствами. Романтическая струя ощущается в «Матери» и в «Мещанах» (Нил). Черты романтического художественного обобщения, прочно переплетясь с реализмом, словно наложили свой отпечаток на всю творческую систему Горького.

Эта романтическая струя питает творчество многих советских авторов. Речь идет не о традиционном романтизме классического типа, а о современной идеализации, особой приподнятости тона, чувств. Такова овеянная героическим пафосом литература, посвященная революции и начальному этапу строительства социализма, полная мужества, стремления к героическому.

Советской литературе присуще и критическое начало. Вспомним Ильфа и Петрова, Зощенко. Критическое начало мы увидим даже в героико-революционных произведениях Маяковского, например в «Левом марше»:

Довольно жить по законам,
данным Адамом и Евой.
Клячу историю загоним.
Левой!
Левой!
Левой!

Это сочетание романтически приподнятых, реалистически заземленных, даже иронически гротескных моментов в искусстве социалистического реализма, безусловно, свидетельствует об его сложности, разнообразии уже с самых первых шагов существования. Оно присуще и искусству наших дней, находящемуся на более высокой нравственно-этической и художественно-эстетической ступени.

Впитывая великие традиции современного советского искусства, болгарская социалистическая литература творчески переосмысливает их, стремится избежать проторенных путей и шаблонов — такова тенденция ее развития последних лет. Оригинальны по своему художественному решению, например, «Софийские рассказы» Камена Калчева, где героический план повествования сочетается с комическим, или проза Радичкова, в которой сталкивается прогресс с вековым застоем, современный взгляд на жизнь с деревенским мифологическим мышлением.

В последнее время мы стали свидетелями появления серьезной художественной фантастики, богатого иносказаниями юмора, авантюрно-приключеической повести, даже утопии. Такое разнообразие жанров, художественных приемов в палитре социалистического реализма болгарской литературы объясняется интенсивностью по-

исков, цель которых утверждение иовой действительности.

Писатели-романтики были людьми с обостреиным чувством неприятия исторической лжи. Они искали в жизни гармоничную идеальную личность — и не находили ее. Так рождалась мечта-утопия, мечта о сильной личности, которая все разрушает, осененная мрачным блеском разочарования в жизии. Так возникала та исключительная, порывистая эмоциональность, которая предопределяет тип художественного обобщения и влияет на форму. Сегодня нравственность и нравственная сила, заложенные в людях труда, строителях нового общества, огчетливо выступают как ведущий момент в жизни и искусстве.

Повысилась роль индивидуальиого начала, органически связанного с современностью, с осознанием «нового духа века», с социалистическими преобразованиями. Наш XX век далек от язычества, от эры христианства не только хронологически, но и потому, что он является веком науки. Он далек и от романтизма, и от критического отношения к действительности XIX века, ибо он представляет собой не только век борьбы, надежды, мечты, но и конкретных свершений в области социалистического преобразования общества.

Эта преобразующая сила коллектива и отдельного человека оказывает влияние на духовный мир и на творческие способности личности. Литература социалистического реализма обращена к личности, к ее конкретиой практической деятельности. Она не оторвана от объективных исторических процессов, активно осознает их, ибо ей чуждо пассивное созерцание. Отсюда разница в художественном обобщении, в самом анализе психологии героя. Как уже говорилось, социалистический реализм вбирает в себя завоевания искусства прошлого и настоящего. Художественная практика воспроизведения жизни таких литератур, как европейская, американская или латиноамериканская, явила нам свои достижения. Нам близко, например, творчество Маркеса, понятен критицизм его фольклорно-мифологического мышления, но его мировоззрение отличается от социалистического видения мира. Объединяют же нас гуманистические, демократические принципы.

То, что отличает нас, не может помешать практическим возможностям обмена опытом; при этом не следует, естественно, забывать о традициях и путях развития искусства социалистического реализма, о его особом воздействии на мировой художественный процесс. Нам дорог истинный поиск в литературах мира, который служит более глубокому познанию и отражению действительности. Прогрессивные писатели современности становятся нашими союзниками, когда они создают произведения, критикующие окружающее их общество, книги, понятные читателю их стран. Так обстоит дело с латиноамериканской литературой. Ее представителям не свойственны поиски идеальной и гармоничной личности, они исследуют реальную жизнь со всем хорошим и плохим в ней, изображают угнетенного человека труда. Идеал этих писателей заключает в себе жажду преобразований, осмысление противоречий и коифликтов. Разумеется, точность и сила изображения в литературе социалистического реализма, наша великая историческая цель определяют иное отиошение к человеку и обществу. И это необходимо учитывать. Облик искусства латиноамериканских страи вообще значительно отличается от западноевропейского искусства. В частности, внимание к быту и связанные с ним национальные черты придают им ярко выраженную поэтичность, сквозь которую проступают причины бед, суть повседневиой героики в битве за жизнь, за счастье простого трудового человека.

После столь пространного отступления давайте остановимся на таких отличительных чертах социалистического реализма, как четкая партийная позиция, социальная ангажированиость, умение выделить значимое в нашем обществе. Социалистическое искусство следует своим путем: оно влияет на мировое искусство, углубляя в первую очередь аналитическое исследование духовиой жизии человека. Писатель социалистического реализма — одновременно историк эпических национальных событий и конкретный бытописатель.

Сегодня советская литература отмечена имеиами ярких, талантливых прозаиков. Быков и Распутин, Белов, Носов и покойный Шукшин, которые верны традициям русских классиков — Толстого и Чехова — и традициям реализма других литератур мира. В то же время они произносят новое слово. Хотелось бы назвать еще одного талантливого представителя социалистического реализма — Чингиза Айтматова, который в своем творчестве опирается на русскую классическую традицию, а также на свои национальные традиции — киргизские легенды и предания.

В современных литературах мира идет постоянная борьба иаправлений. В отдельных случаях наше искусство «приближается» к изобразительной системе то одного, то другого направления, и все же оно ие их прямое продолжение, а новый «перспективный момент». Разница — в идеале, в отношении к человеку, что накладывает свой отпечаток и на художественное обобщение. Наше искусство не созерцательное, а активно целеустремленное, его создатель — борец за преобразование общества.

Возможности развития социалистического искусства кроются не только в его национальном богатстве и традициях, но и в том, что в наше время оно становится искусством интериациональным, становится образцом для литератур мира. Этот процесс сложен, идет медленно, но он необычайно важен. Социалистическая литература успеш-

но развивается в Советском Союзе, в ряде стран Европы, на Балканах; прогрессивная, демократическая — в странах Латинской Америки, в Азии и Африке. Все это новые явления, эти литературы — продукт исторически значимых событий действительности.

Прогрессивное и социалистическое искусство приобретает все более ярко выраженные национальные черты и при этом перерастает в новое социалистическое искусство во всемирном масштабе, изобразительная система, естественно, обогащается, изменяется, но пафос борьбы за новое общество и за гуманное отношение к человеку — фактор постоянный. Писатели нового типа — это, скажем, и Бертольт Брехт, и Элюар, и в какой-то мере Гарсиа Лорка, не говоря уже о таких новых и оригинальных явлениях, как Алехо Карпентьер. Они — своеобразные «модернисты». Главное, что объединяет их и определяет их творчество,— это обращение к исторически конкретным, животрепещущим проблемам. С их творческими открытиями во многом связан новый подход в показе исторической судьбы человечества, судьбы отдельной личности.

Ряд писателей XX века, впрочем, начинали свой творческий путь как модернисты, а позднее, став на действенно-гуманистические позиции, сохранили в своем творчестве некоторые из приемов и средств модернизма. Эти средства и приемы, способствующие порой экспрессивности и синтетической выразительности, приобретают значение тогда, когда они переосмыслены на новой идейной основе, когда они обогащают новое, реалистически конкретное видение мира. Освобождение от метафизической туманности, от идейных заблуждений свидетельствует о втором рождении писателей, чье творчество сохраняет некоторые стилевые приемы модернизма. Это — истина, пренебрегать которой нет оснований. Вспомним, к примеру, Маяковского и Гео Милева: первый был футуристом, второй — экспрессионистом.

В статье «Поиск нового и великие традиции» [1] В. Перцов не без основания писал еще в 60-е годы: «Достаточно обратиться к творческому опыту такого видного чешского поэта, как Витезслав Незвал, который, как известно, долгое время находился в плену модернистских веяний, чтобы увидеть, что он стал подлинно национальным поэтом, выйдя на простор большого идейного искусства. Поэт с удивлением узнал, что это искусство и есть социалистический реализм, и не сразу принял этот термин». Но вопрос сводится не к термину, а к характеру социалистического искусства.

И тем не менее благодаря влияниям, через которые прошел писатель, диапазон его художественных приемов нередко расширяется. «Кто будет отрицать,— добавляет Перцов,— что творчество Аполлинера оставило благоприятные следы в образах чешского поэта, после того как Незвал-реалист осознал свое расхождение с французскими сюрреалистами и распустил свою группу в Праге...» Современный болгарский поэт Веселин Ханчев также испытал влияние Элюара и Аполлинера. Веселин Ханчев — один из видных болгарских поэтов, воспринявший традиции ясного, классического французского духа и сложного «французского» поэтического мышления, однако сохранивший прочный внутренний контакт с традициями как болгарской, так и советской литературы.

Социалистический реализм в разных литературах развивается неодинаково, каждый — своим сложным путем. Эта истина мучительна, трудна для понимания многих, но она чрезвычайно важна, потому что открывает перед нами путь к будущему и объясняет противоречивые явления в мировом современном искусстве. В богатой возможностями изобразительной системе пульсирует сокровенная мечта, стремление к будущему, к желаемому. Было бы нелепо отрицать своеобразие творческого пути такого болгарского поэта, как Гео Милев. Он вышел из экспрессионизма и в известной мере использовал его художественные средства для создания прекрасной, незабываемой поэмы «Сентябрь», посвященной революционной борьбе болгарского народа в 1923 году.

Поэзия Гео Милева после его перехода на социалистические позиции — поэзия не просто реалистическая, но и экспрессивная, гиперболическая, фантастическая. По своему социалистическому и революционному пафосу она находится в сложной зависимости от тех художественных средств, которые приобретают особенную эстетическую функцию и способствуют своеобразному эмоциональному «усилению» идеи. Согласно принципам немецкого экспрессионизма, который оказал влияние на молодого Гео Милева, поэт стремится в основном к внушению читателю экспрессии — переживания.

По его мнению, все в искусстве — субъективность, экспрессия, выразительность, а не изобразительность. Если в творчестве присутствует непосредственная экспрессивность, если она найдена, то тогда перед нами — художественное произведение; если не хватает экспрессивности, искусство теряет силу и значимость, какие бы другие формы и средства оно ни использовало. Наибольший интерес Гео Милев проявил к выразительности искусства. Так он пришел к идее о ритме как основном элементе художественного творчества. В ритме, по его мнению, заключена сущность вещей. С помощью ритма достигается экспрессия, с помощью ритма и ассоциативности образов — с их неожиданностью, необычайной ударной силой — достигается художественная эффективность.

---

[1] «Литературная газета» № 22 от 27.II.1962.

ПАНТЕЛЕЙ ЗАРЕВ
ИДЕАЛ. СОВРЕМЕННОСТЬ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

Эти свои идеи Гео Милев подробно развивает в статьях, посвященных поэзии и в особенности теории театральной режиссуры. Он отвергает реалистический театр, называя его натуралистическим, лишь копирующим действительность. «Было бы неверно,— говорит он,— если бы у героев: Гамлета, или Фауста, или Пелеаса, или Бранда, или царя Эдипа, или Старика из «Сонаты призраков» Стриндберга—были окровавленные лица» (Гео Милев, «Театрално изкуство»). Если это произойдет, считал Гео Милев, они перестанут быть образами искусства. «Они — Гамлет, Пелеас, Фауст и др.— должны исполняться в строгой стилистической манере, которая передавала бы их внутренний ритм. Потому что в любом творчестве важны не изображения внешних подробностей, свойственных грубому копированию действительности, а ритм вещей; в сценическом искусстве: ритм движения, ритм голоса (говора), ритм мимики и т. д., которые вкупе передают внутренний ритм драматического образа, а также ритм внешней обстановки, декорации, света, освещения, которое является частью декораций и пр.». В сказанном есть моменты, свидетельствующие о заблуждениях и иллюзиях автора, но есть правда и тенденция к художественной убедительности.

Естественно, нет необходимости в том, чтобы современные писатели, и особенно молодые, непременно испытывали какое-либо влияние, которое им приходилось бы потом преодолевать. Творческое освоение художественного опыта прошлого выводит на счастливый берег лишь путем нащупывания твердой почвы реализма.

Не следует забывать, что болгарская проза уже не та, какой она была десять-пятнадцать лет назад. Произошли существенные изменения. Это видно из творчества авторов разных поколений — от Эмилияна Станева и Георгия Караславова, Павла Вежинова и Богомила Райнова, Андрея Гуляшки и Камена Калчева до более молодых — Йордана Радичкова, Николая Хайтова, Ивайло Петрова, Васила Попова, Веры Мутафчиевой и до самых молодых — Владимира Зарева, Рашко Сугарева, Димитра Ярымова и других. Они создают искусство с новыми идейно-художественными чертами, которые были неведомы в недалеком прошлом.

Творческие поиски никогда не прекращались, вопрос о них не сходил с повестки дня, он неизбежно возникает и сегодня. С помощью романтического, героического, реалистического, близкого к повседневности искусство социалистического реализма устремляется к новым истинам, рассказывает о сильном, важном и значительном в человеке. Мы видим существенную разницу между идеалом прошлого и современным идеалом, между закономерными чертами прошлого и чертами современного искусства, преобразующего жизнь.

Иногда, как это случалось раньше, нечто новое, найденное писателями, может послужить толчком великих и неизвестных доселе открытий. Так в свое время открытия романтизма и сентиментализма способствовали углублению психологического анализа в появившемся позднее романе с его вниманием к общественным проблемам. Бальзак, который постиг зависимость внутреннего мира человека от среды, общественных условий и быта, подготовил почву для появления не только романа Флобера, но и значительно более позднего психологического и интеллектуального романа, который нес в себе социальную, бытовую и моральную характеристику человека, однако без описательности, к которой прибегал Бальзак. Мы не можем себе представить «интеллектуалиста» Томаса Манна без предшествовавшего художественного опыта — опыта Бальзака, Толстого, Достоевского. Также и более скромного болгарского писателя Радичкова, на произведениях которого сказался художественный опыт классической болгарской литературы, писателя весьма самобытного, талантливого.

Хотелось бы добавить несколько слов по поводу проблемы мироощущения — одной из крупных проблем современной литературы. Что представляет собой мироощущение современника? Каковы его черты? Что отличает нас, современных людей, от вчерашнего человека? Подобные вопросы волнуют не только таких авторов, как Вежинов и Райнов, но и молодое поколение. Они привлекают внимание и теоретиков искусства. Трудовая повседневность, социальные, демографические перемены, влияние научно-технической революции — все это рождает в человеке новые черты характера, новую, социалистическую мораль. И писатели в своем творчестве не могут пройти мимо этих проблем сегодняшнего дня.

Сказанное в равной мере относится к драме и поэзии. Но самое главное в искусстве — глубина познания, осмысливание жизни, его способность раскрывать моральные ценности, развивать наши духовные возможности. Я делаю эту оговорку, ибо зачастую так называемая «сверхсовременная чувствительность» писателя остается только модой. Причиной тому — поверхностное представление о том, что человек может молниеносно измениться, преклонение перед материальными и техническими средствами и пренебрежение к социально-психологическим переменам и нормам морали. Так возникают и исчезают границы между нами и теми, кто стоит по ту сторону баррикады. Коли духовный мир человека определяется лишь объективными материальными условиями среды, техническими достижениями, радио, космическими полетами, кибернетикой, то тогда исчезает разница между человеком у нас и человеком капиталистического общества. Понятия мировоззрение, нравственность, гуманизм вытеснятся общим поверхностным понятием «мироощущение», в котором стираются границы между классами. Выходит что поиски нового художественного языка, новых поэтических средств подчиняются у нас тем же художественным законам

что и на Западе, при капитализме. Там тоже создается новый художественный язык (парадокс, алогизм и абстрактность). Некоторые авторы начинают опасаться четкого выявления своих классовых позиций, потому что это может якобы изменить их «мироощущение». Открываются лазейки для нездоровых, чуждых влияний, неясности в формах, так как это считается признаком «нового», «сложного» в душе человека. Эксперимент ради эксперимента превращается в дешевую поверхностную моду, мы рискуем остаться из-за него в рамках провинциализма, мещанства, вместо того чтобы приблизиться к большому благородному искусству, органически связанному с великим идеалом.

Я остановился на проблемах идеала как желаемого, современности как динамики в тенденциях, создаваемых жизнью, на проблеме творческих поисков как унаследовании и отрицании унаследованного, на проблеме сложности и богатства мирового литературного контекста. Остается еще один вопрос — вопрос об обобщениях, о масштабно-историческом изображении. Наша литература сделала немало, чтобы отразить многообразие и глубину современности, и все же мы не достигли еще подлинных высот в отражении жизни народа, богатства человеческого характера. Современная литература стремится к этому. Она как порождение новой, социалистической цивилизации ставит перед собой задачу быть не только аналитичной, но выявлять частные и крупные явления эпохи. Может, это удастся одному автору или нескольким.

Мы являемся свидетелями успехов нашей литературы, которую стимулируют великие цели современности, когда преимущества социалистического образа жизни общепризнанны, но, однако, живы еще силы, которые встают на пути прогресса человечества.

Враждебные нам идеологи, смущенные и напуганные достижениями социализма, упрочением его общественных и нравственных основ, прилагают огромные усилия, чтобы затушевать истину, постоянно подвергают нападкам наш образ жизни. Все это предполагает обостренное внимание к проблемам современности, обусловливает необходимость дополнительных усилий, направленных на благо культуры, которая, неся в себе идеальное, социально осмысленное, предполагает богатое, бесконечное разнообразие и полное, свободное проявление таланта.

Перевод с болгарского О. БАСОВОЙ

ЮЛИЙ МИНЧЕВ. Болгария. 1917.

Критика

И. ЛЕВИДОВА

ЧИТАЯ РОМАНЫ АЙРИС МЕРДОК...

Когда в 1974 году «Иностранная литература» напечатала роман Айрис Мердок «Черный принц»[1], *вокруг этого, да и других переведенных в Советском Союзе произведений писательницы, вспыхнули — в который уже раз — горячие читательские споры, вполне понятные, ибо творчество Мердок при всей его яркости и своеобразии обладает чертами известной противоречивости. Не свободно оно и от некоторой социальной ограниченности — романистка словно бы прикована к определенному миру, который изображает и критикует изнутри, к кругу идей и представлений, варьирующихся в ее книгах.*

Публикуемая статья И. Левидовой — попытка анализа сложного творчества этой видной английской писательницы.

> Искусство придает очарование ужасом — в этом, быть может, его благословение, а быть может, и проклятие...
>
> ...Всякое искусство имеет дело с абсурдом, но стремится к простоте. Настоящее искусство выражает правду, оно и есть правда, быть может единственная правда.
>
> *А. Мердок. «Черный принц».*

Айрис Мердок существует в английской литературе почти четверть века, опубликовав за этот не столь уж большой срок девятнадцать романов, две пьесы и несколько работ философского характера. Это поистине трудолюбивый талант: ведь много лет Мердок совмещала писательство с полной академической нагрузкой, читая курс философии в Оксфорде. Каждую книгу Айрис Мердок ждут ее издатели, ждут критики и, разумеется, читатели, круг которых весьма широк. Казалось бы, какая устойчивая и завидная профессиональная судьба, какая непоколебимая репутация, цементированная уже и несколькими монографиями, и двумя десятками посвященных Мердок диссертаций, детально исследующих ее философские взгляды и художественный метод.

Но вот перед нами выдержка из рецензии, помещенной в солидном английском литературном журнале: «...переряженный автор сенсационных боевиков в бумажных обложках... Агата Кристи эмоциональных тревог и неурядиц. Пишет она достаточно хорошо, насколько это возможно в интеллектуальных рамках журнала для женщин...».

Это напечатано в 1975 году критиком Д. Фэллоувеллом и относится вовсе не к одной из представительниц легиона поставщиков дамского чтива — того, что книготорговая информация помещает под рубрикой «romances» («любовные истории»). Сказано это об Айрис Мердок в связи с ее романом «Механизм любви земной и небесной» (1974). Воздержимся пока от комментариев и приведем еще хотя бы две цитаты.

«Как романист она... каким-то образом выпадает из первого ряда... озадачивающие неожиданности в ее книгах часто производят скорее раздражающий, чем интригующий эффект, мешает нам и тусклая не-

[1] См. «ИЛ» № 8—11, 1974 г.

приглядность быта и нравов, царящая в ее более слабых романах... Стремление сбить читателя с толку резкими и непредвиденными поворотами фабулы...» — это из книги американца Р. Рабиновитца о творчестве А. Мердок (1968).

«...В романах ее достигнуто редкое, а может быть, и уникальное сочетание мысли и действия, теории, преломленной в хаотической случайности повседневного бытия... Мердок весьма глубокий выразитель моральных проблем нашего времени...» — а это говорит другой американец, Ф. Бэлданза, автор новейшей и наиболее обстоятельной монографии о писательнице (1974).

От изготовительницы дамского чтива улучшенного сорта до художника, выражающего моральные проблемы эпохи,— таков, скажем, вертикальный разрез восприятия творчества Айрис Мердок ее западными современниками. Что же касается разреза «по горизонтали» — различных толкований смысла и построения ее романов,— то самое сжатое изложение их заняло бы здесь слишком много места. Достаточно будет заметить, что в англо-американской критике Мердок именуют и религиозным художником, и приверженцем экзистенциализма, и последовательницей Фрейда, и, наконец, неоплатоником. Иногда эти характеристики относятся к разным периодам ее литературной биографии; иногда — к одним и тем же произведениям. И оценки эти сплошь и рядом подкрепляются ссылками на собственные ее высказывания, которых хватает с избытком. Пожалуй, ни один из крупных романистов послевоенной Англии не разъяснял столь добросовестно в интервью, письмах, статьях raison d'être [1] своей писательской работы, свои литературные, общественные, философские взгляды, их эволюцию.

Но даже самый искренний авторский комментарий — взгляд изнутри. И то, что открывается ему, далеко не равнозначно увиденному извне, хотя критик именно к этому и стремится — к постижению внутренних законов и связей мира, созданного художником.

Надо заметить, что среди советских критиков, писавших об Айрис Мердок (В. Ивашева, Д. Шестаков, Е. Гениева и другие), наблюдается большее единодушие в оценке ее творчества. При всем различии интерпретаций тех или иных произведений писательницы никто не высказывал сомнения в том, что это — настоящая литература.

Я люблю романы Айрис Мердок — даже те, в которых мне что-то не нравится. Книги Мердок обладают свойством неотступности: они окружают вас со всех сторон, как лес или город. И впечатление от них складывается плотное, неделимое. Когда и как это началось?

Перечитав (а частично прочитав впервые) романы Мердок в обратном хронологическом порядке, я поняла, что началось-то все с самого начала: из романов 50-х годов «Под сетью» [1] (1954), «Бегство от волшебника» (1956), «Замок на песке» (1957), «Колокол» (1958) вышла вся последующая ее проза. Спору нет, в течение этих десятилетий происходило многое: духовные поиски, проба различных красок — от акварели до масла (ибо Мердок принадлежит скорее к роду живописцев, чем архитекторов), проба разных жанровых сочетаний. Однако то резко своеобразное и бесспорно масштабное явление в литературной жизни современной Англии, которое именуется Айрис Мердок, по сути, возникло сразу — периода робкого ученичества она не знала.

Среди возбужденных, крикливо-насмешливых голосов неприкаянных молодых людей — персонажей, которых вытолкнули на литературную арену в начале 50-х годов молодые «сердитые» авторы,— голос Джейка Донегью (героя романа «Под сетью») прозвучал по-особому: с доверительной и отстраненной, чуть лиричной иронией, направленной не только вовне, но и на самого себя. О суховатой лиричности, умной романтической иронии ранней Мердок тонко и точно написал у нас в свое время покойный Д. Шестаков в предисловии к русскому изданию «Под сетью». Уже в этом, слегка призрачном, немного фантастичном, «текучем», по выражению Д. Шестакова, маленьком царстве лондонской богемы проступали жесткие контуры мира делового и деловитого, контуры быта, увиденного как образ жизни.

Яркое начало — само по себе не редкость в писательской судьбе. Но вот что примечательно: если после «Счастливчика Джима» и «Спеши вниз» как Эмис, так и Уэйн выступают с книгами, ничего общего одна с другой не имеющими, то все романы Мердок и в различиях своих (порой весьма существенных) носят черты яркого фамильного сходства. Много значит, конечно, что в литературу она вошла человеком зрелым, интеллектуально сложившимся. Можно было бы добавить — и сложившимся профессионалом-исследователем современных философских учений. Однако, на мой взгляд, необходимо осмотрительно подходить к вопросу о непосредственной связи Мердок-философа с Мердок-художником.

Прежде всего потому, что, как мы увидим дальше, нет оснований говорить о какой-либо вполне самостоятельной и оригинальной философской системе, выдвигаемой Айрис Мердок. Сама она менее всего претендует на что-либо подобное. Она обладает определенным и устойчивым мировоззрением, элементы которого, развиваясь и в чем-то изменяясь, безусловно вошли в структуру ее художественных произведений.

Ниже я попытаюсь, кратко изложив основные философские представления Мердок, проследить, как обнаруживаются они

[1] Смысл *(франц.)*.

[1] В русском переводе роман «Под сетью» вышел в издательстве «Прогресс». М., 1966. *(Здесь и далее прим. автора статьи.)*

в ее художественном творчестве. И все же причисление ее книг к «чистому» жанру философского романа-аллегории было бы, по-моему, известной натяжкой по отношению к философии и явиым обеднением творчества Айрис Мердок. Да, все оии интеллектуальны, в большей или меньшей мере насыщены философскими аллюзиями, символическими образами и ситуациями, порой весьма прозрачными. И прямая речь Мердок — «профессионального философа» — весьма щедро вкраплена в ткань повествования, перекликаясь с мыслями, высказываемыми в специальных ее работах.

Однако не зто определяет общее звучание романов Мердок, самую их атмосферу, не в этом заключен секрет их воздействия на читателя. По определению Мердок — и с ним можно полностью согласиться,— она пишет не «романы-тезисы», ие «романы-иллюстрации» к тезисам, а «собственно романы», проникнутые размышлениями о жизни. Более того, как было уже сказано, иногда один и те же произведения вызывали прямо противоположные толкования имеино с точки зрения их философского смысла. Нет возможности внести логическую ясность в ту «принципиальную сумятицу» страстей, сближений, отталкиваний, взаимных тяготений и антипатий, которая обволакивает, превращает в единый движущийся клубок сонмы ее персонажей.

Зыбкость этих взаимосвязей, их непостижимость и непредвиденность давали повод некоторым критикам (и за рубежом, и у иас) говорить об экзистенциалистском контексте творчества Мердок, во всяком случае, периода 50—60-х годов.

Однако уже в те годы пристальный интерес Мердок к экзистеициализму — а на него писательница даже в своей брошюре о Сартре («Сартр — романтик-рационалист», 1954) в общем-то смотрела уже со стороны, хотя и отдавала должное притягательности этого учения для современной западной интеллигенции,— приобрел резко критический характер. Именно в начале 60-х годов Мердок выступила с лекцией «Идея совершенства» (вместе с двумя другими, более поздними статьями она образовала небольшой сборник «Суверенность добра», вышедший на рубеже 70-х годов). В этих работах ведется подробнейшая, тщательно аргументированная полемика с доктриной экзистенциализма, которую Мердок называет «нереалистичной» и «сверхоптимистичной»...

«Сверхоптимизм» в приложении к экзистенциализму звучит для нас непривычно. Мердок расшифровывает свою характеристику: речь идет о сакраментальном тезисе «свободы выбора», представляющейся экзистенциалистам безграничной и чуть ли не всеопределяющей.

Три главных направления в современной «моральной философии» Запада видит Мердок: во-первых, экзистенциализм (в его континентальной и английской разновидностях); затем «бихейвиоризм», провозглашающий примат «разумного и целенаправленного поведения»; и наконец, близкий к «бихейвиоризму» «утилитаризм» — с точки зрения приверженцев этой последней доктрины, замечает Мердок, «моральность уподоблена приходу в магазин за покупкой».

Мердок убеждена, что все эти учения дискредитированы самой жизнью и ни одно из них не в состоянии морально вооружить обычного человека в его повседневном существовании.

Как говорилось уже, Айрис Мердок не претендует на создание *собственной* системы, даже самого скромного масштаба. Размышления свои она считает «сноской к великой и хорошо знакомой всем философской традиции» — *традиции христианской этики, элементы которой восходят к учению Платона.* Она верит, что в окружающем обществе (утратившем идею бога) идеал добра, правды и красоты, идеал недостижимый и до конца не постигаемый, не привязанный к практической цели и выгоде,— главная опора человека в его борьбе с самим собой, с эгоистической разрушительной энергией, заложенной в его природе.

Заимствуя у Симоны Вейль[1] термии «внимание», Мердок советует с любовью и пристальностью всматриваться в «огромное, удивительное многообразие мира»; для нее многообразие зто проявляется прежде всего в неповторимости *каждой* человеческой индивидуальности. Уважеиие к этой *несхожести* ближнего твоего с тобой, умение выйти за пределы своего «я», склонного произвольно фаитазировать на темы действительности, ведут к познанию, составляющему суть действенной любви. Не беспредельная свобода выбора в абсурдном мире, а добровольное «подчинение реальности», непредсказуемой, но содержащей в себе трансцендентные понятия добра и зла,— вот, по мысли Мердок, первооснова моральной философии, одинаково нужной как человеку обычной жизни, так и художнику. Ибо, повторяет она вслед за Платоном, «искусство и мораль, добро и красота — в значительной мере — части единого целого».

В кругу этих ее давно сложившихся понятий о жизни и человеке существует, развивается, исследует различные подступы к своим главным темам Мердок-романистка; они-то и придают некое единство ее книгам, порой основательно отличающимся одна от другой по своей тональности и стилю. Вот почему эволюция творчества Мердок не может быть представлена единой линией — прямой или ломаной. Скорее можно сказать, что она выходит на своеобразные «радиальные маршруты» — из центральной точки, лежащей внутри круга.

В те самые годы, когда Айрис Мердок формулировала для себя свои в общем-то обнадеживающие, «конструктивные» положения, были написаны ее самые мрачные,

[1] Симона Вейль (1909—1943) — французская писательница; в 30-х годах работала на заводе, участвовала в войне в Испании, в 1942 году бежала из оккупированной Франции, жила в Лондоне. Сборники ее эссе, философских работ, дневники были изданы посмертно. В мировоззрении Вейль христианский мистицизм сочетается со страстным интересом к социальным проблемам.

«готические» романы, в которых зло и заблуждения играют роль в достаточной мере фатальную: «Отсеченная голова» (1961), «Единорог» (1963), «Итальянка» (1964), несколько позже — «Время ангелов» (1966).

Как же совмещаются эти, казалось бы, контрастные сферы — образ мира в мышлении писательницы и мир, сотворенный ее фантазией? Совсем не совмещаются, если искать в книгах Мердок иллюстрации к идеям. И отлично совмещаются, если видеть в них (что, по-моему, правильнее) поле извечной битвы, исход которой непредрекаем, а перипетии — парадоксальны в своей неожиданности.

Всеми критиками отмечается (но при этом различным способом истолковывается) известная двойственность художественного метода Мердок: реалистические портреты, диалоги, описания замкнуты в рамки откровенно «выстроенной», нередко почти аллегорической, смущающей своей искусственностью фабулы.

Пересказ фабул романов Мердок, пожалуй, невозможен. По обилию неправдоподобных деталей они могут соперничать с мифами и к тому же, во многих случаях, основательно насыщены осколками мифологических сюжетов и образов. Однако роль этих вкраплений, на мой взгляд, не стоит преувеличивать, персонажи Мердок несопоставимы с героями мифов — не тот масштаб, не та конструкция. И к тому же они достаточно прочно «заземлены» социально: население этих романов существует, как правило, с большим комфортом; это — либо состоятельные люди интеллигентных профессий, либо просто весьма состоятельные люди, считающие себя интеллигентами, либо чиновники разных, но чаще довольно высоких рангов... Словом, в большинстве своем — буржуазная элита современной Англии, точнее — современного Лондона и его фешенебельных пригородов. А на периферии этого замкнутого, связанного и родством и дружбой круга — фигуры из «мира отверженных», отщепенцы, невольные или добровольные, люди дна, обитатели «опасных кварталов». Внутри таких четко проведенных бытовых и социальных границ и ведутся загадочные игры страстей и своеволий, сталкиваются высокие и низкие помыслы, совершаются эксцентричные, логически непостижимые поступки.

Тяготея, в зависимости от склонностей, к реалистическому либо, наоборот, к «условно-аллегорическому» началу в творчестве романистки, критики обычно воспринимают само сосуществование их под одной крышей как признак неуверенности, внутренней противоречивости мастера, не сумевшего произвести окончательный выбор художественных средств.

Далеко не считая произведения Мердок совершенными (есть среди них и совсем неудачные, есть неудачи и в лучших), я все же полагаю, что именно в сочетании этих как будто бы взаимоисключающих «притяжений» — суть ее художественной индивидуальности. Более того: как раз в нем раскрывается эстетически-философская концепция Айрис Мердок. В самой структуре, композиции, в странных, «нарочитых» фабульных ходах и поворотах, в карусельной смене взрывчатых людских контактов и разъединений проступает не экзистенциалистская тема тотальной случайностности нашего бытия (с «правом выбора» того или иного пути), а тема *слепоты и прозрения* (причем прозрение в свою очередь может оказаться лишь иным видом слепоты).

Мне представляется, что «Единорог» — «роман-модель», весьма изящно стилизованный под готику, повествование в нем, как нигде больше, откровенно подчинено философски-аллегорическому замыслу,— в известной мере задает тон всем последующим книгам Мердок. Героиня его, Ханна Крин-Смит,— то ли узница, то ли феодальная властительница, то ли кающаяся грешница, то ли святая, а в общем, все вместе взятое, ибо таков «коллективный образ» Ханны, творимый людьми, ее окружающими. «Коллективный образ» разрушен реальным падением Ханны и реальным убийством, которое она совершила,— и тогда героиня обречена на смерть, ей нечем больше жить. Здесь тема «прозрения» разрешается трагически. В других ситуациях трагедия может не состояться либо обернуться фарсом. Однако жестоко-иронический поворот событий, раскрывающий иллюзорность якобы достигнутого человеком «соглашения» со своей судьбой, с ближними и с самим собой, неизбежен, без него не обходится ни один роман Мердок. Редко прибегает она при этом к лобовым приемам (хотя «силовых» не чуждается), психологическая партитура ее богата оттенками, однако мотив «иллюзия — слепота — прозрение — утрата» переходит из книги в книгу.

Вспомним хотя бы известную нашим читателям «Дикую розу» (1962) [1], где все время разыгрываются маленькие душевные драмы — крах самых заветных упований героев (упования старого Хью Перонетта на неизменность чувств некогда преданной им Эммы Сэндс, упования Энн Перонетт на прочность своего домашнего очага и т. д.), и даже «выигрыш» беспринципного гедониста Рэндла Перонетта, идущего напролом, так сказать, по телам своих близких, не приносит ему ожидаемых радостей. Заполучив деньги, свободу и страстно желанную женщину, он начинает слегка томиться духом и телом тут же, на глазах у читателей...

Самым парадоксальным и насмешливым образом перепутываются нити взаимоотношений: на поверку чуть не пожизненные представления людей друг о друге обнаруживают всю свою эфемерность. И, наконец, совсем напрасной оказывается жертвенность верной супружескому долгу Энн Перонетт, попусту обездолившей и себя и

[1] В русском переводе роман вышел в издательстве «Прогресс». М., 1971.

столь же ригористичного полковника Мичэма... Все эти конфликтные ситуации не выводят, однако, роман из жанра тонкой, иронической и грустной комедии нравов.

Совсем иную окраску обретают они, скажем, во «Вполне почетном поражении» (1970), суть которого — несостоятельность самоуверенного и претенциозного теоретизирования на темы этики и психологии. Перед лицом реальных жизненных решений иные интеллектуалы-моралисты оказываются и беспомощными, и бездарными. Вот почему с такой неправдоподобной легкостью становятся куклами в руках «демонического» манипулятора чужими жизнями Джулиуса Кинга супруги Фостеры. Неважно, что интрига, затеянная Кингом, по-шекспировски простодушна (и даже содержит перекличку со «Сном в летнюю ночь») — мрачный итог ее заставляет вспомнить скорее «Отелло». И Джулиус Кинг, талантливый микробиолог, не случайно в предыстории своей зловещим образом связан с гитлеровским лагерем смерти, из которого он — еврей — вышел живым и здоровым, чтобы продолжать таинственные биологические исследования в американском университете. Единственное существо, которое проявляет здравый смысл и мужество во всех этих абсурдных и мучительных обстоятельствах,— скромнейший «непротивленец» Тэллис Браун, немного странный, немного болезненный, брошеиный женой — интеллектуалкой Морган, обитающий в неимоверной грязи и запустении своего трущобного дома.

Блаженны кроткие? В какой-то мере так, но не «люди-жертвы», пасующие перед чужой волей, а просто люди, лишенные эгоизма, открытые чужому страданию и чужой беде. Именно такие люди образуют крохотный спасательный круг, не дающий погрязнуть в озлоблении Хилари Бэрду, угрюмому герою романа «Сотворенный словом» (1975). (Бэрд, ныне мелкий служащий одиого из лондонских учреждений, начинал карьеру как многообещающий лингвист — отсюда и заглавие). Кристал — младшая сестра Бэрда, Артур — его сослуживец, любящий Кристал, неудавшаяся актриса Томасина, любящая Бэрда с упорством, достойным лучшего применения,— вот эти «спасители», которым хватает и своих забот. Тема слепого своеволия, выступающего на сей раз в обличии слепого рока, также пронизана здесь мотивом бесплодности рационализма, лишенного этического, нравственного содержания.

В «Механизме любви земной и небесной» (1974) пародийно-дидактическое заглавие романа вполне соответствует и сюжету его и тональности. Непрерывное метание героя «классического треугольника», модного и преуспевающего психиатра, между женой и любовницей — причем каждая из них не раз меняется ролью с соперницей — акцентируется и сопутствующими линиями фабулы. Это поистине роман о любви — чрезвычайно, порой сенсационно, драматичный, остро эмоциональный и в то же время с явной комической прокладкой. Слово «механизм» (или «машина») введено в заголовок не напрасно. Своекорыстие чувств, прослеженное с холодной наблюдательностью, ослепляет участников невеселого любовного танца, вызывает фатальное непонимание партнера, придает нечто марионеточное персонажам, хотя каждый из них сам по себе — живое, сложное человеческое существо.

Отчего так важна для Айрис Мердок эта непрерывно варьирующаяся тема слепоты, искаженного видения реальности? Да оттого, что любовь для нее — прежде всего познание истины, обретение истины, пусть на мгновенье. А слепота к ближнему своему (она же — иллюзорный взгляд на него) — один из аспектов «произвольной фантазии» эгоцентризма — самого рокового, по ее убеждению, изъяна человеческой природы.

Другой философский, точнее, этический постулат, проходящий через романы Мердок,— уважение к неповторимости каждой человеческой личности, к ее конкретной уникальности. Вот почему Мердок с таким же упорством избегает завершенных, исчерпанных с точки зрения дидактической морали характеристик, с каким тяготеет к завершенным, закругленным фабульным ситуациям. Иными словами, люди, созданные ее фантазией, на хороших и плохих «без остатка» не делятся. В самых несимпатичных, даже отталкивающих фигурах есть и нечто, рождающее либо невольное сочувствие (роковая невезучесть Остина Гибсона Грея в «Двадцати двух несчастьях»), либо невольное уважение (сила интеллекта Онор Клейн в «Отсеченной голове», Джулиуса Кинга во «Вполне почетном поражении»). Однако у читателя возникает четкое отношение и к людям, и, что еще важнее, к их поступкам, мыслям, позиции. Происходит это, разумеется, потому, что великолепная терпимость Айрис Мердок — вовсе не беспринципный релятивизм. Никого она не судит и тем паче — никому не выносит приговора. Но объективные понятия добра и зла для нее всегда реальны, как ни раздроблены и ни перемешаны их частицы в человеческом сознании и нашем повседневном бытии.

Временные рубежи в творчестве Мердок — а оно развивается, как мы уже говорили, не однолинейно — проводятся с трудом. И все-таки можно различить некоторые общие и новые приметы в ее романах конца 60—70-х годов: «Приятное и хорошее» (1968), «Сон Бруно» (1969), «Вполне почетное поражение» (1970), «Двадцать два несчастья» (1971), «Черный принц» (1973), «Механизм любви земной и небесной» (1974), «Сотворенный словом» (1975), «Генри и Катон» (1976). Вполне естественно видеть в них приметы художественной зрелости, и я разделяю такой взгляд на «позднюю Мердок», отдавая себе отчет, что многое и в этих книгах (и даже именно в этих книгах) может вызвать критические и даже язвительные замечания, наподобие тех, что были приведены вначале.

Более четко проступают в них грани мн-

роощущения писательницы, о которых мы говорили выше.

Роман Айрис Мердок становится более емким в психологическом и социальном плане, более эмоциональным, темпераментным, подчас даже патетичным. Однако писательница в полной мере сохраняет чувство комического, богатую тонами иронию, великодушный, сострадательный юмор.

И вот что бросается в глаза: чем явственнее тяготение Мердок к «беспорядочному, как жизнь», разветвленному «диккенсовскому» повествованию, тем более жестким, чуть ли не металлическим становится фабульный каркас в ее романах, каркас совпадений и повторов. Повтор всегда был излюбленным приемом писательницы, но прежде он относился к какой-либо одной символической детали или ситуации, нетиет да и всплывавшей на поверхность. Теперь же (пожалуй, начиная со «Сна Бруно») завязка и финал обычно образуют как бы две крышки переплета, замыкающие с двух сторон все, что происходит в книге. Переплет един, и рисунок на обеих крышках повторяется, но с вариациями и в разном колорите. Если в экспозиции дается идиллическая сценка, то в финале она оказывается кульминацией, либо эпилогом драмы, либо, наоборот, сатирической пародией; то, что в экспозиции «чистая» трагедия, в финале — трагикомедия или даже трагический фарс и т. д.

Маленький ярко-лазурный бассейн в лондонском коттедже благополучной, прекраснодушной четы Фостеров («Вполне достойное поражение») — источник невинных удовольствий в начале романа, но именно здесь нелепо гибнет хозяин дома в финале. А виновник этой смерти, «демонический интриган» Джулиус Кинг, завершает роман на той же самодовольной и жизнерадостной ноте, на какой начал его Руперт Фостер — крупный чиновник, работавший в свободные часы над книгой о непобедимости добра.

В «Механизме любви земной и небесной» действие начинается и завершается также в одном и том же месте — в красивом пригородном доме Блеза Гейвендера, популярного психоаналитика — идиллической картиной семейного мира и довольства. Только в завязке жена у него — Гарриэт, в финале — Эмили, «начинавшая» как тщательно скрываемая любовница. Новая супружеская пара понемногу сжигает на костре вещи, письма, старые реликвии — все, связанное с первой женой Гейвендера. Убиты породистые псы — верные сторожа усадьбы, предмет горячей привязанности Гарриэт: одичавшие и некормленные (в период семейных катаклизмов в доме никто не жил), они едва не растерзали хозяина. Что же касается самой Гарриэт — это ее Блез любил «небесной» любовью,— то она (весьма «своевременная» трагическая случайность) погибла во время налета террористов на швейцарский аэродром, где оказалась, направляясь к своему брату в поисках утешения.

«Двадцать два несчастья» — роман с резко обозначенной сатирической прожилкой и серьезными размышлениями социально-этического порядка — открывается и заканчивается стаккато-диалогом (в финале полифоничным); участница диалога в начале и предмет обсуждения в конце — юная буржуазка Грейс Тисбурн. В экспозиции — она невеста совестливого американца Людвига, который учится в английском университете и мучается сомнениями, возвращаться ли в Штаты, куда призывает его обязанность — идет война во Вьетнаме,— или остаться за границей (не из трусости, а потому, что войну эту он считает неправедной) и скомпрометировать своим дезертирством родителей. В конце концов Людвиг избирает третий путь: возвращается в США, чтобы идти под суд за отказ воевать. В финале же Грейс — жена деловитого и преуспевающего молодого Гарта, бывшего «покровителя бедняков», легко стряхнувшего с себя филантропические порывы юности.

Рассказчик и главный персонаж «Сотворенного словом» начинает взрослую жизнь с того, что заводит роман с женой своего университетского друга и благодетеля, а затем оказывается невольной причиной ее гибели. Завершает же, если не жизнь, то книгу, тем, что заводит роман со второй женой того же человека (ныне собственного начальника) и становится невольной причиной ее гибели...

И в «Генри и Катоне» — о нем еще будет сказано дальше — мы видим подобное же обрамление. Начало: одинокая фигура героя, молодого священника Катона Форкса, бредущего ночью по лондонскому мосту. Карман его сутаны оттягивает, бьет по бедру непривычная тяжесть — револьвер, который Катон отобрал у подопечного подростка, обитателя лондонских трущоб. Сейчас он выбросит оружие в Темзу и тем самым даст толчок целому ряду драматичных и даже трагических событий... Конец: Катон бредет по тому же мосту, уже в цивильном платье (он отказался от священнического сана) и снова оттягивает карман, бьет по бедру тяжесть — массивное распятие, прощальный дар собрата-священника, навсегда покидающего Англию...

Да и в «Черном принце» есть перекликающиеся детали в зачине и завершении романа. Обрамляющие письма — прежде всего, разумеется, «высвечивающие» тех, кто их пишет,— служат и другой цели: в разном, порой контрастном свете предстают события, ситуации, мотивировки, уже данные нам в повествовании.

Все эти повторы с вариациями, конечно, нарочиты, неправдоподобны — если рассматривать их как *литературный прием*,— ибо в жизни, как известно, бывает все.

Конечно, читатель волен не принимать этой простодушно-откровенной симметрии. Тогда она может вызвать и раздраженную и юмористическую реакцию и дать пищу пародистам (что уже происходило в Англии). Но если принимать Айрис Мердок как

таковую, то есть подчиниться ее воле и власти рассказчика, искать в ее книгах отзвуки собственных мыслей и настроений, то лишь справедливо будет попытаться понять, зачем нужна эта простодушная симметрия столь изощренному и тонкому художнику?

Попробуем представить себе один из названных романов без всех этих «архитектурных излишеств», с фабулой, развивающейся вполне жизнеподобно, в литературном понимании этого слова. Вероятно, мы не испытали бы никаких недоумений, но еще вероятней — перед нами оказались бы всего лишь талантливые зарисовки быта и нравов современных английских интеллигентов.

Конечно же, Айрис Мердок не просто поддается неистребимой склонности к «кристаллизации» романа (по выражению одного исследователя ее творчества). Она действует сознательно: жесткая фабула, какими-то элементами напоминающая моралите, для нее прежде всего *форма*, обязательный признак искусства, ограничивающий и *«ограничивающий»* стихийный жизненный поток.

Но почему же именно такая форма? Не случайно возникает здесь ассоциация с моралите — в зачинах и концовках повествований Мердок есть действительно нечто архаичное, нечто от поэтики средневековых театральных жанров. И слово *театр* не случайно: каждому внимательному читателю этих романов ясно, как много значит для нее неисчерпаемый мир шекспировского гения. Здесь речь идет не об аллюзиях и не только о стремлении увидеть человека во всех его противоречиях, но о восприятии мира *как театра*. И если парадоксальным образом обе пьесы Мердок («Слуги и снег», 1970 и «Три стрелы», 1972), сами по себе интересные, по-моему, не могут дать жизнь спектаклю, то в *прозе* ее обнаруживаются целые куски, отмеченные острой театральностью. И вдруг возникающая напряженность ситуаций, и ритм диалогов, и характерность, присущая персонажам,— все говорит о причастности прозаика Мердок к стихии драматического искусства. Дело здесь не в драматургической техничности, а во внутреннем родстве, связанном сложными путями с ее мироощущением. И вот что любопытно в этом же плане: как ни разнообразны люди, густо заселяющие территорию повествований Мердок, как ни изменчивы, ни прихотливы их душевные движения — она неизменно возвращается к определенному *типу* характера.

Вновь и вновь возникают самодовольный эгоцентрик, самовлюбленная (и в то же время ущербная) женщина-разрушительница, несопротивляющаяся жертва людей и обстоятельств, прекраснодушный простак, ранимый, «конфликтный» юноша и, наконец, «человек-демон», хладнокровно манипулирующий чужими жизнями (впрочем, по справедливому наблюдению одного из критиков, лишь в той мере, в какой сами жертвы «идут ему навстречу»). При этом тема демонизма у Мердок не совсем мистична и совсем не абстрактна: с ней связывает писательница проблемы политической тирании, «социального магнетизма» финансовых королей, организаторов общественного мнения, популярных идеологов. Как всегда, писательница исследует *психологический* аспект социального явления: *почему* рядовой человек зачастую покоряется жестокости, терпит несправедливость, поддается обману? В чем притягательность зла, в чем уязвимость и слабость добра? *Как*, по каким законам, с какими неожиданными поворотами и зигзагами разыгрываются баталии между разными началами в душе человека, какими путями движется он между полюсами добра и зла?

Повторим: в рамках определенного типа персонаж Мердок — всегда индивидуальность. Поэтому так неожиданны его реакции и поступки. Кроме того, в каждом романе действует не герой в точном смысле слова, но человек, которому доверены мысли, важные автору, человек, извлекающий нечто существенное для себя из круговерти своих и чужих страстей, надежд и заблуждений. И все же под сложностью, перепутанностью разыгрывающихся событий, под всей этой непредсказуемой калейдоскопичностью эмоций ощущается нечто очень простое — первозданно простое.

Менее всего свойственно Айрис Мердок слепое прекраснодушие, которое она — то саркастически, то сострадательно—«прокалывает» в своих персонажах. Жизнь обычно играет с ними жестокие шутки: добродетель частенько бывает примерно наказана, порок скромно торжествует. Тем не менее остается в мире нечто неизменное: истинная ценность доброты и любви, а любовь (скажем это снова) в самом широком своем спектре, любовь прежде всего человеческая — центральная тема творчества Мердок, высокая радость искусства, наконец, мужество — и личное и гражданское. Мужество неприметное, не знающее громких слов и эффектных поступков, но подлинное. Мне думается, что «Черный принц», появление которого в русском переводе вызвало у нас оживленную дискуссию в печати [1], вместе с романами «Под сетью», «Колокол», «Дикая роза» принадлежит к числу лучших книг Мердок. А по своей внутренней страстности, по какому-то особому, выстраданному благородству, возникающему невесть откуда, из самых мрачных и неприглядных житейских подробностей, пожалуй, имеет мало равных в английской прозе последних десятилетий.

Роман исследует природу любви и художественного творчества, то есть говорит о вещах «вечных», неисчерпаемых. Как нигде здесь обнаруживается плодотворность пожизненного ученичества автора в великой школе Шекспира и Достоевского. Так ли важно, кто именно «черный принц» — Гамлет, Эрос, дьявол?.. Кардинальная тема

[1] Очень характерным было, например, резкое расхождение читательских мнений о «Черном принце», опубликованных в «Литературном обозрении» № 3 и № 6 за 1975 год.

романа — «преображение» Бредли Пирсона, вернее, его приход к главному в себе, к художественному свершению, с лихвой оплаченный и поздней, нелепой, обреченной с самого начала любовью, и жестоким фарсом ложного обвинения в убийстве (к которому косвенно, психологически Пирсон все же причастен), и тюрьмой, и самой смертью. А от этого направляющего мотива, переплетаясь с ним и между собой, разбегаются в стороны перипетии житейских историй, прицельно высвечениые сатириком-нравоописателем: игра корыстных интересов, неистребимое лицемерие, пошлость, суетность, потаенная грязь в углах респектабельных буржуазных жилищ... Главная тема Мердок обретает новое — но не столь уж неожиданное — измерение в «Генри и Катоне». Никогда раньше не ощущалась такая предопределенность в финалах ее повествований — не фабульная, а психологическая,— дальнейшие судьбы ее героев обычно расплываются в тумане, рубеж, ими достигнутый, условен и непрочен. Здесь же происходит нечто иное: приход к некоей прочиости через жестокое преодоление и разрушение первоначального душевного бытия героя, через преступление, мучительную утрату иллюзий — прежде всего на собственный счет.

Для бунтаря-згоцентрика Генри Маршалсона это — примирение с матерью, которой он не мог простить своего ревнивого детского полусиротства, семейное счастье, скромиое удовлетворение добропорядочного сельского «сквайра». А для его друга детства и антипода священника Катона Форкса (сына старого лнберала и атеиста) — уход от церкви, но уход, видимо, временный, сознание, что все надо начинать сначала, на другой основе, более смиренной и суровой. Для того чтобы это осознать, Катону, столь легко, словно бы органично «катапультированному» в религию, надо было на собствеином горестном и страшном опыте убедиться, как беспомощна его вера перед реальностью ада, царящего на земле и в душе человеческой.

Внутренняя драматургичность, присущая Мердок, издавна сочеталась с ее удивительным повествовательным даром. По существу, именно этот дар рассказчика, уверенно ведущего за собой читателя через все «полосы препятствий», и составляет секрет обаяния ее книг. В романах 70-х годов все приметнее становятся черты реалистической «материальности». В том, как изображает Мердок человека — его лицо, тело, движения, общий облик, в том, как описывает она Лондон, деревенский ландшафт, животное, дерево, цветок, есть не только пластичность и зоркость к цвету, но и чувственное любование жизнью. И когда с такой же выразительной тщательностью передает она непривлекательные, «незсте тические» подробности людского бытия, не следует воспринимать это как нечто, унижающее человека; просто для художника нет запретных уголков действительности. А самоцелью, в отличие от иных ее современников, для Мердок это не становится.

Я не назвала бы Айрис Мердок безупречным стилистом. Можно согласиться с критиками (например, с очень доброжелательной А. С. Байатт — автором первой монографии о ней), что в прозе писательницы встречаются «неряшливые клише, злоупотребления некоторыми ключевыми словами и выражениями, неудачные длинные риторнческие пассажи». Надо заметить, что ранние книги Мердок — явление довольно необычное — написаны, пожалуй, лучше поздних: изящнее, лаконичнее, более выверенно. В объемистых, раскидистых повествованиях последних лет стилевых огрехов можно найти немало. (Впрочем, в «Генри и Катоне» вновь появилась интенсивная компактность первых ее вещей). Но вопреки всему какая же это увлекательная проза: днамичная, остроумная и, главное, *насыщеиная!*

От романа к роману, опираясь на свое крепнущее мировоззрение неоплатоника, приверженца христианских этических постулатов, Айрис Мердок исследует мучительно сложный, в каких-то аспектах трагический, в каких-то абсурдно-комический мир, в котором обитают ее современники и соотечественники. Это — ее собственный мир, каким бы отстраненным, критическим взором ни вглядывалась в него писательница. Нет необходимости разделять идеалистическую философию Мердок, чтобы с уважением и доверием относиться к ней как личности и художнику, который, весьма трезво оценивая все дурное и ничтожное в человеке, верит в его способность стремиться к лучшему.

В 70-е годы становится все яснее, что творчество Мердок — в русле большой реалистической традиции английской литературы. Диккенс и сестры Бронте, да и Филдинг, пожалуй, не имели бы основания отречься от такой наследницы. Во всяком случае, на мой взгляд, легче обнаруживаются родственные связи последних ее романов с литературой прошлого, чем с книгами ее современников, хотя есть некое сходство между коллизиями героев Мердок и героев Грина, а в сатирических интонациях — отзвуки стиля Ивлина Во.

Произнеся слова «реалистическая традиция», я вполне отдаю себе отчет в том, насколько это обязывающее и в некотором роде «опасное» определение.

«Как же так,— слышу я голоса сторонников строгих литературоведческих мерок и категорий,— а явно романтическая атмосфера многих и многих страниц этих книг? А подчеркнутый символизм образов и ситуаций? А гротеск и эксцентрика, а балансирование на грани мелодрамы и детектива, за что Мердок и случается получать нахлобучку от взыскательных соотечественников? И порой — достаточно заслуженную». Мне тоже кажется утрированной до полной неубедительности драматическая

ситуация в «Итальянке», многое отталкивает в «Отсеченной голове». Иногда «металлический каркас» бывает так утяжелен, что живое «задыхается» в нем. Если же говорить о лучших книгах Мердок, прежде всего надо припомнить, какие большие изменения претерпело — в сторону от стерильности — понятие современного реализма. Главное же заключается в том, что при всей, казалось бы, замкнутости, «заданности» художественного мира, творимого Айрис Мердок, извечности вопросов, занимающих умы и души ее героев, романы ее в высшей степени современны и опираются на твердую почву действительности.

Совсем не потому, что почти в каждом из них есть отклик на какую-либо масштабную злобу дня. Как говорилось уже, это всегда только отклик, характерный штрих, фрагмент социальной и политической реальности — нечто, происходящее за окном, за оградой парка, нечто, прочитанное на газетной странице либо живущее в памяти, в сознании человека. Даже в «Алом и зеленом» [1] — единственном историческом романе Мердок, полном гордости и печали повествований о событиях «Пасхального восстания» в Дублине, о юношах, которые шли на смерть ради свободы Ирландии,— внимание Мердок-художника приковано к психологическому облику братьев Дюмэй, к нескольким людям, связанным с ними сложными эмоциональными узами.

Книги Айрис Мердок современны потому, что в самой сердцевине всего, что в них происходит,— нравственные, этические коллизии современного человека Запада, его трагические блуждания, его борьба с обстоятельствами и самим собой, его поражения и надежды. Вот воздух и плоть этих книг; размышляя о них, мы размышляем также о времени и о себе.

[1] В русском переводе роман вышел в издательстве «Прогресс». М., 1968.

ФРАНС МАЗЕРЕЛЬ. Бельгия. Новая жизнь.

Трибуна переводчика

МАНУЭЛ ДЕ СЕАБРА

TRADUTTORE, TRADITORE? [1]

Советский читатель, с которым я собираюсь поделиться несколькими своими мыслями, вряд ли может в полной мере нредставить себе, до какой степени искусство вообще, литература и художественный перевод в частности лишены в Португалии (да и в целом на Западе) общественного признания.

Коиечно, среди господствующих классов считается хорошим тоном ценить искусство, но прежде всего искусство изобразительное — скульптуру, живопись, а не литературу, как правило, более илн менее прямо выражающую передовые идеи своего времеин, а нередко — революционные настроеиия. Трудяшиеся Португалии, если и умеют читать, не читают, но по другой причине, нежелн правящие классы,— из-за нехватки времени, его пожирает повседиевная суровая борьба за хлеб насущный.

Чаще всего говорят о культуре — так, словно они ее законные носители,— средние классы. Но они полностью поглощены тем, что американцы называют «rat race»,— погоней за теплыми местечками и выгодными постами в системе капитализма. И у них нет времени, чтобы читать.

К тому же вековая отсталость Португалии породила печально известную у нас пренебрежительную поговорку: «Словесность — пустые слова». Итак, кто же читает в Португалии? Увы, абсолютное меньшинство населеиия: студеиты (пока не коичат учебы и не втянутся в «rat race»), определенные круги интеллигеиции и наиболее сознательная часть рабочего класса, связанная с профсоюзным движением, с коммунистической партией.

Удивительно ли при таком положении, что тираж книги в Португалии крайне редко превышает три тысячи экземпляров? И это еще в лучшем случае, то есть тогда, когда речь идет о художественной прозе. Что же касается эссе, например, то их максимальный тираж — две с половиной тысячи экземпляров, а поэтические сборники лишь в виде исключения издаются в количестве двух тысяч экземпляров.

Очевидно, что в подобных условиях писатель и переводчик практически обречены на «любительство». Впрочем, имущие классы это вполне устраивает: с их точки зрения, только так и можно сохранить «чистоту» искусства, уберечь его от гибельного соприкосновения с «презренным металлом». Для самой же литературы это положение поистине пагубно. Ни писатель, ни переводчик, конечно же, не могут позволить себе роскошь жить за счет литературного труда и посвяшают ему лишь свободные часы. Те немногие, что отваживаются стать литераторами-профессионалами, вынуждены работать в адском темпе, и ни о каком подлинном качестве работы не может быть и речи.

Перед португальским переводчиком художественной литературы встает жестокая дилемма: либо делать свое дело добросовестно и терпеливо, заранее отказавшись от должного вознаграждения, то есть, в сущности, только «из любви к искусству», думая лишь об уровне перевода; либо, подчинившись условиям, существующим на португальском рынке труда, лихорадочно переводить по триста слов в пятнадцать минут, ради того лишь, чтобы заработать столько, сколько получает обыкновенный банковский служащий. Такой профессионал движется по тексту со скоростью хорошей машинистки, не позволяя себе остановиться, чтобы поразмыслить над неясным местом или выбрать лучший вариант,— по существу, он вообще не вникает в то, что переводит. Стоит ли удивляться, что в большинстве своем сделанное у нас в этой области оставляет желать много лучшего?!

Порой встречаешь прямо-таки нелепейшие ошибки. Широко известное, казалось бы, английское выражение «It rains cats and dogs» («Дождь льет как из ведра») приобретает такой вид: «Кошки и собаки льются дождем» — что по-португальски звучит по меньшей мере сюрреалистнчески. Как-то раз мне попалась фраза «Tonight I'll give you a ring» («Сегодня вечером я тебе позвоню»), переведенная как «Сегодня вечером я подарю тебе кольцо». Большой конфуз произошел у нас с одним известным писателем, переводившим четыре толстенных тома всемирной историн. В качестве эпиграфа к ней были взяты слова видного британского ученого Джулиана Хаксли «Man

[1] Переводчик — предатель? *(итал.)*

stands alone» («Человек — единственное прямоходящее существо»), приобретшие в переводе весьма комический смысл: «Человек встает на ноги сам».

Конечно, эти забавные примеры — крайний случай, однако верно то, что низкое качество перевода объясняется не только безжалостным темпом работы, но и некомпетентностью переводчика. В Португалии, да и в других капиталистических странах, за исключением, может быть, самых развитых, переводчики по большей части — импровизаторы-самоучки, ибо профессиональной подготовки, не говоря уже о специальной подготовке кадров для художественного перевода, попросту не существует. Иностранные языки (главным образом — французский и английский, и в довольно скромном объеме) в Португалии изучают в средней школе и в высших учебных заведениях... но не больше. Есть, однако, один язык, которым португальцы, как они считают, с детства владеют все до единого,— испанский, столь схожий с нашим родным. Увы! Эта уверенность не спасает нас, когда мы пытаемся говорить по-испански, от бесчисленных конфузов — подводят так называемые «ложные друзья», то есть слова одинаковые или почти одинаковые по звучанию и написанию в обоих языках, но различающиеся по смыслу.

Несколько лет назад тогдашний президент гильдии португальских издателей и книготорговцев отправился на конгресс в Мадрид. Там, на прощальном банкете, растроганный похвалами и комплиментами в свой адрес, он поднялся, чтобы поблагодарить, и начал (убежденный, что говорит на безукоризненном испанском): «Señores, estoy embarazado...» («Господа, я в затруднительном положении...»). Президент и не подозревал, что немедленно последовавшая веселая реакция коллег была вызвана тем, что на самом деле он сказал: «Господа, я в положении...» Он был обманут внешним сходством португальского «embaraçado» (быть в затруднительном положении) и испанского «embarazado» (вернее, «embarazada»), употребляемого в женском роде, в применении к беременным.

Разумеется, «ложные друзья» переводчика могут ввести в подобного рода заблуждения лишь слабо подготовленного человека. Но, к сожалению, среди моих португальских коллег это довольно частое явление. Не думайте, что я хочу принизить роль наших переводчиков. Напротив, я считаю, что в западном обществе — обществе, по сути своей враждебном культуре, и особенно в португальском обществе, еще не избавившемся от пережитков фашизма,— благородный труд литературного переводчика, сближающий культуры и народы, приобретает совершенно исключительное значение.

А теперь несколько слов о моем личном переводческом опыте, начавшемся двадцать три года назад. Правда, должен оговориться: из этих лет всего тринадцать я мог заниматься профессиональным переводом, остальные же десять мне пришлось совмещать его с журналистской работой — чтобы прокормиться. За это время я перевел около семидесяти произведений с девяти языков мира.

Русская литература всегда особенно интересовала меня, хотя, к великой моей досаде, работа не оставляла мне достаточно времени для систематического, углубленного изучения русского языка. Лишь в 1972 году, получив литературную премию, я смог на некоторое время полностью посвятить себя занятиям этими предметами. Они настолько увлекли меня, что я страстно загорелся идеей выпустить целую серию переводов из русской классики. Не правда ли, дерзкая мысль? Тем более, что до тех пор португальский читатель был знаком с шедеврами русской литературы по переводам, сделанным с французского или с других языков-посредников,— опыта переводов непосредственно с русского не было. И все же я не переставал верить, что упорный труд приведет к успеху. Набравшись смелости, я отправился к издателю и изложил ему свои планы. Он заразился моим энтузиазмом и решил открыть публикацию серии русских классиков.

Настало время приступить к работе — и я засел за перевод... не более и не менее как «Господ Головлевых» Салтыкова-Щедрина. Так начались «мои университеты», эта работа поистине явилась для меня великой школой...

Помимо упомянутого романа я перевел «Тысячу душ» Писемского, «Дым» и «Новь» Тургенева, «Очарованного странника» Лескова, «Капитанскую дочку» Пушкина, «Обыкновенную историю» Гончарова, «Семейную хронику» С. Т. Аксакова...

Важным этапом в моей работе стало обращение к советской литературе, прежде всего к советской поэзии. Не без гордости могу сообщить, что в моих переводах вышла антология советской поэзии, включающая произведения Маяковского, Хлебникова, Крученых, Гастева, Светлова, Н. Тихонова, Безыменского, Ахматовой, Берггольц, Евтушенко, Вознесенского, Ахмадулиной и других, поэма Маяковского «Владимир Ильич Ленин», поэма Александра Блока «Двенадцать» (на испанском языке), большая антология стихов Маяковского (двумя изданиями — на португальском и каталанском языках), подготовлена к печати антология стихов молодых советских поэтов.

Не случайно назвал я работу над переводами русской и советской классики великой школой. Эта работа заставила меня по-новому осмыслить проблемы художественного перевода, то есть не просто переложения «с языка на язык», но перевода, так сказать, с системы ценностей одной культуры на систему ценностей другой. Это особенно нужно иметь в виду, переводя поэзию, хотя и проза, пожалуй, требует такого же подхода. В Португалии, где традиции художественного перевода еще не сложились, придерживаться этого принципа довольно трудно.

Приведу небольшой частный пример в связи с этим. Один мой друг, прочитав

«Господ Головлевых», обрушился на меня с упреками за то, что язык моего перевода более прост и «разговорен» по сравнению с языком оригинала. Прав ли был мой друг, требуя, чтобы я перевел — для наших современников — роман Салтыкова-Щедрина языком, на котором писали в Португалии XIX века? Или правы те, кто полагает, что каждое поколение должно иметь с в о й перевод шедевров мировой литературы? Так считают, например, представители переводческой школы Англии, где, скажем, «Одиссея» переводится заново через каждые тридцать или сорок лет.

Проблема эта особенно актуальна для поэтического перевода, и именно здесь критерии меняются довольно часто. Так, примерно до 60-х годов на Западе господствовала точка зрения Эзры Паунда и его последователей: роль переводчика поэзии, по их мнению, состоит в том, чтобы создать то, что Паунд именовал «логопоэйей» [1], «таицем интеллекта посреди слов», с целью передать «контекст, который мы надеемся уловить с помощью слова при условии, что известны сопутствующие обстоятельства» [2]. Паунд утверждал, что логопоэйя непереводима, но если можно определить душевное состояние поэта, его внутренний мир, то можно и отыскать для него эквивалент. Главное возражение против этой точки зрения состоит в том, что «эквивалент» душевному состоянию поэта, найденный переводчиком, нередко рискует оказаться не столько «воссозданием» этого «состояния духа», сколько его «придумыванием», подменой или даже искажением (хотя, может быть, и невольным или допущенным без всякого злого умысла). Бывало так и с самим Паундом, достаточно привести строки из его перевода «Оды XVI» Конфуция:

Don't chop that pear tree,
Don't chop that shade;
Thaar's where old Marse shao used to sit.
Lord, how I wish he was judgin's yet[3].

Что здесь от Конфуция и что — от Паунда? [1] Подменить переживания китайского крестьянина VI века до н. э. чувствами, которые питал к своему добросердечному господину американский раб, и описать эти чувства негритянским сленгом — не слишком ли это неоправданно, произвольно и опасно? Не превращается ли таким образом — даже в руках такого мастера, как Паунд (а может быть, именно поэтому),— перевод стихотворения в совсем другое стихотворение?

Противоположных позиций придерживаются приверженцы иной точки зрения на поэтический перевод, распространившейся на Западе после 60-х годов (ее представляет лондонский журнал «Современная поэзия в переводах»). Они ратуют за буквальный перевод: «Как только для воссоздания духа оригинала начинают использоваться приемы, чуждые этому оригиналу,— вся работа становится сомнительной, все оказывается под вопросом. Подобные приемы могут помочь оценить оригинал, но могут и затемнить его. Во всяком случае оригинал делается совершенно неразличим». Как раз такого рода опасности я всегда старался избегать, переводя на португальский, испанский, каталанский языки русскую, советскую, американскую, английскую, африканскую, кубинскую, каталонскую поэзию... Конечно, передать поэтическое произведение на чужом языке, ничего при этом не потеряв из его достоинств,— дело неимоверно трудное и таким останется, и все же я убежден, что при переводе точном (буквальном) оригинал утрачивает значительно меньше, чем при его «воссоздании». Разумеется, под буквальностью, точностью я понимаю отнюдь не буквализм: точный перевод требует адекватного решения бесчисленных проблем семантики и просодии, с тем чтобы текст, переданный на другом языке, был полностью понятен.

Однако и такой подход таит в себе немало опасностей, и они открылись мне именно тогда, когда я окунулся в русскую и советскую поэзию — с ее столь отличными от наших традициями и строем, с ее поразительным, «непереводимым» образным и звуковым богатством. И должен признаться, что половина переводов, сделанных мной для антологии молодых советских поэтов, оказалась совершенно неудачной. Эти стихи никак «не ложились» на португальский язык. Правда, оставался еще один путь: взять идею стихотворения и по ее канве сочинить новое. Но такой выход показался мне недостойным, это значило бы стать чересчур traditore... Зато другие стихи и поэмы антологии зазвучали на португальском необычайно сильно: «Монолог Евы» Риммы Казаковой, «Сердце, XX» Павла Грушко, «Безбожница» Татьяны Кузовлевой... Впрочем, о них судить португальскому читателю.

---

[1] В поэтике Паунда проводится разделение поэзии на три типа: «фанопоэйя» — поэзия зрительного образа, «мелопоэйя» — поэзия мелодического типа и «логопоэйя» — интеллектуальная поэзия. *(Здесь и далее прим. ред.)*

[2] E. Pound. Literary Essays. Faber & Faber, London, 1963.

[3] «Одами Конфуция» Э. Паунд называет собранную, по преданию, Конфуцием древнюю «Книгу Песен» («Шицзин»). «Ода XVI» представляет собою стихотворение из раздела «Шицзина» «Нравы царств. Песни Шао и стран к югу от него» — и воспевает доброго правителя, остановившегося в Шао под тенистой грушей. Вот как звучит это стихотворение в переводе Л. Эйдлина:

Тенистое дерево сладкой груши
Не надо резать, рубить не надо:
Под ним был отдых для князя Шао.

Тенистое дерево сладкой груши
Не надо резать, ломать не надо:
Под ним был отдых для князя Шао.

Тенистое дерево сладкой груши
Не надо резать и гнуть не надо:
Под ним привал был у князя Шао.

[1] The Confucian Odes of Erza Pound. A critical appraisal. Faber & Faber, London, 1963.

Перевод с португальского Г. ВЕРЖХОВСКОЙ

◆

Письма из-за рубежа

КУЛЬДИП КРИШАН КХУЛЛАР

К НОВЫМ ГОРИЗОНТАМ

Несколько слов о литературе урду нашего времени

Это произошло в 1917 году. Зимний дворец — резиденцию русских царей — захватили революционеры. Какой-то крестьянин подобрал там одеяло и хотел было взять его себе. Увидев это, часовой сказал ему: «Теперь ни одна вещь не должна пропасть из дворца».— «Но, господин товарищ,— взмолился крестьянин,— как же я без одеяла? Ночь холодная и ветер сильный».

Часовой посерьезнел и начал втолковывать крестьянину: «Уж лучше померзнуть, чем допустить, чтобы Революция была опозорена грабежами. Вот пропадет сегодня что-нибудь во дворце — и сразу пойдут разговоры, что мы никакие не социалисты, а хулиганы и грабители. Здесь все теперь общественное, и мы будем охранять народную собственность. Идет Революция, товарищ! Она даст народам мир, хлеб, землю...»

Эту историю рассказал ее очевидец, американский журналист Альберт Рис Вильямс. Можно привести великое множество других примеров, красноречиво свидетельствующих о цельности характера людей, проникшихся идеями Октябрьской революции. Они и стали героями новой — советской — литературы, с ее новым подходом к явлениям жизни, новым самоощущением...

Прошло немного времени — и голос литературы, родившейся в стране Ленина, услышали писатели всего мира. Громко зазвучал он и в Индии.

■

Связи между литературами Индии и России зародились еще до революции. Так, переводы стихов Пушкина оказали несомненное влияние на бенгальскую поэзию, на творчество Рабиндраната Тагора. Гоголь, Достоевский, Тургенев, Чехов, Толстой были широко известны. Еще до победы Октября огромной популярностью у нас пользовался основоположник советской литературы М. Горький. В свою очередь, и в России существовал заметный интерес к литературам Индии. В марте 1913 года, например, журнал «Слово» напечатал двадцать одно стихотворение Рабиндраната Тагора из сборника «Гитанджали» и рассказ «Мыслитель» — в России Тагора «открыли» задолго до того, как он получил Нобелевскую премию и стал знаменит.

В тридцатые годы, посетив Страну Советов, Тагор писал, что давно испытывал глубокое отвращение к системе крупного землевладения, но только теперь оно обрело прочную основу. Собственными глазами увидел он теперь в России все то, о чем так долго мечтал. Поэтому существование крупного землевладения кажется ему таким позором...

События 1917 года воспламенили творческое воображение крупнейшего поэта Востока Мохаммада Икбала, Октябрьскую революцию он сравнивал с «новым солнцем, что встало из лона земли». Поэт начал мечтать о великих свершениях на благо народа. В «Песне звезд» он воспевал легендарного Фархада — человека труда, человека, способного, по словам поэта, низвергнуть империи. А в «Крыле Гавриила» Икбал писал об ангелах, ниспосылаемых с горных высот на землю, чтобы поднять угнетенных на борьбу против угнетателей.

Еще подпольная ленинская «Искра» заставила Икбала напряженно размышлять о том, что такое социализм. Недаром образ искры вошел в его поэтику как постоян-

ная, излюбленная метафора. В стихах Икбала из искры возгоралось пламя — оно зажигало звезду, звезда пылала солнцем, а солнце занималось космическим огнем. И это была все та же искра, от которой вспыхнул костер 1917 года. Сам поэт так сказал об этом:

Что делать мне, о господи,
с неуспокоенностью сердца моего?
Когда я вижу красоту —
то большей красоты мое взыскует
сердце...

От искры до звезды
и от звезды до солнца —
вот путь моих исканий.
Так я ищу конца тому,
что бесконечно.

В икбаловской концепции «худи» («я») определенно улавливаются отзвуки русской революции, возвратившей человеку его достоинство. В стихотворении Икбала «Творение природы», где действуют Бог, Сатана и Адам, Сатана склоняет Адама к сопротивлению, к богоборчеству, веря в гордого, распрямившегося человека и его безграничные возможности. «Поднимись,— говорит он,— как кипарис высокий, о ты, кто столь медлителен в поступках. Сделай шаг вперед и достигни цели. Ты — капля, так стань драгоценностью. Ты — сверкающий меч, так выйди из ножен, чтоб видна была сила твоя. Раскрой соколиные крылья... Жизнь в гнезде — для сокола смерть».

■

Поистине огромно и разнообразно воздействие новой эпохи, начавшейся под знаком Октября, на литературу урду — литературу с 700-летней историей. Кстати, язык урду неверно считать арабизированным хинди или иранизированным хиндустани — это особый язык, с собственным алфавитом, язык, удачно сочетающий гармоничность персидского с энергией арабского и простотой хинди. Будучи самым молодым из новоиндийских языков, он тем не менее занимает шестое место в Индии по числу говорящих на нем.

Новыми гранями засверкал этот язык в творчестве известнейших поэтов нашего времени — Фирака Горакпури и Фаиза Ахмад Фаиза. Они — как два могучих дерева в саду поэзии урду. Словно поделив между собой главные проблемы наших дней, один решает их в романтическом и лирическом ключе, другому свойствен философский и интеллектуальный взгляд на мир. И вместе с тем оба поэта — как два берега одной реки. Пусть они идут параллельными путями — дороги их сойдутся в бесконечности.

Фирак Горакпури пишет свои стихи разговорным языком и не терпит избитых «восточных» образов — виночерпиев, соловьев, роз и прочего. Его лирический герой — воплощение романтического бунта поэта — не привычный нашему читателю заплакаиный воздыхатель, а влюбленный в звезды, верящий в себя и в будущее человек.

Когда Фирака, одного из старейших поэтов урду, спросили, какие книги оказали наибольшее влияние на него, он ответил: «Ночь и звезды дали мне больше, чем книги. Не думаю, чтобы на меня оказали влияние традиции, религия или обстоятельства. Я сам влияю на себя, мои стихи влияют на меня. Мои стихи — это рассказ о себе и о вселенной».

Ни одного другого поэта не влекла к себе музыка и непроглядность ночи с такой силой, как Фирака. Ночь для него символизирует грусть, которая прекрасней поэзии, истину, которая поэтичней красоты, и наслаждение, которое преодолевает боль. Звездные ночи, а не пыльные книги наполняют его сердце восторгом:

Я — ночь, угасшая
в любви небесной твердн,
где образ твой —
падучая звезда.

Почетное место в любой антологии поэзии урду занимают стихи Фаиза[1], им восторгаются и в Индии и в Пакистане.

Пожалуй, он самый крупный из современных поэтов урду. В стихах Фаиза накал чувств сочетается с мудростью, которую могут дать лишь десятилетия напряженных размышлений, и когда Фаиз говорит о прошлом, в его тоне слышится уверенность в будущем.

Ветеран движения прогрессивных писателей, он уже в молодости провозгласил, что есть боль иная, чем любовные страдания, и счастье иное, чем от встречи с возлюбленной.

Никто из поэтов урду не провел столько лет в тюрьме, никто из них не боролся самоотверженнее, чем Фаиз, во имя раскрепощения простого человека, во имя освобождения мысли из оков:

Если тюремщик бумагу с пером отберет,
в сердце персты погрузив, напишу
кровью своей.

[1] Стихи Фаиза Ахмад Фаиза печатались в «ИЛ» № 3, 1959; № 5, 1960; № 7, 1962; № 1, 1964; № 9, 1968; № 2, 1976. *(Здесь и далее прим. ред.)*

Если тюремной печатью мой запечатают рот,
гнев мой заговорит каждым звеном цепей.
(Перевод А. Суркова)

Много лет назад Фаиз написал: «Глубокое понимание смысла коллективной борьбы человечества за лучшее будущее и сознательное стремление участвовать в этой борьбе является требованием не только жизни, но и искусства». В этих словах — программа его жизни и творчества, которой он неизменно следует. Вот почему так велико его влияние на целую группу молодых поэтов урду как в Пакистане, так и в Индии.

■

Говоря об изменениях, которые претерпела поэзия урду в нашу эпоху, как не вспомнить о такой традиционной и любимой у нас форме прямого общения поэта со слушателями, как мушаира (состязание поэтов). Ее сделал популярной в Индии еще основоположник поэзии урду Амир Хусро Делийский. У мушаиры есть аналогии в персидском «базме» или афганском «мехфиле», но в своем нынешнем виде она представляет собой чисто индийское явление. Существует несколько типов такого рода поэтических состязаний: мушаира на заданную рифму или на заданную тему. В этом случае поэт должен непременно читать новые стихи либо просто импровизировать. Бывают мушаиры, на которых читаются только газели; мушаиры, на которых читают стихи по выбору слушателей; наконец, есть мушаиры смешанного типа. Но какими бы они ни были, они всегда требуют прямого и непосредственного контакта с аудиторией и не дают поэзии или поэту замкнуться в себе. Видимо, в этом причина огромной популярности мушаиры и по сей день.

Однако веяния послеоктябрьской эпохи существенно изменили характер стихов, которые ныне пользуются успехом на мушаирах,— поэты урду поняли, что миновало время слагать песни о чашах, виночерпиях и жестокосердных красавицах,— настало время говорить о проблемах простого индийца. Движение прогрессивных писателей выступило за поэзию новых ценностей, за новый поэтический язык.

■

Процесс обновления литературы урду еще более прослеживается в прозе. Первым романистом урду считается Премчанд, испытавший на себе сильнейшее влияние идей Октября. Именно он был одним из организаторов исторической Конференции прогрессивных писателей Индии 1936 года. Именно он впервые сделал индийских рабочих и крестьян героями прозы урду. Такие его произведения, как рассказ «Саван» или роман «Жертвоприношение», провозглашают право каждого человека на борьбу за лучшую жизнь. Премчанд пишет со страстью и болью; его герои, вынесшие все муки феодального гнета, неудержимо рвутся к свободе.

Раздел Индии в 1947 году дал литературе урду новую тематику, новые измерения, бóльшую социальную глубину. Продолжая начатое Премчандом, писатели урду стремились избавиться от условностей романтизма, правда, при этом не всегда выбирая верные пути: порой на свет появлялись произведения, полные тоски и отчаяния, произведения, отмеченные натурализмом. Иные авторы начали романтизировать нищету, лишения и страдания.

Среди тех, кто остался в русле реализма,— умерший в 1955 году совсем молодым Саадат Хасан Манто, мастер беспощадно реалистических, психологически точных рассказов, подлинный преобразователь прозы урду [1]. Наибольшей известностью пользуются его рассказы о кровавой индо-мусульманской резне, вспыхнувшей в период раздела Индии. Едва ли существует более сильный человеческий документ об ужасах тех времен, чем этот цикл произведений писателя. Так, в рассказе «Открой!» Манто повествует об участи семнадцатилетней Сакины, беженки из Пакистана, обесчещенной теми, кому была поручена охрана беженцев. Девушку сочли мертвой и бросили у железнодорожной линии. А в рассказе «Мозиль» проститутка из Бомбея надевает свое платье на юную сикхскую девушку, чтобы спасти ее от мусульман-погромщиков, и погибает сама.

Бессмертен, на наш взгляд, рассказ Манто «Тоба Тек Сингх»: никто в сумасшедшем доме не может объяснить Бишену Сингху, где теперь его деревня Тоба Тек Сингх — в Индии или в Пакистане. Наконец, индийский чиновник объясняет, что дéревня по разделу отошла к Пакистану. И тогда «...полузадушенный крик вырвался из горла Бишена Сингха. Он упал лицом в землю и больше не поднялся. По одну сторону была ограждена колючей проволокой территория Индии, по другую сторону была ограждена колючей проволокой территория Пакистана, а между ними, на ничьей земле, лежало тело Бишена Сингха из деревни Тоба Тек Сингх».

Постоянной темой Манто был человек во всей его подлинности. Вот почему он искал героев и героинь среди простых людей, порой среди обитателей «дна», объединенных общим трагизмом существования. Писатель не пытался морализировать — он беспристрастно исследовал условия жизни своих персонажей, подчеркивая их горькую реальность; никогда не приукрашивал он нищету и страдание, а, творя красоту из уродства, выступал за уважение к достоинству человека.

[1] Рассказ Саадата Хасана Манто «Новый закон» печатался в «ИЛ» № 5, 1964.

Манто увлекался русской литературой, перевел на урду «Три вопроса» и другие рассказы Л. Н. Толстого, несколько десятков чеховских рассказов, «Двадцать шесть и одна» Горького. Испытав на себе глубочайшее воздействие передовых идей русской литературы, он не только стал основателем нового направления в прозе урду, но и сумел увлечь переводами русской литературы целую группу творческой молодежи. Среди его последователей, переводчиков русской классики и современной литературы, широко известны Хамид Али Хан, Ходжа Мансур Хуссайни, Аббас Джалил Кидваи, Ахтар Хуссейн Райпури, Маджнун Горкапур, Азам Креви.

Яркую страницу в современную прозу урду вписал Кришан Чандар, автор 60 романов и 500 с лишним новелл, много переводившийся на европейские языки, в том числе и на русский [1]. Его произведения «Коврик», «Калу Бханги», «Бог на полчаса», «Уснули долины сердца», «Пораженье» навсегда останутся в истории нашей литературы.

Едва ли есть во всей индийской литературе произведение, с большей убедительностью показавшее чудовищность кастовой системы и неприкасаемости, чем рассказ о подметальщике Калу Бханги. Вещь эта была написана задолго до обретения Индией независимости, но она вне времени. Калу — воплощенная жалость, сама покорность — видимо, постоянно жил в воображении писателя: Калу — с грязной метлой в руках, больными коленями, вечно пустым желудком, запавшими глазами, уродливый и лысый. Он ни на кого не держал зла, никому не желал плохого, не знал, что такое обида.

Подметальщик Калу Бханги умер в один прекрасный день в больнице, которую убирал двадцать лет. С пронзительностью, прославившей его прозу, Кришан Чандар пишет: «Его положили в ту самую больницу, которая заполняла собой его детство, отрочество, юность. Лежал он в отдельной палате. Аптекарь, стараясь держаться подальше, вливал ему в рот лекарство, а рассыльный приносил ему еду. Калу Бханги сам мыл свою посуду, сам стелил себе постель... А когда умер, то телом его распорядились полицейские — ведь у него не было родственников.

Калу Бханги прожил бок о бок с нами более двадцати лет, но так и остался совершенно чужим. День, когда умер Калу Бханги, ничем не отличался от остальных дней — все было как всегда. Двери больницы открылись и закрылись в обычное время. Доктор выписывал лекарства как обычно. Вечером мы все слушали песни по радио, потом заснули. Только корова доктора и коза аптекаря не ели и не пили двое суток после смерти Калу Бханги... Но ведь это были просто животные!»

Говоря о лучших прозаиках урду, необходимо упомянуть имена Ходжи Ахмада Аббаса [2], Раджендры Сингха Беди и, конечно же, той, которую можно назвать «самым сильным мужчиной» в современной нашей прозе,— это женщина, ее зовут Курратуль-Айн Хайдар. Романы писательницы «Огненная река», «Голос осени», «Не буду дочерью в следующем рождении» занимают особое место в индийской прозе, привлекая читателей изяществом стиля и глубокой человечностью.

■

Вот уже два столетия в литературе урду значительную роль играет сатирический жанр. Родившись при дворах Биджапура и Голконды, сатира урду расцвела в литературных собраниях Лакнау и Рампура и отточилась на базарах Хайдарабада, в узких переулках Дели и Лахора. Звезда сегодняшней сатиры урду Фикр Тонсви принадлежит к числу тех мастеров жанра, о которых можно сказать, как говорили о Джонатане Свифте: он подносит зеркало к лицу века. В 1977 году вышел в свет сборник его произведений, созданных за четверть столетия, «Фикр-намэ». Предшествующие сборники, «Чаупат раджа» и «Позорная книга», снискали писателю огромную популярность — и у людей денежных, и у людей культурных, и у безденежных и бескультурных.

Фикр Тонсви ведет постоянную сатирическую колонку в газете «Милап», и эта колонка — под названием «Луковая шелуха» — как раз то, ради чего читатели выписывают газету. Заслуга Фикра Тонсви в том, что он сумел поднять газетный фельетон до уровня подлинной литературы, превратив сатиру из игры утонченных умов в острую критику социальных пороков.

Фикр — ровесник Октябрьской революции и, может быть, еще и потому так предан ее идеям, стремясь сделать сатиру орудием прямого воздействия на общество. Достаточно вспомнить в этой связи такие его рассказы, как «Профсоюз жен», «Как я родился второй раз», «Ордер на арест». Фикр Тонсви происходит из бедной семьи и поэтому отнюдь не идеализирует нищету. Недавно он писал: «Бедняки одержат верх, но сатирику всегда найдется о чем писать».

■

После того как Индия стала независимой, литература урду развивается подобно одной из ветвей огромного дерева, именуемого многонациональной и многоязычной индийской культурой, которой сейчас так важно избавиться от сковывающего влияния обветшалых традиций, чтобы свободно устремиться к новым просторам, к новым горизонтам.

Перевод с английского

---

[1] Рассказы Кришана Чандара публиковались в «ИЛ» № 3, 1955; № 9, 1958; № 4, 1959; № 4, 1964; № 1, 1968.

[2] Его рассказ «Черное солнце» («Легенда наших дней») см. в «ИЛ» № 10, 1961.

◆

Заметки на полях

ЗАКЛИНАНИЕ ЗЛЫХ ДУХОВ ИЛИ РЕАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ФУНКЦИЯ?

Конец 60-х годов в ФРГ критики справедливо называют временем рождения политической поэзии. То, что раньше только намечалось, обретало свои первые формы в отдельных, непривычно звучавших стихах, в те годы неожиданно стало явлением широко распространенным. Молодые поэты, пришедшие в литературу на гребне волны студенческого движения, поставили перед собой задачу: писать стихи на злобу дня для тех, кто сможет прочесть их «здесь и сегодня». Свежий факт, ворвавшийся в стихотворение прямо со страниц газеты, актуальный лозунг момента, напоминание о сиюминутных задачах, простые формы, доступные самому неискушенному читателю, — таковы общие черты поэзии того времени, отказавшейся от внешней красивости, поставившей себя на службу конкретным политическим целям.

Термин «агитка» для таких молодых поэтов, как Петер Майвальд, Роман Риттер, Юрген Теобальди, Годехард Шрамм, Франц Йозеф Дегенхардт, Юрген Петер Штёссель, Дитер Зюверкрюп, Петер Шютт, Клаус Конецкий, Уве Тимм, был не только пренебрежительным ярлыком, к которому охотно прибегали критики академического толка, с ходу их поэзию отметавшие, — это было слово из их собственного лексикона, которое они не без гордости употребляли по отношению к своим произведениям. В «агитке» они видели положительный момент своего творчества, своего рода эстетическую программу. Критика же и издатели к подобной лирике относились как к некоему курьезу, однодневному, минутному увлечению, обреченному кануть в забытье, как только изменится литературная мода.

Прошло десять лет. Молодые поэты перестали быть молодыми, выпустили по нескольку поэтических сборников, приобрели опыт и мастерство, которых прежде порой так недоставало, освободились от многих крайностей юношеской запальчивости. Их прежде несколько абстрактная социально-политическая «ангажированность» обрела конкретные черты, стала действенным художественным мировоззрением. Политическая поэзия ФРГ возмужала. Изменилось и отношение к ней.

«Хотя после 1973—1974 годов поэтических сборников в ФРГ вышло не больше, чем в предшествовавшие годы, о поэзии стали говорить гораздо чаще. С этого времени политическая лирика, получившая свое развитие в конце 60-х, привлекает внимание уже не только левой прессы. Эта лирика находится в постоянном движении, поэтому к ней проявляют интерес и солидные буржуазные издательства, в дискуссию о ней включаются газеты, радио и телевидение. А поскольку сборники стихов лишь в исключительных случаях позволяют рассчитывать на какую-то прибыль, идеологическая сторона подобного интереса отчетливо выступает на первый план».

Это из статьи критика Клауса Панкова, опубликованной в еженедельнике «Зонтаг» (ГДР) 5 февраля 1978 года. Она так и называется «Практика поэтическая и политическая». Автор стремится подвести здесь своего рода итог имевшему место в ФРГ в последнее время довольно широкому обсуждению проблем политической лирики. Другая статья, о которой тоже пойдет речь, принадлежит западногерманскому писателю и литературоведу Петеру Рюмкорфу, и опубликована она в гамбургской газете «Ди цайт» 10 марта того же года. Ее название — «Взрывчатая смесь противоречий. О смысле и пользе поэзии». Появившиеся почти в одно время и трактующие одну и ту же тему, статьи эти удивительным образом перекликаются друг с другом, хотя выражают они при этом нередко противоположные точки зрения.

Обратимся к статье Петера Рюмкорфа. Сам по себе факт существования в сегодняшней литературе ФРГ политической лирики, отстанвающей интересы трудящихся, не вызывает у него сомнения. Это то, что следует принимать как данность и соответственно включать в область своих размышлений. Но вот что касается самих этих размышлений, то тут с Рюмкорфом не всегда можно согласиться.

Всю современную лирику он разделяет на два основных потока: «магический» и интимно-личностный. Один из них, по его представлению, берет свое начало в магической поэзии древности, в средневековых «Мерзебургских волшебных заклинаниях». Такой поэзии приписывается обычно сверхъестественная сила, она может и должна, по мнению ее создателей, заклинать злых духов, исцелять как отдельных людей, так и все человечество в целом, сдвигать с места горы и преграждать путь вражеским войскам. Это поэзия, которая рассчитывает на самое непосредственное действие своих строк. Именно сюда включает Рюмкорф и современную политическую лирику:

> «...Любое собрание стихов-заклинаний, подобных известному брехтовскому «Вставай, товарищ, в единый фронт, потому что рабочий ты сам!», не смогло бы существовать в нашем распираемом классовыми противоречиями мире, если бы ему не предшествовала некая надежда, надежда на всесилие метрики и рифмы, взывающих к нашему чувству солидарности. Не говоря уже о доброй сотне магических стихов новейшего движения просветительства, таких, например, как популярные песенки типа «Плутоний бабулю убьет», в которых обретает свое выражение почти беспредельная вера в то, что с помощью нанизанных друг на друга рифм можно сдвигать горы и стирать с лица земли атомные реакторы. Короче говоря, наша современная поэзия, без сомнения, тоже имеет много общего с магией и волшебством даже тогда, когда кажется, что она занимается прямо противоположным делом — развенчанием общества, находящегося в плену у фетишизма и иррационализма».

Казалось бы, иронию Рюмкорфа можно понять. Действительно, даже собранные все вместе антивоенные стихи — а их много, ибо тема эта для западногерманской лирики одна из важнейших, — до сих пор так и не уменьшили количества оружия в мире, не привели к сокращению расходов на его производство. Что это, свидетельство несостоятельности поэзии? Но ведь даже в самых смелых своих надеждах поэты и не рассчитывают на подобные конкретные результаты. Для них важно другое — расшевелить сознание современника, заставить его внимательнее и серьезнее подойти к окружающему миру, принять на себя долю ответственности за него. И если поэту удается хотя бы частично расширить круг своих читателей и единомышленников, то можно считать задачу поэзии выполненной.

Именно в этом смысле поэзия должна, как пишет в своей статье Клаус Панков, «пробуждать стремление к более интенсивной, свободной от страха жизни, которой никогда не грозило бы окончательное уничтожение». А значит, политическая лирика совсем не противостоит, а, напротив, органично входит в тот второй поэтический поток, которому Рюмкорф в своей статье приписывает решающее значение.

> «Стихотворение, как никакой другой жанр, имеет дело с «я» и является своего рода инкубатором для его интимнейших конфликтов и побуждений. Только в стихотворении субъект получает возможность выразить себя полностью, без эпического балласта и без сопровождающих — в соответствии с волей драматурга — голосов... В стихотворении убедительно — как зрительно, так и акустически — утверждается единство личности, и нет более высокой похвалы для поэта и более прекрасного доказательства аутентичности его поэзии, чем то, что ему удалось найти свой собственный тон. Собственный тон и является главным действующим лицом в стихе, это его высший смысл, его содержание и его предмет».

Трудно спорить с пафосом этого высказывания. Поэзия действительно самый интимный, самый «личностный» литературный жанр, и в этом «смысл и польза» ее существования. Действительно, первейшая задача для любого поэта — найти в стихах свой собственный тон. Задача и в самом деле нелегка — вряд ли есть необходимость доказывать этот тезис. Нельзя не согласиться с Петером Рюмкорфом и дальше,

когда он пишет о том, что «собственная жизненная правда» — высшая цель современной поэзии, что поэзия, если она хочет остаться верной своему призванию и достойной доверия читателя, должна быть движима прежде всего личной заинтересованностью поэта.

Чувство справедливости изменяет Рюмкорфу лишь тогда, когда он отказывает во всех этих свойствах современной политической лирике ФРГ, с ходу отвергая ее право на собственный взгляд на мир, на собственную, личную позицию художника. Для Рюмкорфа все то, о чем пишут молодые поэты, — это «предписанные» истины, «подсказанные» лозунги момента, которые нужно только размножить в массах. С подобным, кстати довольно распространенным в буржуазной критике, взглядом на политическую поэзию спорит статья Клауса Панкова:

> «Стихи Майвальда, Риттера, Конецкого, Шрамма, Делиуса, Теобальди и других западногерманских поэтов объединяет, прежде всего, стремление пропустить все политические высказывания и оценки через свой собственный, неповторимый жизненный опыт. Лирический субъект получает в их стихах возможность полностью выразить себя, со всеми своими заботами и страхами, со своей любовью и своей надеждой. Эта задача определяет и выбор литературных средств».

Действительно, опираясь ли на традицию прошлых веков, в первую очередь, на ту, что связана с именами Гейне и Гервега, прибегая ли к новейшим формам поэтического выражения, западногерманская политическая лирика ищет свой собственный стиль, свой собственный тон, если употребить выражение Рюмкорфа. И она доказывает, что подобная задача ей по плечу. Четкая социальная ангажированность молодых поэтов — это не только вопрос их партийных взглядов, но и их личной совести, их личной ответственности за судьбы мира, в котором они живут. Говоря о политике, о ее самых острых проблемах, о том, что у всех на устах, они каждый раз находят свои слова, свой поворот темы. И тот факт, что западногерманская политическая поэзия за десять лет своего существования избавилась от абстрактности, от излишней плакатной контрастности стиха, стала более индивидуализированной, более глубокой и общечеловечески значимой, — это не просто литературоведческое наблюдение, повторяющееся во многих работах, это важная закономерность ее развития.

Рюмкорф не случайно не находит в современной политической поэзии того, что западный читатель привык видеть в поэзии вообще, чего он — в силу инерции восприятия — всегда от нее ожидает: воспроизведения «расколотого «я» поэта, мятущегося в плену внутренних противоречий. Помещение собственного «я» под микроскоп и возведение его имманентных конфликтов в ранг мирового закона молодой политической поэзии действительно чуждо. Личное для этих поэтов неразрывно связано с общественным, с социальным, они не мыслят своего «я» вне забот и тревог окружающего мира. Их стихи имеют четко выраженную общественную функцию.

Литература действительно призвана выявлять разногласия, как общественные, так и индивидуальные. Здесь нельзя не согласиться с Рюмкорфом. Но свой главный акцент политическая поэзия ФРГ открыто делает на разногласиях социальных. «Сегодня речь идет о субъекте как величине социальной, движимой общественными противоречиями», — утверждает в одной из своих статей поэт Юрген Теобальди. Требовать же сейчас, в конце 70-х годов, от поэзии изображения «расколотого «я» и ничего сверх того — значит требовать ее возвращения назад, к эзотеричности 50-х годов.

В своих рассуждениях Рюмкорф опускает одну важную особенность, присутствующую в стихах каждого большого поэта, — стремление к цельности. К цельности собственного представления о мире, к цельности мироощущения, к цельности поэтического высказывания. К той цельности, что несет в себе критерий жизнестойкости настоящей поэзии. Момент это характерный, ведь для Рюмкорфа цельность и политическая поэзия несовместимы. Ему кажется, что он нащупал важное противоречие, способное перечеркнуть все достижения «ангажированной лирики». Как язвительно замечает Рюмкорф, в среде «левых собратьев по вере» — так называет он поэтов, группирующихся вокруг Германской коммунистической партии, — интерес к реальной жизни весьма невелик, ведь он находится в противоречии с оптимизмом, который непременно должен пронизывать поэзию такого рода.

Предлагая читателю «взрывчатую смесь противоречий», как социальных, так и индивидуальных, молодая политическая поэзия не превращает этот процесс в самоцель, все это действительно делается ради того, чтобы изменить мир, в котором живут поэты и их лирические герои, сделать его лучше. Да и сам по себе исторический оптимизм никогда не вступал в противоречие со знанием реальных закономерностей жизни, ведь и то и другое просто не может существовать обособленно. Не магия, не волшебство, не заклинания определяют сущность современной западногерманской политической лирики, но реальная, основывающаяся на знании действительного положения вещей вера в то, что существующий порядок можно изменить, и стремление по мере сил способствовать этому изменению. Подобная вера ничего общего с верой в чудеса не имеет, она основана на строгом познании закономерностей исторического

развития. Многие молодые западногерманские поэты сегодня уже не сомневаются, что, как пишет в своей статье Клаус Паиков,

> «...радикальный политический опыт можно приобрести лишь в единстве с трудящимися Федеративной Республики, что стремление поэта принимать участие в борьбе рабочего класса все больше определяет сегодня развитие лирики. Хотя, конечно, путь от общей гуманистической ангажированности к конкретной партийной позиции и для последующих поколений лириков будет сложным и не свободным от конфликтов».

Разумеется, направление, по которому идет в своем развитии политическая поэзия ФРГ, вряд ли может удовлетворить буржуазную критику. Ей хотелось бы видеть в стихах молодых поэтов другое — резиньяцию, разочарование и покорность судьбе, уход в частную сферу, отказ от прямой политической «ангажированности» в пользу мелкого романтического эмпиризма. Этого в современной политической поэзии нет, как нет в ней магических заклинаний и веры в сверхъестественное. Зато есть реальное знание окружающей действительности, личная тревога и личная ответственность за нее, стремление изменить мир к лучшему.

О западногерманской политической поэзии нельзя говорить как о законченном литературном явлении. Впереди у нее долгий путь развития. Нужно учиться мастерству, приобретать опыт, завоевывать нового читателя. Но одно несомненно: поэзия эта отличается активной гражданской позицией, она самостоятельно и прочно стоит на ногах. Политическая поэзия ФРГ привлекает к себе все больше внимания. Внимание это разное, не всегда доброжелательное, но сам факт его весьма показателен.

Н. ЛИТВИНЕЦ

◆

КОРНЕЛИА ДЮНЕ. Румыния.
Строители.

Публицистика

СЕДЬМОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ИЗ ВЫСКАЗЫВАНИЙ ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

ВИЛЕМ ЗАВАДА

ЧССР

Великая Октябрьская социалистическая революция в России — одно из величайших событий в мировой истории, превосходящее по своему значению Великую французскую революцию. Хотя В. И. Ленин четко наметил ее перспективы еще до того, как она совершилась, конкретные ее результаты стали все яснее и яснее проявляться — как в самой России, так и за ее пределами — только в последующие годы. Это можно сказать и о Чехословакии, где буржуазия сначала старалась ограничить значение Октябрьской революции рамками события чисто русского, но затем, когда ее идеи стали оказывать влияние на наш рабочий класс и прогрессивную интеллигенцию, развернула против нее кампанию грубой клеветы и травли.

Когда в октябре 1917 года произошла революция, мне было всего двенадцать лет; естественно, тогда я еще не понимал ее всемирно-исторического значения. В конце октября 1917 года в моем родном крае — в промышленном городе Витковице — произошел первый революционный взрыв. На площади перед заводским продовольственным магазином собралась большая толпа женщин: изголодавшиеся жены рабочих пришли требовать продуктового пайка. Когда к ним присоединились их мужья, работавшие на металлургическом заводе, жандармы открыли по толпе стрельбу. Несколько человек было убито. Рабочие забастовали, кое-кто из них спрятался от жандармов и солдат в окрестных лесах. Это трагическое событие оказало влияние на всю мою дальнейшую жизнь. Я инстинктивно встал на сторону моих братьев, на сторону рабочего класса и остался верен ему навсегда. В мае 1915 года на галицийском фронте погиб мой отец, а вскоре на войне погиб и его младший брат, который был страстным книголюбом. Мы были потрясены смертью отца. Мать с тремя малолетними детьми осталась без всякой помощи, одна как перст. И все же она, напрягая все силы, изыскала возможность дать мне образование: по рекомендации моих учителей я поступил в Остравскую гимназию.

Учась в гимназии, я стал читать классическую русскую литературу, которую у нас очень любили и запоем читали. Ее систематически издавали сначала Ян Отто, а позднее Станислав Минаржик и другие издатели. Знакомясь с русской реалистической прозой и поэзией, я узнавал жизнь русского народа, узнавал о крепостных, о помещиках, об образе мыслей прогрессивной интеллигенции. На мое восприятие Великой Октябрьской социалистической революции значительное влияние оказали также и те чешские писатели, к которым я прислушивался с большим уважением и доверием: Ст. К. Нейман, Зденек Неедлы, Иван Ольбрахт, Мария Майерова, Владислав Ванчура, Юлиус Фучик, Йозеф Гора, Иржи Волькер, Витезслав Незвал, Константин Библ, Мария Пуйманова и другие.

Почти все эти писатели, а также многие выдающиеся представители изобразительного искусства, архитектуры, театра, музыки после основания Коммунистической партии Чехословакии стали ее членами. Их пример оказывал влияние на подавляющее большинство представителей прогрессивной чешской и словацкой интеллигенции. Они печатали в своих журналах наряду с собственными вещами и произведения нового, советского искусства. Особенно восхищали нас поэма Блока «Двенадцать», мощные стихи Маяковского, рома-

ны и рассказы Максима Горького и Михаила Шолохова, Александра Фадеева, Алексея Толстого, Николая Островского, Исаака Бабеля и других.

Советские авторы нередко выступали в роли учителей наших социалистических писателей; они помогали нам избавиться от ошибок, которые в бурные годы революции порой совершали их друзья, таких, например, как левачество и фразерство. Они побуждали нас больше ценить своих классиков: Яна Неруду, Карела Чапека и других. В связи с этим мне особенно запомнились доклад Александра Фадеева в пражском литературном клубе и работа Никольского о Чапеке. Современная советская литература отличается высокой художественностью, превосходным знанием жизненных проблем и среды, правдивостью, высокой нравственностью и подлинным гуманизмом. Она дает всем литературам мира богатую пищу для размышлений и сравнений.

Влияние Октябрьской социалистической революции испытывают буквально все области общественной жизни — наука, техника и искусство как в самом Советском Союзе, так и в остальных социалистических странах. Она повернула колесо истории и для нашей страны, у кормила правления которой встали вскоре после нашего освобождения Советской Армией в 1945 году рабочий класс и Коммунистическая партия Чехословакии. Идеи Великого Октября постоянно проникают в жизнь всего нашего общества. Одному человеку не под силу увидеть и отразить их влияние во всем его многообразии; поэтому я ограничиваюсь лишь некоторыми краткими замечаниями, касающимися той области, в которой я сам всю жизнь работаю. Надеюсь, что даже в этих беглых заметках нашло отражение величие этих идей.

АНДРЕЙ ПЛАВКА

ЧССР

Отмечавшуюся ровно год назад 60-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции я связываю с воспоминанием о моей поездке в Москву и о первом посещении Мавзолея Ленина. Я живо помню, как смотрел на освещенное неярким светом ламп знакомое ленинское лицо с бородкой, серьезное, но все-таки отмеченное улыбкой удовлетворения. Я думал о том, что здесь лежит Ленин, деятель эпохального значения, основатель первой страны социализма, вождь пролетариата всего мира, гений, указавший человечеству путь к вершинам правды и счастья. У меня навсегда запечатлелся в памяти этот спокойно спящий человек, который словно бы знал, что семена его мысли упали на благодатную почву. Невольно я вспомнил пророческие слова Гоголя о том, что пройдет еще несколько десятилетий, и люди со всего света будут приезжать в Россию не только за льном и салом, но и за мудростью, которой нельзя будет достать на европейских рынках. А вслед за этими пророческими словами Гоголя мне вспомнились ленинские слова, начертанные на портале дворца Шереметьева: «Нужно взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из нее построить социализм. Нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство. Без этого мы жизнь коммунистического общества построить не можем». Эти слова Ленина помогли мне понять всю глубину мысли этого великого тактика и стратега, который уже тогда с гениальной прозорливостью готовил сегодняшний день.

Не так давно в числе многих других писателей я подписывал обращение к писателям стран, поддержавших Заключительный акт совещания в Хельсинки. В этом обращении речь вновь шла о мире. О мире, который Ленин в самом первом документе молодого советского государства назвал самым важным условием существования человечества.

Великая Октябрьская социалистическая революция, возглавленная Лениным, является таким образом постоянным руководством к действию, живым заветом; она означает для меня торжество гуманизма, которого прошлые столетия не знали и не могли знать; я вижу в ней залог справедливого будущего для людей всего мира. Ее великие идеи не теряют своего значения до наших дней. Недаром государственные деятели сегодня говорят о мире как о «единственно возможной альтернативе для человечества».

МАРИО БЕНЕДЕТТИ

УРУГВАЙ

Год назад латиноамериканский культурный центр в Гаване «Каса де лас Америкас», где я сотрудничаю, демонстрировал в библиотеке имени Хосе Антонио Эчеверриа выставку в честь 60-летия Октябрьской революции. В ее экспозиции как бы встретились два потока культурного общения (книги советских авторов, изданные на Кубе, и книги латиноамериканских писателей, изданные в СССР), и это символизировало огромные усилия обеих стран, направленные на то, чтобы как можно лучше узнать друг друга.

Постоянно крепнущие отношения Кубы с Советским Союзом и другими социалистическими странами — отнюдь не чудо и не вдруг возникшее явление. В политике нет чудес, а есть только закономерные процессы. Братские связи между социалистической Кубой и Советским Союзом в конечном счете — результат закономерного процесса взаимного познания, взаимопони-

мания. И возможно, что в этом постепенно, но неуклонно развертывающемся, плодотворном процессе важную роль сыграли многие произведения, которые были представлены тогда на этой знаменательной выставке, и те, которым еще предстоит со временем обогатить библиотеку нашего центра.

Выставка включала произведения не только кубинских авторов, но и писателей всей нашей Латинской Америки, и это весьма знаменательно: Куба для Латинской Америки — своего рода «мост» к социализму и вместе с тем социалистический «мост», позволяющий нашим народам понять и должным образом оценить неизменно присущую СССР черту — его верность идеалу интернациональной солидарности.

Тот факт, что кубинская революция выстояла и продолжает развиваться, имеет для народов Латинской Америки поистине первостепенное значение; мы хорошо понимаем, какую роль здесь сыграли идейная поддержка и солидарность со стороны СССР и других социалистических стран, это предвидели в своих произведениях еще Маркс, Энгельс, Ленин. Правда, среди населения наших стран все еще очень высок процент неграмотных — эти люди не в состоянии читать Маркса, Энгельса и Ленина, зато им понятен язык фактов. И хотя им недоступны ни «Капитал», ни «Происхождение семьи, частной собственности и государства», ни «Государство и революция», тем не менее им близко главное в марксизме-ленинизме — идея интернациональной солидарности.

Постичь действительность этим людям помогает такой, скажем, факт, как поддержка, оказываемая Советским Союзом Кубе; разобраться в сложной реальности помогает им и то, как эта поддержка сказывается (и скажется еще) на судьбах стран Карибского бассейна и всей Латинской Америки.

Взаимное познание — процесс нелегкий. Его осложняет и массированная антикоммунистическая пропаганда, проводимая органами «капиталистического проникновения». «Эксперты» по средствам массовой информации, как правило, действуют довольно умело: лишь заведомые тупицы из их числа прибегают к грубой лжи — самые способные стражи интересов империи капитала работают обычно, пользуясь полуправдой, обрывками истины, которые (если их соединить произвольно, злонамеренно, с целью дезориентировать людей) могут сложиться во вполне правдоподобную картину и поэтому представляют собой особенно опасную ложь, особенно грязную клевету. Порой используется прием создания, так сказать, искусственных «очагов внимания» с целью отвлечь общественное мнение от подлинно важных проблем.

Нынешняя кампания в связи с пресловутыми «нарушениями прав человека» в социалистических странах — типичный пример создания такого искусственного «очага внимания». Не стоит, однако, преувеличивать эффект подобных приемов. И в капиталистических странах есть трезво мыслящие круги, признающие ныне в мировом масштабе очевидность успехов социализма. Не исключено, что со временем они признают, что потерпели поражение и в идеологической борьбе. В сущности, уже теперь они делают ставку не столько на конечную победу капитализма, сколько на отсрочку его гибели. Последняя не так уж и отдаленна, как кое-кому может показаться: ведь каждый день ее отсрочки стоит капитализму многие миллионы долларов. И еще одно: если мы, поборники социализма, трудимся, боремся и творим, думая в первую очередь о грядущих поколениях, капиталисты, наоборот, заняты лишь собственным настоящим и вряд ли задумываются о будущем даже внуков.

Совсем еще недавно нас завлекали рассказами о райских кущах капитализма, противопоставляя их «пренсподней» социализма. Теперь не то. Сейчас капиталистическая пропаганда стремится убедить нас, что социализм страдает примерно теми же болезнями, что и капитализм. И когда Пиночет или Форстер грубо попирают человеческие права, капиталистическая пропаганда стремится отыскать схожие нарушения в социалистическом лагере или — за неимением таковых — просто изобрести.

Следует вновь и вновь показывать, что если капиталистическая система по самой сути своей несправедлива и антигуманна, социалистическая система, напротив, торжествует благодаря своей справедливости и уважению прав человека. Иными словами, несправедливость при социализме могла бы проявиться лишь как исключение, как момент случайный, как отступление от подлинно гуманистической идеологии; что же касается капитализма, то там несправедливость — закон, более того — один из двигателей его развития; между прочим, одной из самых давних форм наступления на права человека является **прибавочная стоимость.**

Случайно ли то, что империализм упорно стремится направить внимание мировой общественности лишь на то, что происходит вне зоны его господства? Нет, на сей раз империализм намеренно предпочел «творить благодеяния» не у себя дома; и только очень наивному человеку пришло бы в голову удивиться этому и спросить, не является ли насилие и дискриминация, от которой постоянно страдают, скажем, в США индейцы, чиканос, пуэрториканцы и прежде всего негры, достаточно старой и вместе с тем столь актуальной формой нарушения прав человека.

В новой Советской Конституции нашло воплощение (в виде особого законоположения) намерение Советского Союза добиваться всеобщего и полного разоружения. Этот факт подтверждает, что советский народ стремится к миру со всеми народами. Война с ее ужасами, разрушениями, ущербом, наносимым культурному развитию, есть та среда (habitat), без которой империализм не может существовать. И когда на земле, благодаря договорам о разору-

жении, конструктивным диалогам, культурным обменам, наступает мирный период, крупными монополиями и наиболее реакционными кругами капиталистических стран овладевает беспокойство — и они тут же отравляют международный климат. Война — их стихия: пока она длится, в гигантских масштабах идет торговля вооружениями, и вот эти круги сеют панику, наращивают (или мнят, что наращивают) прибыли, расширяют (или мнят, что расширяют) зоны влияния. Они лучше чем кто-либо знают, что подобно тому, как война — естественная форма их существования, мир — естественная форма существования социализма.

И это вторая причина (почти столь же важная, как и первая) того, что империалисты так яростно выступают против мира, подрывают его или пытаются, по меньшей мере, отдалить. Они знают, что в мирное время расцветает культура, массы получают образование, народы обращаются к изучению собственной истории; они знают, что ликвидация неграмотности, культура и знание истории открывают народам подлинное лицо империализма и подлинные его устремления.

Нейтронная бомба, предназначенная для истребления **людей** — вещи при этом должны сохраниться в целости,— с чудовищной наглядностью отражает суть породившего ее империализма, с его философией антигуманизма, с его фанатическим культом частной собственности, доведенным до предела: собственность становится враждебной человеку настолько, что вообще уничтожает его...

В связи с этим мне вспоминается виденное во время недавнего пребывания в Советском Союзе. В Ленинграде на Пискаревском кладбище есть прекрасный музей, где собраны скупые фотографии, потрясающие до глубины души своей силой: строго и беспристрастно свидетельствуют они о беспримерном сопротивлении ленинградцев нацистским оккупантам. Советский народ, защищавший подвергшуюся нападению Родину, не щадя сил, не жалея крови, не страшась голода и лишений, отстаивал вместе с тем и высокое человеческое достоинство, дарованное ему социализмом, точнее — достоинство, которое обрел сам народ, встав на путь социализма. В конечном же счете советские люди обороняли все человечество. Ленинградцы жертвовали своими материальными благами, превращая личные вещи — в дрова, предметы комфорта — в баррикады, во имя спасения того единственного, что стоит спасать,— человека... Можно ли убедительнее продемонстрировать противоположность социализма империализму?

Вспомним, что говорит Ленин в предисловии к своей книге «Материализм и эмпириокритицизм»: «Что касается до меня, то я тоже — «ищущий» в философии» [1]. Со временем все трудящиеся, все граждане превращаются в «ищущих». А когда ищущих становится много, когда ищущими становятся массы, целые народы — они обязательно найдут, как нашел Ленин, справедливость, свободу, человеческое достоинство. Именно поэтому революционные массы, штурмовавшие шестьдесят одии год назад Зимний дворец, боролись и за наше лето, именно поэтому зимние снега страны Ленина словно породнились с вечным летом страны Фиделя Кастро.

Порой я спрашивал себя — так было и тогда, когда стоял на Красной площади в очереди к Мавзолею Ленина· «Как же глубока должна быть причина, приведшая этих людей, съехавшихся со всех концов света, в нескончаемую очередь к Ленину? Неужели они пришли сюда лишь затем, чтобы увидеть на несколько минут простое благородство подлинного человеческого лица Ленина?» Мне подумалось, что эта растянувшаяся на столько десятилетий цепочка людей, представителей всех народов мира, должно быть, помогает каждому из них отыскать свое истинное лицо, свое истинное «я». И если бы кто-нибудь при выходе из священного здания Мавзолея спросил меня, что я ощутил, я бы, наверное, сказал, что впервые видел целый народ в одном-единственном лице...

Повсюду на планете торжественно отмечается праздник героического советского народа, сумевшего изменить ход развития истории. Наша книжная выставка внесла свой скромный вклад в это торжество. И вполне естественно то, что выставка эта была организована в социалистической стране — на земле революционной Кубы, где овладение культурой рассматривается как одно из важнейших завоеваний человека.

Более шести десятилетий прошло с тех пор, как совершилось событие, более всего повлиявшее на судьбы двадцатого столетия, а эхо выстрела «Авроры» продолжает звучать, сокрушая барьеры непонимания и невежества, сотрясая оплоты несправедливости, призывая к освобождению народов.

---

[1] В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, стр. 11.

◆

Публицистика

СЕДЬМОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ПЕТЕР ШЮТТ

ВОЗВРАТИВШИСЬ ДОМОЙ...

Дневник писателя

Весной 1977 года, повторив маршрут бессмертного Эгона Эрвина Кишв, я, кажется, вдоль и поперек объездил СССР. Проделав путь длиной более тридцати тысяч километров, я нвписал книгу репортажей «Вперед, в Сибирь!», которая в конце сентября, как раз в канун 60-летия Великой Октябрьской революции, была опубликована дортмундским издательством «Вельткрайс». После выхода книги в свет при поддержке этого издвтельства и прогрессивных общественных организвций, таких как Германская коммунистическая партия, Союз социалистической молодежи, Студенческий союз «Спартак», Культурбунд и Немецкий союз мира,— на этот раз я вдоль и поперек объездил ФРГ и более восьмидесяти раз выступал в книжных магазинах, клубах, кафе, школах, картинных галереях, студенческих аудиториях и театрах, делясь своими впечатлениями от пребывания по эту, а еще больше по ту сторону Урала. Во время встреч и после них, в беседах, нередко затягивавшихся до поздней ночи, я столкнулся с совсем другой Сибирью — Сибирью, существующей в воображении моих соотечественников. Да, я начинаю понимать: подобно тому как советским людям приходится покорять Сибирь, так и нам приходится прокладывать свой БАМ через сознание наших сограждан, чтобы они наконец соприкоснулись с миром идей, определяющих напрвление пути, которым идет современное человечество.

16 сентября, Нейсс

Мечта каждого пролетарского писателя — получить слово здесь, прямо на производстве.

Утром в полностью автоматизированной переплетной я два часа наблюдаю, как с конвейера сходят пять тысяч экземпляров первого издания моей книги, а в обеденный перерыв в столовой пользуюсь возможностью прочесть восьми десяткам рабочих второй смены несколько глав из моей только что напечатанной книги. У меня создается впечатление, что духовная пища большинству из них приходится по вкусу не меньше, чем обед — довольно густой и пахучий гороховый суп. Я чувствую себя так, словно опять вернулся в столовую Волгоградского тракторного завода, где точно так же смешиваются запахи кухни и машинного масла. Представляю себе, что я Евтушенко или Бондарев: то, что для моих коллег — советских писателей — самое обычное, будничное дело, здесь кажется почти чудом и пока что возможно только на таких предприятиях, как «Пламбек». Три сотни человек, участвующих в издании многих прогрессивных книг и единственной независимой от предпринимателя ежедневной газеты ФРГ «Унзере цайт», все до одного принадлежат к моему профсоюзу работников печати и бумажной промышленности; в отличие от многих печатников, занятых у Шпрингера, Бауэра или Грунера и Яра, они имеют все основания заявлять о своем согласии с содержанием издаваемых ими публикаций. Это оазис, опорный пункт будущего посреди культурного ландшафта, пораженного реакцией.

Вопросы, которые задавали мне печатники и наборщики, конкретны, бьют в самую точку и не щадят моего авторского самолюбия. Я уезжаю в Гамбург с запасом новых сил, словно побывал на электростанции, вырабатывающей психическую энергию.

20 сентября, Гамбург

Веселенькое дельце! Читаю во «Франкфуртер альгемайне», что, по мнению некоего эксперта по вопросам безопасности, авторы мюнхенского литературного журнала «Кюрбискерн», к числу которых имею честь принадлежать и я, «лучше натасканы в обращении с «калашниковым», чем с немецким языком». Жаль, я еще никогда не держал в руках ничего подобного, я вообще в жизни не прикасался к оружию, даже на сельском стрелковом празднике... Десять дней назад произошло похищение президента Союза предпринимателей Шлейера, и травля демократов с каждым днем принимает все более тяжелые формы. В данный момент главная мишень этой травли — писатели. Журналист из «Штерна», участвующий в пресс-конференции, на которой издательство «Вельткрайс» представляет мою книгу, говорит: «Тактически вы избрали самый невыгодный момент для издания столь вызывающей книги. «Вперед, в Сибирь!» — да при таком названии любой, даже самый благожелательный редактор пойдет на попятный. Очень может быть, что вашу книгу разругают, но скорее всего ее просто замолчат». Однако интерес к пресс-конференции как будто свидетельствует об обратном — пришло пятнадцать журналистов, причем больше половины из ведущих буржуазных газет, с радио и телевидения...

30 сентября, Куксхафен

Первые отклики на книгу: товарищам из ГКП, которые ее уже прочли, в общем и целом она нравится. А кое-кому она явно не по вкусу. Анонимно мне прислали листовку с интригующим названием «Конец России». Ее составители с помощью цитат из Ветхого завета доказывают, что источник всех зол — князь Гог из земли Магог, который сидит в Мешех, то есть в Москве. И призывают всех верующих изгнать из страны приверженцев Гога и сровнять с землей стены его твердыни. Выходные данные не оставляют сомнений: отпечатано в 1977 году, в год шестидесятилетия Октябрьской революции, в Хейльбронне. Но, пожалуй, еще больше позабавила меня маоистская листовка, присланная из Гейдельберга. Здесь я уже прямо именуюсь «цепным псом кремлевского царя». Ну что ж, с волками жить...— анониму, который по телефону настоятельно советует мне убираться назад в Сибирь, отвечаю: «Я только затем и вернулся, чтоб в следующий раз прихватить вас туда с собой!»

По вечерам проходят читки в Куксхафене, в новом центре ГКП. В 30 км. отсюда вверх по Эльбе, в Басбеке, я родился и вырос. Поэтому прежде чем рассказывать о Советском Союзе, читаю несколько отрывков из своей книги о родном крае, о Нижней Эльбе, пытаюсь объяснить своим слушателям, что любовь к родине и любовь к далекой Сибири не исключают, а дополняют и даже усиливают друг друга. Тот, кто потерял связь со своей собственной средой, едва ли проникнется дружескими чувствами к чужой земле. Всегда нужны точки соприкосновения, а их лучше всего находить в кругу привычных впечатлений. Дискуссия кончается тем, что двое моряков пишут заявление о приеме в партию рабочего класса. Кровавое крещение они приняли еще пять дней назад, когда расклеивали афиши моего выступления,— в семь вечера в центре города их избили шестеро фашиствующих молодчиков. Полиция безучастно наблюдала за инцидентом с близкого расстояния из патрульной машины, а позже «не смогла» сообщить никаких примет для опознания известных всему городу хулиганов. Мои товарищи на собственном опыте испытали, что это значит, когда согласно опросам общественного мнения 24% населения страны считают коммунистов вдохновителями терроризма и похищения Шлейера. Видимо, в Куксхафене этот процент еще выше.

1 октября, Гамбург — Эппендорф

Инициативный комитет квартиросъемщиков, борющихся за спасение жилого квартала, предназначенного домовладельцами на слом по соображениям прибыли, устраивает праздник совместно с нашей эппендорфской группой ГКП. На улицах ветер и град, а внутри, в натопленных помещениях домов, занятых «мятежными» жильцами, по-домашнему уютно. Словно в узбекской чайхане, сидят соседи, друзья и товарищи на полу на матрацах, пьют чай с ромом и обсуждают со мной мои сибирские впечатления. Когда натянутость первых минут проходит, люди начинают задавать самые неожиданные вопросы: как там на самом деле? Досыта ли едят? Верно ли, что мясо и хлеб можно купить только в определенные дни недели? Только ли функционерам разрешается ездить в автомобилях? Правда ли, что только члены партии могут ездить за границу? Есть ли там ватерклозеты или все еще выгребные ямы? Постепенно я начинаю понимать: вопросы эти совсем не провокационные, их задают по-честному, они не что иное, как выражение широко распространенного неведения, результат непрекращающейся шестидесятилетней антисоветской пропаганды. Все новую пищу глубоко укоренившимся предрассудкам дают прежде всего средства массовой информации. То и дело слышишь: «Но я ведь сам читал в «Шпигеле», что в Риге одного человека приговорили к десяти годам принудительных работ за какое-то невинное высказывание...»

Как же важен тут добрый совет и четкий ответ!

Здесь, во время дискуссии в кругу эппендорфских соседей, где речь должна идти,

в сущности, вовсе не о Сибири, а о наших собственных коммунальных проблемах, мне становится ясно, насколько все-таки одно связано с другим. Пока многие из наших сограждан верят, что в странах социализма на повестке дня стоит голод, очереди, скука, военная муштра и принудительный труд, они едва ли пожелают серьезно задуматься вместе с нами о принципиальных общественных переменах, о пути к социализму у себя в стране.

Как бы то ни было, в последнем раунде эппендорфской дискуссии побеждает любознательность. Я вижу, как наш аптекарь, соседка-цветочница и еще кое-кто из уважаемых граждан подходят к лотку и покупают мою книгу. Некоторые даже просят у меня автограф...

4 октября, Бад Ольдесло

Группа молодых социалистов из Ольдесло пригласила меня сделать доклад о Сибири. Эти боевые ребята хорошо разбираются в политическом и стратегическом значении Советского Союза; и все же, как показала беседа, их представлениям явно не хватает конкретности и личного контакта со страной Ленина; советская власть для них по сей день остается несколько безликой, в глубине души она кажется им экзотичной и загадочной. Я осторожно пытаюсь преодолеть чересчур идеалистические, даже сусальные представления молодых людей о том, что в СССР все, в сущности, давно достигнуто. Пробую разъяснить слушателям, что истинный социализм тем-то и замечателен, что весь он в движении, в бурном развитии, в пути, что в нем нет места застою, неподвижности, самоудовлетворенности; напротив, всюду кипит борьба, идет поиск новых решений, новых форм сотрудничества, новых методов солидарности.

По дороге на вокзал моя попутчица, семнадцатилетняя девушка, дочь крестьянина одной из близлежащих деревень, рассказывает, какой привкус имеет для нее с детства слово «Сибирь». Стоило ей набедокурить, как дед грозил: «Смотри у меня! Вот придут русские и заберут тебя в Сибирь!..»

7 октября, Любек

Любек — это несравненный город! Церковь св. Марии, ратуша, госпиталь св. Духа — ни в одном немецком городе так не ощущаешь дыхание истории... Я выступаю в предместье, в прокуренном и шумном рабочем кафе. После меня просит слово товарищ лет семидесяти. Волнуясь, он рассказывает, как в 1931 году, после трех лет безработицы, поехал в СССР строительным рабочим. Пять лет под Иркутском в тяжелых условиях помогал создавать новую индустрию. Когда он в год Олимпиады [1] вернулся в фашистскую Германию, нацисты пытались уговорить его выступить с антисоветскими заявлениями. Убеждения не позволили ему пойти на это, но в глубине души он сомневался, сумеет ли Советский Союз когда-либо догнать капиталистические страны по темпам развития, сравняться с их техническими достижениями. Такими резкими, непреодолимыми казались в ту пору различия в уровне производства. Когда затем фашистские войска вторглись на территорию СССР, он чуть ли не полностью утратил веру в жизненную силу социализма. В 1942 году, во время отпуска с Западного фронта, он попал на выставку, организованную нацистами к 25-летию Октябрьской революции в крупнейшем зале города, и прямо остолбенел: выставка называлась «Сибирь. 25 лет большевизма, 25 лет рабства». Старый товарищ не может скрыть слез, когда в конце своей речи, запинаясь, признается: «А вот сейчас на старости лет слышу, что они там в Сибири работают на самой современной технике, что там строится такая железная дорога, о какой сорок лет назад мы могли только мечтать. Значит, я жил не зря, сделал правильную ставку в жизни».

10 октября, Гамбург

Почти каждый день приходят письма, в них — похвалы, критика, несогласие, одобрение.

Больше всего меня радует почта из Советского Союза: если уж ты там хоть раз побывал, люди не забудут о тебе, будут посылать письма, поздравления по сотням разных поводов, открытки, посылки. Моя почтальонша понемногу начинает разбираться в кириллице: вот как, значит, в СССР печатают коммунистов. Конечно, случаются и недоразумения. Галя, о которой я восторженно отозвался в своей книге, чувствует себя почти обиженной, а коллеги из Алма-Аты, из редакции радиопередач для граждан СССР немецкой национальности, сочли за скрытый упрек мое упоминание об их непунктуальности, хотя я-то ставил им ее как раз в заслугу. Некоторым адресатам пришлось разъяснять, что книга моя написана для граждан ФРГ, с учетом их представлений, взглядов и точек зрения...

Письмо, которое сегодня пришло из Гуммерсбаха, приводит меня в бешенство: учитель Губертус Вильком, который вот уже двадцать лет преподает в гимназии, сообщает, что получил взыскание по службе за то, что на уроке литературы в одиннадцатом классе прочел одно из моих стихотворений [2].

[1] Олимпийские игры 1936 года проходили в Берлине. *(Здесь и далее прим. перев.).*

[2] Стихотворения П. Шютта публиковались в «ИЛ» № 9, 1977 г.

Одиннадцать его учеников (из двадцати) донесли на него в дирекцию. ХДС требует его увольнения со службы. Так правящий класс у нас в стране пытается «рассчитаться» с идеями Красного Октября. И теперешняя истерия в связи с террористами подогревается столь рьяно еще и потому, что таким — самым простым и «действенным» — способом хотят дискредитировать убеждающую силу идей Октября.

16 октября, Басбек

Отец нынче празднует семидесятипятилетие, и по случаю семейного торжества я на несколько часов заезжаю домой. Мое появление чуть не вызвало семейный скандал; чтобы избежать его, потребовалась вся моя выдержка. Отец не может мне простить волгоградскую главу книги и особенно одну фразу, где я пишу, что мой дядя Вернер погиб, сражаясь за неправое дело, на неправой стороне. По словам отца, я нанес оскорбление всей семье, я — единственный, кто из нас неправ, я — позор семьи, я доставляю родителям только огорчения.

Исключительно ради сохранения семейного мира я не возражаю, подавляю свою злость.

Обедаю в кругу семьи с дядьями, тетками и прочей родней в деревенском трактире. Подают жаркое из оленины. Праздничные яства застревают у меня в горле. По радио передают спецвыпуск новостей: «Угон самолета Люфтганзы с восемьюдесятью пассажирами на борту. Машину угнали те же лица, что похитили Шлейера!» Посетители в трактире возмущены. Потягивая у стойки пиво, местные парни орут, что всех, мол, надо ставить к стенке. Официант со значением говорит: «Прямо как в войну!» Родственники за столом угрюмо и недоверчиво поглядывают на меня как на тайного вдохновителя всей этой акции. Только в интересах семейного спокойствия они отказываются от атаки по всему фронту.

Представляю, что было бы, если б сейчас вошел деревенский полицейский и захотел меня арестовать. Парни у стойки, конечно, пришли бы в восторг и выпили за мой арест. Ну, а родители, братья, сестры, родня — интересно, хоть аппетит-то пропал бы у них или нет?

17 октября, Годделау

Годделау — Басбек моего единомышленника Георга Бюхнера,— кажется, за полтора столетия стал еще более отсталым и захолустным. По случаю 164-й годовщины со дня рождения великого немецкого поэта — его называют у нас пророком и предтечей идей Октября — Демократический Культурбунд призвал провести перед домом, где родился Георг Бюхнер, митинг, чтобы потребовать, наконец, создания мемориала Бюхнера. Возмутительный факт — документальное наследие писателя-революционера до сих пор пылится в гараже частного коллекционера.

После манифестации мы проходим по деревне под бюхнеровским лозунгом «Мир хижинам! Война дворцам!» [1]. Окна годделауских хижин затемнены; хорошенько спрятавшись за шторами, жители, точно привидения, глазеют на наш отряд. Со времен Бюхнера здесь мало что изменилось. Злобные взгляды, словно буравящие наши затылки, в свое время выгнали автора «Гессенского сельского вестника» из родной гессенской деревушки.

И все же меня охватывает чувство гордости и силы. Люди, которые так бесстрашно шагают в рядах демонстрантов по чужой, враждебной деревне,— это революционеры нашей страны, наших дней. Тут и «красные деды» нашей пролетарско-революционной литературы — Карл Вюстхоф, Пелле Игель и Карл Фрайтаг; мой собрат по перу — писатель Эрасмус Шёфер; пропагандист и декламатор поэзии Маяковского Эрих Шаффнер; смельчаки из фракции ГКП соседнего Мёрфельдена, мои товарищи — рабочие близлежащих предприятий, крупнейших в стране заводов «Хёхст», «Опель-Рюссельсгейм», «Мерк-Дармштадт», аэропорта «Франкфурт-на-Майне» и Бербель Йоханссн, пасторша-коммунистка, которая, подобно Жанне д'Арк, отважно, не щадя себя, борется против окружающих сил клерикального мрака. Это моя партия, она невелика, но ее не сломить, тысячи раз пытались замолчать даже факт ее существования, уничтожить, но она несокрушима.

18 октября, Ольденбург

По дороге штудирую только что опубликованную ХДС «Документацию о террористах». Среди более чем семидесяти имен ученых, деятелей искусства, писателей, теологов и публицистов, обвиняемых в поддержке или «симпатиях» к терроризму, стоит — слава богу! — и мое имя.

В Ольденбурге Культурбунд обсуждает правомерность снятия властями из репертуара Государственного театра пьесы Альбера Камю «Праведные». Официальная мотивировка: пьеса якобы проповедует анархизм, идею насильственного переворота, и

[1] Прокламация Бюхнера «Гессенский сельский вестник» (1834), обращенная к немецким крестьянам и ремесленникам, начиналась призывом «Мир хижинам! Война дворцам!».

играть ее после похищения Шлейера недопустимо. В действительности же драма Камю посвящена русской революции 1905 года: интеллигенты обсуждают причины поражения и ставят вопросы, ответы на которые в конечном счете даст Октябрьская революция 1917 года. Вновь обнажается подоплека связи между спекулятивной возней вокруг терроризма и шестидесятилетием Великого Октября. Кое-кто стремится любыми средствами воспрепятствовать тому, чтобы граждане нашей страны сделали правильные выводы из поражения одиночек-террористов и анархистов и примкнули к организованной борьбе рабочего движения.

Во время дискуссии один из участников — похоже, он честный, ищущий парень — спрашивает меня о различии между Лениным и Баадером. Баадер, говорю я, для меня не более чем карикатура на Ленина, мишень из тира, изображающая «революционера», как его представляет себе немецкий обыватель, продукт того класса, который держится у власти только благодеря обману, хитрости и насилию.

— Это верно,— говорит молодой человек,— но все-таки вы должны признать, что акции, подобные похищению Шлейера, во время Октябрьской революции случались каждый день.

— Да,— парирую я,— но инициатором была противная сторона, контрреволюция. И во времена Октябрьской революции ультралевые путаники, суперрадикалы и анархисты были пособниками реакции.

Парень недоверчиво качает головой. Пяти минут контраргументации недостаточно, чтобы поколебать стену предрассудков и дезинформации, воздвигнутую учебниками и средствами массовой информации.

21 октября, Гамбург

Ночным поездом возвращаюсь в Гамбург. Проводник спального вагона сегодня особенно словоохотлив. Каждому новому пассажиру он рад сообщить, что Шлейера нашли убитым и что теперь антитеррористические отряды не станут церемониться с террористами. К этому «блюду» он продает пиво: по 2 марки 60 пфеннигов за банку. Нынче вечером его бизнес процветает; рост потребления пива способствует усилению правого радикализма. «Каждые полчаса надо ставить кого-нибудь к стенке!» — таково единодушное мнение тех, кто, возбужденно разглагольствуя, шатается по вагонам с пивными жестянками в руках. Скажи я им, что я коммунист, долго думать они не станут — выкинут из поезда.

В эту ночь в тюрьме Штутгарт-Штамгейм «покончили жизнь самоубийством» трое осужденных анархистов!

В четыре утра поезд прибывает в Гамбург. Вокзал ярко освещен прожекторами. Полицейские длинными цепями с автоматами наизготовку стоят на платформе. Чтобы выбраться на улицу, мне приходится, по сути дела, трижды дать себя обыскать. Моя одежда, бумаги, багаж — все просматривается. Именно так аполитичный гражданин ФРГ представляет себе Сибирь, такоао его представление о буднях реального социализма. Когда я весной был по ту сторону Урала, я там не видал ни одного вооруженного милиционера или солдата, по крайней мере, они не появлялись, чтобы публично продемонстрировать присутствие государственной власти. И никто меня ни разу не проверял, даже билета не спрашивали.

25 октября, Кёпьн

Перед читкой захожу в Кёльнский собор. За алтарем какой-то пожилой мужчина нарочно толкает меня и шипит: «Всех вас пора перевешать!» Ему не нравится значок, прикрепленный к воротнику моего пальто: над голубем мира яркая надпись «Мир и разоружение». Очевидно, поэтому он считает меня террористом.

Во второй половине дня, после смены, выступаю перед членами и гостями группы ГКП предприятия «Клёкнер-Гумбольдт-Дойц» — представителями завода, который уже поставил на строительство БАМа более восьми тысяч самосвалов «магирус-дейтц». Слушатели — половина из них члены ГКП, половина беспартийные или социал-демократы — аплодируют, когда я передаю им одобрительные отзывы сибирских коллег о технических параметрах, маневренности и надежности этих автомашин. Некоторое время спустя они неуверенно и смущенно посмеиваются, когда я сообщаю им мнения сибирских бригадиров: немецкие рабочие на производстве — мастера мирового класса, только вот непонятно, почему уровень их сознания так отстает от мирового прогресса, почему они ничего почти не знают о Марксе, Энгельсе и Ленине. Этот вопрос из Зауралья вызывает бурную, горячую и временами противоречивую дискуссию, которая не заканчивается даже в столовой.

Существенной причиной слабо развитого самосознания многие рабочие считают незрелое отношение к собственному труду. Девять десятых строителей «магирусов» не задумываются над тем, что происходит с продуктом их труда, куда он экспортируется, какую цену требует за него предприниматель. До сих пор на предприятии не заходил разговор о том, что немало рабочих обязаны стабильностью своих рабочих мест крупным заказам из Советского Союза. Руководство предприятия старательно скрывает

подобную информацию. И это понятно: а что, если рабочие на заводе задумаются над тем, куда отправляют их продукцию? Могут преодолеть и свои предрассудки — и не только относительно Сибири...

26 октября, Саарбрюккен

В центре ГКП у меня завязывается беседа с одним пожилым человеком — членом нашей партии, который только что потерял место на сталелитейном заводе в Нёйнкирхене и считает, что шансы когда-нибудь найти работу у него невелики. В свои 52 года он, по мнению стальных воротил, годится только на свалку.

— А ты что делаешь? — спрашивает он меня.— Вон оно что, писатель. А что пишешь? Стихи... Ну, в них я не больно-то разбираюсь. В Советском Союзе бывал?

— Да, да,— говорю.

— Тогда я дам тебе хороший совет. Я тут прочел один путевой дневник, кто написал, не помню. Книжка называется «Вперед, в Сибирь!» или что-то в этом роде. Вот как тебе надо писать!

Я крепко обнимаю его — он первый, кто рекомендовал мне меня самого.

2 ноября, Бипефельд

Дискуссия в кооперативном книжном магазине. В ней участвует инженер, который по заданию фирмы не раз выезжал в разные места Советского Союза на монтажные работы. Он не скрывает своих симпатий к стране и людям, хотя многое не приемлет...

— Я сам видел: на работе играют в карты, у нас бы любой за это вылетел; бюллетенить и опаздывать считается хорошим тоном; совещания продолжаются часами, каждый желает высказаться — такими методами современную экономику не построишь... Если СССР хочет обогнать Запад экономически, он должен применять другие методы труда, а то все увязнет в сибирском болоте!

Пытаюсь переубедить инженера. И даже со своей позиции — в конечном счете с позиции предпринимателя — он вынужден признать, что трудящиеся в Советском Союзе не сталкиваются с эксплуатацией, с социальной несправедливостью, могут участвовать в управлении и в принятии решений на всех уровнях. А когда я рассказываю о планировании и методах труда на БАМе, тут уж и эксперту приходится согласиться, что подобный проект на свободном Западе едва ли мыслим.

— Да, здесь вы, пожалуй, правы. У нас времена пионеров миновали. Сибирь окупится лишь через годы, точнее, через десятилетия, у нас на такое ни один бизнесмен не пойдет. Все они заинтересованы только в скорейшем получении прибыли.

После дискуссии все вместе сидим в кабачке. Молодежь представляет меня хозяйке:

— Он был в Сибири!

Хозяйка, солидная, пожилая особа, с сомнением глядит на меня:

— Быть не может. Чересчур он молод, чтоб побывать в плену!

4 ноября, Гёттинген

Вон их сколько, моих «близких врагов», маоистов. Их оратор именует меня «кремлевским любимчиком».

— Почему? — спрашиваю.

— На книжной ярмарке, как писала «Унзере цайт», вы демонстративно вручили свою книгу кремлевскому наместнику Фалину.

Все-то они знают лучше: нерусским народностям потому дали волю, чтобы сподручнее было натравить их на КНР; БАМ — символ военных приготовлений против Красного Китая и крупнейшая рабская стройка со времен Суэцкого канала.

— Я встречал там только рабочих-добровольцев,— заметил я. Мой оппонент возражает:

— Тут-то и видно, насколько глубоко идеология социал-империализма духовно поработила народ.

Когда я упоминаю о раскрепощении женщин, маоистка в синей куртке приходит в ярость. Истинный путь к эмансипации, по ее мнению, известен только в КНР, потому что там постепенно стираются различия между полами, например, с помощью одинаковой одежды. Зато в Советском Союзе различия полов сознательно акцентируются, а в последнее время даже культивируется буржуазная мания женственности. Интересно, чем она это докажет?

— Я читала, что в Москве устраивают теперь больше показов мод, чем в Париже.

И в Москве,— добавляю я,— гораздо больше красивых, полных достоинства, свободных, равноправных, уверенных в своем деле женщин.

Для гёттингенских маоистов этого достаточно, они прерывают диспут и разочарованные покидают зал. Раскрепощение женщины для меня лично — одна из наиболее волнующих страниц истории советской революции; а диспут продолжается еще долго, и страсти вновь разгораются, когда два иранских студента рассказывают, как живут

женщины у них на родине — рабыни под чадрой, лишенные всяческих прав,— и это всего в тридцати — пятидесяти километрах от Советского Таджикистана.

Мне задают все новые вопросы о равноправии в СССР. Судя по моим впечатлениям, мужчины в значительно меньшей степени определяют облик страны и играют меньшую роль в управлении ею, чем у нас это себе представляют. Для нас женщина, участвующая в дискуссиях, в производстве, в культуре, в политике,— подчас все еще существо чуть ли не экзотическое, порой она просто эффектный декор для мужчин. В Советском же Союзе женщины действительно вездесущи и оказывают несравненно большее влияние на общественную и частную жизнь, на идеологию и культуру, на духовный климат в стране. Даже моя узкая сфера деятельности — средства массовой информации и культурная индустрия в ФРГ — по-прежнему вотчина мужчин; в СССР же на теле- и радиостанциях, в редакциях и учреждениях я постоянно находился в окружении женщин.

7 ноября, Гамбург

Сегодня — шестидесятая годовщина Великого Октября, здесь пока обычный рабочий день. У себя на балконе, высоко над рыночной площадью Эппендорфа, я поднимаю красный флаг, он невольно притягивает взгляды. Когда я захожу за булочками в кафе «Линдтнер», продавщица спрашивает:

— Можно задать вам один вопрос? Что у вас сегодня? Наверно, отмечаете семейный праздник!

— Да,— ответил я,— вы правы. Мы, коммунисты, празднуем сегодня свой семейный праздник, так сказать, день рождения...

Позже звонит телефон. «Вы сибирский Шютт?» — спрашивает неизвестный, а потом интересуется, разрешается ли ни с того ни с сего вывешивать на окнах красные флаги. Другой аноним еще нагнее: если я вывешиваю свой флаг к коммунистическому юбилею, то он, мол, поднимет в день рождения Гитлера флаг со свастикой.

После обеда, предупредив о своем приходе телефонным звонком, появляются странные визитеры: трое мужчин, одетые с небрежной элегантностью, отнюдь не похожие на друзей Октябрьской революции. На гротескном — полуавстрийском-полуамериканском — жаргоне они рекомендуются как представители отдела рекламы концерна «Магги» и предлагают мне нечто такое, чего мне в жизни никто не предлагал. А именно — состряпать рекламу для семи сортов супа, выпускаемых на рынок фирмой «Магги». Требования фирмы к рекламе: краткость, рифмованность и на всякий случай нижненемецкий диалект.

— Почему вы обращаетесь именно ко мне? — интересуюсь я.— Я ведь как-никак член ГКП!

— Мы знаем. Читали ваши призывы на нижненемецком диалекте в местной газете ГКП «Эппендорф хойте унд морген». Реклама должна быть в таком же стиле.

На секунду мелькает подозрение, что эти господа разыгрывают меня. Но и я вполне мог бы разыграть их. При их языковых познаниях я, наверно, сумел бы продать им узбекский или таджикский вместо нижненемецкого.

Господа не сдаются, говорят о соответствующем гонораре, а когда я достаю только что полученную из Москвы бутылку водки, они, не задумываясь, пьют со мной за шестидесятилетие Великого Октября.

Мы многого достигли на пути мирного сосуществования и сотрудничества. И все же интуиция говорит мне, что сейчас я дошел до некой границы, которую не следует преступать. Совесть литератора и гражданина подсказывает: нет!

Нет, мы не сторгуемся. Битый час проходит в «бесплодных усилиях любви», и, не зная, плакать или смеяться, я, наконец, выпроваживаю всех троих.

Вечером иду в советское генеральное консульство на прием в честь шестидесятилетия Октябрьской революции. Над крышей нобелевского отеля «Фир яресцайтен» развеваются три алых флага с серпом и молотом. И весь Гамбург — представители экономики и банков, представители СДПГ и СвДП, ХДС, но и представители моей партии — пришел, чтобы отдать дань уважения победоносным большевикам.

12 ноября, Регенсбург

На улице первый зимний снег, последний я видел на пасху в Сибири. Только там он был чище, прямо какой-то не от мира сего.

В Нюрнберге к нам в купе садится этакий рубаха-парень, кустарь из Верхней Баварии. Он развлекает все купе бодрыми заявлениями:

— Одно я хотел сказать: надо бы Гитлеру на месячишко вернуться, он бы тут прибрал. В наших местах тоже живет один такой, актер он, поэт, даже по телевизору его показывали. У него в доме террористы и коммунисты днюют и ночуют.

Он имеет в виду драматурга Франца Ксавера Крёца, моего товарища по партии.

В Регенсбурге я сперва осматриваю город — собор, церковь св. Эммерана, башни. В маленькой барочной церквушке стоит очередь в исповедальню: красивые молодые девушки, пожилые мужчины, простые рабочие лица. Господи, да в чем же им исповедоваться священнику? В гордыне? Ах, нашим рабочим не мешало бы иметь чуть по-

больше гордыни, той гордости, испытывать которую они имеют все основания, того самосознания, которое так свойственно их советским коллегам.

На читке весело, и шума гораздо больше, чем на севере. Те места книги, которые там вызывали едва заметную ухмылку, здесь встречаются громким смехом. То и дело дребезжат пивные стаканы и официант кричит в зал: «Кому пиво? Суп из бычьих хвостов? Нюрнбергские колбаски?» — «Мне,— кричат все наперебой,— Карлу вон там в углу, на весь стол!»

Шум обсуждению не мешает. Старый товарищ, 1901 года рождения, грубо вылепленный, угловатый, как бы похожий на памятник рабочему, подводит итог:

— В 1917-м, когда в России началась революция, я думал только о том, что война скоро кончится, я тогда был на Западном фронте, но понимал-то я маловато. В 1927-м, на десятую годовщину, я сидел без работы. Я еще был беспартийный, но послушал отчет рабочей делегации, которая больше месяца ездила по СССР. Через полгода вступил в партию. В 1937-м я сидел в Дахау, там наша партгруппа даже устроила нелегально маленький праздник в честь двадцатилетия революции, ночью, в больничном бараке, куда эсэсовцы ходить не отваживались. И мы тихонько спели свою любимую песню «Все выше, и выше, и выше...», песню красных летчиков. В 1947-м тут в ратуше был официальный праздник, совместный КПГ и СДПГ. Советский офицер в форме Красной Армии произнес торжественную речь. Десять лет спустя партию опять запретили, но тем не менее мы в ячейке отмечали юбилей Октября, официально наше вновь организованное Общество рабочего самообразования объявило вечер декламации, начав его русскими стихами: зал был полон, половина, конечно, шпики, но ничего не случилось. В 1967-м я сам ездил в Москву с делегацией ГКП, нас приглашали на пятидесятилетие революции — до сих пор вспоминаю. А нынче, в день шестидесятилетия, я вам всем говорю: социализм победит!

Бурные аплодисменты товарищей из ГКП, к которым присоединяются некоторые из молодых социалистов, а потом весь зал поет «Интернационал».

14 ноября, Фрейбург

В католическом Фрейбурге, под сенью собора, многие вопросы молодежи имеют специфическую окраску. «Не является ли социализм в Советском Союзе неким подобием новой церкви, с собственной литургией, чем-то вроде новой веры? Не есть ли марксизм новая религиозная доктрина, государственная религия?» Подобную точку зрения трудно опровергнуть. Похоже, что приравнивание коммунизма к церковному учению, столь рьяно практикуемое либеоальными антикоммунистами, особенно способствовало тому, что понятное отвращение к клерикальному трепу механически переносится на реальный социализм. Впрочем, мне, например, те элементы коммунистического общежития в нашем быту, которые стороннему наблюдателю могут показаться религиозными, ничуть не мешают, наоборот, они облегчают мне пребывание дома.

— Зачем вся эта шумиха, которую СССР устраивает вокруг шестидесятилетия Октябрьской революции, зачем вся эта масса юбилеев? — спрашивает один из учащихся.

Отвечаю:

— Затем, что рабочие, которые трудятся и несмотря на все трудности и тяготы добиваются успехов,— такие рабочие повсюду любят праздновать. Так всегда бывает, когда построен новый дом, спущен на воду корабль, проведено удачное пробное бурение.

— А разве все это не для того, чтобы отвлечь людей? — вставляет кто-то.

— От чего? — спрашиваю я.

— От социализма,— следует несколько беспомощный ответ,— или от коммунизма.

Товарищи смеются, но вообще-то невежество весьма любознательных молодых людей просто плачевно. Когда я некоторое время спустя рассказываю о том, как в СССР чтут Тельмана, о множестве памятников, улиц, поселков, носящих имя нашего Тедди, кто-то из зала спрашивает, кем был Тельман.

В школе ему никто не рассказал, кто такой был Эрнст Тельман. А в СССР имя Тельмана знает любой школьник.

16 ноября, Мюнстер

Стандартные вопросы, конечно, повторяются почти во всех дискуссиях. От мнимых преследований евреев — это, безусловно, венец антисоветизма, который у нас тут не устают надраивать,— до многотысячных вариаций вопроса о свободе, о Солженицыне, психиатрических лечебницах, лагерях и диссидентах и до вечно актуального вопроса о том, вправду ли люди там едят досыта.

Именно рабочие вновь и вновь интересуются уровнем жизни. Когда я рассказываю о том, что в СССР население получает бесплатно, даром, за счет социальных фондов государства или предприятий, слушатели зачастую выражают недоверчивое удивление, а порой и вообще не хотят верить. Об этой стороне советской действительности здесь практически ничего не известно.

Сегодня в Мюнстере у меня самые трудные оппоненты — люди, утверждающие, что они везде бывали. Да-да, они же своими глазами видели, как в Иркутске со стен повсюду отваливается штукатурка, как вода в Волге усеяна нефтяными пятнами, как милиция везет пьяного «прямехонько в лагерь». И с людьми они говорили, те им будто бы сами сказали, что купить можно только партийную литературу, что в школе заставляют заучивать наизусть только Маркса, Энгельса и Ленина и что зимой нет брикетов для отопления

Разумеется, физически все эти господа там бывали, только вот мозги оставили дома, меж страниц «Шпигеля». Однако из года в год 170 тысяч западногерманских туристов выезжают в СССР, а поскольку там нет «Нюрнбергских воронок» [1] и установок по промывке мозгов, в результате очень многие возвращаются убежденными коммунистами.

Многие граждане, подобно моим мюнстерским собеседникам, едут на восток, напичканные предрассудками, и главная их цель и по эту и по ту сторону Урала — получить подтверждение заранее подобранному комплекту предвзятых мнений и дезинформации. И если где-нибудь между Брестом и Владивостоком не заснет на скамейке пьяница, если где-нибудь угрюмый человек с лицом функционера не промчится мимо на «Волге», если в самом деле ни разу не пришлось ожидать места в гостинице,— значит, дело нечисто. Там дотошно регистрируется любая крошка на скатерти, всякое неприветливое слово. С подобными людьми действительно ничего не поделаешь.

21 ноября, Эмсдеттен

В заключение моего турне прибываю в один из самых мрачных, самых реакционных уголков отечества, в архикатолический Мюнстерланд. И здесь, назло всем неурядицам, заново осознаю, какое это счастье — повсюду в стране находить друзей, товарищей, единомышленников, с которыми мы делаем общее дело. В моей записной книжке записаны адреса из любого мало-мальски крупного города, из любой местности — имена друзей, которым я могу позвонить в любое время дня и ночи и которые всегда рады разделить со мной ужин и пригласить переночевать. Эта сеть дружеских связей, раскинутая по всей стране, обогащает меня, она придаст мне силы даже в худшие времена, если они наступят.

В Высшей профшколе инженеров в Бургштейнфурте я выступаю перед небольшой аудиторией. Правые студенческие группировки заранее замазали все плакаты лозунгами типа «Хвйль Москва!» или «Сибирь: 20 млн. ссыльных (Солженицын!)».

Вопрос о равноправии, который мне задан и тут, в этих стенах звучит почти непристойно: из 1600 студентов — только 16 женщин.

Последняя читка в Эмсдеттене, еще на двадцать километров ближе к голландской границе. В городке всего около 10 000 жителей, но тем не менее здешние товарищи закрепили за собой прочные позиции в западногерманском рабочем движении. В призыве имени Макса Реймана, объявленном нашей партией для привлечения новых членов, ячейка Эмсдеттена занимает к концу года первое место.

После читки я пожимаю руку девятнадцати товарищам и вручаю каждому из них книгу с надписью: «Сердечные поздравления по случаю вступления в новую жизнь, вступления в ГКП». Все они стали членами нашей партии за последние месяцы. Трем самым юным только что исполнилось шестнадцать, самой старшей двадцать три года.

У молодых тысячи проблем, мелких и принципиальных, теоретических и бытовых. Я уже сижу в ночном поезде, а мне все слышатся их вопросы. Чтобы ответить на них, не хватит целой жизни.

---

[1] Ироническое название немецкой системы (XVII в.) механического заучивания, «долбежки».

Перевод с немецкого М. ФЕДОРОВА

◆

Публицистика

СЕДЬМОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

ЭЛТОН ФЭКС

МОИ ВСТРЕЧИ С РЕСПУБЛИКАМИ СОВЕТСКОЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ

Предлагаемые вниманию читателей строки передают в сжатой форме мои впечатления о жизни советских республик Средней Азии, какими я их увидел и узнал. В ряде случаев я дополнял эти впечатления своими комментариями. В их основе лежит опыт человека с темной кожей, живущего в американском обществе, я упоминаю об этом потому, что многие из повседневных столкновений с действительностью, связанных с цветом моей кожи, были жестокими и тяжелыми.

Борьба негритянского народа и всех других «цветных» американцев за человеческое достоинство и равенство на протяжении нашей истории была и продолжает до сего дня оставаться трудной и напряженной, однако наше стремление преодолеть невежество, страх и предрассудки сломить нельзя.

Для любого народа, ставящего перед собой такие цели, важно, чтобы правда о его положении и достигнутом им прогрессе не осталась только его собственным достоянием, ее должны узнать и все другие люди.

В этом смысле мой второй визит в Среднюю Азию не только открывал передо мной обещающие перспективы, но и возлагал определенную ответственность. Вот почему, получив возможность многое узнать о стремлении народов советской Средней Азии строить для себя лучшую жизнь в условиях социалистической системы, я считаю своей обязанностью — это долг всех честных художников и ученых — поделиться обретенными познаниями. Если уж считаешь себя гуманистом — не желай для себя большего, чем для других.

Хочу, чтобы мои соотечественники ближе познакомились с жизнью других народов. Можно ли вести речь о сохранении мира на земле—а я являюсь самым горячим приверженцем этой идеи — без серьезной осведомленности и взаимного уважения людей доброй воли?

Поэтому я обращаюсь к народам, чьи свершения вдохновляют меня не только на этот очерк, но и на книгу, над которой я сейчас работаю, с пожеланием: да будут успешны стремления ваши! Пусть обогатят они опыт людей, которые узнают о вашей жизни.

Летом 1977 года на Международной встрече писателей в защиту мира, которая состоялась в Софии, я не мечтал о том, чтобы год спустя в третий раз попасть в Советский Союз. Мне и в голову не приходило, что издательство «Прогресс» может предложить мне поездку в советские республики Средней Азии, чтобы ближе познакомиться с их новой жизнью, обсудить интересующие меня проблемы в откровенных беседах с самыми разными людьми, живущими там.

Именно такое приглашение я получил и с радостью принял.

Многое увидел, много узнал.

Что не менее существенно, подтвердились впечатления предыдущей поездки — я получил новые свидетельства того, что республики Средней Азии уверенно идут вперед. Разумеется, им предстоит преодолеть еще немало трудностей — я вовсе не закрываю на это глаза. Но факт неуклонного продвижения вперед, безусловно, перекрывает сложности, подчас это продвижение тормозящие.

У меня, однако, появилась своя проблема — как лучше всего рассказать о том, что я понял за несколько недель общения с этим впечатляющим краем. Прогресс в республиках Средней Азии оказался столь феноменальным, что я с трудом пред-

ставлял себе, как можно рассказать о нем, не показавшись при этом «обольщенным», «распропагандированным» и — как следствие — утратившим способность к объективному анализу. Между тем, не определяется ли в значительной мере успех критиков и писателей именно этим даром — сохранять одновременно субъективность и объективность? Сложность, по-видимому, как раз и заключается в способности сочетать то и другое.

Рассуждая таким образом, я и пришел к мысли: а почему бы мне не познакомить читателя с тем, что говорят о себе и о жизни своей страны сами встреченные мною люди? Кто дал мне право фильтровать их слова прежде, чем представлять их на суд читателей? Если эти люди в столь короткий срок сумели пройти такой огромный путь, они наверняка заслужили право говорить от своего имени. Решение это и определяет характер моих записок, в которых читатель, разумеется, найдет также и мои собственные замечания и комментарии.

За свою долгую жизнь я, американец африканского происхождения, «из первых рук» познал, что такое боль парии, мучительная скованность разума, духа и тела; я понимаю поэтому, сколь безграничной может быть гордость людей, которые, испытав эту боль, наконец избавились от нее и заявили всему миру: «Теперь мы полноценные, достойные уважения люди, и мы полны решимости оставаться свободными навсегда!»

— Пойдем, Элтон, я покажу тебе край настоящей пустыни.

Наш «хозяин» — Сейтнияз Атаев, пятидесятилетний общительный туркмен. Обаяние и дружеский тон этого человека были столь убедительными, что мы сразу же последовали за ним к ожидавшей нас машине.

— После землетрясения пришлось перестраивать весь город,— сказал Сеит (так мы решили называть его), указывая на окружающие здания.

Я видел, как трудно ему вспоминать о гигантской катастрофе, которая сровняла с землей его родной Ашхабад:

— Это был настоящий конец света. Погибло все. Я потерял семью. Сам остался в живых только потому, что задержался на работе. Землетрясение началось поздно ночью; здание, в котором я находился, уцелело, хотя все вокруг сровнялось с землей.— С неуверенного английского Сеит перешел на беглый русский; страшный смысл его слов ничуть не смягчал перевод на английский (нам помогал представитель издательства «Прогресс» Анатолий Орлов). В знак уважения к горю человека, потерявшего всех своих близких, я хранил молчание. Как и многим другим, ему пришлось заново создавать семью, начинать все сначала.

Мы проезжали мимо магазинов, фабрик, двух- и трехэтажных зданий (многие из них еще были в строительных лесах), мимо

Рисунки Элтона Фэкса, сделанные им во время поездок по Средней Азии.

старых жилых домов, чудом уцелевших при землетрясении. Они доживали последние дни, хотя здесь все еще обитали люди в ожидании нового жилья.

Выехали на дорогу. Прищурив от солнца темные глаза, Сеит продолжал свой рассказ:

— Всего лишь несколько лет назад здесь была голая пустыня. А теперь посмотри вокруг на деревья и цветы вдоль дороги. Всем этим мы обязаны каракумскому каналу. Знаешь, что означает слово «каракум»? «Черный песок». Так вот, один только черный песок окружал нас. Все, что ты видишь вокруг сейчас — деревья, цветы, город,— всем этим мы обязаны воде, воде, которую принес с собой наш каракумский канал.— Голос его перекрывал шум мотора: Сеит хотел, чтобы я запомнил, насколько важна вода не только для его города, его республики, но и для всего народа.

Мы подъехали к окраине жилого района. Дальше простирались бескрайние просторы пустыни Ашхабад остался позади — справа и слева лежали песчаные холмы, сухие и голые, лишь кое-где пробивался низкорослый желтый кустарник.

— До Октябрьской революции только на верблюдах, ослах да козах доставляли грузы — ни дорог, ни автомобилей не было. Люди жили в юртах, вокруг бродили шакалы. Они до сих пор все еще обитают здесь — вон там, подальше от дороги...

...Побывали мы вместе с Сеитом на ковровой фабрике и в колхозе. Как правило, он переводил с туркменского на русский, а затем Анатолий — на английский, иногда Сеит сразу переводил с туркменского на английский.

Мягкий апрельский субботний вечер... Окончив трапезу за богатым колхозным столом, мы собирались в обратный путь — до Ашхабада было 25 километров. В саду возле дома стояла юрта. Подойдя к ней, Сеит остановился и, слегка пригнувшись, вошел внутрь. А когда вышел, сказал, обращаясь ко мне:

— Элтон, я родился вот в такой юрте.

Не знаю, быть может, именно эти простые семь слов более всего приблизили меня к этому обитателю песков Каракума, которого знают все в его родном Ашхабаде с населением в 300 тысяч человек. Основное его занятие — литература, он — писатель. Сейчас Сеит исполняет обязанности председателя Иностранной комиссии Союза писателей Туркмении. Я видел его в роли тамады на пышной туркменской свадьбе, любовался тем, как он танцевал под звуки народной туркменской песни. Я пил вместе с ним верблюжье молоко в колхозе, неподалеку от его родных мест, нас угощала статная туркменка. Мы сидели, скрестив ноги, перед расстеленной на полу скатертью, уставленной яствами, потом пили зеленый чай в доме его сельского друга. Везде и повсюду Сеит держался с поразительной простотой и естественностью. С такой же непринужденностью и простотой он общается со своими литературными коллегами из России и других республик страны.

Если и существует какой-то «секрет» успеха этого человека в общении с окружающими его людьми — я лично не верю в существование таких «секретов»,— то о нем лучше всего сказал сам Сеит на дружеской встрече с небольшой группой его друзей, ветеранов войны.

— Элтон,— сказал он,— вместе с этими людьми я сражался на русской земле, мы защищали нашу страну, защищали Туркмению, а когда к нам пришла беда — землетрясение, наши друзья из России и изо всех других уголков нашей страны пришли к нам на помощь. Мы составляем единое братство. И при этом сохраняем свою национальную самобытность. И гордимся этим.

Я запомнил эти слова. «Вот в чем заключается суть советского социализма»,— подумал я.

Если жизнь чему-нибудь и научила меня, то это, пожалуй, отчетливому осознанию того, что бессмысленно ожидать совершенства от какого бы то ни было человеческого предприятия. Совершенство — понятие, можно сказать, мистическое; и тем не менее к этому совершенству мы, люди, неуклонно стремимся и будем продолжать стремиться. На каждом шагу мы спотыкаемся о наши человеческие недостатки. И об этом я думал, проходя по рядам ашхабадского рынка. Экзотические одеяния женщин, молодых и прекрасных, не могли заслонить от меня нескольких нищих, ко-

ЭЛТОН ФЭКС
МОИ ВСТРЕЧИ С РЕСПУБЛИКАМИ СОВЕТСКОЙ СРЕДНЕЙ АЗИИ

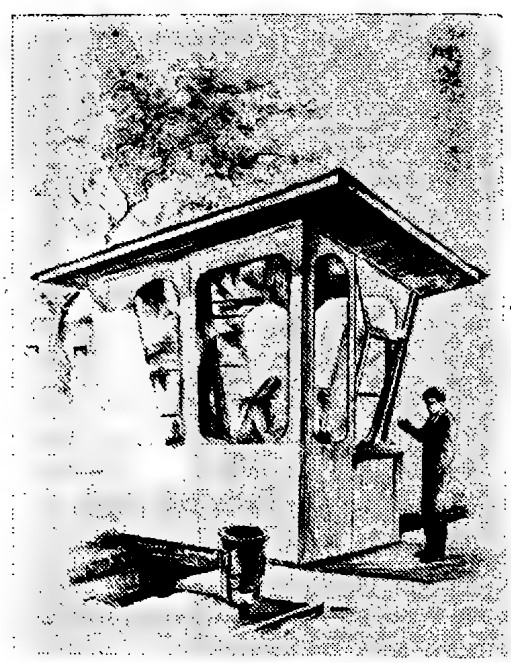
торых я увидел там. Не ускользнули от моих глаз и двое пьяных. Немало такого рода впечатлений досталось на мою долю у себя дома — в Нью-Йорке, Сан-Франциско, Хьюстоне, Детройте и Балтиморе; в детстве моя мать тщетно пыталась уберечь меня от знакомства с этими сторонами жизни, они были столь многочисленными, что избежать их было попросту невозможно.

И теперь в свои более чем зрелые годы я не вижу необходимости искусственно заслонять от своего взора такие вещи — ни дома, ни за границей.

В то время как Туркмения оказалась для меня совершенно новой землей, мое знакомство с Узбекистаном уже состоялось — я побывал в этой республике семь лет назад; то был период кануна серьезных обновляющих перемен, землетрясение 1966 года сделало эти перемены безотлагательными. И вот теперь я могу без колебаний свидетельствовать, что перемены действительно налицо, более того — они превзошли все мои ожидания.

Можно скептически относиться к сообщениям официальных представителей городских властей и их помощников о грандиозных планах на будущее, о перспективах расцвета их городов. Но когда — как это было со мной — собственными глазами видишь этот расцвет, скепсис сменяется восхищением.

Первым сюрпризом для меня явилась гостиница «Узбекистан» — впечатляющее современное сооружение (я жил на верхнем, 16-м этаже) с небольшими комфортабельными номерами, здание из стали, мрамора и камня. Говорят, оно спроектировано таким образом, что защищено от подземных толчков, которые 12 лет назад разрушили город. Нескончаем поток людей, останавливающихся в этой гостинице, судя по всему, они сохраняют неколебимую веру в искусство инженеров и архитекторов, создавших это великолепное сооружение. Я спал там совершенно спокойно. Не было у меня ни малейших сомнений и в том, что пожитки мои останутся в целости и сохранности, и ничто этой уверенности не поколебало.



Восхитило меня и другое, не менее впечатляющее сооружение — здание издательства имени Гафура Гуляма. Вскоре я перестал считать новые здания. В них наверняка существует насущная потребность, особенно это относится к жилым домам, масштабы строительства их неуклонно растут.

В старом Ташкенте все еще осталось немало дряхлых глиняных построек. Некоторые из них заброшены, в других еще живут люди. Однако эти домишки ожидают неминуемого вторжения бульдозеров, я сам видел, как они все ближе и ближе подбираются к этому старью, оставшемуся от прошлого.

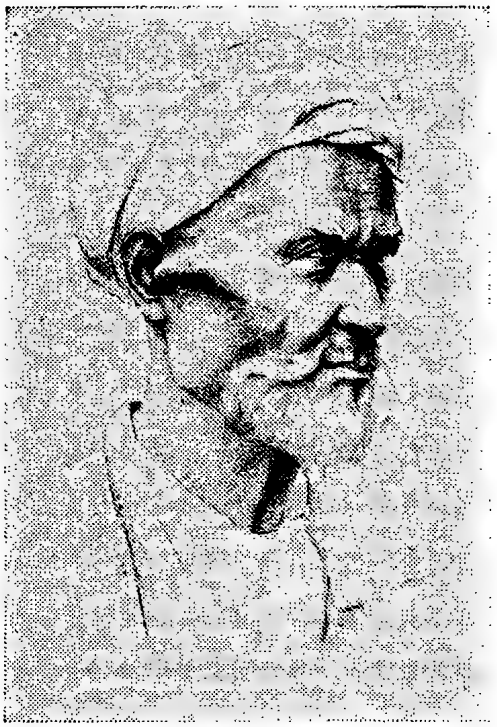
Особого для меня значения исполнен новый узбекский Музей изобразительных искусств. Директор музея, Герой Советского Союза, народный художник Узбекистана Самид Абдуллаев, приветствовавший меня 27 апреля 1978 года в Союзе писателей, обратился ко мне с такими словами:

— Я впервые познакомился с вами благодаря вашим работам, которые в течение двух месяцев экспонировались в нашем музее. Это очень хорошие работы, по этим рисункам видишь, с каким уважением автор относится к людям труда. Выставку посетило 300 000 человек.

Рисунки, о которых шла речь, были воспроизведены в моей книге «Глазами черного»; оригиналы я подарил народу Узбекистана в знак признательности за гостеприимство, оказанное мне.

Время от времени я выставлял свои работы на родине, в США, но никогда еще к ним не проявляло интереса такое множество людей, никогда еще у моих работ не было столь прекрасного «дома». Поэтому меня так глубоко тронуло выражение подлинного братства, скрепленное преподнесенным мне подарком — картиной художника Абдуллаева.

Самарканд, до сих пор являющий собой Мекку для туристов, жадно устремляющихся сюда для обозрения легендарных мечетей, усыпальниц, медресе и минаретов, энергично обновляет свой облик, хотя со свидетельствами глубокого почтения к прошлому здесь сталкиваешься тоже на каждом шагу. Возвратившись в Узбекистан, я с восхищением отмечал и стремительный рост нового, и мастерство, с которым реставрируется медресе Улугбека, или точность, с которой площадь Регистана погружается на свой первоначальный уровень. Я видел это собственными глазами; живо вспоминаю плавное движение подъемных



кранов, то и дело протягивающих свои длинные руки к каркасам новостроек, в которых скоро будут жить люди. Видел и уже заселенные дома, на крышах которых теснятся радио- и телевизионные антенны. И все это осуществлено в Узбекистане за время, прошедшее с моей первой сюда поездки,— менее чем за восемь лет.

Такие же сюрпризы ожидали меня и в столице Казахстана Алма-Ате. Ясно вижу я недовольные лица стариков, окруживших меня, когда в начале 70-х годов я пришел на старый рынок этого прекрасного города, чтобы сфотографировать их.

— Мы строим новый базар. Зачем фотографировать старый рынок?

Теперь у них есть новый базар, великолепный торговый центр, строительство которого завершено в 1975 году. Напротив него, через улицу, находится Дом печати, в котором размещаются редакции большинства казахских издательств. Я насчитал по крайней мере шесть новых правительственных или официальных зданий, строящихся неподалеку от городского центра. Меня поразил вид новой 26-этажной гостиницы «Казахстан» с кафе-садом на крыше. Я восторженно отозвался о ней нашему переводчику Нурлану Бергалиеву, который помогал нам по просьбе моего друга писателя Ануара Алимжанова. Меня смущало только то, что в городе решили строить такое высокое здание вопреки сейсмической проблеме.

Нурлан Бергалиев ответил спокойно и деловито.

— Эта гостиница, Элтон, построена с учетом возможного землетрясения,— сказал он.— Она защищена от подземных толчков силою до девяти баллов. Мы уверены, что это здание будет стоять прочно.

Буквально на следующий день в соседней республике — Киргизии, граничащей с Казахстаном, мы, стоя между двумя горными вершинами, слушали рассказ Людмилы Стефанович о Токтогульской гидростанции, которая была перед нами. Людмила Стефанович — элегантная, миловидная женщина — на мгновение отвлеклась от серьезного рассказа об инженерном мастерстве, обратившем бурные воды реки Нарын на службу человеку, и пересказала нам современную народную легенду:

— Давным-давно двое молодых людей полюбили друг друга и решили стать мужем и женой. Но богатая мать юноши была против их союза. Она разделила любящих горной рекой. Девушка Айнура и юноша Тегирек превратились в две каменные горы. И только после Октябрьской революции строители плотины соединили двух влюбленных.

Эту гидростанцию называют Жизнью, Светом и Любовью. По словам Людмилы Стефанович, плотина и искусственное озеро, которые строили не только киргизы, но также рабочие и многих других нацио-

нальностей, будут орошать и Киргизию, и другие республики.

И тут я вспомнил о другом проекте. Мы узнали о нем в таджикском городе Нурек из рассказа Антонины Гвоздевой. Перед нами была другая гидростанция. Мы стояли возле плотины высотой в 300 метров.

— Нурек — новый город,— говорила Антонина Гвоздева,— его строит буквально вся страна. Здесь будут созданы плотина и искусственное озеро объемом в десять миллиардов кубических метров. Не только для Таджикистана, но также для Узбекистана и Туркмении.

Совместное планирование и коллективный труд — вот в чем залог успеха. Я не только слышал эти слова, но, что более важно, видел плоды этого собственными глазами на протяжении всей поездки по пяти республикам советской Средней Азии.

Символическая идея, рассуждением о которой я хотел бы завершить свой очерк, получила для меня свое воплощение в обобщенной и наглядной форме в Ташкенте в день Первого мая 1978 года.

В начале своих записок я говорил о намерении представить читателю рассказы людей, с которыми я встретился, о самих себе. Первым был туркменский писатель Сейтиияз Атаев. Можно ли придумать более убедительное завершение очерка, чем коллективное выступление людей в день первомайского праздника! Здесь в полную меру звучат сила коллектива и мощь рабочих людей, объединенных мирным созидательным трудом.

Нам, американцам, не следовало бы забывать о том, что праздник Первого мая, который в Америке нередко считают «чужеродным, импортированным извне, родился на нашей, американской земле в 1881 году. Символ борьбы американских рабочих за восьмичасовой рабочий день — этот праздник замалчивается сейчас в моей стране. Здесь же я увидел совершенно иную картину.

Множество людей пришли на демонстрацию по доброй воле. Их переполняла гордость за достигнутые успехи, и они стремились выразить это чувство. Среди демонстрантов я видел рабочих и колхозников, служащих и ученых, учителей и студентов, школьников, мужчин и женщин, юношей и девушек. С необыкновенным воодушевлением танцевали молодые узбечки из колхозов и совхозов, ослепительные в своих праздничных национальных костюмах, рабочие и колхозники несли флаги и транспаранты — свидетельства их решимости выполнить и перевыполнить взятые на себя обязательства по сбору урожая и производству продукции. Ничего, связанного с военной техникой,— первомайская демонстрация была демонстрацией Мира и Труда, в ней принимали участие люди, свободно и непосредственно выражавшие преданность и веру в дело, которому они служат. Это было поистине вдохновенное шествие, в нем не было и тени подобия движению неуправляемой, беспорядочно орущей и грохочущей толпы. Передо мной проходили шеренги организованных узбекских трудящихся разных оттенков кожи, на лицах их читались оптимизм, чувство достоинства, сознание величия цели, к которой они устремлены.

Нечто от этого духа величия и достоинства я находил и продолжаю находить порой и у себя дома: я говорю о пути моих замечательных соотечественников — американцев прошлого и настоящего, тех американцев, которые сохраняли и продолжают сохранять уверенность в избранном ими пути. Я находил ее в словах и делах революционного американского публициста Тома Пейна, знаменитой негритянской поэтессы Филлис Уитли. Она звучала в деяниях и призывах аболиционистов Уэнделла Филлипса, Фредерика Дугласа, Джона Брауна, Харриет Табмэн и Соджорнер Трус. Они передали свою эстафету Уильяму Дюбуа, Полю Робсону, Мартину Лютеру Кингу и Малькольму Иксу. Изуродованный черный издольщик Фэнни Лу Хэймер впитал частицу этого духа в борьбе за избирательные права для черных и белых рабочих, лишенных этих прав на земле родного штата Миссисипи. Этот дух вдохновлял на борьбу трех юношей, двух белых и одного черного,— Швернера, Гудмэна и Чейни,— они боролись плечом к плечу в 60-х годах на хлопковых плантациях Миссисипи и отдали свои жизни в борьбе за избирательные права для черных. Этот дух жив в мужественном, гордом поведении Анджелы Дэвис, Бена Чейвиса и Мохаммеда Али.

Да, я был свидетелем верности этому идеалу многих замечательных людей на нашей планете и среди них — первомайских демонстрантов города Ташкента.

Вот почему еще так взволновало меня праздничное шествие.

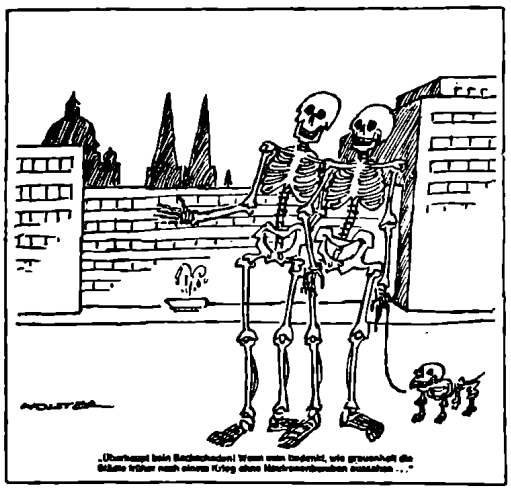
Дух сообщества этих людей образует гармоничное целое. Гармония эта навсегда сохранится в моей памяти.

Перевод с английского Ф. ЛУРЬЕ

◆

Антирубрика

МИР ПРОТИВ НЕЙТРОННОЙ СМЕРТИ



◀ — А главное, никаких разрушений! Подумать только, как ужасно выглядели наши города после той войны, когда не было еще нейтронной бомбы.

▲ Храните свои ценные бумаги только в нашей надежной противонейтронной папке.

◀ Наконец-то чистая бомба!

Рисунки западногерманских художников Больтера и Х. Пота взяты из книги «Мир и разоружение», выпущенной в ФРГ издательством «Ателье им Бауэрихауэ».

© by Verlag Atelier im Bauernhaus, Fischerhude, 1977.

ФРИДЕШ КАРИНТИ

Письмо уважаемому господину Главному дипломату

Перевод с венгерского АЛЕКСАНДРА НАУМЕНКО

С большим участием прочел я в «Киш кейпеш уйшаг», многоуважаемый господин Главный дипломат, о том, в каком расстройстве чувств Вы изволите пребывать. Я, правда, всего лишь бедный простой солдат запаса, который ничего-то в таких делах не разумеет, но не зря ведь говорят, что хороший поп — семинарист по гроб и ума-разума у всякого призанять можно, подумал я и набрался духу обратиться в этом скромном послании к многоуважаемому господину Главному дипломату, ведь это и всамделе форменная беда, что Вы, господин Главный дипломат, изволите так тяжко маяться от забот, и прихлынула к горлу мне обида за Вас, посему как представил себе ужасные Ваши муки, когда прочел, что Россия попросила господина Главного дипломата ответить, склонна ли монархия разоружиться, то бишь поотпускать до дому запасников, от имени цивилизации, на что бы Россия тоже разоружилась, чтобы не было войны и народ жил бы и плодился себе спокойно, на что Главный дипломат ответил, что вопрос сей следует ему обмозговать, и попросил времени на размышление, а сроку тому уж два месяца утекло, как господин Главный дипломат все думает и думает, разоружаться, мол, иль не разоружаться, и никак не может додумать, преогромная маета, должно быть, столько-то думать, нечеловеческая многая тягота Ваша, от такой у человека в голове только ломит и в глазах слепит и не до дела становится, и так живо представил я себе, что сколько Вы времени, многоуважаемый господин Главный дипломат, тоскою страшной изводитесь, и так пронзила меня жалость к Вам, что, не обессудьте бедного солдата, принялся я за чисткой-смазкой ружьишка размышлять, как бы Вам пособить, господин Главный дипломат, уберечь Вас от многих дум да вылечить Вашу уважаемую голову от нестерпимых болестей, ведь не каменное же у человека сердце, оно даже неразумную животину жалеет, так ведь вот я и измыслил, как Вам можно, господин Главный дипломат, пособить в Ваших многотрудных думах, поможет, вот увидите, коль примете мой Вам совет, но уговор: делать все по моим словам с доподлинною точностию, Вы уж не обессудьте бедного запасника с шестью детишками по лавкам, коего только из-за войны и призвали, пока напасть не минет, вот и вручаю Вам совет, изысканный мною против растреклятой мозговой болести, который пично мне от всяких размышлений очень даже помог, так что с тех пор не думаю уже совсем и совершенно выздоровел, посему и передаю его Вам с чистым сердцем и не жду никакой награды от господина Главного дипломата за этот рецепт, пользовать который следовает так, что как только господин Главный дипломат изволит завтра утром проснуться, точно в пять часов, надо взвалить на спину ранец, поперед хорошенько набитый, нацепить на пояс сумку с провизией, два патронташа и подсумок с личными вещами на все случаи, и отправиться, и идти до Пилишчабы, что за тридцать с гаком километров от Пешта, если не изволите помнить, но в таком темпе, чтобы прибыть Вам туда точно к девяти, но не извольте остановиться, а бегом дальше, на самую высокую тамошнюю гору, 757 метров, память у меня хорошая, хотя больше и не думаю, не забудьте, бегом, только добрались, винтовку с плеча, товсь, и разом бросаетесь ничком на место, где побольше камней и грязи и где в бок Вам наяривает ветер с мокрым снегом, отстрелялись, но не отдыхать, а будто слышите «встать», и бегом, и снова вдруг на живот прямо в сугроб, и десять минут беспрерывной стрельбы до ломоты в пальцах и кровоподтеков от затвора, потом извольте опять вскочить и снова бухнуться на брюхо, и так двадцать раз подряд до одиннадцати часов, не обессудьте уж, коль не те слова, я Вам рецепт по-солдатски рассказываю, так вот потом, когда Вы уже отморозите уши, подождите маленько, пока не станет холоднее, снова вскакивайте и продолжайте марш до Эстергома, куда Вы, выбиваясь из сил, прибудете к вечеру, где получите отбой, и валитесь в лагерном бараке прямо на пол, но не просто так, а чтобы не было места, меж двух других солдат, значит, и чтобы снизу, промеж соломенных тюфяков, куда Вы не попали, до костей пронизывал холод, после чего часикам к двенадцати сами изволите почувствовать, что вдруг перестали думать, и тут как тут и решение Вам, разоружаться или нет, и без проволочек сообщайте это решение России, и так Вам будет хорошо, что не надо больше думать, на чем и кончаю, пребывая в искреннем уважении к Вам, Янош Ранцич, рядовой запаса на действительной службе.

Будапешт. 1918 г.

■

МИХАЛ РАДГОВСКИЙ

Покой прежде всего

РАССКАЗ

Перевод с польского ЛИДИИ ЛЕРЕР

Как-то раз в одной школе учительница задала своим питомцам для тренировки сообразительности вопрос: какой этаж расположен выше — первый или второй? Ученики (это были первоклассники) отвечали, в общем, правильно, хотя стоило это им разных усилий. Те ребята, что жили в одноэтажных домиках предместья, вспоминали квартиры зажиточных родственников, обитавших в муравейниках за железными воротами. Другие, склонные к дедукции, шли путем более абстрактных умозаключений — поскольку число «два» больше, чем «один», то, значит, второй этаж расположен выше первого. А еще был среди них мальчуган, который промолчал. Наверное, никто не обратил бы на это внимания, если б не странное выражение его симпатичной мордашки. Учительница спросила, почему он молчит. Тогда мальчик, насупившись, неприязненно ответил:

— На глупые вопросы я отвечать не буду.

Ответ этот, естественно, оставил исключительно неприятный осадок. Правда, учителям не привыкать ко всяким неожиданностям в педагогической практике. А все же кому приятно, когда пусть даже в присутствии всего нескольких и пока не слишком толковых личностей подрывают авторитет преподавателей. Мои знакомые, у которых дети учатся в той школе, были просто потрясены и сказали мне, что в поведении ученика можно усмотреть бунтующие тенденции. Школа, мол, заставляет учащихся отвечать на поставленные вопросы; учеников постоянно экзаменуют по всевозможным предметам, а вот оценивать характер вопросов в их компетенцию не входит. Мальчик нарушил табу, переступил границы вежливости. Из него определенно вырастет бунтовщик или, как сейчас говорят, нигилист, сердитый молодой человек с длинными волосами и еще более длинным языком. Потом мы увидим, как он распевает на улице под гитару песни протеста, только не такие благонравные, какие исполняют наши вокальные ансамбли. В них поется о «странностях мира» и о том, что «на бетоне не растут розы», а его песни, бьющие прямо по окружающей нас жизни и обществу, будут куда резче.

Детей я знаю весьма неважно. И вообще мне кажется, что взрослые рядом с детьми проигрывают. Но знакомым я сказал, что они заходят слишком далеко. Ведь нет же такой закономерности, чтобы из непослушных, строптивых учеников обязательно вырастали хулиганы. Наоборот, часто бывает, что дети, которых усиленно приучали к вежливости, впоследствии отыгрываются на воспитателях. Взять хотя бы моего однокашника Ежи Урбана. Всегда аккуратный, в чистеньком костюмчике с матросским воротником, он вел себя в классе идеально. А теперь — это строптивый публицист. Я же годами имел по поведению четверки — потому что смешил класс глупыми остротами (причем сам хохотал громче всех и частенько меня, корчащегося от приступов смеха, выставляли за дверь), а получился из меня вежливый фельетонист. Даже чересчур вежливый, как считают мои коллеги. При таком подходе исследование периода детства могло бы дать интереснейший материал о людях, выполняющих важные общественные функции. К сожалению, в официальных жизнеописаниях этому внимания не уделяют; так человек появляется в готовом виде — между датой его рождения и вступлением в первую должность зияет прискорбный пробел.

Возвращаясь, однако, к разбираемому случаю, следовало бы отметить, что позицию ученика можно оценивать с двух совершенно разных точек зрения. Во-первых, с точки зрения вежливости. Ученик был невежлив. Это сомнению не подлежит. Он не потрудился ответить хотя бы уклончиво. Но это также и свидетельство его зрелости. Взрослым людям часто задают глупые вопросы, на которые не хочется отвечать. В таких случаях одни молчат, делают вид, что не расслышали, другие же угодливо уверяют спрашивающего, что поставленная проблема говорит о недюжинном пытливом уме. На отношение спрашиваемого к спрашивающему накладывает отпечаток вся социальная иерархия. Взрослый более или менее ориентируется в том, какое занимает место; по крайней мере, знает, что он — ученик или учитель.

Вторая точка зрения заключается в том, чтобы подойти к проблеме не с позиций послушания, а с позиций интеллектуального развития ученика. Ученик воспринимает вопрос как «глупый», потому что его опыт шире. Спускаясь и поднимаясь по лестницам большого дома, он давно уже заметил, что второй этаж расположен выше первого. Стало быть, для него это вовсе не умственная загадка, а банальная констатация, очевидность. Вся проблема в том, что в жизни школы гармоничное сочетание этих двух ценностей — вежливо-

стп и интеллектуального развития — задача отнюдь не легкая, и решается она не всегда правильно. На вопрос, как поступить с таким учеником, можно ответить так: выставить ему плохую отметку за поведение и перевести в старший класс. Но первое я предпочел бы избежать. А второе опять-таки невозможно, из-за школьной рутины.

Можно также спросить, был ли заданный учительницей вопрос на самом деле глуп. Она ведь знает свой класс. Если хотя бы у двух учеников возникли в этой связи сомнения, такой вопрос был вполне уместен. Такова уж, может и не самая удачная, логика педагогического процесса. Можно, впрочем, предположить, что вопрос этот как бы предварял решение более сложной проблемы и что критицизм нашего способного ученика оказался бы вполне удовлетворен.

Но интереснее всего решить, как должна вести себя учительница, столкнувшаяся с таким неприятным казусом. У нее, бесспорно, есть возможность выставить ученика за дверь или же записать в дневнике замечание. Такое случается и в мире взрослых: символическая репрессия за строптивость и привычку жить своим умом. Кроме того, она может вступить с упрямцем в дискуссию.

Ведь если над вопросом поразмыслить глубже, то ответ на него не столь уж очевиден. Представим себе дом будущего, десятью этажами уходящий «в небо» и пятью опускающийся «в землю». Тут уж явно бросается в глаза вся условность критериев «высшего» и «низшего». Если считать от цокольного этажа, то первый этаж подземной части дома будет располагаться выше, чем второй. Или, например, дом, взбирающийся по склону холма (я видел такие в Генуе),— для людей, входящих в него со стороны вершины, цокольным будет и десятый этаж. Или дом, в котором расположилось важное учреждение — на первом этаже находятся кабинеты начальства, выше разместились комнатушки референтов и конторских клерков. Так вот, для каждого сотрудника этого учреждения первый этаж будет «выше», чем четвертый, и физический спуск по лестнице будет сопровождаться сознанием подъема по ступеням служебной иерархии. Можно также поставить вопрос, настолько ли первый этаж выше цокольного, насколько третий выше второго. Лично я — человек, который ежедневно входит в редакцию с легкой одышкой,— глубоко убежден, что здесь существует принципиальное различие и что с каждым годом моей жизни оно растет.

Если бы сказать это тому ученику — с него наверняка слетела бы вся самоуверенность и апломб. Быть может, он даже с плачем побежал бы к маме и попросил ее перевести его в другую, менее интеллектуальную школу. Тогда бы нас, по крайней мере, никто не беспокоил. А это для школы вещь немаловажная.

Американская пародия

Перевод с английского АНДРЕЯ СЕРГЕЕВА

С. Л. ЭДСОН

ВЗДОРНЫЙ ВОРОН ПОЭТА ПО

Как-то ночью в час ужасный, час опасный,
Я, несчастный, постный, думал в праздный час мой
о Леноре, о Леноре,
деве сердца моего,
О чудесной, всем известной, честной (больше ничего).

Я дремал, и все молчало. Вдруг у двери застучало,
у окна задребезжало, разбудило, растолкало...
все во мне затрепетало, заплясало... замечтало,
что из гроба вдруг восстала
Дева сердца моего,
Что пришло свершенье срока, что красиво и упруго
спрыгнет прямо с водостока светлоокая подруга.

Распахнул я настежь дверь — и что увидел? — черный вереск,
толь... я сам себе не верил — черный вереск возле двери,
Дверь — и больше ничего.

Но из вымершего мира с видом Вильяма Шекспира
вышел ворон — был он жирен, но пробрал мороз его.
Да, ко мне ворвался ворон — был он черен и проворен,
приглядел, как наглый вор, он печь жилища моего,
Печь — и больше ничего.

Помню миг тот ненавистный — был тогда декабрь мглистый,
и в печи моей со свистом догорал сосняк смолистый,
и зола из золотистой становилася землистой,
И гулял душистый шорох в подгулявших шумных шторах.
Ворон — будто так и надо — сел на белый бюст Паллады,
Ворон — черный, вздорный, верный —
сел у входа моего.
Но была ли то бравада, иль утехи и услады пожелал он
от Паллады —
я не понял ничего.

Пусть душа моя, страдая, размышляя, угадает,
Не Ленора ли из рая эту птицу посылает,
Что над дверью восседает, как нежданная беда,
Или это душу мучит, и в душе мышей летучих
насаждает сонный Сноуден, автор оды «Тор и Одни»?

Пусть душе, уставшей за день, дар сивиллы будет дарен,
чтоб о той, которой Лейден, или Лондон, или Аден,
или просто Баден-Баден были родиной, узнать мне,
суждено ль ее в объятья вновь принять, и если да...
Каркнул ворон: «Никогда!»

О пророк, исчадье ада, оды, гада, злого года,
Мне тебя совсем не надо! Здесь уселся отчего ты?
Убирайся навсегда!
Но сидит, сидит упорно ворон черный, злой и вздорный,
Раз сказавший «никогда».

Он для ладности баллады сел на бледный бюст Паллады,
на солидный бюст Паллады сел, скрывая торжество,
И душа моя в смятенье поплыла и пала тенью,
Наподобье темных пугал, пала на пол, пала в угол,
на пол дома моего.

ТЕОДОР РЁТКЕ

ЧЕМОДАННАЯ ПЕСНЯ

То был не Эрнест, то был не Мак,
С которыми я обновлял кабак, —
Они не хвалились и слез не лили,
А плюнув на все, вперед выходили,
И пропустивши стакан-другой,
Они садились, как мы с тобой,
— И пропивали деньги.

Не Колони-клуб, не шикарный Сторк,
Не город Нью-Йорк из штата Нью-Йорк.
Но мы с подругой узнали что-то
В притонах Толедо и Вандота
— О том, как сорить деньгами.

То было: — Жду тебя у плетня,
То было: — Строгий отец у меня.
(Потом я узнал, что отец — брехня.)

— Но как она тратила деньги!

Тогда меня сводили с ума
В Си́серо с крупной игрой дома,
А в Сеит-Луисе и Мононгахеле
При виде вывесок руки зудели
— Скорей растранжирить деньги!

Там Снико Сикстет играл, как машина,
И каждый мальчишка сходил за мужчину,
И мы веселились над ванной из джина
— И расставались с деньгами.

Это Мутный Мату́на и Псих Моран,
Это Спорим на виски и Ставь стакан,
Это Пробуй, Смотри и Держи карман:
— Умный там не играл на деньги.

То разве кража, то разве грех,
Что Микки разделан под орех?
Кого только мог — и разделывал всех
— С остатками дедовских денег.

То был Мертвый Угол и Стойло Келли,
Где Стой на ногах, пока ноги целы,
Но многие там под столом храпели
— Не в силах пропить все деньги.

Не всякий спокойно бы вспомнил о том,
Как Чи́ппева Кет вильнула хвостом
И с бумажником скрылась на грузовом,
— Учуяв, что я без денег.

Юристы, полиция — куплены все вы,
Гоните богатую старую деву,
Такую, что будет направо-налево
— Изводить на меня свои деньги.

ДОНАЛЬД ФИНКЕЛ

ПЕСНЯ ОБ ОХОТЕ

Лиса выбегает, хромая, хромая,
Хромая. Язык на плече,
Приподняты уши. Лиса,
Как смерть на конце веревки, когда
Она подбежала к пустой
Колоде. Вбежала в нее
И выбежала с другой стороны. О,
Она хитрая.

Гончие катятся кубарем, кубарем,
Кубарем. Вобраны головы,
Кровью налиты глаза.
Шум их дыхания громче смерти, когда
Они подбежали к пустой
Колоде. Застыли на миг
И дальше по запаху мчатся. О,
Они злые.

Охотник несется галопом, галопом,
Галопом. Конь его в мыле
С копыт до гривы,
Куртка охотника кровн багровей, когда
Он поравнялся с пустой
Колодой. Препятствие взяв,
Он дальше помчался. О,
Он прекрвсен.

Колодв же просто лежала, лежалв,
Лежала одна на поляне.
Ни лиса, ни собаки, ни всадник
Не видели черных глаз ее. (Это
Входы в пустую колоду.) Она
Видела смерть, что прошла сквозь нее,
Мимо нее и над ней. О,
Она умная.

■

ИОАННА КЕЛЛЕР

РАССКАЗЫ

Перевод с польского КСЕНИИ СТАРОСЕЛЬСКОЙ

Большая стирка

О смысле жизни я начала задумываться благодаря автоматической стиральной машине. Итальянская стиральная машина — изобретение почти совершенное: бросаешь грязное белье, сыплешь порошок, нажимаешь кнопку, и некоторое время она делает свое дело, а ты можешь заниматься чем угодно. Тогда почему только «почти» совершениое? А потому, что итальянские конструкторы не предусмотрели, что после наших порошков отполаскивать белье нужно дольше, и к нашему способу крахмаления приспособиться не сумели. Что же из этого следует? А то, что я должна дважды прерывать стиральный цикл: первый раз, чтобы поставить рычажок на повторное полоскание, а второй — чтобы влить «заваренную» картофельную муку. Для того же, чтобы прервать цикл, нужно уловить соответствующий момент — не слишком рано и не слишком поздно, а чтоб этот момент уловить, надо несколько минут следить за стиральной машиной. Как раз те самые минуты, что предназначены для размышлений. Сижу на краешке ваниы, тихо, тепло, немножко неудобно; ребенок спит, муж в командировке...

Я думаю о том, как ужасно неудачно сложилось, что я — женщина. Кажется, мусульмане заканчивают свою ежевечернюю молитву словами: «Благодарю тебя, аллах, что ты не создал меня женщиной». Значит...

Зазвонил телефон. Прерываю размышления, бегу в комнату: «Алло»! — тишина. Странно! Сегодня это уже второй раз... Когда часа два назад я открывала входную дверь, прндерживая подбородком и коленной сетки с продуктами и покрикивая на Михала, который скакал по лестничной площадке и вопил: «Зайчик белый, куда бегал?..» (новая считалка, вынесенная из детского сада), телефон тоже зазвонил, я бросилась к нему, ио на мое «алло» он ответил молчанием.

Может, это ито-нибудь из автомата?

Возвращаюсь к стиральной машине и к прерваниым размышлениям.

...Значит, женщиной быть плохо, а особенно плохо быть женщиной с высшим образованием, потому как тут тебе и работа, и дети, и домашнее хозяйство, иными словами, беспрерывная борьба с упорио сопротивляющейся материей... А они, мужчины... Они? Мысль растекается в обобщениях, но я пытаюсь сосредоточиться на истинной причине

своих претензий к создателю... Ибо, дай господь мне другого мужа, я бы не жалела, что родилась женщиной. Он. Януш. Недотепа и неудачник. Мы вместе учились в институте, вместе сдавали зачеты, вместе делали дипломную работу, у меня даже средний балл был выше, чем у него. Мы оба любили наши машины, но только он имеет возможность свою любовь реализовать на практике, он действительно работает с машинами, тогда как я служу в управлении. Что ж, я—женщина... А после нелюбимой работы еще приходится заниматься делами, которым меня никто никогда не обучал и которые я терпеть не могу: готовить, убирать, воспитывать ребенка... Кажется, стиральная машина как-то странно загудела? Ну конечно, первый этап закончился, сейчас я ее остановлю и поставлю снова на полоскание. Ну вот, теперь до начала операции «крахмал» у меня есть немного времени, можно принять ванну. Наливаю две крышечки хвойного экстракта, пускаю воду... Как приятно пахнет сосной... Лес... Когда я последний раз была в лесу?.. Ах, Януш, Януш, недотепа...

Телефон! Босиком, оставляя на полу островки пены и мокрые следы, бегу в комнату. Хватаю трубку. Снова молчание. Однако я знаю, твердо знаю, что на том конце провода кто-то есть, и поэтому выпаливаю:

— Прекратите эти глупые шуточки!

Тишина, дыхание и минуту спустя:

— Это номер 33-54-20?

— Да!

Тишина и робкое:

— Можно пана Януша...

— Мужа нет дома, он уехал в командировку.

Глухая тишина, я вешаю трубку.

Возвращаюсь на свое рабочее место. Выпускаю из ванны воду, останавливаю стиральную машину, уныло заливаю крахмал. А если?

Быстрее. Код города, номер телефона гостиницы, в которой Януш всегда останавливается.

— Инженер такой-то? Да, со вчерашнего дня. Комната сто шесть. Соединяю. Номер не отвечает, наверно, пошел ужинать. Подождите минутку, я кого-нибудь за ним пошлю.

Тишину, воцарившуюся после этих слов в трубке, внезапно нарушает оркестр. Да, оркестр из ресторана при гостинице воеводского центра. Последний шлягер: «Двадцать лет, а может быть, и меньше...» Я увидела музыкантов на возвышении над маленьким пятачком паркета, прижавшиеся друг к другу парочки. И среди них Януш с местной длинноволосой блондинкой, руки с темно-коричневым маникюром обнимают его за шею...

Картина настолько убедительна, что я кладу трубку.

Автоматически иду обратно в ванную. Стиральная машина стоит на нуле. Выполнила свою программу и издевательски таращит на меня красный глаз. Я с яростью вытаскиваю из ее чрева постельное белье, развешиваю его, потом ложусь на диван и вглядываюсь в темноту. Утром я звоню на работу, прошу два дня отпуска за свой счет, отвожу Михала к маме и ближайшим поездом еду в Кельце.

...Ключ от сто шестого номера висел на доске, поэтому я расположилась в кафе, выбрав такое место, чтобы видеть всех входящих в гостиницу, самой оставаясь незамеченной. Примерно через час появился Януш. С женщиной, естественно; я б удивилась, если бы было иначе. Взяв ключ, он пошел наверх, один, девушка уселась в кресло под фикусом. «Ага, пошел переодеваться или бриться, должно быть, куда-то собрались»,— подумала я и, подождав минутку, направилась к лестнице. Проходя мимо девицы, я внимательно ее оглядела. Вчерашняя видеофоническая проекция не соответствовала действительности. Сидящая под фикусом особа оказалась брюнетной, волосы ее, гладкие и блестящие, были стянуты на затылке, и в обрамлении зеленых листьев она выглядела как экзотическая островитянка с картины Гогена. «Может, это другая, вернее, третья, если считать ту, что названивала по телефону»,— подумала я, стучась в дверь комнаты номер сто шесть.

— Это ты?

— Это я.— И я распахнула дверь.

Он поднял голову над умывальником и так и застыл с зубной щеткой в правой руке, стаканом в левой и белой пеной во рту.

— Спустись вниз, извинись перед дамой и немедленно возвращайся.

Муж без звука отправился выполнять приказание. Когда он вернулся, я уже лежала под одеялом.

В Варшаву мы вернулись только на следующий день. Белье в ванной безнадежно пересохло. Мы растягивали простыни за уголки и смеялись глупым счастливым смехом. Когда муж закутал меня в пододеяльник и, целуя, делал вид, что ни за что не выпустит, зазвонил телефон. Я окаменела. Метнула в Януша злобный взгляд.

— Подойди. Это тебя.

— Тереня, я ведь тебе объяснил...— Но я уже была возле телефона. Подняла трубку и выпалила:

— Да, пан Яцуш дома, но он не подойдет, он никогда больше не подойдет...— Тут я остановилась, чтобы послушать, какова будет реакция, но после долгой паузы услыхала встревоженный голос матери:

— Тереса, что ты плетешь?.. Это я... Как хорошо, что вы приехали.. Может, заедете за Михалом, он очень соскучился...

Тюлени

Сегодня я отправилась в зоопарк. Одна, с самого утра. Я люблю время от времени совершать такие походы: в кино, на выставку, в парк. Разумеется, только в будние дни. Народу мало, никто тебя не толкает, не раздражает, сама невольно добреешь и начинаешь лучше относиться к миру. В том числе и к собственной персоне. Потому что вообще-то я себе не нравлюсь. Не нравлюсь, и все.

Теперь принято говорить «туалет» вместо «уборная», «техник-смотритель» вместо «управдом», «сократить» вместо «уволить». Еще говорят: пожилой человек, пожилая женщина — нет чтобы безо всяких сказать: старик, старуха. Я лично обхожусь без эвфемизмов и прямо заявляю: я — старуха. Несмотря на то, что ношу брюки и крашу волосы в рыжий цвет. Несмотря, а может быть, именно поэтому. Поскольку стареть тоже нужно уметь. Как дерево, птица, зверь. Гармонично. Не бороться с природой, не стремиться выглядеть моложе своих лет, ибо тогда штука эта, так называемая душа, перестает соответствовать внешней оболочке. Со мной же дело обстоит именно так: с виду я приятная особа средних лет, а по существу — старая ведьма. Да, я принадлежу к постоянно увеличивающейся — благодаря успехам современной медицины — категории старых ведьм.

Трудно быть старой женщиной. Старым мужчиной, вероятно, тоже, но таковые почему-то реже встречаются. Раньше умирают, что ли? А может быть, преодолев возрастной барьер, они продолжают жить уж просто как люди, в отличие от женщин, которые с момента окончательной утраты своей привлекательности перестают существовать, преображаются в старых ведьм, наподобие прекрасной королевны, которую злая колдунья превратила в омерзительную жабу...

Впрочем, нет! Такой момент уловить невозможно! Это целый процесс — поначалу незаметный, длящийся несколько лет, и складывается он из длинной цепочки причин и следствий: когда красота начинает увядать, меркнет ореол, окружающий нас в глазах мужчин, и появляется неудовлетворенность, которая в свою очередь оказывает пагубное влияние на внешность, и так далее... В конце концов только она одна и остается — неудовлетворенность миром, людьми и прежде всего собой.

Однако довольно психологии — вернемся в зоопарк. Тем паче, что в данную минуту я не испытываю неудовлетворенности. Напротив. Здесь тихо, спокойно, дорожки и газоны усыпаны разноцветными опавшими листьями, многие вольеры и клетки опустели — животных перевели на зимние квартиры, за каменные стены... Грустновато, но приятно. Присаживаюсь возле пруда — неужели и отсюда уже выпроводили обитателей?

На берегу что-то зашевелилось: некий предмет, греющийся в лучах осеннего солнца, оказывается тюленем. Будто специально ради меня он подползает к воде и ныряет. С противоположного берега, словно бочка, скатывается еще один. Пруд ожил. Откуда-то появился и третий. Тюлени плавают под водой, высовываются, фыркают, прыгают друг через дружку. Ныряют с размаху и снова выскакивают, весело пофыркивая.

Я гляжу на них и чувствую себя счастливой беззаботным счастьем детства. Во мне снова вспыхивает радость бытия, я — точно этот тюлень, кувыркающийся без всякой цели, только ради удовольствия поплескивающийся в холодных волнах, точно котенок, гоняющийся за бумажным шариком на веревочке... Как хорошо жить! Жить, существовать, быть, а потом раствориться в природе, слиться с ней, без боли, без протеста. Наверно, это и есть счастье! Я вытираю глаза платочком. «Буду как эти тюлени,— торжественно обещаю себе,— весела, беззаботна, спокойна! Не буду постоянно жаловаться на климат, на очереди в магазинах, на боли в пояснице и толчею в трамваях, на бессонницу и невоспитанность нынешней молодежи... Перестану быть ворчливой, склочной, вечно раздраженной старухой... Буду...»

Между мной и прудом вырастает стена из спин — молодых спин, затянутых в джинсовые куртки. Их обладатели бесцеремонно лезут вперед, заслоняя от меня тюленей. Девицы в грязных, неэстетично обтягивающих ляжки обтрепанных брюках, парни — такие же неряшливые, с длинными жирными волосами, кривые, нахальные: курят вонючие сигареты, бросают леденцы моим тюленям...

Ухожу.

Обещания — коту под хвост. Я не сумею быть тюленем.

◆

Наши гости

Барри Стейвис

США

Наш собеседник — известный американский писатель и драматург. За плечами этого человека большая, полная ярких впечатлений жизнь.

— *Я видел множество стран, долгие годы был репортером, встречался с тысячами людей. В вашей стране я впервые. Здесь с новой силой нахлынули на меня воспоминания войны. Для людей война всегда и общенародная, и личная трагедия. Сегодня, тридцать лет спустя, память о ней вызывает в душе болезненный отклик. Пискаревское кладбище в Ленинграде, девочки и мальчики в карауле у вечного огня в Иркутске оставили неизгладимое впечатление. Я и сейчас волнуюсь, говоря об этом.*

Я видел первую в истории попытку уничтожения города посредством массированной бомбардировки — в Испании, где я был корреспондентом при интербригаде. Никогда не забуду, как методично «работали» над Барселоной фашистские бомбардировщики, оставляя убитых, разрушая дома. Эти потрясающие воспоминания с новой силой ожили в Ленинграде.

Думается, что опыт Испании оказал воздействие на формирование будущего писателя. Героями его пьес стали Галилей, Джо Хилл, Джон Браун, Джордж Вашингтон. Жизненная драма каждого из этих выдающихся людей состояла в разладе идеала с действительностью. Каждый разрешал этот конфликт в условиях своего времени. Способность человека отстаивать свои идеалы, его роль в истории своей эпохи — главная тема Барри Стейвиса.

Творчество Стейвиса широко известно в Америке, в его пьесах играли знаменитые актеры. Каждому драматическому произведению Стейвиса предшествует серьезное историческое исследование. Как правило, оно ложится в основу книги, которая служит ценным материалом для режиссеров и актеров, всех, кто интересуется американской историей. Так, его работа о Джоне Брауне рекомендована школьникам для чтения по американской истории. Стейвис сберег и важные исторические документы о жизни Джо Хилла, которые не случайно стали исчезать сразу после казни этого выдающегося поэта и вожака рабочих.

Сейчас Барри Стейвис работает над пьесами о Симоне Боливаре, Мигеле Идальго и Линкольне. Он рассказывает, что ему хотелось бы охватить историю всего американского континента, от колониального периода до настоящего времени, показать формирование национального характера, гражданского сознания.

— В США заметно оживился интерес к исторической тематике. Но подход к истории у прозаиков, драматургов, кинорежиссеров неодинаков: с одной стороны, это ваши пьесы и такие фильмы, как «На пути к славе» о Вуди Гатри, выдающемся авторе и исполнителе песен протеста и надежды, многие из которых стали народными,— произведения, утверждающие высокие этические идеалы, с другой — сатирические романы «Бэрр» Видала, «Рэгтайм» Доктороу[1] или вышедший недавно гротескный роман Роберта Кувера «Публичное сожжение Розенбергов». Как вы охарактеризовали бы сегодняшние тенденции восприятия произведений на историческую тему?

— *Это проблема очень непростая. Основные тенденции спроса и предложения* в

[1] Публикации романов «Бэрр» Г. Видала и «Рэгтайм» Э. Л. Доктороу см. в «ИЛ» № 7—10, 1977 и № 9, 10, 1978.

области массовой культуры обратны тому, о чем вы говорили,— это порнография и литература, эксплуатирующая широкий интерес к научно-фантастической тематике. Именно к этим областям современной массовой продукции культуры приковано внимание продюсеров и издателей. Здесь делаются самые большие и быстрые деньги. Объем этой продукции ошеломляет. Причем в фантастике преобладает сегодня апокалипсическая струя,— как правило, это месть взбесившейся природы виноватому перед ней человеку или катастрофическая для человечества встреча с иной космической цивилизацией.

Я работаю в иной области — жизнеутверждающего искусства. И как раз это направление не занимает центрального места в современной американской культуре. Успех моих пьес — один из парадоксов современной американской культурной ситуации. Коммерческий успех фильма о Вуди Гатри — тоже исключительный случай. Создатель его, Харольд Левентол, прекрасно знал самого Гатри и его творчество. Он был антрепренером Пита Сигера. Но еще более важным обстоятельством для успеха картины было то, что Левентол тесно связан с миром кино и музыки. Кроме того, серьезной объективной причиной является бум музыкальной молодежной культуры, благодаря которому фильм о человеке, поющем под гитару песни собственного сочинения, вызывает огромный интерес.

А интерес к личности Вуди Гатри был подготовлен сначала Полем Робсоном, потом Питом Сигером, исполнявшим песни Джо Хилла и Вуди Гатри. Их песни в США стали символами стремления народа к свободе и справедливости.

В народе ведь неистребимо стремление к независимости мышления, к добру. Несмотря на пропаганду «холодной войны», которая ведется на всех уровнях средствами массовой информации, народ не принимает «холодную войну». Народ, а не правительство остановил войну во Вьетнаме. При оценке ситуации в США всегда необходимо помнить, что в критических случаях народ неизменно выступает как разумная, трезвая сила. Эта разумная сила и решила успех фильма о Вуди Гатри.

Совсем иное дело успех книги. Например, на долю Доктороу выпал огромный успех. В жизни даже известного писателя такое бывает один раз. Сейчас по роману собираются снимать фильм. Доктороу, несомненно, серьезный художник, ставивший перед собой серьезную задачу. Меня, например, в его романе коробят исторические искажения, но они не были самоцелью. Я бы не сказал, что это сделано ради самой иронии. Главное, Доктороу — гуманист.

— Считаете ли вы, что для современной литературной ситуации характерны такие факты, как переиздание ваших книг о прогрессивных исторических личностях — таких как Джон Браун или Джо Хилл?

— Прежде всего характерны, конечно, явления, диктуемые закономерностями рынка. Говоря об успехе какой-либо книги, нужно помнить, что издатели строго контролируют книжный рынок. Как только падает спрос на книгу, ее сначала перестают печатать в твердой обложке, а затем убирают на задние полки книжных магазинов небольшие партии в мягком супере, поскольку она уже не пользуется большим спросом, и, наконец, пускают остаток тиража под нож. Уничтожить книги дешевле, чем хранить. Обычно весь цикл занимает шесть месяцев.

Существует и разработанная система поиска «гвоздя», будущего бестселлера. Издатели не заинтересованы в небольших тиражах, они предпочитают сделать деньги сразу. И здесь огромная роль рекламы, предварительной рецензионной кампании. Как было, например, с книгой Артура Хейли «Корни» [1]*. Издатель и сам автор начали рекламную кампанию за три месяца до выхода романа. Писатель ездил по стране, выступал перед будущими читателями.*

Централизация книжного дела почти абсолютна — переплетающаяся система дирекций книгоиздательских фирм, практически объединяющая их под одним началом, делает их разные названия фикцией.

На пути в Москву наш гость побывал в Веймаре, где участвовал в традиционном Шекспировском семинаре. Барри Стейвис давно следит за жизнью нашего театра. Непосредственное знакомство с работами режиссеров и актеров, известных ему раньше по отзывам критики, произвело на американского драматурга большое впечатление. Особенно ему понравились спектакли Товстоногова и Эфроса.

— У вас удивительный театр! О таком театре мы можем только мечтать.

До сих пор на русский язык была переведена только пьеса Стейвиса о Джо Хилле «Человек, который никогда не умрет» (она переведена еще на 18 языков мира). Прощаясь с Барри Стейвисом, мы выражаем надежду, что вскоре советский читатель лучше познакомится с его творчеством: в издательстве «Прогресс» готовится к выпуску сборник пьес Барри Стейвиса. Хотелось бы, чтобы эта книга положила начало знакомству с пьесами прогрессивного американского драматурга и советского зрителя.

[1] О романе А. Хейли «Корни» см. «ИЛ» № 6, 1977.

Т. РОТЕНБЕРГ

■

Наши гости

Петер Хандке

АВСТРИЯ

В немецкоязычной, а может быть, и во всей западной литературе наших дней трудно найти более сенсационное имя, чем Петер Хандке[1]. *Молодой австриец заинтриговал мир, когда в 1967 году явился в американский город Принстон, где проходило выездное заседание западногерманской «Группы 47», и, не обинуясь, обвинил маститых и признанных в творческом бесплодии и ненужности своему времени. Тогда же многие сцены обошла скандальная пьеса Хандке «Поругание публики», действие которой сводилось к тому, что на авансцену выходили актеры и на чем свет стоит крыли чинных завсегдатаев респектабельных европейских театров. Все это напоминало выходки футуристов, из которых, как известно, одни так и исчерпали себя в подобных акциях, другие «проработались» со временем в настоящую литературу. «Футурум» Петера Хандке оставался гадательным.*

Но когда в 1970 году появилась повесть «Страх вратаря при одиннадцатиметровом», выяснилось, что юный автор умеет не только эффектно хулиганить. После выхода в свет повести «Несчастье без желаний» (1972) критический ропот сменился на аплодисменты. А повести «Короткое письмо перед долгим прощанием» (1972), «Час истинного ощущения» (1975) и «Женщина-левша» (1976) окончательно закрепили за Хандке репутацию мастера.

И вот Петер Хандке в гостях у «Иностранной литературы». Длинноволосый, подчеркнуто независимый в манерах, он, кажется, внешне остался в образе 1967 года. Однако, неосторожно начав разговор с его «авангардистского» прошлого, мы натыкаемся на решительный отпор.

— Я не считаю себя авангардистом. И никогда им не был. «Поругание публики» — эпизод, как, впрочем, и вся моя работа для театра. Это скорее «освободительная» психологическая акция, важная для меня как человека, а не как писателя. Я всегда ощущал себя прежде всего прозаиком. Уже тогда, кстати, был опубликован мой первый роман «Шершни» — самая «толстая» моя книга, да и, пожалуй, одна из самых любимых. В нее вошли впечатления детства, которое я провел в деревушке на юге Каринтии, близ югославской границы.

[1] О творчестве П. Хандке см. рецензию Н. Павловой в «ИЛ» № 6, 1978 г.

Правда, вошли, так сказать, в зашифрованном виде, книга вышла довольно неуклюжей, читать ее трудно. Я потом многое прояснил в «Несчастье без желаний», где описываются те же места, обычаи, события, та же жизнь. Но в ней я стремился быть понятнее, писал, как мне кажется, проще.

Много ли вообще автобиографического в произведениях Хандке?

— Личного опыта, конечно, много, хотя трудно сказать, где и как он проявляется в прозе. Вообще говоря, авторское Я должно чувствоваться за каждой фразой, иначе фраза недостоверна. Иначе прозу могли бы писать и машины. Но это не значит, что авторское Я должно выпирать, вовсе нет. Идеальной была бы проза, где Я развито до такой степени, что полностью растворялось бы в объективной материи. Такая проза в немецкой литературе существует разве что у Гёте — в «Избирательном сродстве».

У Петера Хандке слава парадоксалиста. Он подтверждает ее и в беседе с нами — и не только тем, что — признанный «авангардист» — хвалит Гёте, но и в дальнейших своих рассуждениях. И хотя мы не можем согласиться с ним во всем, беседовать с ним, слушать его интересно.

— Что является для вас критерием настоящей литературы?

— Язык. Художественная речь. Такая, которая не пользуется случайно подвернувшимися готовыми формами, но с максимальной точностью реконструирует пережитое. И в то же время стремится к типизации ощущений. Но язык на каждом шагу расставляет ловушки, соблазняет предательскими подсказками, навязывает готовые рецепты, стереотипы, пытаясь заставить автора говорить о том, чего он на самом деле не испытал, но о чем п р и н я т о говорить. В таком случае язык перестает быть адекватным выражением бесконечно сложной и противоречивой, но настоящей жизни, а становится слугой какой-либо рациональной конструкции. Это приводит к созданию в литературе самодовлеющих систем.

Сейчас на Западе немало писателей, которые берут готовые формы у Брехта, не пройдя его путь сомнений, его школу мысли. В результате они занимаются механическим перевертыванием слов, хотя думают, что наследуют его диалектику. А тот, кто просто прячет все свои сомнения и противоречия в готовую форму, тот для меня не писатель, а карманный вор.

Это воровство — не друг у друга, а, так сказать, из общего кармана, у языка — чрезвычайно распространено в литературе. Уверен, что оно зиждется на сознательном обмане — обманом я называю бегство в готовую форму. Знаю это по себе. Были ведь и в моей практике случаи, когда я обманывал. Например, повесть «Короткое письмо перед долгим прощанием» я должен был кончить намного раньше, просто обязан был оборвать ее на полуслове — в тот момент, когда я высказал всю правду и исчерпал, не знал, что писать дальше. Но я воспользовался расхожими литературными формами и приделал искусственный конец. К сожалению, этим грешат не только маленькие писатели. Например, Роберт Музиль — виртуознейший мастер описания того, чего просто нет. Но вот Фолкнер для меня — образец писателя, не прибегающего к обману.

Реже лгут поэты — настоящие поэты, конечно. Лирика рождается, по-моему, от потрясения, от спрессованного переживания. Кристиан Вагнер, швабский народный поэт конца прошлого века, вдруг начал писать стихи, потеряв любимую жену и четверых детей. В таких случаях невозможно лгать. Но поэты и пишут меньше. А проза — это работа, ремесло.

Не знаю, может быть, это ненаучное представление, но эпос в моих глазах возникает из чувства вины. Поэт может писать стихи, не нуждаясь в самооправдании. Полностью невиновный человек никогда не стал бы писать прозу. Поэтому — в бытовом проявлении — поэты «витийствуют», а прозаики ведут себя тише, скромнее — чувствуя за собой вину. Но это уж моя собственная теория.

— Какие проблемы в духовной жизни современной Австрии кажутся вам главными?

— Может быть, то,— говорит наш гость после долгого раздумья,— что духовной жизни не существует вовсе? Причем не только в Австрии, в которой я, кстати, давно не живу, но и во всех других странах, которые я хорошо знаю. Всюду чувствуешь, что люди чудовищно одиноки, растерянны, покинуты. Образовался какой-то единый телевизионный мир, Австрия в нем не исключение. Мир, в котором люди в течение дня исполняют то, что вечером приказывает им телевидение. На каждом шагу можно видеть, как ломаются из-за этого людские жизни, в провинции особенно. И я не знаю в этих странах никакого духовного движения, которое сплачивало бы людей какой-либо практической надеждой. Царит атмосфера какой-то всеобщей истерической взвинченности, в которой утрачена общая связь,— так мне по крайней мере представляется. Думаю, что последняя моя книга — «Вес мира» — как раз свидетельство такой всеобщей разъединенности, даже формально она состоит, по существу, из отдельных, как бы выброшенных в мир предложений и мыслей, отражающих эту неуверенность, изолированность. Поэтому я думаю, что эта книга особого жанра, отличного от распространенной традиции дневника писателя, известной, например, по книгам Геббеля, Кафки, Валери. Это вовсе не вечерние записи об увиденном и пережитом за день, о состоявшихся разговорах, пришедших в голову мыслях, планах и так далее, как, например, «Дневник» Макса Фриша. Я стремился сразу же, на месте фиксировать само зарождение образа или мысли, первоначальный импульс, стараясь быть максимально точным и честным. По-

лучившаяся книга, таким образом,— что-то вроде репортажа о себе самом, причем я надеюсь, что в ней достаточно сказано и о времени.

— Оказывает ли влияние на язык ваших произведений то обстоятельство, что вы живете во Франции?

— Нет, никакого. Думаю и пишу я только по-немецки. Всевозможные модные иностранные словечки, которые время от времени просачиваются в современную немецкую речь, меня не интересуют. Материал писателя — «вечный» язык, его нужно найти, открыть в себе. Меня иногда упрекают в использовании «устаревших» слов, якобы вышедших из употребления. По-моему, это необоснованные упреки. Употреблять можно любые слова, лишь бы они были пережиты.

— Какое значение имела для вас русская литература?

— Огромное. Был период, когда я попросту жил в ней — не в Австрии, не в каринтийской деревушке, а в русской литературе. Горький, Достоевский и Чехов сформировали мой мир, меня самого. В отрочестве настоящим событием был Горький. Благодаря ему, особенно его ранним рассказам, я избавился от комплекса социальной неполноценности. Я ведь рос в рабочей семье и болезненно завидовал детям, скажем, врачей или чиновников, мне иногда до боли стыдно было признаться, что мой отец простой шофер. Я чувствовал себя парией. Горький помог мне избавиться от всего этого, пробудил во мне самосознание, уверенность в себе. Повесть «Трое» на всю жизнь осталась для меня одной из важнейших книг.

Потом, в юности, пришло время потрясений от Достоевского. Сейчас мой идеал — Чехов. Я бы хотел писать, как он,— свободно, естественно, не насилуя форму, не драматизируя, неброско и точно. Чехов привлекателен для меня еще и тем, что он далек от истерии, в которой я вижу большую опасность. Чехов — спокойный эпик. Может быть, это следствие того, что у него была другая профессия, что он был врач.

— Как вы оцениваете современное состояние австрийской литературы?

— На мой взгляд, за последние годы австрийская литература вновь выдвинулась на первое место внутри немецкоязычного региона. Особенно это заметно в прозе. Рабочий роман, например, распространен везде, но нигде он не достигает такой художественной зрелости, как у Франца Иннерхофера или Гернота Вольфгрубера. По-настоящему большая литература — то, что пишет Томас Бернгард. Особенно два его первых романа — «Стужа» и «Помешательство». В последних вещах, составивших автобиографическую трилогию, он, на мой вкус, несколько манерничает, демонстрирует мастерство. В последней книге Барбары Фришмут, романе «Мистификации Софии Зильбер», также несколько нарушено равновесие между правдой, реальностью и фантазией, вымыслом. Лучшее у этой писательницы, по-моему,— рассказы о женской судьбе. Из поэтов я бы назвал Михаэля Гуттенбруннера, хотя он и мало пишет в последнее время. Из драматургов — Вольфганга Бауэра и Петера Туррини.

— Над чем работаете сейчас вы?

— Над большим романом. Тема — человек и природа, но не в смысле охраны природы, а в более широком, космическом смысле. Главный герой будет геобиофилософом. Собирая материал, я уже побывал в Гренландии и на Аляске.

Спрашиваем писателя, знаком ли он с трудами выдающегося советского биофизика В. И. Вернадского, разрабатывающего интересующую его *проблематику.*

— О, в самом деле? Запишите мне, пожалуйста, это имя, обязательно почитаю.— И Петер Хандке привычным жестом извлекает записную книжку.— Не расстаюсь с ней, верю в это старое слово «вдохновение», знаю состояние, которое им обозначается. Но я не жду вдохновения, я работаю. Каждый день. Постоянно вношу что-нибудь в свою книжку, что потом может пригодиться в работе.

Мы подробно знакомим гостя с тематикой журнала, говорим, в частности, об анкете, которую «Иностранная литература» распространяет среди зарубежных писателей в связи с нависшей над миром опасностью, воплощенной в нейтронной бомбе. Не хочет ли и Петер Хандке сказать несколько слов о своей позиции?

Писатель надолго задумывается, медленно подбирает слова:

— Я зарекся делать прямые политические заявления. Не хочу бросать на ветер слова. Думая о таких вещах, как нейтронная бомба, я особенно остро испытываю чувство бессилия. Но это не безнадежное чувство. Оно заставляет меня духовно сконцентрироваться, мобилизоваться. Да, вот так бы я и сказал: существование таких вещей, как нейтронная бомба, заставляет меня напряженнее работать, лучше писать.

Ю. АРХИПОВ

◆

Среди книг

Издано в СССР

ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

ПОЭТИЧЕСКАЯ ЛЕТОПИСЬ

Весна человечества. Советские и болгарские поэты об Октябре. Москва, «Прогресс», 1977.
Пролетта на човечеството. Съветски и български поети за Октомври. София, Партиздат, 1977.

Октябрь родил не только новую эпоху, но и новую поэзию. Все большие поэты, обладавшие даром видеть будущее, приветствовали революцию. Навряд ли найдется у нас и в Советском Союзе поэт, который не вдохновился бы подвигом людей, отдавших свою жизнь за установление нового, более справедливого порядка в мире.

Болгарское издательство «Партиздат» и советское «Прогресс» выпустили том стихов наших и русских поэтов, навеянных революцией. Цель составителей — Алексея Собковича, Андрея Германова, Васила Колевского и Льва Озерова — показать, как передается из поколения в поколение эстафета творческого огня, верности высоким идеалам, завещанным тысячами известных и неизвестных борцов. Не случайно в предисловии цитируется Александр Блок: «...Всем телом, всем сердцем, всем сознанием слушайте Революцию». У этого издания есть и еще одно достоинство: в нем показано, как советская поэзия влияла на болгарскую, как великие русские творцы вдохновляли болгарских собратьев.

В книге два раздела. В первый включены стихи советских поэтов и их переводы на болгарский язык, во второй — стихи наших поэтов и соответственно их переводы на русский. Следует отметить высокие идейно-эстетические критерии, которыми руководствовались составители, детально знающие общий литературный процесс послереволюционного периода у нас и и России. Подобную антологию невозможно себе представить без имен Блока, Маяковского, Есенина, Тихонова и Твардовского, Симонова и Вознесенского. В книге представлены и такие поэты, как Ахматова, Пастернак, Заболоцкий, Мартынов,— авторы, тяготеющие к философскому началу в поэзии, к углубленным размышлениям, доказывающие своим творчеством, что ни один большой художник не может остаться в стороне от проблем своего времени, от всеобщего подъема.

Болгарские поэты представлены нашими самыми лучшими современными мастерами слова — начиная от Крума Кюлявкова и кончая Георгием Константиновым. Их песни вдохновлены Октябрем и новой жизнью в Стране Советов. Это «Северное сияние» Смирненского и «Петроград» Ясенова, «Россия» Эмануила Попдимитрова и «Ленин» Людмила Стоянова, стихи Христо Радевского, Доры Габе, Елисаветы Багряны, Божидара Божилова, Александра Герова, Младена Исаева, Благи Димитровой, Николы Фурнаджиева, Георгия Джагарова, Ивана Давидкова, Веселина Ханчева и еще целого ряда талантливых болгарских поэтов.

О торжественном характере издания говорят и эпиграфы — слова В. И. Ленина и Л. И. Брежнева, Георгия Димитрова и Тодора Живкова, открывающие оба раздела.

«Весна человечества» — книга, изданная на двух языках. Это делает ее уникальной, если учесть, что до сих пор у нас такие издания — редкость. А' двуязычность является первым испытанием для поэтиче-

ского перевода. Перевод советской поэзии у нас имеет давние традиции. Можно даже сказать, что он имеет свою историю, потому что перевод поэзии от начала века до сегодняшнего дня претерпел значительные изменения. Со времени первого опыта полнее представить русскую советскую поэзию нашему читателю, предпринятого Христо Радевским в тридцатые годы, изданы десятки сборников советских поэтов, преодолены слабости, достигнуты успехи. Использованы и старые переводы, уже получившие признание у читателей. В книге мы встретим имена Младена Исаева, Христо Радевского, Елисаветы Багряны, Ангела Тодорова, Димитра Методиева, Никола Инджова, Марко Ганчева и других.

Среди переводчиков нашей поэзии мы увидим поэтов Владимира Луговского, Михаила Зенкевича, Олега Шестинского и Льва Озерова. Большая часть стихов, однако, переведена переводчиками-профессионалами. В отличие от Болгарии, где переводами поэзии занимаются преимущественно сами поэты, в Советском Союзе, по традиции, переводчики — люди, решившие полностью отдать талант и силы этому трудному и благородному искусству. Мы не ставим своей целью — это и невозможно в данном случае — проанализировать переводы, включенные в антологию. Бесспорно, что редакторы обеих стран приложили максимальные усилия, чтобы книга удалась. Высокая требовательность при подборе уже готовых переводов и поручение новых талантливым переводчикам помогли им справиться со своей задачей.

«Весна человечества», вышла в честь 60-летия Великого Октября. Цель этого издания лучше всего выражена в предисловии к нему: «Преподнести читателям хотя бы часть поэтической летописи двух братских народов, посвященную революции,— такова задача настоящей антологии. Ее название вплетается в стихи ряда советских и болгарских поэтов — Маяковского, Багрицкого, П. Пенева... Весна человечества — это новое социалистическое общество, рожденное революцией»

КИРИЛ КАДИЙСКИЙ
(«Пламя»)

НАШЕ РУКОПОЖАТИЕ

Рукопожатие. Сборник. Составитель А. Медников. Вступительное слово С. Сартакова. Переводы с венгерского О. Громова. Москва, «Московский рабочий», 1977.

Kézfogás. Budapest, "Kossuth", 1977.

Сегодняшний мир весь в разъездах и движении. Не остаются в стороне от этого процесса и писатели. И они, естественно, стремятся увековечить, сделать всеобщим достоянием свои впечатления, приобретенные в зарубежных поездках, способствовать взаимному знакомству и узнаванию народов. Этой же цели служит и сборник «Рукопожатие», выпущенный совместно венгерским издательством «Кошут» и советским издательством «Московский рабочий».

Книга эта — необычная в нашей издательской практике, ее цель — взглянуть глазами венгерских и советских писателей на жизнь, на действительность обеих наших стран. Появление подобной книги могло стать возможным лишь благодаря тому творческому содружеству, которое существует между двумя нашими литературами вот уже тридцать два года и которое проявляется как в форме организованных контактов между союзами, так и в форме личных дружеских связей. Об этом говорит в своем предисловии к книге секретарь правления Союза писателей СССР Сергей Сартаков.

Первая станция на пути открытий, сделанных венгерскими писателями, — Москва. Наш проводник Габор Гараи сначала дает нам почувствовать атмосферу города, его особый настрой, а потом заводит речь о том, что живо интересует всех нас: на примере одной из столиц мира, многомиллионного города, он исследует, как формируются и развиваются социалистические образ жизни и образ мышления. Петер Секулить, погрузившись в вихрь будней, пытается разгадать тайны будничной рабочей Москвы. Иного плана мысли, воспоминания пробуждает Будапешт в участниках его освобождения — Александре Кривицком и известном переводчике нашей литературы Олеге Громове. Живое биение пульса жизни восьмимиллионной советской столицы чувствуется в очерке Амбруша Бора: гуляя по улицам нового жилого квартала, он старается понять, как осуществилось здесь в процессе общественного сосуществования личное счастье. То же самое пытается выяснить в Будапеште, демонстрируя при этом лучшие качества русской литературной публицистики, очерка, советский составитель книги Анатолий Медников; его манера письма — емкая и точная. А его товарищ по перу, Абрам Старков, больше тяготеет к беллетристике: он прослеживает судьбу осиротевших в дни боев за Будапешт детей, которые с помощью тогдашнего коменданта города, генерала Замерцева, снова обрели родной дом; Старков рисует живые, привлекательные образы активных участников борьбы в период после Освобождения. С «легендами о метро» знакомит нас очерк Эрне Гондоша, достойно представляющий нашу литературную публицистику. С непринужденным, наполненным впечатлениями рассказом о Чепеле выступает Виктор Стариков; его путевые заметки, отражающие свежее и непосредственное восприятие, удачно воссоздают атмосферу рабочих кварталов нашей столицы.

Для значительной части венгерских читателей — сколько бы ни делали для расширения их кругозора печать, радио и телевидение — Советский Союз и поныне «ограничен», в первую очередь, его централь-

ной частью (территорией Российской Федерации). Отрадно, что, листая книгу, можно заглянуть и в более отдаленные районы СССР, познакомиться с жизнью их народов. Дьёрдь Тимар Жомбок знакомит наших читателей с Узбекистаном, Ташкентом; Жужа Раб, побывав в Азербайджане, ведет репортаж из этой «страны огня».

В издании на венгерском языке Антал Вег делится своими впечатлениями о Грузии и Армении; сравнивая и сопоставляя, он примеривается к ним меркой сабольчского крестьянина. А Денешу Кишу казахстанская каменистая целина навевает мысли о вековой борьбе человека со стихией. Эти параллели, приобретенные в поездках впечатления и опыт, их увязка с явлениями и приметами нашей венгерской действительности делают книгу по-настоящему интересной и увлекательной.

Возможно, мы все же закрыли бы книгу с ощущением, что чего-то нам все-таки недостает, если бы не нашлось в ней места и для личных характеристик, портретных набросков, которые один художник посвящает другому, рассказывает об общих чертах в культуре, искусстве и науке. Переводчик Имре Макаи приглашает нас в шолоховские края, а Пал Э. Фехер ведет интересный разговор о дружбе венгерских и советских писателей, рожденной в процессе творчества; то же самое делает в своем эссе и Леонид Мартынов, вдохновенный переводчик нашей поэзии. С добрым чувством, более того, с ощущением законной гордости читаем мы три эссе, завершающие сборник, — ведь написанные пером «посторонних», они со всей объективностью доказывают: в обмене духовными ценностями мы можем не только получать, но и давать; мы имеем здесь в виду задушевные, проникнутые уважением строки Саввы Дангулова о Ласло Немете, воспоминания Сергея Залыгина о Йожефе Дарваше и портреты венгерских ученых, созданные Ириной Радунской. Книга, объемом всего в двенадцать авторских листов, привлекает своей многоцветностью: о наших странах рассказывают прозаик и поэт, публицист, переводчик и критик. И главный экзамен — то, как примет книгу читатель, — несомненно подтвердит, что подобные совместные начинания имеют и смысл и будущее.

ИВАН ФЕЛЬДЕАК
(«Элет эш иродалом»)

О ВОЗМОЖНОСТЯХ РЕАЛИЗМА

Бертольт Брехт о литературе. Составление, переводы и примечания Е. Кацевой. Вступительная статья Е. Книпович. Москва, «Художественная литература», 1977.

Сборник «Бертольт Брехт о литературе» содержит статьи и записи драматурга, в большинстве своем нашему читателю неизвестные. Дело не только в том, что заключительные тома собрания сочинений Брехта, выпущенного издательством «Искусство», посвящены прежде всего проблемам театра. Многое из вошедшего в книгу, в том числе «Рабочий дневник» писателя, не публиковалось и по-немецки и лишь недавно извлечено из брехтовского архива. В новой книге есть цельность замысла — это несомненная заслуга составителя и переводчика.

В сборнике есть и разделы, посвященные изобразительному искусству, фотографии, радио. И все-таки главный интерес сосредоточен на литературе. При этом размышления Брехта о современном романе, на мой взгляд, яснее очерчивают утверждавшийся им тип реализма, чем широко известная, но ограниченная своим предметом теория «эпического театра».

Первые заметки Брехта, вошедшие в книгу, относятся к началу 20-х годов. В них много того, что принято называть молодым задором, но что подчас заслуживало бы обозначения и более резкого. Составитель не опустил многочисленных наскоков бурно начинавшего Брехта на маститого Томаса Манна, не опустил, надо полагать, не ради их скандализирующего остроумия, а ради отразившейся в них позиции молодого художника. В начале своего пути Брехт был недоволен многим в состоянии современного ему реализма. В «Волшебной горе» Т. Манна — романе, до конца жизни вызывавшем у него неприязнь, — его раздражало не только «утонченно филигранное словесное искусство», но и, как он не раз подчеркивал, отстраненность от механизмов социальной действительности, дистиллированность самого сюжета, сосредоточенного на судьбах нескольких десятков легочных больных. Всю жизнь Брехт не замечал или не хотел замечать полного смысла этого политического и философского произведения. От литературы он требовал иного соответствия жизни. В 20-е годы он, например, хотел, чтобы искусство, даже такие его малые формы, как лирическое стихотворение, обладало ценностью документа.

Читателю, ознакомившемуся с некоторыми категорическими императивами молодого Брехта, поневоле начинает казаться, что этот теоретик должен был бы, перейдя к творчеству, начать писать сугубо натуралистично. Интерес к «материалу», требование документальной точности как будто бы никак не вяжутся с тем общеизвестным фактом, что не только Т. Манн, но сам Брехт создавали в эти и последующие годы произведения, изображавшие действительность отстраненно, в условной, дистиллированной форме художественной параболы. Отстранением от действительности была его пьеса-притча «Что тот солдат, что этот» (1927), в которой на глазах у зрителя происходило стремительное превращение бескорыстного бедняка Гэли Гэя в же-

стокого солдата английских колониальных войск. Обработка сознания, приобретшая массовый характер в Германии конца 20-х годов, была показана не в жизнеподобных формах, а укрупненно, с той же макетной наглядностью, с какой на сцене сооружали из досок и драной материи муляж слона взамен живого, украденного. Подобное отстранение от действительности характерно и для знаменитых поздних пьес Брехта — «Добрый человек из Сезуана», «Кавказский меловой круг» и других.

В ряде исследований (в частности, в статьях В. Днепрова) уже проскальзывало сравнение романной техники Т. Манна с драматической техникой Брехта. Рецензируемый сборник открывает читателю дополнительные основания для таких сопоставлений. Брехт безусловно близок Томасу Манну в склонности к изображению действительности, рассмотренной как бы со стороны, с помощью «эффекта очуждения». Манновская ирония, вызывавшая раздражение у Брехта своей утонченностью, несомненно, выполняла сходную функцию с брехтовским юмором, не позволяющим, как писал драматург еще в начале 20-х годов, со зверской серьезностью погружаться в материал. «Юмор, — определял Брехт в заметке «О немецкой литературе», — это чувство дистанции». В немецкой литературе оба писателя представляли то могучее ответвление реализма XX века, законом которого было неполное совпадение между материалом (санаторий для легочных больных в «Волшебной горе») и собственно предметом изображения (кризис буржуазного мира в первые десятилетия XX века).

Но в чем же тогда причина неприязни Брехта к творчеству Т. Манна? В чем состоит принципиальное несовпадение представляемых этими двумя художниками типов творчества? Причина, очевидно, не только в различной политической ориентации, хотя разница между умеренным демократизмом Томаса Манна и с годами укреплявшейся марксистской позицией Брехта в обоих случаях прямо влияла на характер художественного творчества.

В размышлениях Брехта о литературе Т. Манну посвящено не так уж много места. Но огромное место занимает определение и обдумывание типа собственного творчества, творчества полемического не только по отношению к великим образцам классического реализма (Бальзак, Толстой), но и к иным вариантам реализма XX века.

В статьях Брехта о литературе говорится, по аналогии с его статьями о театре, об аристотелевском и неаристотелевском романе (заметка конца 20-х годов «Об аристотелевском романе»). Но суть дела проступает гораздо яснее, когда Брехт пишет о жанре, к которому сам он имел отношение лишь как заинтересованный читатель. В эссе «О популярности детективного романа» детектив рассмотрен с несколько необычной стороны. «*Свой жизненный опыт*,— пишет Брехт,— *мы получаем в условиях катастроф*. На материале катастроф нам приходится познавать способ, каким функционирует наша общественная совместная жизнь. Размышляя, должны раскрыть «inside story» кризисов, депрессий, революций и войн. Уже при чтении газет (но также и отчетов, извещений об увольнении, мобилизационных повесток и так далее) мы чувствуем, что кто-то что-то сделал, дабы произошла явная катастрофа. Что же и кто сделал? За событиями, о которых нам сообщают, мы предполагаем другие события, о которых нам не сообщается. Они и есть *подлинные* события». Детективный жанр, развивает свою мысль Брехт, сосредоточен на исследовании причинности. Ее истоки — не в субъективной психологии, а в социальной действительности. Рассуждая о детективном жанре, Брехт отмечает в нем некоторые совпадения с эстетикой «эпического искусства». Он констатирует, например, что детективный роман сосредоточен каждый раз на исследовании отграниченного отрезка жизни (вспомним принципиальную самостоятельность каждой сцены в эпической драматургии). Но неожиданная близость детективного жанра собственному творчеству ощущалась Брехтом и в моментах гораздо более существенных, хотя, конечно, о сходстве и близости здесь можно говорить лишь весьма осторожно. В детективном жанре Брехт видит один из вариантов творчества, сосредоточенного, как он выражался, не на субъективной, а на объективной психологии, на исследовании зависимостей человека от механизма причинности и его связей с внешней, социальной действительностью.

Подобного рода зависимость властно определяла искусство самого Брехта. «Натуралистический» интерес к материалу не означал для него отражения жизни в достоверных деталях и подробностях. Как и Томас Манн, Брехт предпочитает «игру» с материалом, разные формы художественной условности. Но предмет изображения, средоточие интереса для них принципиально различны.

Главной своей жизненной задачей как художника Брехт, несомненно, считал «дойти до сути социальной причинности». «Материал» весомо присутствовал в его творчестве в преображенном и проясненном виде — как высвеченные в произведении и представленные на размышление читателей и зрителей социальные законы, управляющие поведением человека. Борьба Брехта за новые формы реализма была связана с модификацией этих законов в действительности XX века. «Я не говорю, — писал Брехт, обращаясь к молодым художникам, — что старые мастера работали плохо или не выполняли своей задачи. Я только думаю, что они выполнили свою задачу столь полно, что вам должно быть стыдно искать все время иные ответы на старые вопросы, вместо того чтобы ставить новые вопросы». «Новые вопросы» фокусировались в новом характере взаимодействия че-

ловека с механизмами угнетения в XX веке.

Выступая в 30-х годах против ориентации на классику и реализм типа бальзаковского или толстовского, Брехт имел в виду прежде всего то, что в современной капиталистической действительности отдельный человек перестал быть центром совершающихся вокруг него событий — даже тогда, когда это события сугубо личные. «Бальзак, — полагал Брехт, — писал в мире, в высшей степени отличном от нашего». Суть не только в изменившемся сознании современного человека, привыкшего синхронно воспринимать разные события, смело абстрагировать, соотносить и комбинировать как будто несоприкасающиеся детали — суть в иной степени социальной зависимости человека, в омассовлении, в обезличивании. «Писатель, — утверждал Брехт, — который стремился бы только к тому, чтобы «оценивать» людей «иначе», чем это делают капиталисты, и потому показывал бы их «всесторонними», «гармоничными», «душевно богатыми», формировал бы «всесторонних» людей только на бумаге...» («Замечания по поводу формализма»). Он был против того, чтобы изображать жизнь «в ее полноте», «со всеми оттенками, широко», «так, как Толстой» или «в точности, как Бальзак» по не лишенному оснований соображению, что подобной жизни для большинства не было. По той же причине он был противником романов, нагромождавших всевозможные конфликты личного характера в длинных, обстоятельно расписанных сценах с интерьерами.

По главному устремлению, «типу» своего творчества Брехт, несомненно, был антипсихологистом. Суть интереса состояла для него в прояснении зависимостей человека от «внешней» действительности.

Сборник вводит много деталей для размышлений читателя об эстетической концепции драматурга. В 1940 году Брехт утверждал, например, что реалистическими, или во всяком случае реалистическими с его точки зрения, не являются романы Достоевского: великий русский писатель не подчеркивал общественную обусловленность поступков своих героев. «Побудительная причина действия персонажа романа или пьесы показана реалистически тогда, — полагал Брехт, — когда ясно, что другая побудительная причина привела бы к другому действию и никакая другая причина не привела бы к такому же действию». Трепетная суть романов Достоевского (так же, как, кстати сказать, и Т. Манна) — возможность разного действия под влиянием одних и тех же внешних и внутренних побудительных причин, а конкретнее говоря, отброшенный прочь или опущенный на голову старика пестик Мити Карамазова — не интересовала, если верить приведенному высказыванию, Бертольта Брехта.

На самом деле это было, конечно, далеко не так просто. Невозможность или возможность разных поступков под влиянием одних и тех же социальных обстоятельств — жгучая проблема творчества Брехта уже начиная с 20-х годов. В пьесе «Святая Иоанна скотобоен» с безжалостной точностью изображена жена погибшего на производстве рабочего, отказавшаяся за десять даровых обедов от попытки узнать, что стало с ее мужем: нелегко сохранить человечность, когда мучает голод. Но в той же и других брехтовских пьесах («Мамаша Кураж», «Жизнь Галилея» и т. д.), воплощенная или не воплощенная в сюжете, перед зрителями маячит возможность разных решений героев и, соответственно, разных судеб. Социальная обусловленность поступков и самого характера человека занимает в творчестве Брехта действительно первостепенное место. Но эта обусловленность не фатальна.

Статьи Брехта дают много поводов для размышлений об отношении драматурга к модернизму. Этот писатель, несомненно, интересовался произведениями, выразительно показавшими зависимое и подавленное положение человека в современной действительности. На страницах книги встречаются высокие оценки творчества Джойса и Кафки, художника-экспрессиониста Фр. Марка и М. Шагала. Технику многих из этих писателей и художников он считал плодотворной для своей работы. Сам он, однако, не считал названную зависимость слепым роком, полагая, что она должна быть прояснена и объяснена — в том числе и художественным творчеством. «Именно социалистические писатели, — утверждал Брехт, — могут познакомиться по этим документам с элементами пенной высокоразвитой техники: они видят выход».

Книга «Брехт о литературе» — не собрание известных цитат и отточенных афоризмов писателя, еще при жизни признанного классиком литературы XX века. Она показывает Брехта в нелегкой борьбе за свою дорогу в искусстве, открывшую новые возможности современному реализму.

Н. ПАВЛОВА

«РОЖДАЕМСЯ НА ЗЕМЛЕ...»

Токутоми Рока. Избранное. Перевод с японского, составление, вступительная статья и примечания Е. Пинус. Ленинград, «Художественная литература», 1978.

Жизнь Токутоми Рока (1868—1927), вместившая в себя бурный, насыщенный событиями период истории Японии, поражает масштабностью и подлинным драматизмом личной судьбы. Ему была дарована прижизненная слава, но закат его был одинок и печален, он

ушел из жизни незаметно, окруженный лишь немногими не покинувшими его людьми. В юности он принял христианство, а познакомившись с нравственной проповедью Толстого, стал поклоняться ему, следовать его учению. Совершив паломничество в Иерусалим и Ясную Поляну, он переселился в деревню, чтобы жить крестьянским трудом, почти тридцать лет он сохранял верность толстовским идеям. Но в дальнейшем он отказался от них так же бескомпромиссно, как прежде исповедовал их. Суждено ему было пережить и разрыв с любимым братом, и крушение иадежд юности.

Токутоми Рока, признанный мастер японской литературы, классик чье место определилось давно и прочно, сегодня почти неизвестен за пределами своей страны. Это тем более удивительно, что литературный дебют — роман «Кукушка» (1899), принесший Токутоми неслыханный успех, вскоре после выхода в свет в Токио читали в Петербурге, Париже, Барселоне, Хельсинки, Милане. Пожалуи, ни один из японских писателей, современников Рока, не мог похвастать ничем подобным. Однако впоследствии из множества произведений Токутоми Рока лишь два-три были переведены на иностранные языки. Русский читатель мог познакомиться с фрагментами из книги «Природа и человек» («Восточный альманах», 1957), в том же году появился на русском языке и роман «Куросиво» в превосходном переводе И. Львовой.

И вот — том «Избранного». Волей составителя в книгу включены произведения из двух широкоизвестных сборников «Природа и человек» и «Бормотанье земляного червячка», разделенных по времени написания более чем десятилетием. Соединение этих двух сборников в одной книге удачно, так же как и ракурс рассмотрения творчества писателя, предложенный Е. Пинус в предисловии «Токутоми — художиик природы».

Действительно, при том, что круг интересов писателя необычайно широк, показ действительности многогранен, жанровое разнообразие его творчества велико, тема природы для Токутоми остается неизменной. Казалось бы, в этом нет ничего необычного — вспомним многовековую японскую литературную градицию с ее постоянной обращенностью к природе. Но, отдавая дань смене времен года, видам Фудзи, осеиней луне, хоизантеме, крику журавля, цветам сливы, Токутоми выходит и за пределы канона. У него явственно ощущается сопряженность природы с человеком: «В конце концов человек — это одно из воплошений земли». Мы с трудом найдем в зарисовках Токутоми пейзаж, в котором не присутствовал бы человек. Человек — в авторском «я»: «Однажды осенью — был конец октября — я сидел на камне у речки Каноматагава...»; «Мне захотелось полюбоваться осенью на Усуи», «Дождь, барабанивший по моему зонтику в Икахо, прекратился, когда я дошел до реки Сибугава». Автор постоянно обращается к воображаемому собеседнику: «Приходилось ли вам видеть, как после дождя все вокруг сверкает в солнечных лучах?»; «Встаньте, хотя бы на побережье в Дзуси, после шести часов утра и смотрите»; «Случалось ли вам когда-нибудь тихой иочью прислушаться к звукам сямисэна бродячих музыкантов?»

Но главное — это постоянное присутствие почти в каждой картине природы человека с орудиями и плодами его труда. Рыбачьи лодки, возделанные рисовые поля, тутовые плантации и даже прозаические бочки для удобрений на полях — Токутоми любит эти приметы обжитости земли. Земля! Вот тот образ, которому писатель остается верным всю свою жизнь. «Рождаемся на эемле, живем, питаясь тем, что рождает земля, и по смерти в землю же и отходим» — эти слова Токутоми могли бы служить эпиграфом ко всему, что им создано. Гими земле звучит в эссе «Земледелие»: «Поистине велико твое милосердие, земля! Какова бы ни была грязь — не случается, чтобы ты не впитала ее. Каков бы ни был преступник — не бывает, чтобы ты лишила его пропитания. Каким бы иизким ни было человеческое существо — ты позволишь ему жить на твоем лоне. Каким бы неудачливым ни был полководец, на твоей груди он всегда может похоронить горечь своих поражений. Каким бы иесчастным ни был поэт — и он может отдать тебе свою тоску. И бродяга, уставший в скитаниях, не знающий, куда ему идти, прильнув к тебе, может найти успокоение».

Другой излюбленный образ — вода. Токутоми — непревэойденный певец воды. Вспомним его эссе: «Потоки в безлюдных горах», «Лунная ночь», «Лужица под карнизом», «Шум реки на Усуи», «За водой», «Осениий рассвет на Тонэ», «Три дня облаков на Кодзан», «Большая река». В автобиографическом романе «Летопись воспоминаний» Токутоми пишет: «На моей родине почти не пользуются колодезной водой. Чистая вода непрерывно бьет ключом в родниках с окрестных гор. Родники образуют маленькие потоки, они сливаются в реки, где плавает форель. Куда ни пойдешь, повсюду слышится сэн-кан, со-со, ся-ся, кон-кон... И та вода, которую из придорожных канав пьют лошади, и та в ручьях перед домами, в которой женщины полощут белье, и та, которую месят лопасти мельницы на реке Тагава,— всикая вода у нас воистину прохладна, как вода, и прозрачна, как капля»[1]. Горькая ирония заключается в том, что река Минамата, давшая название деревне, в которой родился Рока, ныне печально известна по всей Японии: ее воды несут с собой «болезнь Минамата» — хроническое отравление организма ртутью в результате загрязнения воды промышленными отходами. Токутоми Рока словно предчувствовал опасность, грозящую его родной земле, когда

[1] Перевод автора статьи *(прим. ред.)*.

так страстно стремился пробудить любовь к ней, показывая ее несказанную красоту. Призыв беречь землю, воду, деревья и травы — словом, все то, что сегодня принято именовать «окружающей средой», звучит у Токутоми отчетливо. Тревога писателя созвучна нашему времени — не напоминает ли это еще раз о том, что чуткое ухо художника часто улавливает гул надвигающейся катастрофы еще тогда, когда остальные пребывают в безмятежности?

Неблагополучие, которое ощущает Токутоми в природе, исходит от людей, от общества. «Прогнило что-то» в самом этом обществе, нет в нем желанной гармонии, нет справедливости.

Кроме зарисовок и эссе в «Избранное» входит известная повесть Токутоми «Пепел». Ее события происходят в первые годы после реставрации Мэйдзи. Гибель семьи Уэда, потомков некогда могущественного рода, предопределена, ибо в ней свили гнездо ненависть и смертельная вражда. Старший брат ненавидит младшего и становится причиной его смерти. Тема братской вражды не случайна для Токутоми. Этот мотив разрабатывается и в небольшом рассказе «Братья». Разрыв Токутоми со старшим братом заставляет предположить истоки этой темы в его творчестве. Вообще в произведениях Токутоми многое автобиографично.

Перевод «Избранного» точен и выразителен. Книги Токутоми Рока справедливо причисляют к золотому фонду новой японской литературы. Можно только радоваться тому, что советский читатель получил возможность приобщиться еще к одному феномену японской культуры.

Л. ГРОМКОВСКАЯ

Издано за рубежом

ДЕРЕВЬЯ ЖАКА ПРЕВЕРА

Jacques Prévert. Arbres. Paris, Gallimard, 1976.
Жак Превер. Деревья. 1976.

«Деревья» — последний поэтический сборник Жака Превера, вышедший незадолго до его смерти. Поэт, который всегда был широко популярен среди молодежи, не так уж много публиковался при жизни. Не в пример писателям, жаждущим как можно скорее увидеть собственные творения напечатанными, Жак Превер только в 1946 году решился издать отдельным сборником свои стихи, рассеянные по разным журналам или хранившиеся в ящиках его письменного стола. И только настойчивость друзей подвигла его на этот шаг. Жаку Преверу было в тот момент сорок шесть лет, и он уже успел приобрести некоторую известность — поначалу этому способствовало его присоединение в 1930 году к сюрреалистам, а затем успешное выступление в качестве сценариста во множестве фильмов. Некоторые из них считаются подлинными шедеврами: «Забавная драма», «Вечерние посетители», «Дети райка». Советским зрителям хорошо известны фильмы «Набережная туманов» и «Собор Парижской богоматери», поставленные по сценариям Превера. С 1932-го по 1936 год Превер написал несколько коротких пьес, поставленных группой «Октябрь» — театральным коллективом, тесно связанным с Народным фронтом.

Сборник под названием «Зрелище», вышедший уже после войны (1951), объединил пьесы для театра и лирические стихи Превера, в том числе и ставшие столь популярными песни «Сангина» и «Влюбленные дети»:

К воротам ночи прижавшись,
Влюбленные дети в обнимку стоят
А прохожие мимо идут
И на них с возмущеньем глядят.
Но дети, которые любят друг друга,
Не видят прохожих,
Не замечают рассеянный взгляд,
И только две слившихся тени
Во мраке дрожат.
Вызывая зависть, и смех, и презренье
У мимо идущих прохожих... Однако
От сумрака ночи вдали
И вдали от рассвета
Не видят влюбленные дети все это
В сияющем свете первой любви[1].

Сборник «Зрелище» показал, как вырос поэт за прошедшие тридцать лет, со времени его первых литературных опытов, и как повлияло на него все лучшее, что было в 30-е годы, а затем столь важный для французов момент Освобождения.

Превер продемонстрировал, что поэзию можно создавать посредством самых простых, каждодневных слов, и с помощью этих слов отразил абсурдную реальность, при которой привилегированное меньшинство эксплуатирует лишенное всех привилегий большинство.

Мне кажется вполне логичным для творчества Превера, что его последний сборник (с большим вкусом иллюстрированный художником Ж. Рибемон-Дессенем) посвящен деревьям — не только потому, что, устрашась разрушений, вызванных индустриализацией, сейчас много говорят об экологии, но и потому, что между этим представителем города, каковым являлся поэт, и деревней или, точнее, его постоянной мечтой о деревне была тесная связь. Вспомним, как писал Превер о маленьких уличных ручей-

[1] Переводы стихов принадлежат М. Кудинову.

ках, вытекающих из пригородов и вливающихся в реки:

Проворный, как мышонок,
Мышонок из Обервилье,
И как беда, что бегает
По улицам Обервилье.
Бежит по мостовой ручей
И словно хочет поскорей,
Как можно поскорей сбежать
Из города Обервилье:
Сбежать в леса,
Сбежать в поля,
Где дышит свежестью земля,
Сбежать, чтоб рассказать друзьям,—
Полям, и рекам, и лесам,
О чем мечтает люд рабочий
Под крышами Обервилье.

Деревья, те деревья, о которых мечтал Превер, не прячутся в лесном сумраке. Они не таят в себе никаких секретов. Они близки нам:

Когда-то
деревья
пришли неизвестно откуда.
Когда-то
деревья
были такими, как мы.
Но отметим:
они были крепче,
счастливей,
мудрее,
влюбленней, быть может.
И что же?
Все сказано этим!

Дерево у Превера — постоянный спутник и друг человека даже в городе:

В Антибе,
на улице Лопиталь,
где кошачья трава
между плит мостовой
прорастает несмело,
есть высокое дерево
под названьем каркас,
и растет оно возле приюта
для престарелых.

«Да, конечно, это каркас»,—
говорит старик из приюта,
на каменной сидя скамье,
возле каменной сидя стены.

И голос его баюкают
солнечные блики весны.

В этом стихотворении — весь Превер, поэт бедных и простых людей. «Это чрезвычайно ранимый человек с обостренной чувствительностью, страдающий от того, что в мире, основанном на равнодушии, он не может выразить свою нежность. И в отчаянии он сам рядится в маску и мстит несчастным участникам и одновременно жертвам маскарада, в который они поневоле оказались вовлеченными», — сказал о поэте один из критиков.

В последних стихах Превера деревья — живые существа, страдающие, повергнутые наземь, израненные, отравленные бензинными испарениями, и поэт заставляет их вступить в битву — и это бунт не только деревьев:

То были настоящие деревья,
то были
деревья, чье терпенье истощилось,
деревья, что готовы были строить,
оковы сбросив, строить баррикады,
подобно людям в лучшие их дни,
как их история об этом повествует.
То были настоящие деревья
с их белками,
их птицами,
жуками,
деревья праздничные,
чуть навеселе,
завоевавшие
себе свободу сами.

Праздник, свобода — ключевые слова, которые, словно баррикады, защищают от глупости и жестокости: ключевые слова, которые помогают приобщиться к чуду и услышать поющую птицу в стихотворении «Страница поэзии»:

И птица-лира играет,
ребенок поет,
а учитель
кричит: «Перестаньте,
перестаньте валять дурака!»
Все дети слушают музыку,
рушатся стены класса,
в песок превращаются стекла,
сделанные из песка,
и чернила становятся снова
ручьем, и ручей струится,
превращаются парты в деревья,
и становится ручка с пером
птицей.

Как песня этой волшебной птицы, поэзия Превера, с ее негромким лиризмом, воспевает человека улицы. Вот почему поэт навсегда останется одним из главных свидетелей нашего времени.

АНДРЕ РЕМАКЛЬ

г. *Марсель*

УДУШЬЕ ПЕРЕД ГРОЗОЙ

Demirtaş Ceyhun. Yağmur sicağı. Istanbul, Cem Yayinevi, 1976.
Демирташ Джейхун. Удушье перед грозой. 1976.

Город Адана, расположенный на юге Турции среди благодатной долины, орошаемой водами Сайхани, окруженный фруктовыми садами и плантациями хлопчатника, город батраков и поденщиков, тысячами стекающихся сюда на время уборки, грузчиков-хамалов, рабочих тракторосборочных заводов, по-южному страстный, со своеобычным говором и древней историей сыграл в турецкой литературе роль, схожую, пожалуй, с той, что сыграла в русской литературе первой четверти нашего века Одесса. Адана взрастила плеяду самобытных талантов и среди них крупнейших романистов страны — Орхана Кемаля и Яшара Кемаля, имена которых известны ныне за пределами Турции.

В Адане родился, вырос и какое-то время работал архитектором прозаик Демирташ Джейхун. Он начал печататься добрых четверть века назад, но широкое признание обрел лишь в начале семидесятых годов, когда был удостоен трех крупнейших премий подряд, в том числе премии основанного Ататюрком Общества турецкого языка.

Если Орхан Кемаль посвятил творчество жизни «маленького человека» — рабочего, мелкого чиновника, поденщика, а Яшар

Кемаль в своих объемистых романах поведал миру о крестьянах-бунтарях, о сложных социальных конфликтах, вызванных капитализацией патриархальной деревни, то Демирташ Джейхун сделал предметом художнического исследования внутренний мир турецкого интеллигента.

В первых книгах, отмеченных изощренным психологизмом, писатель отдал изрядную дань фрейдизму с типичным для него чрезмерным вниманием к патологии секса. Несмотря на явную талантливость автора, влияние модных западных образцов придавало его произведениям налет вторичности. Истинный успех пришел, лишь когда Джейхун обратился к изображению интеллигента, связанного с борьбой народных масс, человека, «пытающегося объяснить им политику».

Такому герою посвящен и единственный опубликованный на русском языке рассказ Джейхуна «Если родится мальчик», который вошел в сборник новелл турецких писателей, удостоенный премии имени Саида Фаика[1].

«Удушье перед грозой» — девятая книга Демирташа Джейхуна. Название романа расшифровывается на его последних страницах. «Удушье перед грозой» — это переворот, совершенный 12 марта 1971 года профашистской военщиной, чтобы разгромить левые организации, подавить назревавший социальный взрыв.

После того как миновали пять лет осадного положения и военных трибуналов, этим событиям посвятили свои книги — художественные, исследовательские, публицистические — многие турецкие авторы. Появился даже термин «литература 12 марта». Роман Демирташа Джейхуна — одна из таких книг.

Она построена на внутреннем монологе персонажей — читатель видит мир их глазами: студентки Гюхер, ее мужа, профессора медицины, а также ее возлюбленного Зекерии.

Верный своей литературной манере, автор добрую половину книги исследует внутренний мир героини, ее страстную, я бы сказал, патологическую любовь к маленькой дочери, ее отношения с мужем. Человек честный, отзывчивый, профессор пытается сохранить нейтралитет в назревающей социальной схватке: не вмешиваться в действия студентов, не участвовать в расправе над ними. Его общественная индифферентность, стерильность что ли, приводит молодую женщину к острому душевному кризису. Главное чувство, которое она постоянно испытывает по отношению к окружающему миру, — это страх за благополучие и здоровье своего ребенка.

Вторая сюжетная линия романа возникает к середине книги. Активист Рабочей партии Турции, студент Зекерия — социалист, пытающийся соединить теорию с практикой. Активный участник молодежных демонстраций и собраний, он завязывает также дружбу с мастеровыми, с обитателями рабочих окраин Стамбула, чтобы привлечь их в партию. Но с горечью видит, что по своей психологии эти рабочие — скорее мелкие буржуа. Впрочем, и сам Зекерия в своей «ультрареволюционности» объективно представляет мелкобуржуазные, а отнюдь не марксистские взгляды.

В романе, таким образом, в своеобразном психологическом преломлении отразились и реальные слабости во многом стихийного социалистического движения в Турции конца 60-х — начала 70-х годов, и общественный кризис, вызванный быстрой пролетаризацией крестьянства, массовой безработицей, невиданной инфляцией, а также воздействием на молодежь и часть рабочих социалистических идей при отсутствии легальной марксистской партии.

Желание спасти тяжело заболевшего друга приводит Зекерию среди ночи в дом профессора медицины. В уютную профессорскую квартиру врывается внешний мир. В глазах полиции этот ночной визит связывает профессора с «леваками», а его жена Гюхер влюбляется в молодого человека, похожего на ее первую студенческую любовь. И в день военного переворота она оказывается в застенке управления безопасности вместе с Зекерией.

Последние главы романа, наиболее сильные, воссоздают облик современного фашизма. Вместе с героями читатель начинает осознавать, что два-три года бурного общественного развития изменили прежние патриархальные взаимоотношения между интеллигенцией и крестьянством. Простой народ издавна питал к ученым людям традиционное почтение. Объективно провокационные, а в ряде случаев и прямо спровоцированные полицией террористические акции левацкого толка, беспрестанные стычки левых студентов с полицией ожесточили и напугали обывателя, и былое почтение переросло в ненависть. А профашистские организации пополнились деклассированными элементами. С жестоким реализмом изображены в книге массовые истязания, издевательства над молодежью и интеллигенцией в охранке, в полиции.

В отличие от первой части романа, где свойственная прежде писателю психологическая детализация оборачивается некоторой избыточностью — кажется, автор никак не может остановить «поток сознания» героини и продолжает говорить о том, что и так уже ясно, — заключительные главы с огромной впечатляющей силой передают размах и накал страстей.

К сожалению, сами события, равно как действия масс, остаются за рамками повествования. Быть может, читателю, находившемуся в гуще событий или по меньшей мере пережившему их вместе со всей страной, субъективная авторская манера изложения не покажется недостатком. Но раз-

[1] «Прежде всего хлеб». М., «Художественная литература», 1976.

ве романы пишутся только для участников событий, о которых в них рассказывается?

Очевидно, школа, пройденная Демирташем Джейхуном как художником, много дала ему в жанре лирической и психологической новеллы, и в этой области он стал одним из крупнейшнх мастеров. Но она же, на мой взгляд, ограничивает возможности художника, коль скоро он берется за такой эпический вид литературы, как роман.

РАДИЙ ФИШ

СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ И СТРАСТНЫЕ ГОДЫ

José Corrales Egea. Semana de pasión. Barcelona, Destino, 1976.
Хосе Корралес Эхеа. Страстная неделя. 1976.

В старинном особняке в центре Мадрида умирает старец. Умирает без особых мучений — тихо и мирно расстается он с этим миром. Но вокруг него кипят страсти. Ближайшие родственники денно и нощно хлопочут, заботясь главным образом о спасении его души. Всеми силами они добиваются, чтобы старец на смертном одре покаялся в своих грехах. А перед домом проводят демонстрацию студенты и преподаватели университета, и полиции приходится вмешаться, чтобы «восстановить порядок». Почему же ординарный факт смертн престарелого человека оказался в центре всеобщего внимания?

Дело в том, что этот старец — известный философ либеральных взглядов Алонсо Гальвес де Сеа. После длительного — с 1939 года — изгнания он только что возвратился на родину, где его настиг сердечный приступ. Именно возвращение Гальвеса дало толчок тем бурным событиям, которые описаны в романе испанского писателя Хосе Корралеса Эхеа «Страстная неделя» Предательство и горькое разочарование, отречение от убеждений, поиск новых идеалов, анализ прошлого — все вмещают в себя эти два «страстных» дня.

Сестра философа Мерседес и ее муж Эстебан, взяв на себя хлопоты по уходу за больным, делают все, чтобы о возвращении его узнало как можно меньше людей Добропорядочные буржуа, опора франкистского режима они опасаются, как бы неожиданное появление либерального философа не взбудоражило общественность, не послужило поводом для антифранкистских выступлений. Их сокровенное желание — убедить Алонсо перед лицом смерти отречься от убеждений. С этой целью они подсылают к больному отца Гайтана, вызывают из семинарии племянника Рафаэля, к которому всегда благоволил Алонсо, и просят его воздействовать на упрямого старика. Воспитанная в «истинно испанском» духе, Мерседес не может смириться с мыслью, что ее брат — либерал и изгнанник. Сам факт его эмнграции бросает тень на «доброе» имя семьи. Ее муж — один из тех, кто расчищал путь франкизму (он вел активные подрывные действня в республиканской зоне в годы войны), а затем всячески его укреплял. Он принадлежит к могущественной организацин испанской церкви «Дело божье», это последовательный и неисправимый мракобес.

К лагерю противников идей Алонсо Гальвеса (а фактически любых прогрессивных взглядов) относятся и ученые мужи Арредондо и Инестроса, которые отреклись от своих прежних убеждений и отказываются подписать манифест, приветствующий возвращение Гальвеса.

Но наиболее яркий пример отступничестна являет собой Фелисиано, брат Мерседес и Алонсо. В молодости, в 30-е годы, он примыкал к прогрессивно настроенным интеллигентам. Однако, попав в руки франкистских путчистов, отступился от всех своих прежних идей и откупился от франкистов чем мог: частично фамильными драгоценностями, принадлежавшими матери, которые пожертвовал «во имя Испании и для Испании», частично чем-то другим, о чем даже сам не хочет вспомннать. Не предательством ли? Не по его ли вине погиб Эирике, отец Рафаэля?

С тех пор Фелисиано зарекся принимать участие в любой оппозиции и избрал удобную форму жизни, уединившись, как он сам говорит, в «башне из слоновой кости». Из осторожности он даже не посетил во время болезни Алонсо и не присутствовал на его похоронах.

Противоположный лагерь, группу людей, приветствующих возвращение Алонсо Гальвеса, представляет прежде всего Руис Понсе. Еще в студенческие годы он увлекся идеями Гальвеса и не изменил им, даже став профессором университета. Именно он — один из организаторов демонстрации и автор манифеста, написанного в честь возвратившегося на родину опального философа.

К этой же группе примыкает и Рафаэль — племянник Гальвеса. Ученик семинарии, он вместе с другом мечтает реформировать церковь, однако, поняв тщетность подобных попыток, решает порвать с ней. После встречи с дядей Рафаэль уезжает во Францию, где в начале 70-х годов записывает свои воспоминания о «страстной неделе» 1961 года, которые и составляют фрагменты романа. Судьба Рафаэля во многом показательна для той части испанской молодежи, которая еще не так давно любыми путями стремилась вырваться из угнетающей атмосферы франкистского государства, в культурной жизни которого безраздельно властвовали уродливые штампы официальной пропаганды. Но далеко не все находили верный выход из ситуации

и далеко не всем удавалось обрести прочное место в жизни.

Другая же часть молодежи, которую в романе представляет еще один племянник Гальвеса, не хочет ничего слышать ни о былых войнах, ни о страданиях, ни о сегодняшних проблемах, предпочитая бездумную жизнь, полную удовольствий.

Распутывая весь этот клубок страстей, сложных семейных взаимоотношений, прослеживая жизненные пути своих персонажей, Х. Корралес Эхеа, по существу, рассказывает о целом периоде в истории Испании, связанном с поражением в 1939 году демократической республики и долгими «страстными» годами господства франкистского режима. Писатель анализирует вчерашние, а в некоторой степени еще и сегодняшние позиции испанской интеллигенции. Эти позиции обусловлены историей Испании и судьбами ее культуры в XX веке.

Долгие годы господства франкистского режима в стране нанесли тяжелейший удар испанской культуре. После поражения республики лучшие представители интеллигенции либо эмигрировали, либо прекратили свою творческую деятельность. Все лучшее, что было создано испанскими эмигрантами в 40—50-е годы, в Испании практически не было известно. Лишь в 60-е годы начался постепенный процесс узнавания на родине многих испанских философов, историков, писателей.

Вот эта трагедия испанской интеллигенции и находится в центре внимания писателя в «Страстной неделе». Видный современный писатель Хосе Корралес Эхеа начал свою литературную деятельность еще подростком в период демократической республики. В 1935 году шестнадцатилетним юношей он выпустил свой первый роман «Стальные люди». Как многие испанцы прогрессивных взглядов, в 1939 году он был вынужден покинуть свою страну и до дна испил горькую чашу изгнанника. Оторванный от родной земли, он с жадностью следил за развитием событий в Испании. Жизнь народа в годы франкизма нашла отражение в сборнике рассказов писателя «По берегу времени» (1954) и в романе «Другое лицо» (1962). В новой книге Х. Корралес Эхеа чутко уловил приближение перемен в Испании. Писателю удалось, изобразив вроде бы частный факт из жизни страны 60-х годов, показать явления, которые предшествовали процессу демократизации испанского общества после смерти Франко.

С. ЗМЕЕВ

◆

РОКУЭЛЛ КЕНТ. США.
Иллюстрация к книге «Люди и страны»

Из месяца в месяц

АНГЛИЯ

РАССКАЗЫ ДОРИС ЛЕССИНГ

В новый сборник рассказов Дорис Лессинг вошли произведения, ранее публиковавшиеся в других изданиях или же в периодической печати.

Однако тридцать пять рассказов, собранные вместе пишет рецензент «Нью-Йорк таймс бук ревью» Д. Джонсон, представляют несомненный интерес, поскольку дают возможность глубже вглядеться в особенности художественного мира одной из наиболее значительных писательниц послевоенной Англии.

Д. Джонсон считает, что часто употребляемое в критике по отношению к Дорис Лессинг определение «женская романистка» отражает лишь одну грань ее творчества. Женская судьба, место женщины в современном мире — эти проблемы всегда занимали Дорис Лессинг. Но ее книги по количеству и глубине затронутых в них вопросов шире романов, написанных лишь на злобу дня.

Ценность произведений Дорис Лессинг, пишет Д. Джонсон, состоит прежде всего в умении «понимать политические течения своего времени, особенности классовой природы общества и вместе с тем в способности видеть человека, его одиночество, его тоску, его горести». Именно этими качествами, замечает критик, обладают рассказы, собранные в последнем сборнике Дорис Лессинг. Убежденная последовательница реалистических традиций Стендаля, Бальзака, Тургенева и Чехова, Дорис Лессинг в отличие от многих ее современников, замечает Д. Джонсон, обладает определенной социальной и нравственно-этической позицией, что придает особенную цельность ее произведениям.

ГАРОЛЬД ПИНТЕР О М. ПРУСТЕ И О СЕБЕ

В издательстве «Э. Мэтьюи» одновременно вышли два произведения английского драматурга Гарольда Пинтера, открывшие новые грани таланта писателя. Первое из них является сценарием, в основу которого лег многотомный роман

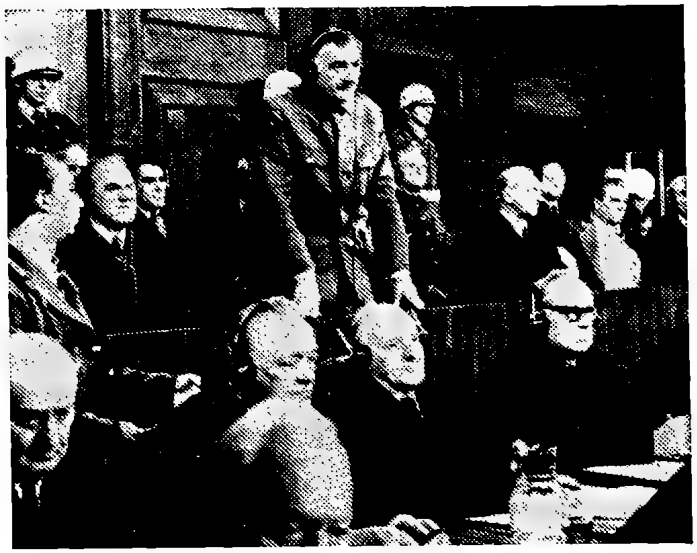
Английским телевидением был показан балет Фредерика Эштона, в основу которого легла пьеса Ивана Сергеевича Тургенева «Месяц в деревне», поставленный на сцене Королевской оперы
На снимке: солисты Королевского балета Лин Сеймур (Наталья Петровна) и Энтони Дауэл (Алексей Николаевич Беляев).

(Журнал «Лиснер»)

Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», второе — антология поэзии и прозы самого Гарольда Пинтера за период с 1949 по 1977 г.

Известная английская писательница, критик и литературовед Памела Хэисфорд Джонсон, перу которой принадлежит монография о Марселе Прусте, в статье, опубликованной в журнале «Лисиер», дает положительную оценку сценарию Гарольда Пинтера. Он сделал весьма удачную выборку из этого необъятного романа, нашел верный тон, передающий своеобразную атмосферу знаменитого романа Пруста о роли и власти памяти в жизни человека.

Не менее значителен, по мнению критики, и сборник стихотворений и прозы самого Гарольда Пинтера. Эссе писателя, посвященные собственному творчеству, дают богатый материал для знакомства с его художественной эволюцией, со взглядами на искусство и произведения современников.



Венгерский режиссер Миклош Хайдуфи снял телефильм по известной драме немецкого писателя Рольфа Шнайдера «Нюрнбергский процесс». Помимо документальной пьесы Рольфа Шнайдера в фильме использованы подлинные протоколы Нюрнбергского процесса.
На снимке: в зале суда. Фашистский генерал Кейтель (актер Имре Шинкович) отвечает на вопросы прокурора, ведущего заседание (актер Ласло Менсарош).

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

БОЛГАРИЯ

РОМАН-ПРИТЧА

В издательстве «Христо Г. Динов» в Пловдиве вышла книга молодого болгарского писателя Георгия Марковского «Хитрый Петр». Автор художественно переработал легенду о популярном народном персонаже Хитром Петре, воплотившем в себе черты болгарского национального характера.

Перед Георгием Марковским стояла трудная задача — читателям были хорошо известны сказки и анекдоты, в которых главным героем выступает Хитрый Петр. Георгий Марковский отказался от чисто сюжетного описательного повествования и, используя легенду о Хитром Петре, создал глубокую философскую книгу, вызвавшую большой читательский интерес.

Хитрый Петр показан в романе-притче не комическим персонажем, а народным героем. Писатель противопоставляет в романе два пути: на одной стороне — Хитрый Петр и его дружина, на другой — принявший мусульманство князь Тодор (Хаджи Абдулла) и предатель Гырбаво.

Как пишет в еженедельнике «Литературен фронт» критик Луко Захариев, «один путь ведет к народной легенде, а другой — к проклятию народом». И далее критик замечает: «Несмотря на небольшой объем, роман Марковского несет в себе черты масштабного эпического и философского видения, оригинальной и смелой мысли, творческого дерзания».

«По моему мнению,— заключает Луко Захариев,— роман Георгия Марковского — одна из самых интересных книг, появившихся в болгарской прозе за последние годы».

ВЕНГРИЯ

ПОЭТ О КОМПОЗИТОРЕ

Талантливый поэт Андраш Фодор, известный советским читателям своими стихами, является знатоком и ценителем музыки. В 1976 году в издательстве «Гондолат» вышла его книга «Стравинский. С глазу на глаз», посвященная творчеству выдающегося русского композитора, дирижера, пианиста, а сейчас издательство «Музыкальные произведения» выпустило книгу Андраша Фодора о его соотечественнике, выдающемся композиторе Беле Бартоке.

Используя обширную биографическую и музыкальную литературу (воспоминания, статьи, эссе, стихи современников, посвященные жизни и творчеству Белы Бартока), Андраш Фодор как бы идет по пути, пройденному композитором, создавая свой, «фодоровский», образ музыканта — не только автора широкоизвестной оперы «Замок герцога Синяя Борода», балетов

«Чудесный мандарин» и «Деревянный принц», ряда выдающихся симфонических и камерных произведений, но и пианиста, педагога, знатока и собирателя музыкального фольклора.

В книге Фодора, которой собственные стихи автора придают неповторимую лирическую тональность, читатель сможет ощутить богатство содержания и блестящее мастерство произведений Бартока, глубину его мыслей и чувств, облеченных в современные музыкальные формы, чарующую прелесть народных песенных интонаций и ритмов, использованных композитором, эмоциональную силу его полифонических приемов.

Примечательно, пишет музыковед Иштван Габор на страницах газеты «Мадьяр немзет», следующее высказывание автора книги: «Я никогда не изучал профессионально теорию музыки. В условиях провинциального городка, где я вырос, у меня не было возможностей не только заниматься музыкой, но даже слушать ее». Это свидетельствует о том, что лишь в результате упорного самообразования поэту удалось постичь тайны музыкального искусства и приобщить к ним читателей.

Берлинский «Театер дер фройндшафт» поставил пьесу известного западногерманского поэта и певца Дитера Зюверкрюпа «Автомобиль «Блюббербум».

В пьесе рассказывается история шофера Адолара, разбившего автомобиль своего шефа, чтобы не наехать на ребенка. За это хозяин выбрасывает шофера на улицу. Только забастовка рабочих предприятия заставляет хозяина изменить свое решение и оставить Адолара на службе. Между тем рабочие за это время создали новый, особый автомобиль, который они называли «Блюббербум», предназначенный специально для детей.

«Дитер Зюверкрюп рассказал историю, в которой переплелись фантазия и реальность,— пишет газета «Нойес Дойчланд».— Используя гротеск и сатиру, он создал веселый спектакль на очень серьезную тему. Он сумел показать жизнь рабочих в Федеративной Республике Германии и их борьбу за свои права».

На снимке: сцена из спектакля «Автомобиль «Блюббербум». В ролях—актеры Вальтер Плате, Райнер Бютнер и Моника Биленштайн.

(Газета «Нойес Дойчланд»)

ГДР

АНТОЛОГИЯ АВСТРИЙСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Издательство «Фольк унд вельт» выпустило антологию австрийской литературы под названием «Австрия сегодня». В антологию включены произведения 46 авторов, среди которых и такие признанные писатели, как Ильза Айхингер, Томас Бернгард, Петер Хандке, и другие, чьи имена менее известны.

С обзорной статьей об этом издании выступил в газете «Берлинер цайтунг» Гейнц Плавиус. Отмечая большое познавательное значение книги, Плавиус выделяет помещенный в антологии сценарий писателя Михаэля Шараига «Сын сельскохозяйственного рабочего» (см. «ИЛ» № 5 за 1977 г.). «На основе сценария Шараиг создал роман на ту же тему,— пишет Гейнц Плавиус.— Эта тема — жизнь простых людей в деревне — самая главная в его творчестве. Шаранг рассказывает о деревенской жизни очень правдиво, доходчиво, с большим знанием дела».

Плавиус останавливается также на творчестве Барбары Фришмут, автора психологических романов и рассказов. «Барбара Фришмут затрагивает глубокие философские темы,— пишет Плавиус.— Основное во всех ее произведениях — личность человека, взаимоотношения его с окружающим миром. Об этом же рассказ, опубликованный в книге».

Гейнц Плавиус упоминает и писателя Гельмута Квальтингера, выступившего в сборнике с короткими сатирическими рассказами. Плавиус называет Квальтингера «блестящим мастером сатирической прозы».

«Антология дает нам представление о богатой и многообразной литературе Австрии. Она послужит своеобразным руководством для тех, кто захочет еще шире познакомиться с этой литературой»,— пишет критик.

«КАТЯТСЯ ЗВЕЗДЫ, К АЛМАЗУ АЛМАЗ»

На весенней ярмарке этого года в Лейпциге «Вестник книжной торговли» в специальном номере объявил о выходе в свет сборника баллад выдающегося советского поэта Н. С. Тихонова. Впервые на немецком языке опубликованы его баллады, созданные в 20—30-х годах и вошедшие в золотой фонд советской лирики, такие, как «Баллада о синем пакете», «Дезертир», «Перекоп» и другие. Сборник открывается хрестоматийной поэмой Тихонова «Сами», а

заканчивается его поэмой, созданной в грозном 1941 г.,— «Киров с нами».

Стихи Н. С. Тихонова изданы на двух языках — русском и немецком. В переводе баллад Тихонова на немецкий язык приняли участие немецкие поэты Грюнинг, Калау, Мёкель, Пех, Прайслер, Тосс. Сборник открывается снимком с автографа Н. С. Тихонова — его знаменитой «Баллады о гвоздях».

Составитель и автор послесловия доктор Ингрид Шефер, изучая творчество раннего Тихонова, отобрала действительно наиболее яркие и интересные произведения одного из старейших наших поэтов. В кратком послесловии И. Шефер говорит об истоках баллад Тихонова, своеобразии его революционной романтики, об отражении в ней «дыхания эпохи». Читатель найдет здесь много нового и интересного о герое романтических баллад Тихонова, об «обычном героизме» первых лет революции.

Начальный стих баллады «Перекоп» — «Катятся звезды, к алмазу алмаз» — дал название и всему сборнику, который представляет собою еще одно свидетельство крепнущих культурных связей между народами ГДР и СССР.

ФРГ

«НОВЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР» ИОГАННЕСА МАРИО ЗИММЕЛЯ

Одного из героев нового романа популярного писателя Иоганнеса Марио Зиммеля «Ура, мы еще живем!» зовут Клаус Марио Шрайбер. Это писатель и журналист, в 1947 году выпустивший свой первый роман и с тех пор в течение 14 лет пользовавшийся успехом у западногерманских критиков. Однако читатели принимали его книги довольно холодно. Наконец, ему удалось создать настоящий «бестселлер», завоевать мировую известность. В 70-е годы он побивает все рекорды тиражей романами «Ответ знает только радуга» и «Каждый человек—остров». А что же критика? «Происходит какая-то комедия,— пишет о своем герое Зиммель.— Его первые семь книг плохо раскупались, но западногерманские критики неизменно полны им дифирамбы. Теперь его книги не просто «в ходу» — они быстро раскупаются, критики же не оставляют от Клауса Марио Шрайбера камня на камне».

Не приходится сомневаться, что Клаус Марио Шрайбер — alter ego Иоганнеса Марио Зиммеля, самого «многотиражного» в ФРГ писателя. Роман «Ура, мы еще живем!» сразу после выхода занял первое место в списке бестселлеров, оттеснив на второе «Бегущую лошадь» Мартина Вальзера (см. «ИЛ» № 7 за 1978 г.).

Критик западногерманского еженедельника «Ди цайт» Ганс Блюменберг отмечает характерную самоиронию Зиммеля, проявившуюся в обрисовке образа Шрайбера. Он считает также необходимым серьезно проанализировать причины и характер беспримерного успеха этого писателя, от которого критика в последние годы привыкла пренебрежительно отмахиваться.

Книгам Зиммеля нельзя отказать в актуальности проблематики. Критик видит в этом одну из причин его успеха. «Ура, мы еще живем!» — «баллада о сказочном взлете и упадке главного героя романа Якоба Формена. В 1946 году он — голодный бедняк, в 1956-м — мультимиллионер, рвущийся к еще большему успеху, в 1965-м — финансист международного масштаба, в 1975-м — потерпевший крах пенсионер... Его история, подобно гранднозиому комиксу, отражает кризис современного сознания западных немцев, общую беспомощность после лет умопомрачительного взлета».

Сам Зиммель утверждает, что в каждом романе ищет серьезного разговора с читателем: «Я пытаюсь заставить людей немного меньше верить, немного больше думать». Это, по мнению критика, выгодно отличает его от американских «мастеров бестселлера». Зиммель умеет пользоваться выигрышными приемами повествования. Однако ни секс, ни криминальный сюжет не являются для него самоцелью. В его новой работе, как отмечают критики, есть элементы классического «плутовского романа»: приключения героя в послевоенной «Тризонии», встречи со спекулянтами, проститутками, беженцами описаны увлекательно и читаются с большим интересом.

Однако не только это привлекает читателя к Зиммелю. Уже сам заголовок «Ура, мы еще живем!» — своего рода оптимистическая программа, которую «потребитель, одержимый страхом перед экономическим спадом и терроризмом, принимает как желанное слово». Это, кстати, отличает новую работу Зиммеля от его более пессимистических последних книг («Ответ знает только ветер», «Человек не остров»). «Восклицательный знак в конце заголовка символизирует упрямую волю выжить... С иемецкого «экономического чуда» снимается глянец, но жизнь продолжается»,— пишет Блюменберг.

По мнению рецензента, заглавие книги характеризует в какой-то мере и взгляд автора на самого себя, на свое творчество. При всей горечи и самоиронии, отразившихся в образе «поставщика бестселлеров» Шрайбера, Зиммель все же с надеждой смотрит в свое писательское будущее.

ЕГИПЕТ

ЕГИПЕТСКОЕ КИНО И РЕВОЛЮЦИЯ 1952 ГОДА

Как сообщает иракская газета «Аль-Джумхурия», за последнее время на экраны Египта вышел ряд фильмов, которые ставят своей целью опорочить достижения революции 1952 г. и представить жизнь страны в период президентства Насера как кошмарное царство террора и беззакония. В этих фильмах совершенно игнорируются такие завоевания египетско-

го народа, как ликвидация монархии, освобождение страны от английской оккупации, первые шаги в осуществлении аграрной реформы, частичные социалистические преобразования. Представители государственной власти изображаются в этих киноопусах только как карьеристы и злодеи, преследующие подлинных патриотов и использующие свое положение в личных интересах.

К числу таких картин «Аль-Джумхурия» относит, кроме ранее вышедших на экраны «Кариака» и «Беглеца», фильмы «Ее величество любовь» и «За солнцем».

Эти фильмы, отмечает газета, представляют собой звено в яростной пропагандистской кампании, которую ведут египетская буржуазия и нынешний режим Египта против достижений революции 23 июля 1952 г.

На снимке: Шабана Азми и Викрам в картине «Супруг и повелитель».

(Газета «Джан юг»)

ИНДИЯ

ПРЕМИИ ФИЛЬМАМ

По сообщениям индийских газет, выступивший на пресс-конференции в Дели министр информации и радиовещания Л. К. Адвани огласил решение жюри о присуждении премий лучшим индийским фильмам, созданным в 1977 г. различными киностудиями страны.

Первая премия — «Золотой лотос» — присуждена картине «Странница на гхатах», поставленной на языке каннада; за музыку к этому фильму премии удостоен композитор Б. В. Карантх, а самому юному артисту, снимавшемуся в этом фильме, Аджиту Кумару присуждена премия за лучшее исполнение детской роли.

Сразу по две премии получили фильмы, поставленные на языке хинди: «Пролог» и «Игроки в шахматы» (второй фильм поставлен известным режиссером Сатъяджитом Раем по одноименному рассказу Премчанда). Смита Патил, сыгравшая героиню картины «Пролог», удостоена первой премии за лучшее исполнение женской роли.

Картина «Супруг и повелитель» признана фильмом, завоевавшим наибольшую популярность среди зрителей.

Присуждение премий лучшим фильмам года стало заметным явлением в культурной жизни индийской столицы.

ИРАК

ПАМЯТИ АРАБА ШАМИЛОВА

Еженедельник «Аль-Фикр аль-джадид», издаваемый Иракской коммунистической партией на арабском и курдском языках, посвятил большую редакционную статью памяти недавно скончавшегося советского курдского писателя и ученого Араба Шамилова (Арабэ Шамо).

В этой статье, носящей название «Араб Шамилов — человек, которого закалила жизнь», покойный писатель характеризуется как один из выдающихся представителей курдской культуры, внесший вклад в развитие самых различных ее областей. Решающую роль в судьбе Шамилова сыграла Октябрьская революция. Благодаря ей он, прежде неграмотный пастух, получил возможность учиться и стал впоследствии крупнейшим курдским писателем и ученым, основателем научного курдоведения в Советском Союзе. Шамилов известен как автор многих рассказов и романов, неутомимый собиратель курдского фольклора, составитель курдской азбуки (на латинской основе).

К статье прилагается список литературных, научных и публицистических трудов писателя на курдском и армянском языках. Одно из этих произведений, роман «Дым-дым», опубликованный в Советском Союзе в 1966 г., был в 1975 г. переведен в Ираке на местный курдский диалект курманджи и вышущен Курдской Академией.

ИТАЛИЯ

ПАЗОЛИНИ-ХУДОЖНИК

В римском палаццо Браски разместилась необычная художественная выставка, привлекшая внимание римлян: в нескольких залах экспонировано около двухсот рисунков и маленьких полотен покойного Пьера Паоло Пазолини. Пазолини был широко известен как поэт, романист, публицист, а особенно как кинорежиссер; более узкому кругу он был также известен как филолог, автор работ по структурализму. Однако Пазолини — живописца и графика знали немногие. Выставленные работы относятся к периоду между 1941 и 1975 гг. Публиковались до сих пор лишь несколько его рисунков. Теперь посетители выставки задают себе вопрос: был ли он дилетантом или следует его рассматривать как настоящего художника? Вопрос этот праздный: Пазолини пользовался рисунком вполне естественно и сознательно, как и некоторые другие писатели и режиссеры, например С. Эйзенштейн, в качестве вспомогательного средства — в тех случаях, когда нужно было наглядно пояснить слово или образ, быстро и точно запечатлеть наблюдение, воспоминание.

Художник Джузеппе Дзигаина, который был близким другом Пазолини, а ныне явился организатором этой выставки его работ, вспоминает, что еще в 1946—1947 гг. рисунки Пазолини экспонировались вместе с работами самого Дзиганны и двух других известных художников — Де Пизиса и Афро. О большой компетентности Пазолини в сфере изобразительного искусства пишут также в каталоге выставки видные искусствоведы Джулио Карло Арган (ныне мэр Рима) и Марио Де Микели. Еще в 1962 году писатель-режиссер посвятил сценарий своего фильма «Мама Рома» историку искусства Роберто Лонги в знак благодарности за почерпнутые в его трудах знания.

В поэзии Пазолини часто чувствуется явная или скрытая связь с миром живописи — и в поэме «Фриулан-ские картины», и в «Религии моего времени», и в поэме «Прах Грамши». Например, в «Фриуланских картинах» (1955) ощущается глубокое созвучие с полотнами Дзиганны, изображавшими жизнь и труд итальянских батраков.

Ярче всего увлечение Пазолини живописью проявилось в киноновелле «Овечий сыр», в фильмах «Нищий» и «Мама Рома», в трилогии «Декамерон», «Кентерберийские рассказы», «Цветок 1001-й ночи».

Большой интерес посетителей выставки вызывают многочисленные автопортреты Пазолини, относящиеся к разным годам, зарисовки юношей и девушек, перекликающиеся с циклом его стихов на фриулианском диалекте «Прекрасная молодость» (1941—1953), портреты его друзей и актеров — Андреа Дзандзотто, Нинетто Даволи, Франко Читти, Лауры Беттн, певицы Марии Каллас, Роберто Лонги. И наконец — серия рисунков «Земля, увиденная с Луны» (так назывался поставленный Пазолини эпизод с участием комика Тото в фильме «Ведьмы»).

Художественный критик газеты «Унита» Дарио Микакки отмечает большую искренность, гуманность, доброту, порой горькую проничность наследия Пазолини-художника.

ПЕЧАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО

Итальянская прогрессивная печать бьет тревогу: ныне первое место по выпуску и продаже периодических порнографических изданий занимает не Швеция или Дания, не ФРГ, а Италия. По приблизительным данным, общее число таких изданий — ежемесячных, выходящих раз в две недели или еженедельных — дошло в Италии до четырехсот, а общее количество проданных составляет миллион экземпляров в неделю. Продажа их начинается поздно вечером; в маленьких городах ими торгуют на вокзалах в киосках, которые открыты всю ночь. Одновременно покупателю предлагают 60—70 названий порнографических журналов. По свидетельству одного римского киоскера, он

На снимке: автопортрет Пьера Паоло Пазолини.

(Газета «Унита»)

торгует этими изданиями поздним вечером и ночью так же бойко, как утром газетами.

Сейчас покупатели такого рода изданий несколько дезориентированы: с обложек неожиданно исчезли фотографии обнаженных мужчин и женщин и внешне эти журналы приобрели благопристойный вид. Это произошло после того, как в Милане власти пригрозили издателям конфискацией журналов, если не будут убраны с обложек нагие фигуры и не появится надпись «Запрещено несовершеннолетним». Однако содержание журналов после этого стало еще непристойнее: под «приличной» обложкой скрываются эротические рассказы, придуманные в редакциях определенного рода «письма читателей» и ответы на них. Порножурналы — от роскошных дорогих изданий до жалких листков — приносит издателям громадные прибыли. Издание порножурналов монополизировано — прибыли стекаются к двум-трем компаниям: «Наследники Баракка», «Интериейшн пресс», «Кристалл».

В связи с этим бумом порнолитературы в Италии известный писатель Фердинандо Камои в одной своей статье замечал: «Остается выяснить причину подобного расцвета порнолитературы в Италии. Ответ таков: буржуазная система, которая некогда осуждала это явление, сейчас сама поощряет его в погоне за экономическими выгодами, ибо, согласно буржуазной морали, что выгодно, то нравственно... такого феномена не наблюдается там, где существует иная социально-экономическая, а следовательно и нравственная, система».

КУБА

РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ

Шесть кубинских кинорежиссеров, среди которых — ведущие мастера экрана и дебютанты, подготовили фильмы к 19-й годовщине Кубинского института кинематографии и кинопромышленности (ИКАИК). Созданным вскоре после победы революции институтом было основано отечественное кинопроизводство и предпринята подготовка кадров, что явилось решающим фактором в развитии национальной кинематографии. За эти годы было выпущено свыше 1600 кинолент различных жанров, причем значительную их часть — более 600— составила кинодокументалистика о важнейших событиях жизни Кубы и других стран.

Широкой популярностью у зрителей разных стран и континентов пользуются такие кубинские фильмы, как «Рассказы о революции», «Смерть бюрократа» и «Воспоминания об отсталости» режиссера Т. Г. Алеа, «Молодой повстанец» и «Приключения Хуана Кинкина» Х. Г. Эспиносы, «Люсия» и «Кантата о Чили» У. Соласа, «Зачем и почему убили генерала?» и «Первый делегат» (посвящен Хосе Марти) С. Альвареса, «Хулио Антонио Мельи» Э. Р. Бариета, «Ранчеадор» С. Хираля и другие. Только за 12 лет, с 1961 по 1973 год кубинские фильмы, в том числе 46 полнометражных, были отмечены 126 международными премиями.

«Наша кинематография,— пишет газета «Гранма»,— перешагнула границы своей родины. И не только потому, что она, рожденная революцией, ныне активно пропагандирует ее достижения,— в наших фильмах нашла отражение общность исторических и культурных судеб народов Латинской Америки». Недавнее свидетельство тому — присуждение фильму Октавио Кортасара «Учитель» приза «Серебряный медведь» на XXVIII Международном фестивале в Западном Берлине, премии за лучший латиноамериканский фильм — на XVIII Международном кинофестивале в Картахене (Колумбия), а также премии за лучшую кинокартину для детей и юношества на международном кинофестивале в Хихоне (Испания).

Вышедшие на экраны страны в связи с юбилейной датой шесть документальных киножурналов посвящены самым различным аспектам современной кубинской действительности. Хроникальный фильм режиссера Мануэля Эррары «Добро пожаловать!» рассказывает о посещении делегацией мозамбикских студентов острова Пинос. В десятиминутной ленте Луиса Фелипе Бернасы «Галантность» —остроумном киномадригале, полном искрометного веселья,— речь идет о традиционном поклонении перед женской красотой, а в его же фильме «Между прочим» — о юморе как неотъемлемом свойстве кубинского национального характера и использовании сатиры и юмора в качестве эффективного политического оружия. «Бригада юбиляров» — так назвал свой фильм Идельфонсо Рамос — о рекордах опытных строителей пенсионеров, создававших эту бригаду. «День за днем» — режиссерский дебют Орландо Рохаса — посвящен участию молодежи страны в развитии ее важнейшей отрасли — железнодорожной сети. А «Румба» Оскара Вальдеса знакомит с истоками и современными вариантами этой подлинно народной песенно-танцевальной формы, характерной для кубинской музыкальной культуры.

Мануэль Октавио Гомес, известный зрителю по киножурналам «Первый удар мачете», «Дни воды», «Слово предоставляется вам», поставивший художественный фильм «Одна женщина, один мужчина, один город...» (отмечен премией на XXI Карловарском фестивале), рассказал в интервью газете «Хувентуд ребельде»: «Замысел будущей киноленты возник у меня еще в 1967 году, во время работы над документальным фильмом «Нузвитас». Сценарий ее был написан мною вместе с писателем Антонио Бенитесом Рохо. Тема революции 1959 года, порожденных ею грандиозных перемен во всем укладе жизни кубинского народа стала в ней ведущей. В сущности, это фильм о людях, жаждущих обновления человеческого

существования, об их поистине неукротимой устремленности к преображению мира... — подчеркнул М. Октавио Гомес.— Три истории переплелись в сюжете фильма — отсюда и его название. Одна из них — о городе Нузвитасе, в прошлом маленьком портовом городке, предназначением для вывоза сахара, а ныне крупном развивающемся индустриальном центре страны. Другая — о судьбе женщины, перед которой революция открыла неведомый прежде кубинке путь к новой жизни, где с максимальной самоотдачей проявились ее человеческие возможности. И третья — истории мужчины, чье сознание формируется в процессе строительства социализма».

Касаясь своих творческих планов, М. Октавио Гомес сообщил, что скоро состоится премьера фильма «Земля и небо», поставленного им по рассказу А. Б. Рохо и посвященного судьбам гаитянских батраков, переселившихся на Кубу. «Сейчас мы с Антонио Рохо,— продолжал он,— завершаем работу над киносценарием «Война времен» по рассказу Алехо Карпентьера «Путем Сантьяго», постановку которого мы намерены осуществить совместно с кинематографистами Испании».

ЛИВАН

КНИГА О ТЕАТРЕ БЕРТОЛЬТА БРЕХТА

Как сообщает газета «Аль-Иттихад», в Бейруте вышла книга известного иракского кинорежиссера Кайса аз-Зубейди под названием «Театр изменения». Посвящена она творчеству Бертольта Брехта. В ее пяти главах автор исследует творческий метод знаменитого немецкого драматурга. Книга содержит ряд подлинных брехтовских текстов, иллюстрирующих его взгляды на драматургию.

Режиссер аз-Зубейди широко известен как создатель фильма «Вдали от родины»— одного из лучших фильмов, посвященных палестинской проблеме, а также киноартии «Посещение» и «Язирли». Его фильмы демонстрировались на международных фестивалях.

ПАКИСТАН

ПЬЕСА А. П. ЧЕХОВА НА УРДУ

Издательство Общества прогрессивной литературы в Лахоре выпустило в свет пьесу А. П. Чехова «Три сестры» в переводе на урду Салимура Рахмана.

Сообщая об этом, пакистанская пресса выразила удивление по поводу того, что до сих пор ни одна пьеса А. П. Чехова не была переведена на урду. Удивление вызвано тем, что у пакистанских читателей русская художественная литература пользуется большим уважением, поскольку она «развила, если фактически не породила,— пишет газета «Морнинг ньюс»,— тенденцию к реализму, который занял ведущее место у нас в жанре короткого рассказа. Перевод «Трех сестер» на урду — это литературная новость, это — некое литературное событие».

ПЕРУ

ГОВОРИТ МАРИО ВАРГАС ЛЬОСА

По окончании состоявшейся недавно в Оклахоме (США) VI Конференции испаноязычных писателей известный перуанский романист Марио Варгас Льоса дал интервью корреспонденту еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью»:

— Вы считаете себя писателем-реалистом. Однако в ваших произведениях отмечают резкое различие между реалистическим содержанием и нереалистической формой.

— Мои книги, — сказал Марио Варгас Льоса, — реалистичны по замыслу, проблематике, характерам. Но я «не доверяю» традиционной системе композиции, обычному пространственно-временному плану. Почти все мои произведения строятся по нелинейной хронологии. Что же касается самого повествования о каких-то вполне определенных событиях, то с этой точки зрения я традиционный писатель.

В ответ на вопрос, кто из писателей, по мнению Льосы, оказал влияние на его творческую манеру, он перечислил имена Бальзака, Стендаля, Толстого, Мелвилла, Марка Твена и Фолкнера.

— Фолкнер повлиял на меня значительно,— рассказывает Марио Варгас Льоса. — Я учился у него многостороннему, многогранному показу событий... На определенном этапе я воспринимал некоторые из философских идей Сартра. Но теперь я от них отказался.

Исключительное влияние на писателя, по его словам, оказал Флобер.

— Его стремление найти наиболее точное выражение для обозначения описываемого явления — это основа моих стилевых поисков, — признался Льоса.

— Ваш роман «Панталеон и посетительницы» явился своего рода поворотным пунктом на вашем творческом пути, ведь до сих пор вы полностью исключали юмор из ваших книг. Почему?

— Мне казалось — и я ошибался в этом, — что юмор и сатира представляют собой опасность для того типа произведений, которые я пишу. Я имею в виду произведения, дающие читателю ощущение причастности к миру моего романа, вызывающие у него впечатление, что между мной, им и моей книгой нет никакой дистанции.

— Но ваши опасения в какой-то мере оправдались. Ведь некоторые критики и читатели упрекают вас в том, что, начиная с романа «Панталеон и посетительницы», вы отошли от социального критицизма. Каково ваше мнение на этот счет?

— Такие читатели полагают,— отвечает Льоса, — что юмор несовместим с критическим пафосом. Сомневаюсь, что они правы. На-

оборот, юмор и сатирический гротеск позволяют обнажить и четче представить себе скрытые грани какого-либо явления.

В заключение интервью Марио Варгас Льоса по просьбе корреспондента «Нью-Йорк таймс бук ревью» поделился своими соображениями о некоторых явлениях новейшей латиноамериканской прозы. Он с огорчением констатировал, что все еще не вышла из моды так называемая «текстуальная» литература — произведения, пренебрегающие сюжетом, характерами.

— Это — литература формального эксперимента,— сказал Льоса, подчеркивая, что сам он решительно отмежевывается от принципов такого рода «новаторства».— Такая литература не только не интересует, но, признаться, и порядком раздражает меня,—закончил свою беседу Марио Варгас Льоса.

ПОЛЬША

ЛЕВ ТОЛСТОЙ И ПОЛЬСКИЕ ПИСАТЕЛИ

Так называется статья в газете «Жице Варшавы», в которой приводятся высказывания выдающихся польских писателей о Льве Толстом.

В год восьмидесятилетия Толстого Болеслав Прус писал: «Толстой принадлежит к тем творцам, которым не грозит забвение потомков. Об этом свидетельствует не только любовь России к своему классику и его популярность в цивилизованном мире, но и та ненависть, которую питают к нему его враги. Он сумел найти путь к людским душам, а это верный залог бессмертия».

По поводу восьмидесятилетия Льва Толстого высказывался и Генрик Сенкевич: «Лев Толстой — самое могучее дерево в лесу российской словесности».

Элиза Ожешко по поводу того же юбилея сказала: «Лев Толстой — человек великого сердца, которое разрывает оковы и рассеивает мрак. Великие умы правят миром, но только великое сердце может его спасти».

Болеслав Прус очень высоко оценивал роман «Воскресенье». По его мнению, этот роман «можно сравнить с садом, до отказа наполненным дорогими и необычными растениями. Минутами мне кажется, что это самое благородное произведение, которое мог сотворить человеческий дух».

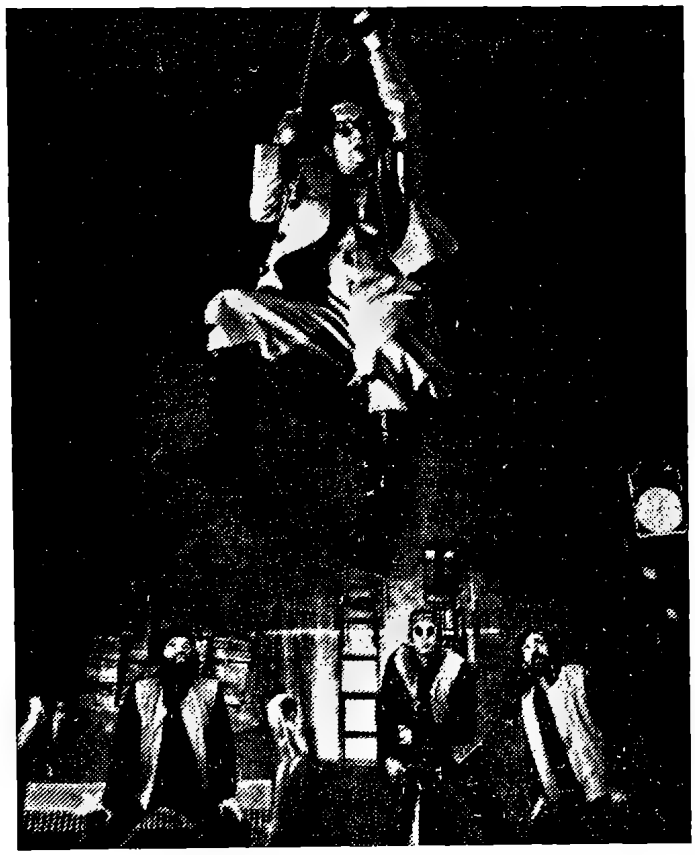
Известность и слава в Польше пришли к Толстому еще при жизни. Особенное впечатление на польских писателей произвели такие его шедевры, как «Война и мир», «Анна Каренина» и «Воскресение».

Стефан Жеромский в частном письме от 22 мая 1892 года признавался: «Читаю Толстого, и это чтение учит меня мудрости и приводит к тому, что я рву собственные рукописи».

Леон Кручковский мировое значение Толстого видел в том, что «он своими книгами постоянно оказывает воздействие на сердца и умы людей современного нам мира, а величие его в том, что его произведения не лишают человека веры в себя, как творения иных «великих», а придают человеку мужество, они не подавляют, а освобождают его».

Известный режиссер Юзеф Шайна в Варшавском театре «Студио» поставил спектакль «Маяковский». Спектакль включен в цикл «Портреты», в который входят поставленные ранее режиссером спектакли «Даите», «Виткацы», («Виткевич»), «Сервантес», прошедшие с большим успехом. В основу нового спектакля положены драматические произведения Маяковского, его стихи и его биография. По словам самого Юзефа Шайны, «Маяковский» — это спектакль политический, в нем дан портрет поэта революции, которому близки были самые острые проблемы его времени. На снимке: сцена из спектакля «Маяковский».

(Журнал «Театр»)



Марлен Дитрих исполнилось 76 лет, и она снова вернулась на экран. Ее артистическая карьера началась в 1922 году, после обучения в Музыкальной академии и Школе драматического искусства им. М. Рейнхардта в Берлине. Уехав из Германии в Голливуд, актриса в 30-е годы стала одной из самых популярных звезд экрана. Слава ее началась с фильма «Голубой ангел», в основу которого лег роман Г. Манна. Убежденная антифашистка, в годы второй мировой войны Марлен Дитрих выступала на эстраде с антигитлеровской пропагандой, чем заслужила ненависть фашистских официальных кругов. Советскому зрителю актриса знакома по фильмам «Нюрнбергский процесс» и «Свидетель обвинения». Сейчас актриса снимается в фильме Дэвида Хемингса в роли немецкой баронессы, ярой противницы надвигающегося на Германию фашизма. Марлен Дитрих пишет воспоминания, которые ожидаются с большим интересом.

На снимке: Марлен Дитрих.

(Журнал «Фильм»)

Далее в газете «Жице Варшавы» говорится, что в жизни и творчестве Толстого большое место занимала музыка Фридерика Шопена, который действительно был «придворным» композитором в Ясной Поляне. Однажды, выслушав несколько произведений Шопена, Толстой сказал: «Поляков можно любить хотя бы только за то, что у них был Шопен».

США

НОВЫЙ РОМАН ЭЛИА КАЗАНА

«Под названием «Проявления любви» вышел роман известного американского прозаика и кинорежиссера Элиа Казана в издательстве «Кнопф». Творчество Казана вызывает в Америке разноречивые оценки. Одни критики считают, что коммерческий успех книг Казана (а почти все его романы входили в число бестселлеров года) вполне оправдан высоким мастерством. Другие — а их не меньше, чем первых,— отрицают наличие какого бы то ни было таланта у писателя, относя его к второстепенным «рассказчикам занятных анекдотов».

В своем новом романе, пишет рецензент еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью», Казан рассказывает о жизни американской девушки Этель Лэффи, дочери преуспевающего аризонского врача, который «воспитал ее так, что она должна была в лучшем случае стать миленькой игрушкой в своей будущей семье». Однако Этель пытается найти иной смысл в своей жизни. Она уходит из дома, скитается по стране, встречается с десятками людей. «Мне нужен кто-то, кто сможет дать мне понять, что хорошо, а что плохо в этом мире»,— говорит она. Ее идеал, подчеркивает рецензент,— «патриархальный мир, «вечные» ценности прошлого, устойчивая, размеренная жизнь», которую она не может найти в сегодняшней Америке.

«ЧЕЛЮСТИ» ОКАЗАЛИСЬ БЕЗЗУБЫМИ

Три года назад западных кинозрителей атаковала гигантская белая акула-людоед из нашумевшего американского фильма «Челюсти». На тысячах экранов механическое чудовище, изготовленное умелыми руками голливудских мастеров, исправно пожирало зазевавшихся беспечных пловцов, пускало ко дну рыбачьи лодки и охотившиеся за ней катера и также исправно выуживало деньги из публики — сборы за фильм перекрыли все рекорды.

Успех «Челюстей» объясняется не только великолепными съемками, заслуженно вознагражденными призом Академии киноискусства США за лучшую операторскую работу. И не только участием прекрасных актеров, искусно «подыгрывающих» механической акуле. Отнюдь нет. Видимо, усталым нервам граждан «общества потребления» необходима встряска, которая только и может вывести из духовной апатии.

Кассовые сборы — главный творческий критерий американского кино. Выдавив «Челюстями» из зрителя все, что было можно, фирма «Юниверсал пикчерз» незамедлительно приступила к съемкам продолжения—«Челюсти-2», надеясь повторить финансовый успех.

Однако, как пишет обозреватель журнала «Тайм», эта попытка оказалась неудачной, «хотя и не стала полной катастрофой». Фильм

настолько пуст, утверждает журнал, что испаряется из памяти, как только гаснут на экране последние титры. Только сенсационная слава предшественника держит его на плаву. В фильме нет ни содержания, ни юмора, ни даже по-настоящему эффектных сцен ужаса, считает автор рецензии в журнале «Тайм». «Похоже, что этот фильм сработал компьютер, запрограммированный теми же пустобрехами, которым «Юниверсал пикчерз» обязана катастрофическими провалами целого ряда картин»,— пишет он.

Если в первом фильме участвовали по крайней мере такие актеры, как Роберт Шоу и Ричард Дрейфус, то фильм «Челюсти-2» населен «достигшими брачного возраста переростками». Они настолько скучны, ехидно резюмирует журнал, что зритель испытывает скорее облегчение, чем сожаление, когда их настигает незавидный конец в пасти акулы.

Снимали фильм с размахом, затратив немалую сумму, применяя специальную технику и методику для подводных съемок, решая головоломные технические проблемы. В результате фильм сделан технически превосходно, отлично снят и... бессодержателен. Бездушно-профессионален, по мнению журнала «Тайм».

Моделью для бюста Марианны, символа Франции, когда-то служила звезда французского кино Брижитт Бардо («ИЛ» № 7, 1971 г.). Скульптор Аллеи Аслаи решил лепить Марианну с известной французской певицы Мирей Матье.
На снимке: Аллеи Аслаи и Мирей Матье у бюста Марианны.

(Журнал «Сцена»)

ФРАНЦИЯ

«АРМАН ЛАНУ ОТКРЫЛ НОВОГО ЗОЛЯ»

Таков заголовок статьи Жака Жубера, опубликованной в журнале «Лир» и посвященной четырехсерийному циклу телепередач «Эмиль Золя и человеческая совесть», который осуществлен по книге А. Лану «Добрый день, господин Золя» (см. «ИЛ» № 9 за 1978 г.). Материалом для статьи послужили наблюдения, сделанные Жубером во время съемок, и беседы с А. Лану.

Как признается писатель, работа над телефильмом помогла ему глубже узнать и понять его литературного героя и сегодня, с дистанции времени, заново оценить бескомпромиссную позицию, занятую Золя в печально знаменитом деле Дрейфуса, составляющем один из центральных эпизодов фильма.

«Копаясь в архивах, вчитываясь в письма, вы работаете как кабинетный ученый. Такая работа приносит свои результаты и открывает что-то в писателе и его творчестве. Но если вы беретесь показать жизнь великого человека и его окружение, вы участвуете в воссоздании. Вы ставите историческую психодраму. И все предстает перед вами совершенно в ином свете, чем когда вы имели дело лишь с документами»,— пишет Лану в предисловии к новому изданию своей книги о Золя, приуроченному к выходу на телеэкраны его фильма.

Для Лану это не первый опыт работы на телевидении, он уже адаптировал для маленького экрана произведения Бальзака и Мопассана. На вопрос Жака Жубера, почему писателя привлекла задача воссоздать жизнь Золя, а не его произведения, он ответил: «Произведения Золя требуют большого экрана. В его лучших романах огромную роль играет толпа. Изобразить движение народных масс на телевидении — дело довольно сложное и требующее больших затрат. С этой точки зрения Золя — «дорогостоящий» автор, вероятно, поэтому не только телевидение, но и кино вот уже двадцать лет не берутся за его книги. Да и тот интимно-рассудочный психологизм, который воцарился сейчас в кино (взять хотя бы «новую французскую волну», Бергмана и Антониони); противоречит произведениям Золя, которые требуют обращенности к внешнему миру, широких фресок, движения толпы. И это очень досадно, так как Золя — это писатель, буквально созданный для кино. Он умел видеть ничуть не хуже, чем камера».

Удачно сделанный теле-

фильм об одном из величайших писателей Франции способствовал возрождению интереса к его личности и к его творчеству. Помимо статей, содержащих высокие оценки фильма, многие литературные журналы публикуют также различные материалы, посвященные Золя. Одновременно выходят новые издания его книг, на которые сейчас повысился читательский спрос.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЖАНА КАРЬЕРА

Шесть лет французские издатели и читатели ждали нового романа Жана Карьера — его имя приобрело широкую популярность в 1972 году, когда малоизвестный журналист и начинающий прозаик был удостоен Гонкуровской премии за роман «Ястреб из Маё» (см. «ИЛ» № 5 за 1973 г.). Автор этой книги, явившейся подлинным откровением на фоне французской литературы тех лет, поведал о суровом и полном драматизма существовании крестьян и горцев, чей жизненный уклад и нравственные ценности разрушаются под натиском современной цивилизации.

Новый роман Карьера «Зачумленные места» обращен в прошлое: его герой, Жюльен Журдан, преуспевающий предприниматель, в 1835 году внезапно покидает Париж и отправляется в родные места. В тот год на Францию обрушилась неслыханная эпидемия холеры, от которой вымирали целые деревни. Однако, несмотря на официальные запреты, карантины и подстерегающие его на каждом шагу опасности, герой любой ценой стремится вернуться на родину, где свирепствует болезнь. В одиночестве, пешком бредет он по опустошенным землям, и его путь к родному гнезду — это одновременно и путешествие во времени: в поисках полузабытого детства, в поисках тех живительных источников, что так неудержимо влекут к себе Жюльена Журдана. Но смерть неузнаваемо преобразила родные места, и герой пускается в новое путешествие — вверх, в горы, в отдаленные селения, еще не затронутые ни временем, ни болезнью.

Роман, по мнению критиков, свидетельствующий о возросшем мастерстве Карьера,— начало цикла, над продолжением которого сейчас работает писатель.

ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ АНТОНЕНА АРТО

В издательстве «Галлимар» вышел последний, четырнадцатый том полного собрания сочинений Антонена Арто (1896—1948)— поэта, актера, режиссера, экспериментатора и теоретика в области театрального искусства. Слава и признание пришли к Антонену Арто уже после смерти, выдвинув его имя в первые ряды крупнейших писателей и театральных деятелей Франции. Известно, что Арто оказал влияние на многих современных режиссеров (в их числе Жан-Луи Барро и Ежи Гротовский). Стихи Арто, в которых отразились его противоречивая, мятущаяся натура и свойственный ему бунтарский дух, особой популярностью пользуются у молодежи.

При жизни Арто публиковался мало, многие из его статей и писем, в которых он делился со своими друзьями наблюдениями и мыслями о театре и «новой драматургии», иногда вкрапляя в текст стихотворные строки, оказались рассеянными по всей Франции. Издательству «Галлимар» пришлось провести большую работу, чтобы дополнить ранее выходившее девятитомное собрание сочинений писателя, разыскав до сих пор неизвестные или хранящиеся в частных архивах произведения, письма и разного рода материалы, принадлежащие перу Арто и представляющие интерес для современных читателей и исследователей.

ЧЕХОСЛОВАКИЯ

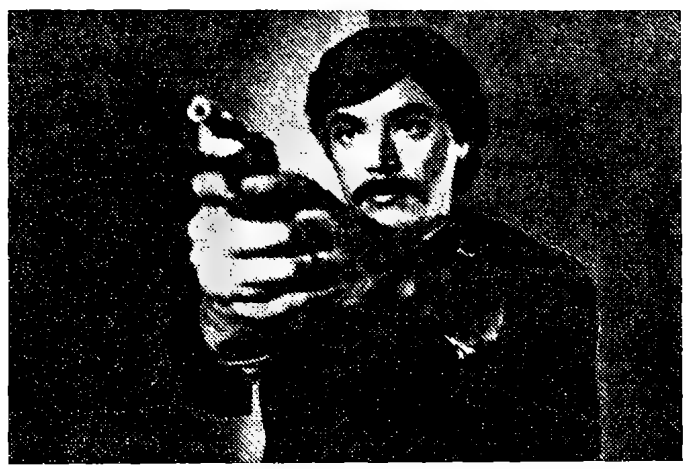
БАЛЛАДА О МУЖЕСТВЕ

Так охарактеризовала газета «Руде право» новый чехословацкий фильм режиссера Франтишека Влачила «Тени жаркого лета», который, наряду с советской картиной режиссера С. Ростоцкого «Белый Бим Черное ухо», был удостоен высшей награды завершившегося в Карловых Варах XXI Международного кинофестиваля.

«Тени жаркого лета» переносят зрителя в малонаселенную пограничную область Бескидских гор. Идет 1947 год... Жаркое, сухое, бесплодное лето... По еще не оправившейся от войны и фашистской оккупации стране бродят, грабя и убивая,

На снимке: Юрай Кукура в роли Ондржея Барана в фильме «Тени жаркого лета».

(Газета «Руде право»)



шайки бендеровцев, пытающихся пробиться на Запад.

Одна из таких банд озверелых террористов нагрянула на затерявшийся в Бескидах одинокий хутор. Драматические события, мужественное сопротивление обитателей хутора—крестьянина Ондржея Барана, его жены, детей и случайно оказавшегося у них сельского доктора — бесчинствам бандитов и составляют содержание фильма.

Картина привлекает напряженностью действия, своим гуманистическим пафосом, звучащим к ней призывом к мужеству в борьбе со злом и насилием. В этом ее глубочайшая актуальность.

Чехословацкая критика высоко оценивает игру актеров, особенно Юрая Кукуры в роли Ондржея и Марты Ванчуровой в роли его жены, мастерство режиссера и кинооператора Ивана Шлапоты, воссоздавших исторически верно и психологически правдиво напряженную атмосферу и трагические конфликты тревожных послевоенных лет и сумевших сказать нужное, мужественное слово своим современникам.

Фильм «Тени жаркого лета» получил также одну из трех главных премий на XVI кинофестивале чешских и словацких фильмов, проходившем весной этого года в Чешских Будейовицах.

ШВЕЙЦАРИЯ

РОМЕН РОЛЛАН: НОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

В издательстве «Ла Баконьер» (г. Нёшатель) вышел первый сборник серии «Швейцарские тетради Ромена Роллана», подготовленный при участии вдовы писателя и с ее предисловием. Книга озаглавлена «Доброе соседство» и содержит переписку Р. Роллана с уроженцем Женевы, публицистом и общественным деятелем Эдмоном Прива.

В молодости Э. Прива слушал лекции Роллана в Сорбонне и в годы первой мировой войны разделял его антивоенные взгляды. Живя в Швейцарии в 1922—1938 гг., Роллан часто виделся с Э. Прива и переписывался с ним. В письмах отражены их дружба и сотрудничество, а вместе с тем и нараставшие идейные расхождения. Эдмону Прива, убежденному пацифисту, в 20-е годы были близки воззрения Ганди. Он сопровождал Ганди во время его поездки по странам Европы в 1931—1932 гг., потом поехал с ним в Индию, был свидетелем его ареста британскими властями. Вопросы, связанные с судьбой и деятельностью Ганди, занимают большое место в книге «Доброе соседство». У Ромена Роллана нарастало критическое отношение к гандистской концепции «ненасилия», он постепенно склонялся к поддержке революционного действия. В книгу «Мир — через революцию» он включил открытое письмо Эдмону Прива, где излагал свою точку зрения на эти проблемы. (Письмо это опубликовано также на русском языке в Собрании сочинений Р. Роллана, т. 13, М., 1958).

Обнародованная теперь переписка с Э. Прива дополняет многими новыми штрихами картину идейной эволюции и общественной деятельности Ромена Роллана в промежуток между первой и второй мировыми войнами. Разногласия не мешали их дружбе. Летом 1936 г., в момент подъема Народного фронта во Франции, Э. Прива с радостью писал Роллану о том, что видел его пьесу «Четырнадцатое июля» в парижском театре «Альгамбра»: «Публика взволнованно следила за действием, в финале все запели «Марсельезу», а потом «Интернационал»... Каждый вечер в «Альгамбре» поднимается волна народной любви к Вам».

ЮАР

ВТОРОЙ РОМАН КРИСТИАНА БАРНАРДА

Южно-африканский хирург Кристиан Барнард, ставший в последнее время известным и как писатель, выпустил в соавторстве с Зигфридом Стэйдером свой второй роман «Сезон ночной мглы» (его первый роман «Нежелательные элементы» был опубликован в «ИЛ» № 6, 7, 8 за 1977 г). Высокую оценку новой книге Барнарда дает рецензент американского еженедельника «Нью-Йорк таймс бук ревью». В романе ставится, по словам рецензента, одна из сложнейших нравственных проблем, с которой приходится сталкиваться врачу,— проблема ответственности за жизнь смертельно больного пациента.

В центре повествования — судьба двух людей: опытного южно-африканского врача Чарлза де ла Порта и молодой женщины, у которой тот обнаруживает раковую опухоль. Поначалу доктор де ла Порт пытается успокоить свою пациентку, вынужден ей лгать. Однако в конце концов женщина, тоже врач по профессии, и сама догадывается о правде... «В новом романе,— пишет рецензент,— Барнард мастерски нарисовал портреты своих героев». Персонажи романа, подчеркивает он, — это в полном смысле слова яркие, запоминающиеся личности.

Воссоздавая ретроспективно жизненный путь своих героев, отмечает рецензент, писатель показывает их в гуще социально-политической борьбы. Героини книги Барнарда — член коммунистической партии, активная участница движения против расизма.

Барнарда волнует не только судьба его героев. Судьба своей страны волнует писателя не в меньшей степени. Как и в предыдущем романе писателя-хирурга, приметы сегодняшней жизни ЮАР отчетливо просматриваются на страницах романа.

Авторы этого номера

АННА ЗЕГЕРС — ANNA SEGHERS (род. в 1900 г.).

Немецкая писательница и общественный деятель (ГДР), лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами», Национальной премии ГДР и других литературных премий. Имя Анны Зегерс давно знакомо советским читателям — на русском и других языках народов СССР неоднократно издавались ее романы «Восстание рыбаков», «Спутники», «Путь через февраль», «Седьмой крест», «Мертвые остаются молодыми», «Освобождение», «Транзит». В «Иностранной литературе» были напечатаны роман «Решение» (№ 1—4, 1960), повести «Человек и его имя» (№ 1, 1955), «Через океан» (№ 1, 1972), рассказ «Каменный век» (№ 12, 1975) и другие произведения.

Мы предлагаем вниманию читателей новую повесть Анны Зегерс «И снова встреча» («Wiederbegegnung». Berlin und Weimar, Aufbau-Verlag, 1977).

■

ФЕДОРОВА НИНА НИКОЛАЕВНА.

Советская переводчица с немецкого.

Ее переводы, в частности, публиковались на страницах «Иностранной литературы»: рассказ А. Зегерс «Каменный век» (№ 12, 1975), новеллы З. Ленца «Запах мирабели» (№ 1, 1977) и др.

■

ГОВИНД ВИНАЯК КАРАНДИКАР (род. в 1918 г.).

Индийский поэт, пишет на языке маратхи; лауреат десяти литературных премий штата Махараштра и трех общенациональных. Является также автором литературоведческих исследований, сборников эссе и переводов на язык маратхи «Короля Лира» Шекспира и «Фауста» Гёте. О творчестве Г. В. Карандикара см. послесловие Н. Сиделева.

Публикуемые стихи взяты из сборников «Ганга — река пота» (1949), «Запах земли» (1954), эссе «Тайна прикосновения» — из одноименного сборника эссе (1958).

■

РЕНЕ-ВИКТОР ПИЙ — RENÉ-VICTOR PILHES (род. в 1934 г.).

Французский писатель, журналист. Работал рекламным редактором в авиакомпании «Эр Франс», затем в рекламном агентстве «Пюблисис», с 1972 г. член совета директоров этого агентства. Первый роман Р.-В. Пия «Ревень» («La Rhubarbe»), вышедший в 1965 г., получил премию Медичи. В 1969 г. Пий выпустил роман под названием «Лум» («Le Loum»).

Мы публикуем третий роман Р.-В. Пия «Обличитель» («L'Imprecateur». Paris, Seuil, 1974), отмеченный литературной премней Фемина.

ЕРОФЕЕВА ТАМАРА ИВАНОВНА.

Советская переводчица с французского. В «Иностранной литературе» в ее переводе напечатаны: «Реквием по монахине» Фолкнера — Камю (№ 9, 1970), повесть Адель Фернандес «Ранний плод — горький плод» (№ 3, 1974), пьеса Марка Жильбера Саважона «Чао!» (№ 10, 1972) и др.

ШИШМАРЕВА ЕЛИЗАВЕТА МИХАЙЛОВНА.

Советская переводчица с французского. Переводила произведения О. де Бальзака, Э. Золя, Г. Мопассана, В. Гюго, Ж.-П. Шаброля, Р. Мерля, А. Стиля и др.

КЕННЕТ РЕКСРОТ — KENNETH REXROTH (род. в 1905 г.).

Американский поэт и переводчик восточной поэзии. Основные сборники его стихотворений: «В какое время» («In what Hour», 1941), «Феникс и черепаха» («The Phoenix and the Tortoise», 1944), «Сердце сада, сад сердца» («The Heart's Garden, the Garden's Heart», 1968) и другие. На русском языке стихотворения К. Рексрота публиковались в антологии «Современная американская поэзия» (М., «Прогресс», 1975).

Подробнее о творчестве поэта см. вступительную статью А. Зверева.

Предлагаемые переводы выполнены по книге «Новые стихи» («New Poems», New York, 1971).

ПАРИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (род. в 1944 г.).

Советский поэт-переводчик. В его переводах печатались стихи Овидия, Дж. Донна, И. В. Гёте, Дж. Г. Байрона, Дж. Китса, А. Стриндберга, П. Целана; в 1978 г. вышло «Избранное» Оливера Голдсмита.

ЗАРЕВ ПАНТЕЛЕЙ (род. в 1911 г.).

Болгарский критик и литературовед, академик; лауреат Димитровской премии, Председатель Союза болгарских писателей, главный редактор журнала «Научна мисл».

Перу П. Зарева принадлежит большое количество работ по проблемам болгарской литературы, в частности «Литература как познание» («Литературата като познание», 1945), «Стиль и художественность» (1959), «Класснка и современность» («Класика и съвременност», 1961), а также обширное историко-литературное исследование в четырех томах «Панорама болгарской литературы» («Панорама на българската литература», т. I—IV, 1966—1974).

Статья «Идеал. Современность. Мировой литературный контекст» перепечатывается нами с сокращениями из журнала «Септември» (№ 4, 1977).

ЛЕВИДОВА ИННА МИХАЙЛОВНА.

Советский литературный критик и переводчик. Автор книги «О. Генри и его новелла» (1973) и многих работ по современ-

ной английской и американской литературе. В ее переводах публиковались стихи канадского поэта Уилсона Макдональда, английского — Роберта Грейвса и др. Составитель антологии (совместно с А. Зверевым) «Современная американская поэзия».

■

МАНУЭЛ ДЕ СЕАБРА — MANUEL DE SEABRA (род. в 1932 г.).

Португальский писатель. Автор романа «Ничейная земля» («Terra de ninguém», 1972), сборника новелл «Уцелевшие» («Os sobreviventes», 1974), поэтического сборника «85 реалистических стихотворений» («85 poemas realistas», 1974).

Особую известность Мануэл де Сеабра приобрел в Португалии как переводчик с русского (Лиссабонская академия наук отметила первой премией его перевод «Капитанской дочки» А. С. Пушкина), английского, итальянского, каталанского и других языков. Об этой стороне его творчества рассказывает публикуемая в номере статья, которая получена от автора в рукописи.

■

КУЛЬДИП КРИШАН КХУЛЛАР (род. в 1930 г.).

Индийский критик и литературовед. Окончил пенджабский университет, после чего занимался преподавательской деятельностью. Пишет на урду и английском языках. Автор коротких юмористических рассказов, литературно-критических статей, статей по искусству и культуре Индии. Многие его рассказы вошли в антологии. В настоящее время работает над историей литературы урду.

Статья «К новым горизонтам» получена редакцией в рукописи.

■

ПЕТЕР ШЮТТ — PETER SCHÜTT (род. в 1939 г.).

Немецкий поэт, филолог и историк (ФРГ). Один из основателей «Мастерских рабочей литературы» («Werkkreis Literatur der Arbeitswelt»), секретарь Демократического Культурбунда ФРГ. Живет в Гамбурге. Автор книг стихов и публицистических очерков «Прямым путем в семидесятые годы» («Sicher in die siebziger Jahre», 1969), «Правила кулачного боя для классовых бойцов» («Faustregeln für Klassenkämpfer», 1970), «Предложения мира» («Friedensangebote», 1971), «К вопросу о положении нации» («Zur Lage der Nation», 1974), «Политическая лирика ФРГ и Западного Берлина» («Denkzettel, Politische Lyrik aus der BRD und Westberlin», 1974), книги «Вперед, в Сибирь» («Ab nach Sibirien!», 1977) и др.

Дневниковые записи П. Шютта получены редакцией в рукописи.

■

ЭЛТОН ФЭКС — ELTON C. FAX (род. в 1908 г.).

Американский негритянский писатель и художник. Автор книг по истории, культуре и искусству негритянского народа. В последние годы вышли книги «Глазами черного» («Through Black Eyes», 1974), «Черные художники нового поколения» («Black Artists of the New Generation», 1977). Элтон Фэкс известен в США и Африке не только как писатель, но и как талантливый художник; особой популярностью пользуется его альбом «Черное — прекрасно»; большое внимание художник уделяет работам для детей — им проиллюстрировано 28 детских книг и три сборника сказок. В 1975 году Э. Фэкс подарил узбекскому народу оригиналы картин, созданных им во время поездки в Узбекистан.

Очерк «Мои встречи с республиками советской Средней Азии» написан автором для журнала «Иностранная литература».

■

ФРИДЕШ КАРИНТИ — KARINTHY FRIGYES (1888—1938).

Венгерский поэт, прозаик, сатирик. Начал литературную деятельность в 1907 г. Его перу принадлежат романы «Капиллярия» («Capillária», 1921), «Путешествие вокруг собственного черепа» («Utazás a koponyám körül», 1937), драма «Завтра утром» («Holnap reggel», 1921), книга пародий «Вот как вы пишете» («Igy írtok ti», 1912), повесть «Пожалуйста, господин учитель» («Tanár úr kérem», 1916), а также несколько сборников стихов, фельетоны, критические статьи, переводы.

МИХАЛ РАДГОВСКИЙ — MICHAL RADGOWSKI (род. в 1929 г.).

Польский публицист и сатирик. Автор фельетонов и сатирических рассказов. В последние годы вышли его сборники рассказов «Промах за промахом» («Gafa za gafą», 1971), «Покой прежде всего» («Najwazniejszy jest spokój», 1973), из которого взят одноименный рассказ.

ИОАННА КЕЛЛЕР — JOANNA KELLER.

Польская актриса, работала в варшавском театре «Охоты». Предлагаемые вниманию читателя рассказы, напечатанные на страницах газеты «Жице Варшавы» (июль—август 1977), были ее литературным дебютом. Иоанна Келлер умерла в 1977 году.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ, Л. З. ЭЙДЛИН.**
Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017. Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 5/IX 1978 г. А 12074. Подписано в печать 11/X-1978 г.
Бумага $70\times108^{1}/_{16}=9$ бум. л.=18 п. л. (25,2) усл. п. л. Уч-изд. л. 28,06.

Тираж 617.000 экз. (1-й завод: 1—450.000 экз.) Зак. 2892.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

17 ИЛ

ИВАН ДИМОВ. Болгария.
Страницы романа

Цена 80 коп. ИНДЕКС 70394